



*Елена
Буковская*

«ЧУКОККАЛА»
И ОКОЛО





ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

2011 года

решением Жюри
от 25 февраля 2011
присуждена

ЕЛЕНЕ ЦЕЗАРЕВНЕ ЧУКОВСКОЙ

**за подвижнический труд по сохранению и изданию
богатейшего наследия семьи Чуковских;
за отважную помощь отечественной литературе
в тяжелые и опасные моменты ее истории**



«ЧУКОККАЛА» И ОКОЛО

Статьи, интервью

• Издательство «Русский Миръ»
ИПЦ «Жизнь и мысль»
Москва 2014

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2)6-8 Ч-88 Чуковский, К.И.

Ч88

*Серия «Литературная премия
Александра Солженицына»
основана в 2004 году*

Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»

Редакционный совет:

А. И. Солженицын

Н. Д. Солженицына

П. В. Басинский

В. Е. Волков

Б. Н. Любимов

В. А. Москвин

В. С. Непомнящий

Л. И. Сараскина

Н. А. Струве

Художник серии

В. В. Покатов

© Чуковская Е. Ц., 2014

© Сараскина Л. И.

Выступление на церемонии..., 2014

© Басинский П. В.

Мое знакомство с «Чукоккалой», 2014

© Иванова Е. В.

Несущая конструкция, 2014

© Русский Общественный Фонд, 2014

© Русский Мирь, 2014

© ИПЦ «Жизнь и мысль», 2014

ISBN 978-5-8455-0179-0

ОТ АВТОРА



татья и открытые письма, собранные в этой книге, писались в разные годы и в разные эпохи. Первые статьи и письма написаны в середине 1970-х годов без расчета на печатанье в России. К ним относятся — Письмо Войновичу о «Чукоккале», «Вторая литература» и «Литературный процесс в России», «Мемуар о «Чукоккале»».

Совсем к другому жанру принадлежит статья «Литературный путь Корнея Чуковского», написанная Лидией Корнеевной и мной в конце 1970-х годов по заказу составителя американской энциклопедии русской и советской литературы м-ра Гарри Вебера. Это было время, когда изо всех книг Корнея Ивановича печатались только сказки, а нам хотелось представить его путь во всей полноте, затронув многие сюжеты, находившиеся в Советском Союзе в те годы под запретом.

Позже, летом 1988 года написана статья «Вернуть Солженицыну гражданство СССР» — как справка для Залыгина, который начинал хлопоты об издании «Ракового корпуса». Из «Нового мира» статья была передана в «Книжное обозрение» и опубликована на страницах этого еженедельника в августе 1988 года. Статья вызвала большой резонанс: газета получила сотни писем и напечатала на своих страницах десятки отзывов читателей. В виде исключения привожу эти отзывы, очень выразительно сохранившие звук времени. Времени, которое мы пережили как время надежд, позже осознав, что это было время иллюзий.

Конец 1980-х годов, провозгласивший гласность, открыл двери для появления в печати запрещенных имен, запрещенных тем, запрещенных документов.

Ко мне все это имело самое прямое отношение, т. к. появилась возможность напечатать дневник Корнея Чуковского, «Чукоккалу» без купюр и многие материалы из его обширного архива. Эти многочисленные публикации часто сопровождалась моими вступительными поясняющими статьями и комментариями. Размер настоящего сборника не позволяет включить в книгу эти публикации с комментариями, привожу лишь некоторые вступительные заметки, позволяющие очертить круг вопросов, затронутых в этих публикациях.

В этот сборник вошло и несколько полемических газетных статей, позволяющих вспомнить, как проходило у нас становление закона об авторском праве и обретение статуса музея Домом Чуковского в Переделкине, что означала «борьба с чуковщиной», почему Репин не приехал в СССР, писал ли Чуковский Сталину и его ли высмеивал в своей сказке «Тараканище».

В книгу вошло также отрывки из моих интервью, позволяющие почувствовать, какие время ставило передо мной задачи и как я пыталась их разрешить.

Наступившая в конце 1980-х годов эпоха гласности позволила коренным образом изменить судьбу моей матери — Лидии Чуковской и судьбу ее книг. Лидия Корнеевна дожидая до издания на родине всех ее законченных работ, в 1994 году ей была присуждена Государственная премия за «Записки об Анне Ахматовой», напечатанные в последовательных номерах журнала «Нева». Однако она не успела завершить третий том «Записок...» и несколько других работ: «Прочерк», «Дом Поэта». Подробно об ее архиве и о тех публикациях, которые делались мною посмертно, рассказано во вступительных заметках, собранных в главе второй этой книги. Главу завершает статья о Лидии Корнеевне для Московской энциклопедии, охватывающая все ее издания в России до 2011 года.

Все мои газетные статьи о Солженицыне написаны и опубликованы в эпоху гласности. Они позволяют вспомнить, как происходило возвращение его книг и его имени на родину. А страницы моих воспоминаний относятся к периоду 1965—1974 годов, до высылки Солженицына из России, когда я оказалась свидетелем и участником многих поворотных обстоятельств его судьбы.

В отделе «Vagia» помещена статья «Вторая литература» и «Литературный процесс в России» (1975). Статья продиктована возмущением по поводу выступления А. Д. Синявского в первом номере журнала «Континент» (1974). Журнал печатался в Париже и просачивался нелегально в Россию. Я тоже окольными путями переслала свою статью в Париж Е. Г. Эткинду, она была напечатана в «Русской мысли», о чем я узнала лишь через несколько месяцев после публикации.

В отдел вошли также воспоминания о друзьях и открытое письмо к создательницам сайта chukfamily.ru по поводу приписанных мне в «Звезде» неверных комментариев к переписке Лидии Корнеевны с А. И. Пантелеевым.

В виде приложения помещена совместная с Б. Сарновым публикация «Случай Зошенко». Книжки Зошенко всегда были мне интересны, я постоянно слышала о нем от Корнея Ивановича, который очень ценил его талант.

Работая в РГАЛИ, я получила доступ к фонду Всеволода Вишневского и там с удивлением обнаружила его запись о вызове в Кремль в августе 1946 года и о том, что говорил Сталин об Ахматовой и Зошенко. Тогда об этой встрече в Кремле ничего не было известно. Б. Сарнов только что написал вступление к моей публикации страниц дневника К. Чуковского о Зошенко (Знамя. 1987. № 6). Мы объединили свои усилия, собрали ряд архивных материалов и опубликовали печальную историю травли Зошенко. Судьба Зошенко позволяет еще раз напомнить читателю, как расправлялась с писателем советская государственная машина.

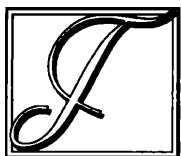
Все статьи этого сборника касаются истории нашей литературы и позволяют рассказать о драматических поворотах в писательских судьбах.

Архив Корнея Чуковского



середине 1975 года я прочла самиздатскую рукопись «Иванькиады» Владимира Войновича. Это — веселый рассказ о том, как он пытался получить в кооперативе «Московский писатель» квартиру, на которую имел все права, но на нее претендовал главный редактор Госкомиздата Сергей Иванько. Этот же Иванько в качестве главного редактора Госкомиздата сообщил мне, что в типографии, где печаталась «Чукоккала», рухнули потолки, формы разбиты и поэтому издать книгу невозможно. Кто-то рассказал Войновичу о роли Иванько в истории с «Чукоккалой», и он включил этот сюжет в свою «Иванькиаду». Я тогда не была знакома с Войновичем, но написала ему письмо об Иванько и «Чукоккале» и поехала к нему с этим письмом. Владимир Николаевич поместил мое письмо в качестве приложения к своей книге, которая была опубликована в США, в издательстве «Ардис» в начале 1976 года.

ПИСЬМО В. Н. ВОЙНОВИЧУ*



лубокоуважаемый Владимир Николаевич!

Прочла Вашу «Иванькиаду» и захотелось Вам написать. Я ведь недавно еще и «Чонкина» прочитала. Выбор героя — то Иван (Чонкин), то Иванько, явно указывает на близость Вашего творчества к народным истокам, на умение смотреть в корень дела. Многие проблемы, затронутые в этих двух книгах, волнуют меня...

Но я сегодня взялась за перо не только как благодарная читательница Ваших веселых и остроумных книг. Я пишу Вам потому, что мне посчастливилось замешаться среди персонажей «Иванькиады». Вы там рассказываете, как к Иванько проходит внучка Чуковского хлопотать по поводу издания «Чукоккалы». Так вот я и есть та самая внучка, и у меня зачесались руки добавить еще несколько штрихов к монументальному портрету Вашего героя. Добавить мне хочется именно насчет «Чукоккалы».

Дело в том, что Ваш уважаемый Сергей Сергеевич Иванько сыграл в истории «Чукоккалы» весьма заметную, я рискну даже высказать — решающую роль. Но прежде чем направить на него наши прожекторы, прежде чем осветить его в процессе созидательного труда, мне придется отвлечься и рассказать для начала, что такое «Чукоккала».

«Чукоккала» — это рукописный альманах Корнея Чуковского. Начат альманах в 1914 г., существовал более полувека. В альманахе участвовали поэты: Анна Ахматова, Александр Блок, Иван Бунин, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский, Николай Олейников, Борис Пастернак, Владислав Ходасевич, Велимир Хлебников; прозаики: Леонид Андреев, Аркадий Аверченко, Исаак Бабель, Максим Горький, Евгений Замятин, Михаил Зощенко, Юрий Олеша, Борис Пильняк,

* В кн.: *В. Войнович. Иванькиада*. Ann Arbor: Ardis, 1976. С. 107–112.

Михаил Пришвин, Алексей Ремизов, Алексей Толстой, Юрий Тынянов, Евгений Шварц, Вячеслав Шишков. Рисовали художники — Юрий Анненков, Мстислав Добужинский, Борис Григорьев, Илья Репин и Сергей Чехонин. Певцы и артисты тоже приложили руки к альманаху — Собинов и Шаляпин, Мейерхольд, Евреинов и Качалов. А еще там в «Чукоккале» представлены некоторые знаменитые англичане — есть автограф Оскара Уайльда, подаренный Робертом Россом (неопубликованный вариант четырех строф «Баллады Рэдингской тюрьмы»), автографы Герберта Уэллса и Конан Дойла.

Я, конечно, далеко не всех участников «Чукоккалы» здесь перечисляю. Я сознательно, например, пропускаю имена тех, кто жив и сейчас и, как говорится, сам может за себя постоять.

Очень трудно в нескольких словах охарактеризовать содержание альманаха. Тут и стихи, и проза, и шаржи, и документы (вырезки из газет, объявления), и шуточные протоколы заседаний Всемирной Литературы и Дома Искусств, и юбилеи, и съезды писателей. «Главная особенность “Чукоккалы” — юмор», — писал К. Чуковский в своем предисловии к предполагаемому изданию книги. Однако можно назвать и еще одну особенность — в «Чукоккале» запечатлелось время, сгустился воздух той эпохи, когда хаотично и случайно заполнялись ее страницы. Именно это имел в виду Юрий Олеша, написавший в «Чукоккале» 9 февраля 1930 г.: «...Нужно писать исповеди, а не романы. Важней всех романов — самым высоким произведением тридцатых годов этого столетия будет “Чукоккала”».

Поначалу издание «Чукоккалы» продвигалось успешно. Тогдашний директор издательства «Искусство» Е. Севастьянов приехал к Корнею Ивановичу в Переделкино и просил предоставить право на издание этого уникального альманаха его издательству. Для подготовки «Чукоккалы» к изданию были привлечены лучшие работники. Я опускаю здесь имена, но поверьте, что самый квалифицированный в мире фотограф делал негативы (издание должно было быть факсимильным). Почерк Блока и шаржи Чехонина, все это предполагалось воспроизвести в печати с офсетных негативов, над которыми (после многочисленных съемок альманаха) трудились больше года замечательные граверы и ретушеры. Работа была очень кропотливой и трудоемкой — ведь в книгу входило свыше 600 репродукций из альманаха. Корней Чуковский написал комментарий к публикуемым автографам и рисункам, а впереди еще был сложнейший макет книги, работа

художника с этим макетом, разные шмуцтитутлы, а там еще набор текста тремя шрифтами (один — для автографов, другой — для комментария Чуковского, третий — для сносок) — в общем, не перечислить всех тех рифов, которые удалось счастливо преодолеть, подготавливая к печати альманах.

Приходится признаться, что вся эта работа стоила не только времени и сил, но и прорву денег. По данным из авторитетных источников около 17 тысяч рублей было вложено в будущее издание.

Но вот, наконец, все готово, текст комментария набран, получены чистые листы шестисот репродукций, макет книги склеен и осталось только отпечатать тираж — вот-вот книга выйдет из печати. Это радостное известие сообщила «Литературная газета» (29.3.1972 г.), да и фильм «Чукоккала» частенько мелькал на экранах кино и телевидения.

Но внезапно на этом ровном пути альманаха возник Ваш уважаемый Сергей Сергеевич Иванько, главный редактор художественной редакции Государственного Комитета по печати, заведующий всей художественной литературой во всех издательствах Советского Союза.

Этот могущественный ценитель литературы потребовал «Чукоккалу» к себе на просмотр.

Описанная Вами в «Иванькиаде» сцена моего визита к Иванько правдиво рисует расстановку сил, однако Вы несколько идеализируете истинное положение вещей. Увы, увы — мне так и не удалось преодолеть бдительность секретарш Госкомитета и занятость Сергея Сергеевича важнейшими государственными делами. Только во сне могут случаться встречи со столь высокопоставленными особами, как Иванько. А наяву Сергей Сергеевич лишь иногда брал трубку телефона и сообщал мне: да, «Чукоккала» у меня, но читать ее мне решительно некогда и (добавляю от себя, как это ощущалось по его тону) неохота и ни к чему. Так и тянулись мои заискивающие звонки и ленивые отговорки Иванько из месяца в месяц. В издательстве «Искусство» появился новый директор К. Долгов, в типографии пришлось сбросить набор комментария и текста автографов — истек срок хранения — а Иванько все тянул, не читал, уезжал, приезжал, заседал, пока однажды...

Было это в двадцатых числах апреля 1973 года. Позвонив ему очередной раз, я услышала нечто новое: «Издавать “Чукоккалу”»

нельзя, так как в типографии упал потолок и формы разбиты; издание сделано недостаточно факсимильно; я обещал посмотреть книгу, но нет времени».

Сообщение насчет потолка сразило меня наповал — Вы только подумайте: знаменитые участники альманаха, редакторы, фотографы, художники, граверы, ретушеры, офсетные негативы, годы труда большого коллектива, 17 тысяч рублей — все погребено под штукатуркой. Я растерялась и почти плакала в телефон. Я умоляла Иванько сообщить мне, что же именно погибло и что уцелело. Мне показалось, что Сергей Сергеевич был тронут моим отчаянием. Во всяком случае, он обещал запросить список потерь и сообщить мне о них, если я позвоню ему через две недели. Однако через две недели списка ему еще не доставили, но он снова сказал, что в типографии случилась беда, пролились какие-то химикалии и издавать «Чукоккалу» поэтому нельзя.

Положив телефонную трубку, я призадумалась. Что за странная типография, — думала я. Наверно, это какой-то жалкий подвал, где полусгнившие балки подпирают треснувшие потолки и сквозь эти трещины капают разные химикалии. Ужасно, что «Чукоккала» попала в такое место. Но как же издательству «Искусство» удавалось уберечь остальные свои издания от всех этих стихийных бедствий? Пытливая мысль вела меня все дальше и в один прекрасный день привела к воротам типографии «Красный пролетарий» — я постепенно разузнала, что именно там печаталась «Чукоккала».

Те, кто когда-нибудь перешагивал эти ворота, помнят стальную конструкцию этажей, пролеты лестниц, простор огромных цехов. А те, кто не перешагивал, пусть поверят мне на слово, потому что перешагнуть эти ворота не так-то легко. Мне это удалось не без хитрости. Эдаким волком в овечьей шкуре я просочилась в типографию и так объяснила свой неожиданный визит: вот, у вас тут случилась беда, и я пришла, чтобы вам помочь, сэкономить ваше время, я быстро разберусь, что именно уцелело, мне это все знакомо с детства. Я ожидала, что мои собеседники отзовутся — да, «Чукоккала», штукатурка, химикалии. А они смотрели на меня доброжелательно, но с полной безмятежностью и изумлением. И я все плела, что хочу помочь им разобраться, работы не боюсь, могу сидеть днем и ночью, лишь бы дело двинулось быстрее. Наборщики глядели все более настороженно и,

наконец, кто-то из них спросил — в чем, собственно, дело, какая беда, зачем сидеть днем и ночью и почему я вообще явилась и отрываю их от работы. И тут я сделала ложный шаг:

— Мне сказали, что у вас упали потолки и повреждены некоторые чукоккальские негативы.

— Кто вам сказал?

— В Комитете по печати.

Мои собеседники мгновенно утратили интерес к сюжету. Да и мне все было уже ясно. Я покинула типографию и больше ни разу ни с чем не обращалась к Вашему герою — Сергею Сергеевичу Иванько.

Досадно, конечно, что я потратила на звонки к нему столько времени. Лифтерша в Вашем доме гораздо быстрее меня поняла, что это за птица. Она заметила, что он даже сани привез из Америки. А чего можно ожидать от человека, который садится не в свои сани, известно давно.

Здесь следовало бы поставить точку на всей истории с «Чукоккалой», но «Иванькиада» показала мне, что есть одна инстанция, которую я проморгала в своих хлопотах об альманахе. А между тем — это единственная инстанция, которой удалось одержать победу над С. С. Иванько и его высокими покровителями. Я имею в виду Общее Собрание Пайщиков Кооператива «Московский писатель».

И ведь я куда только не тыкалась, сколько я о «Чукоккале» хлопотала, — рассказывать и то долго: писала письма — Секретарю Союза Писателей, члену Комиссии по лит. наследию К. Чуковского В. М. Озерову, секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву, председателю Госкомитета по печати Б. Стукалину, звонила В. Туркину, который теперь вместо Иванько в этом же Комитете, ходила в издательство «Искусство» — все как-то не двигается воз. То есть не то чтобы дело совсем не двигалось — перечисленные лица и учреждения, конечно, всецело за издание книги. Но все же поймите и меня — через несколько месяцев 11 марта 1976 года исполнится *десять* лет, как подписан договор с издательством и книга сдана в редакцию. Все-таки не шутка — 10 лет напряженного труда, борьбы и дерзаний. Годы уходят, силы слабеют, а чего-то завершающего мне в этом деле не хватает — не то верстки, не то сверки, не то суперобложки, одним словом сама не знаю толком чего именно.

Вот недавно, этим летом, в издательство «Искусство» пришел новый — уже третий — директор (я забыла Вам сказать, что Е. Севастьянов и К. Долгов шагнули на более высокие ступени служебной лестницы). Так вот, пришел новый директор — Б. Вишняков. Недели через две после того, как он приступил к работе, я отправилась к нему на прием. Он, разумеется, тоже за то, чтобы издавать «Чукоккалу». Но пока, к сожалению, не успел ее прочитать. И потом он сказал мне, почему-то чуть понизив голос, что в будущем году ожидаются трудности с бумагой. Мало будет бумаги. А тут еще типография требует с издательства какой-то штраф за «Чукоккалу». Но он постарается все уладить и позвонит мне через две недели. И телефон мой записал.

Уже больше двух месяцев прошло с того разговора, а он все не звонит. Наверно, с бумагой совсем плохо.

Когда мой Дед, Корней Чуковский, подарил мне в 1965 году свой альманах «Чукоккала», он сделал на ее форзаце надпись, которая кончалась словами: «...она (то есть я) может делать с ним, с альманахом, все, что заблагорассудится ей».

И вот мне заблагорассудилось, застряла в голове такая шальная мысль — во что бы то ни стало опубликовать эту книгу на родине ее замечательных участников и ее собирателя и создателя.

Прочла я, Владимир Николаевич, Вашу «Иванькиаду» и у меня возник новый план. А что, если я от имени некоторых участников альманаха — ну, скажем, Маяковского, Репина, Шаляпина, Ал. Толстого, Горького (выберу таких, кто для начальства повнушительней) — что, если я от их имени обращусь к Пайщикам Жилищного Кооператива «Московский писатель». За эти годы у меня сложилось впечатление, что жилищные кооперативы и управдомы могут руководить изданием книг на том же уровне, что и Комитет по печати. Я составлю такое примерно заявление в Ваш Жилищный Кооператив:

«От имени многочисленных участников альманаха “Чукоккала” (список участников см. в начале моего письма) прошу взыскать с члена вашего Кооператива С. С. Иванько 17 тысяч рублей, потраченных по его вине впустую на подготовку к изданию “Чукоккалы”. Вышеупомянутый т. Иванько не обеспечил нужного качества потолков во вверенном ему подсобном помещении. Указанная сумма необходима для оплаты штрафа, наложенного типографией в связи с длительным сроком хране-

ния негативов, а также для компенсации затрат на сброшенный набор текста книги.

Принимая во внимание заслуги участников альманаха перед русской культурой, а также учитывая правительственные награды собирателя альманаха — Лауреата Ленинской премии, почетного доктора литературы Оксфордского университета *honoris causa*, писателя-орденоносца Корнея Чуковского прошу Общее Собрание Пайщиков Жилищного Кооператива “Московский писатель” объявить среди жильцов сбор макулатуры для обеспечения будущего издания “Чукоккалы” бумагой».

Как Вы думаете, Владимир Николаевич, может, стоит подать такое заявление? Мне кажется, что если Жилищный Кооператив конструктивно подойдет к выдвинутым мною предложениям, то удастся преодолеть препятствия, лежащие (точнее, сидящие) на пути издания.

Иванько, наверно, за деньгами не постоит, ведь он их много сэкономил, раз не пришлось ломать капитальную стену, покупать Бажовой однокомнатную квартиру, «оборудовать» еще одну комнату и т. д. И макулатура, я думаю, в наше время тоже не проблема.

Дорогой Владимир Николаевич! Простите, что я взваливаю на Ваши плечи эту новую заботу — хлопоты о «Чукоккале» в Правлении Жилищного Кооператива. Но ведь, как известно, победителей не судят. От них ждут новых побед. И может быть, благодаря Вашей «Иванькиаде» многострадальный и долготерпеливый читатель откроет, наконец, в один прекрасный день «Чукоккалу» и прочтет на ее страницах пока неведомые ему стихи и прозу прославленных деятелей нашей бессмертной и хрупкой, вечной и ускользающей русской культуры.

*С искренним уважением
Елена Чуковская
24 октября 1975 г.*

МЕМУАР О «ЧУКОККАЛЕ»*

После выпуска в свет в 1979 году первого урезанного цензурой издания «Чукоккалы», я решила записать для себя всю историю этого издания. Так был написан этот «мемуар» в стол, для неизвестного будущего.



а кануне 1-го апреля 1979 года, того дня, когда Корнею Ивановичу исполнилось бы 97 лет, в издательстве «Искусство» вышла, наконец, «Чукоккала».

В переделкинском доме Чуковского, где в этот день собираются его близкие и друзья и устраиваются выставки документов его архива, на столе стояли четыре экземпляра «Чукоккалы» в ярко-желтой суперобложке.

Это было странно, в это не верилось, казалось, что этого не может быть.

Издание альманаха тянулось пятнадцать лет, рукопись была сдана в издательство весной 1966 года. С тех пор судьба альманаха обростала легендами, слухами, и я чувствую потребность оглянуться назад, вспомнить, что и как было на самом деле.

Начало пути

Начну издалека. В 1964-м году я решила перепечатать «Чукоккалу» на машинке. Меня тревожило, что рукописный альманах существует в единственном экземпляре, что он не сфотографирован (за исключением рисунков Репина и Маяковского) и не переписан. Работа тянулась долго, печатая, я спрашивала Корнея Ивановича о тех или иных непонятных, неразборчивых записях, он помогал разгадывать невнятные для меня подписи участников, рассказывал историю текстов и рисунков. Рассказы эти были очень хороши. Тогда уже появились магнитофоны, и я хотела

* Чукоккала. М.: Премьера, 1999. С. 351–366.

записать, как Корней Иванович говорит о «Чукоккале». Однако когда было назначено время записи и я приехала со своим громоздким магнитофоном «Днепр-10», оказалось, что К. И. за ночь написал текст, который и прочел по написанному. Это был первый вариант будущего предисловия к изданию альманаха.

Тогда же были сделаны первые непрофессиональные фотографии многих страниц альманаха и кроме того я составила подробный именной указатель, потому что иначе мне трудно было найти нужную запись: альманах очень хаотичен. Корней Иванович дорожил своей «Чукоккалой», всегда хранил ее в своем кабинете, показывал только из своих рук. Указатель он невзлюбил и не воспользовался им ни разу. Он легко ориентировался в хаосе своего альманаха безо всяких указателей.

Несмотря на это моя работа его радовала, ему вообще нравилось, когда окружавшие его люди втягивались в водоворот его многообразных, непрерывных дел.

Летом 1965 года издательство «Искусство» затеяло выпустить альманах и вскоре началась его подготовка к печати.

В октябре 1965 года К. И. подарил альманах мне. Дарственную надпись он наклеил на форзац. Она гласила:

«Альманах “Чукоккалу” со всеми приложениями к нему дарю своей внучке Елене Цезаревне Чуковской.

Отныне это ее полная собственность, и она может делать с ним, с альманахом, все, что заблагорассудится ей. Корней Чуковский. 4 октября 1965 г. Переделкино».

В декабре К. И. привлек к работе Н. А. Белинкову, которая должна была собирать в библиотеках нужные для комментария справки и разыскивать фотографии участников альманаха. Наталья Александровна отыскивала редкие фотографии Олейникова и Собинова, со справками дело шло хуже, и через несколько месяцев ее участие в работе вообще прекратилось*.

* В мае 1968 года А. Белинков с женой бежали за границу. Через некоторое время Н. А. Белинкова опубликовала в альманахе «Мосты» (1970. № 15. С. 318) статью под названием «Чуковский и его “Чукоккала”». Читая эту статью, я с грустью убедилась, что за время своей работы с альманахом Н. А. его даже не прочла. Например, в качестве чукоккальской записи она приводит чью-то остроту: «Федин — это чучело орла». Но на страницах «Чукоккалы» этой остроты нет. Столь же недостоверны и произвольны и другие сведения, сообщаемые ею о Корнее Ивановиче и его альманахе.

Может возникнуть вопрос: почему, комментируя свой альманах, Чуковский написал, например, о Сологубе целую статью, а о Ходасевиче — ни единого слова. В какой мере это соответствует его отношению к названным поэтам, его интересу к ним.

Для того чтобы ответить на вопросы такого рода надо сделать небольшое отступление о характере Корнея Ивановича. За семьдесят лет своей литературной деятельности он привык работать исключительно для печати. В стол для себя он писал только Дневник. Поэтому чукоккальский комментарий отражает не столько то, что мог и хотел сказать о своем альманахе Чуковский, но — то, что он считал возможным напечатать. Будущее показало, что и при этом ограничении, он сильно переоценил такие возможности. Этот комментарий неразрывно связан с литературным климатом 1966 года — того времени, когда альманах готовился к печати. Сологуб был в это время «забытым писателем» и Чуковский хотел привлечь к нему внимание. Мандельштам был уже реабилитирован, но последняя книга его стихов вышла в 1928 году. Поэтому в своем комментарии Чуковский так много цитирует Мандельштама, рассказывает о его ранних книгах. Тут та же цель — не столько прокомментировать чукоккальский автограф, сколько громко напомнить о Мандельштаме.

Самоцензура, вернее ясное понимание что «не напечатают», привели к тому, что многие драгоценные и любимые страницы «Чукоккалы» Чуковский вообще не включил в подготовляемое издание, а, значит, и не написал к ним комментария.

И наконец, он намеренно не сдал в печать множество своих собственных стихов, рисунков, буриме, шуток, которыми изобилует альманах.

После всех этих оговорок понятно, что издание «Чукоккалы» было задумано ее владельцем, как первый шаг, отнюдь не исчерпывающий тему.

День с Ираклием Андрониковым

Предисловие к альманаху обещал написать Ираклий Андроников.

Он жил в Переделкине неподалеку от Корнея Ивановича, они часто виделись и очень дружили. Ираклий Луарсабович хотел помочь движению альманаха к читателю. Он дал согласие издательству «Искусство» написать такое предисловие. Время

подачи этого предисловия в издательство наступило, потом и прошло, а предисловия всё не было. Наконец Ираклий Луарсабович позвонил, что всё готово и можно зайти. И я отправилась на дачу Андрониковых.

Однако оказалось, что злополучного предисловия так и нет. Ираклий Луарсабович при мне пододвинул к себе рукопись и стал читать ее разными голосами. Он на глазах превращался то в Пастернака, то в Тынянова, то в Маршака, и я ужасно жалела, что этот поразительный спектакль «звучащей Чукоккалы» не видит никто, кроме меня. Спектакль продолжался несколько часов, а когда была перевернута последняя страница рукописи, Андроников попросил зайти за предисловием дня через два.

Действительно, через два дня предисловие было готово. Оно называется «Корней Иванович и его “Чукоккала”» и открывает первое издание альманаха 1979 года. Приведу здесь некоторые выдержки из этого вступления к альманаху:

«...Сорок лет знал я Корнея Ивановича... Вчерашний день не уходил от него в прошлое. Все, кого встречал он, — словно всегда оставались возле него. Ясность и яркость памяти — ассоциативной, зрительной, слуховой — были у него поразительны. Умение запомнить в человеке самое интересное казалось нам просто чудом. То, что у нас всех улечивается из памяти в ту же минуту, Корней Иванович видел и слышал долгие годы. Он умел остановить мгновение, возвратить время. И в этом ему помогала “Чукоккала” — еще одно создание его таланта, памятник небывалый в истории русской литературы. Других таких нет!

Более полувека назад, а точнее — летом 1914 года, живя рядом с Репиным на даче под Петербургом, в Куоккале, Корней Иванович завел тетрадь для автографов. Ей было дано шутовское прозвище. Кто только не брал в руки «Чукоккалу»! Кто не рисовал в ней, не писал в ней шуток, стихов! Тут великолепнейшие рисунки Ильи Репина, выполненные с помощью чернил и окурка, шаржи, рисованные Владимиром Маяковским, стихи Блока, экспромты и записи Горького, Леонида Андреева, Бунина, Куприна, Алексея Толстого... Тут Римский-Корсаков, Лядов, Шляпин, Герберт Уэллс, Конан Дойл. Тут Луначарский, художники Юрий Анненков, Добужинский, Александр Бенуа, Петров-Водкин, Григорьев, Фешин... Тут вся литература и все ее связи от Кони и Аркадия Аверченко до Берестова и Дудина — Шкловский, Мейерхольд, Собинов, Зоценко, Маршак, Ахма-

това, Паустовский, Пастернак, Паоло Яшвили, Бабель, Катаев, Тихонов, Михаил Кольцов, Алигер, Щипачев, Каверин, Евгений Шварц, Казакевич... Такого количества выдающихся авторов не имел ни один журнал в мире!

Читаешь эти шуточные строки с восхищением. Необыкновенная культура стиха! Великолепнейшее искусство экспромта, который и возникнуть-то может только в таком альбоме, блещет в нем всеми красками, а напечатанный в “полных собраниях” — отдельно — тускнеет, теряя без контекста свою остроту.

Тут записи вяжутся между собой, одна шутка порождает другую. Поэты и художники соревнуются. Слышны интонации разговора и смех. Великие мастера не смотрят на вас с пьедесталов, а шутят за чайным столом, в кабинете, в редакциях — всюду, где слышится звонкий голос Корнея Ивановича, предлагающего своим собеседникам чистый листок, который он потом вклеит в “Чукоккалу”.

Это стихи и рисунки, которые никогда не явились бы свету, если бы их не вызвал к жизни Чуковский. Здесь все рисовано, вписано в светлые минуты, в присутствии Корнея Ивановича — умно, жизнерадостно, тонко!

Вы скажете, что для прошлого века, и особенно для русского общества, характерна высокая культура альбома — коллекций посвящений в стихах или просто автографов известных людей. Скажете, что на альбомных страницах возникли такие шедевры Пушкина, как “Черноокая Россети в самовластной красоте...”, или лермонтовский экспромт “Любил и я в былые годы...”, вписанный в альбом Софьи Карамзиной...

Все верно! У “Чукоккалы” были неплохие предшественники. Но Корней Иванович не только продолжил традицию. Он превратил альбом в соревнование талантов. И отличительная особенность “Чукоккалы” не только в том, *кто* писал, но и *кому* писали. И вот личность самого составителя, его талант литературный и человеческий, его выдающееся положение в литературе XX века в сочетании с этим множеством великолепных имен — авторов и художников, создававших “Чукоккалу”, — делают ее уникальной. Решительно альбомов других, подобных “Чукоккале”, нет! Столь богатых по именам и по множеству дарований альбомов, таких необыкновенно разнообразных, иллюстрированных, долголетних — шутка сказать, столетия, — нет, таких просто не существует!

Наконец-то Корней Иванович решает ее издать. Но...

Кроме великих людей, которых все знают, тут люди, чьи имена уже не вызовут сегодня никаких представлений. Притом это записи, возникавшие каждый раз по случайному поводу, сделанные в разное время. Как много говорит каждая самому Корнею Ивановичу, как интересно это специалисту! Но чтоб было понятно всем, Чуковский пересматривает “Чукоккалу” и приписывает к каждой шутке, экспромту, рисунку великолепные пояснения. Как бы перелистывая вместе с вами страницы, заполнявшиеся пятьдесят с лишним лет, он ведет вас сквозь литературу двадцатого века, рассказывая о друзьях и знакомых. Получается необыкновенный рассказ, и весьма неожиданный. Веселый, остроумный, шуточный, он оказывается бесконечно богатым и очень серьезным по содержанию, очень значительным. Смотришь — диву даешься! Ведь это же биография Корнея Ивановича, да какая еще! Писанная друзьями.

Это история каждого знакомства, каждой дружбы его.

Это и биография времени.

Это история жизни литературной! Те черты, каких не найдешь ни в собраниях сочинений, ни в письмах. Но именно по ним можно судить о литературной атмосфере, окружавшей Корнея Ивановича, об отношениях литераторов, художников между собой, об их творческих связях, о характере каждого...

Что же это такое? Альбом?

Да, альбом.

Или история?

Конечно, история.

Автобиография Корнея Ивановича?

Вне сомнений.

Может быть, мемуары?

И мемуары.

Здесь все. И в этом тоже неоценимая прелесть “Чукоккалы”: она не похожа ни на одну книгу. И совершенно неповторима. Это просто великое дело, которое, начавшись с шутки, превратилось в творение, полное ума и таланта. И снова тут проявилась удивительная черта Корнея Ивановича: в “Чукоккале” — все современники. Даже и те, что принадлежат к разным эпохам и никогда друг друга не видели. Корней Иванович всех спаял, всех сдружил потому, что это его друзья, его жизнь — настоящее и прошлое вместе. И книга получилась увлекательная, блестящая,

как Корней Иванович сам, как весь его необыкновенный, богатырский талант — новаторский, светлый, не похожий ни на кого в целом мире!»

Первые тучи

В Переделкино частенько наезжали издательские редакторы: Юрий Максимилианович Овсянников и Софья Анатольевна Николаева. Бывал и Евгений Евгеньевич Смирнов — художник, автор макета и Инна Георгиевна Румянцева — художественный редактор «Чукоккалы».

Сам тип издания, макет будущей книги складывался с трудом. Не было аналогий, не было предшественников. В редакции шли споры — давать ли факсимильные листы из альманаха, а потом в конце книги пояснения к ним или объединять записи и рисунки по темам, по авторам, по сюжетам. В конце концов, книга оказалась построена так же, как обычно строил свои рассказы о ней Корней Иванович, показывая альманах своим друзьям. Он никогда не отделял автографа от своего рассказа про обстоятельства, вызвавшие его к жизни.

Свой комментарий Чуковский написал легко и быстро. Новые большие статьи о Сологубе, Гумилеве, Мандельштаме и небольшие эссе об Евреинове, Юрии Анненкове, Замятине, Добычине были написаны за несколько месяцев.

Замысел художника нравился Корнею Ивановичу: формат будущей книги — такой же, как формат рукописного альманаха. Видное место в книге должны были занять факсимильно воспроизведенные страницы «Чукоккалы» — их было около ста восьмидесяти.

В тех случаях, когда страница альманаха дана не полностью — автограф был уменьшен и помещен в полосе набора.

Сотрудники издательства говорили, что такой полиграфически сложной книги вообще не встречалось в их практике.

Но вот, наконец, настал день, когда Е. Смирнов привез в Переделкино окончательный макет книги. Корней Иванович был очень доволен работой художника. Спустя некоторое время была сделана и суперобложка, которая тоже понравилась Корнею Ивановичу. А форзац он придумал сам — предложил составить его из портретов участников альманаха.

К 1967-му году работа художника была почти закончена, а Корней Иванович дописал свой комментарий. Полным ходом

шли трудные многочасовые съемки страниц альманаха. Эти съемки делал Юрий Павлович Семенов. Снимали в Первой Образцовой типографии на каких-то громоздких аппаратах. Кроме листов из «Чукоккалы» переснимали также множество фотографий, афиш, писем — разных материалов из архива, которые К. И. собирался тоже включить в будущую книгу. В зависимости от сохранности документов их надо было кропотливо ретушировать — одним словом и тут работы было много.

Пока шли эти съемки над изданием начали собираться первые тучи. Дело в том, что наиболее интересные страницы альманаха связаны с двадцатыми годами — Домом Искусств, издательством «Всемирная литература». Многие из тех, кто писал на этих страницах, впоследствии оказались в эмиграции. Можно назвать, например, Юрия Анненкова, Алексея Ремизова, Евгения Замятина, Владислава Ходасевича, Георгия Иванова, Зинаиду Гиппиус, Дмитрия Мережковского и других.

Подготавливая к печати свой альманах, К. И. возобновил переписку с Юрием Анненковым и прочел опубликованные на Западе обширные воспоминания Ирины Одоевцевой, Ходасевича, Ник. Оцуца и Юрия Анненкова об этом времени. Воспоминания Одоевцевой и Анненкова появились в середине шестидесятых годов, как раз когда писался чукоккальский комментарий. Воспоминания Анненкова навлекли на него гнев какого-то высокого идеологического начальства и, видимо, было дано распоряжение не упоминать в печати его имени. С воспоминаниями Одоевцевой вышло еще хуже. В своей книге «На берегах Невы» она утверждала, что Гумилев был участником антисоветского заговора.

«На вопрос: был ли Гумилев в заговоре или он стал жертвой ни на чем не основанного доноса, отвечаю уверенно: Гумилев бесспорно участвовал в заговоре», — пишет Одоевцева. Далее она рассказывает: «Он стоит во главе ячейки и раздает их [деньги] членам своей ячейки». И еще описывает Одоевцева, как Гумилев ищет у себя в книгах затерявшийся «очень важный документ... черновик кронштадской прокламации»*.

Похоже на то, что с выходом книги Одоевцевой были наконец получены «доказательства вины» Гумилева, которых не

* И. Одоевцева. На берегах Невы. Изд. В. П. Камкина, 1967. С. 430–438.

было раньше*. Так или иначе после расстрела Гумилева был издан сборник его стихотворений (Пг.: Мысль, 1922), а теперь, в середине шестидесятых годов, после выхода книги Одоевцевой имя Гумилева стали настойчиво вычеркивать из всех статей о русской поэзии начала века. Не могло быть и речи о публикации его стихов или статьи, ему посвященной.

А между тем Корней Иванович не только включил в подготавливаемое издание несколько чукоккальских автографов Гумилева, но и написал об этих автографах обширный комментарий и ввел в этот комментарий свои воспоминания о Гумилеве. Получилась большая статья. К началу 1968 года стало очевидным, что эта статья о Гумилеве и его автографы в альманахе не будут пропущены в печать. Издательство явно опасалось и за рисунки Ю. Анненкова, которых было много в книге.

Корней Иванович отдавал себе полный отчет в том, что дела складываются весьма неблагоприятно, но не сделал никаких попыток ускорить движение рукописи. Сейчас мне известны некоторые его дневниковые записи этого времени: «30 октября 1967. ...знаю, что глаза мои уже не увидят... напечатанной “Чукоккалы”»; «31 марта 1968. ...Итак, у меня в плане 1968 г. три книги, которые задержаны цензурой: — “Чукоккала”, “Вавилонская башня”, “Высокое искусство”»; «17 сентября 1968. С моими книгами худо... “Чукоккалу” задержали».

К этому же времени относится знаменательная открытка Корнея Ивановича — ответ читателю, который спрашивал, когда выйдет «Чукоккала» и как ее купить. В марте 1968 года К. И. ответил своему корреспонденту: «Издательство “Искусство”... так загромождено очередной работой, что трудиться над “Чукоккалой” ему приходится лишь урывками. При таких темпах “Чукоккала” выйдет лишь в 1979 году — до которого я едва ли доживу. Как видите, все обстоит благополучно»**.

Та точность, с которой К. И. отодвинул дату выхода книги на 11 лет («Чукоккала» действительно вышла именно в 1979 году) показывает, как мало у него было иллюзий на этот счет.

* В настоящее время Гумилев полностью реабилитирован. Он был обвинен и расстрелян по сфабрикованным Аграновым обвинениям. Подробнее см.: Борис Краевский. «Дело Таганцева»: кем и как оно было сделано // Общая газета. 1995. № 49. С. 12. — Примеч. 1998 года.

** Открытка к Н.П. Беленькому, 11.3.68 (по почт. штемпелю). Оригинал хранится у адресата, цитируется по фотокопии, любезно присланной мне владельцем в 1977 году.

В дни своей предсмертной болезни, в больнице, Корней Иванович не раз вспоминал о своем альманахе и сетовал, что так и не дожил до его выхода в свет.

«Чукоккала» и бюрократы

После кончины Чуковского (28 октября 1969 года) книга некоторое время продолжала двигаться по инерции. В издательство из типографии поступали рулоны оттисков — факсимильных листов альманаха. Раза два меня приглашали в редакцию, чтобы сообщить, что надо убрать из книги автографы Пильняка, или Гумилева, или Паперного, попавшего в это время в немилость. А в июне 1971 года мне дали гранки «Чукоккалы». Пока я держала корректуру до меня всё время доходили слухи, что гранки эти пошлют на утверждение в какие-то инстанции. Привожу выборочно записи из своего делового дневника, по которым легко судить о дальнейшем движении книги:

«28 августа 1971. «Чукоккалу» сдали в Комитет по печати. С.А. говорит, что это очень плохо. Может, зря я суежилась.*

*28 декабря 1971. С «Чукоккалой» беды, заморозили в Комитете по печати. Атаров** звонил Иванько, тот его отшил.*

*Зиюня 1972. Ходила к Севастьянову***. Увертливо-вежливый, бесполезный разговор.*

14 ноября 1972. Севастьянов не принял меня и Атарова по поводу «Чукоккалы»».

Три месяца спустя, так и не добившись ничего в издательстве, я пошла в Комитет по печати и передала письмо на имя председателя Комитета Бориса Ивановича Стукалина. Это пространное письмо о мытарствах книги кончалось так: «Я обращаюсь к Вам потому, что издание «Чукоккалы» в издательстве «Искусство» вступило в полосу непонятной и необъяснимой проволочки (набор был осуществлен в мае 1971 года, т. е. более двух лет назад). Очень прошу Вас лично или через своих помощ-

* Софья Анатольевна Николаева — в те годы издательский редактор «Чукоккалы».

** Николай Сергеевич Атаров (1907–1978), писатель, председатель комиссии СП СССР по литературному наследию Корнея Чуковского.

*** Евгений Иванович Севастьянов — директор издательства «Искусство».

ников вмешаться в судьбу “Чукоккалы” и устранить препятствия к ее изданию».

Мое письмо не было передано Стукалину. Его перепасовали тому самому Иванько, у которого уже почти два года валялся макет книги. Начались мои телефонные звонки к нему и его отговорки. Иванько сперва утверждал, что вообще не видел никакого макета, и только мои ссылки на его разговор с Атаровым заставили Иванько переменить пластинку и объявить мне, что издавать книгу нельзя, так как в типографии, где она лежала, обвалился потолок и повреждены все пленки. Я попросила сообщить мне, что же уцелело? Через две недели Иванько сказал мне, что треснул потолок и пролились какие-то химикалии.

А теперь снова цитирую свой деловой дневник:

«13 июня 1973. Была в типографии. У них всё абсолютно цело и сохранно. Таким образом, все разговоры Иванько просто наглая ложь. В душе я была в этом уверена и всё же удивилась. Как теперь быть? Кому жаловаться? В издательстве мне сообщили, что с завтрашнего дня приступает новый директор — Константин Михайлович Долгов (из “Коммуниста”»).

Вернувшись из типографии, я решила, двигаясь по ступеням иерархической лестницы, жаловаться на действия Комитета по печати в ЦК и обратилась с письмом к секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву: «Я прошу Вас помочь мне в выяснении и устранении причин, задерживающих выход в свет альманаха Корнея Чуковского “Чукоккала”», — писала я. Рассказав затем о маневрах Комитета по печати, я заканчивала письмо так: «Сегодня я спокойно и ответственно могу утверждать, что не технические трудности препятствуют выходу “Чукоккалы”. Книга совершенно готова к изданию... При всем богатстве нашей культуры, издание, включающее рисунки Репина и Маяковского, автографы Горького, и многих других замечательных авторов, как мне кажется, заслуживает более бережного отношения».

Через несколько дней я попала в тяжелую автомобильную аварию и на некоторое время отошла от дел.

В начале сентября мне позвонил по поручению П. Н. Демичева его референт — Козловский. Мне было сказано, что решено «Чукоккалу» издавать, мое письмо поддержал И. Андроников.

17 октября 1973 года (через четыре года после смерти Корнея Ивановича) меня принял новый директор издательства «Искус-

ство» К. М. Долгов и обещал издать «Чукоккалу» в 1974—75 году. Так завершился первый тур битвы за книжку.

Здесь я должна сделать небольшое отступление. У читателя может возникнуть вопрос — а стоила ли игра свеч? Надо ли было обивать столько порогов, ходить, просить, писать, жаловаться? Часто мне приходилось слышать по этому поводу от друзей: давно пора издать «Чукоккалу» за границей в неурезанном виде. Были и практические предложения на этот счет. Я, однако, думала иначе. Я рассуждала так: К. И. остался в России, хотя многие из его литературных друзей и знакомых эмигрировали. Все свои книги он издал здесь, мне известны случаи, когда он запрещал заграничные издания, считая свои сказки и многие книги непереводаемыми. «Чукоккала» особенно трудна для перевода, так как все эти записи и рисунки вне исторического контекста, да еще в переводе совершенно обесцветятся. Поэтому издавать за границей можно только по-русски, только в интересах сохранности альманаха, только для узкого круга специалистов-славистов. Осуществить такое издание технически очень трудно, никаких шансов принять участие в его подготовке у меня нет. Поэтому, пока остаётся хоть тень надежды издать хоть часть альманаха в России, я не должна отступать.

Реанимация

Между тем, после моего письма к Демичеву, рукопись «Чукоккалы» в издательстве снова пришла в движение. В конце 1973 года был назначен новый редактор — Валентин Иванович Маликов. Он внимательно изучил всё дело, сверил тексты с автографами, сделал множество важных текстологических замечаний, заставил меня заново проверить все цитаты, ссылки и проч. В декабре 1973 года была закончена подготовка рукописи для нового набора.

Но тут снова навалились «технические трудности». Типография отказалась делать новый набор со старых гранок и несчастную «Чукоккалу» вернули для перепечатки в издательство. Мне пришлось переносить все поправки с гранок на первоначальную рукопись и с этой исправленной рукописи «Чукоккалу» снова печатали на машинке в издательстве, снова вычитывали корректоры, а затем снова читали в дирекции, что-то сокращали, обсуждали в главной редакции, тянули время. Выяснилось, что

послать рукопись в набор можно только вместе с плёнками факсимильных листов, и тут началась эпопея, о которой тоже надо сказать несколько слов.

Начальство почему-то постановило передать заказ из типографии «Красный пролетарий», где находились все офсетные пленки, в Первую Образцовую типографию, которая должна была выпустить книгу. Между тем плёнки лежали в «Красном пролетарии» уже пять лет. Они в полном беспорядке загромождали шкафы в гравёрном цехе, и типография потребовала с издательства большой штраф за их длительное хранение. Сохранность плёнок тоже внушала тревогу: во-первых, их качество по мере лежания ухудшалось, во-вторых, неясно было, всё ли уцелело, так как в свое время Комитет по печати распорядился не хранить этих материалов. Часть плёнок находилась в издательстве и являла собой свалку каких-то фотографий, завернутых в какие-то бумажки, никак не надписанные. Мне пришлось затратить недели на то, чтобы разложить по порядку пленки в издательстве. Затем меня на месяц командировали на «Красный пролетарий», где я отдирала пленки «Чукоккалы» от больших монтажных листов, разбирала шкафы в гравёрном цехе и, наконец, сложила все имеющиеся негативы, диапозитивы, растровые плёнки в строгом порядке, с надписями и номерами, составила опись того, что есть и того, чего недостаёт и, вместе с этой описью, передала объемистую папку пленок для хранения в сейфе начальника цеха. Однако это еще не было окончанием дела, потому что издательство и типография никак не могли сговориться насчет размеров штрафа за длительное хранение пленок в типографии. Кроме того в Первую Образцовую типографию надо было передать полный комплект всех плёнок, а для этого нужно было сделать досъемку недостающих сюжетов. Издательство опасалось, что типография откажется принять старые пленки и «досъемка» может превратиться в *съемку заново* сотен факсимильных записей и рисунков.

Тем временем новый директор сделал старый жест — рукопись «Чукоккалы» снова отослали в Комитет по печати. И я снова звонила туда, на этот раз Туркину, который занимал теперь место Иванько. И снова Туркин уклонялся, просил позвонить через две недели — и так тянулось еще два года, в течение которых и Туркин, и Долгов в конце концов ушли со своих постов, а злополучная «Чукоккала» так и не была отправлена в печать.

В августе 1975 года я побывала на приеме у нового (уже третьего!) директора издательства «Искусство» — Бориса Владимировича Вишнякова. Он был благожелателен, обещал книжку издать, спросил — «нельзя ли сократить эти мемуары, так как у издательства мало бумаги», и поинтересовался, утвержден ли список участников альманаха в ЦК? Изо всего этого я поняла, что вся история начинается с самого начала, попросила позвонить мне, если возникнут деловые вопросы, и ушла, оставив за директорскими дверьми остатки своих надежд.

Шел десятый год попыток издания альманаха, и я не то чтобы устала, но изверилась в полезности хождений, просьб, объяснений, уговоров.

Осенью 1975 года мне дали прочесть рукопись «Иванькиады» В.Н. Войновича. Я не была знакома с автором, зато хорошо помнила его героя — Сергея Сергеевича Иванько. Кто-то рассказал Войновичу о кознях Иванько против «Чукоккалы» и на страницах «Иванькиады» Владимир Николаевич, хоть и с чужих слов, но с абсолютной точностью, лёгкой рукой художника передал самую суть, квинтэссенцию тех разговоров, которые мне приходилось вести, отстаивая книжку. Не могу удержаться, чтобы не процитировать «Иванькиаду»:

«...Как насчет “Чукоккалы”? Конечно же ее следует издать. Всенепременно. И он [Иванько. — *Е. Ч.*] лично целиком за. Он прилагает все усилия, только этим и занимается. Он большой поклонник покойного классика. С детства помнит “Ехали медведи на велосипеде...” Да, Корней Иванович обладал крупным талантом. Его смерть — большая и невосполнимая утрата для детей и для взрослых. Да, безусловно, его литературное наследство имеет огромную ценность, и мы непременно опубликуем всё, что достойно. Но в данном случае произошла неожиданная неприятность. Произошло... (что бы такое придумать)... непредвиденное происшествие. В типографии книгу набрали, но... (ура, придумал) ...обвалился потолок. Вы представляете! Вот так они работают, наши хваленые строители. Потолок обвалился, все матрицы вдребезги. Конечно, можно снова набрать, но сами понимаете, у нас хозяйство плановое, опять набирать “Чукоккалу”, значит остановить весь поток. Разумеется, мы к этой вещи вернёмся, изыщем возможности, но на всё нужно время. Простите, телефон. Иванько слушает... да, да, хорошо, сейчас буду. Вот опять не дали поговорить, вызывает начальство. По-

звоните мне... сейчас посмотрим, что у нас на календаре... нет, на этой неделе никак не получится, на следующей... гм... гм... да, следующая тоже забита полностью... значит, примерно через две недели... Был очень рад! очень!»*

Я была поражена психологической точностью этого рисунка. Вскоре я познакомилась с Войновичем и передала ему своё письмо о роли Иванько в истории с «Чукоккалой»**.

Этой же осенью я открыто, по телефону, начала переговоры с издательством Oxford University Press относительно выпуска «Чукоккалы» в Англии. Английское издательство обратилось за разрешением в ВААП, но не получило никакого ответа. Так подступило 11 марта 1976 года — десятая годовщина со дня подписания договора с «Искусством» и сдачи рукописи в издательство. К этому моменту мое отношение к происходящему перешло в холодное бешенство. Я уже не опасалась испортить дело своей неуместной резкостью или необдуманым шагом. Напротив, в самый день этой годовщины я побывала в ВААПе, пытаюсь выяснить возможности издания альманаха в Англии. Среди тех, кому я звонила, оказался Н. П. Карцов — начальник Управления по вопросам художественной литературы. Вдруг я услышала на другом конце провода голос весьма сочувственный. Карцов сказал мне, что помнит Корнея Ивановича, бывал у него, видел у него «Чукоккалу» и постарается мне помочь. Он подтвердил, что письмо из Оксфорда они получили и готовят ответ.

Через две недели мне неожиданно позвонил директор издательства «Искусство». Он вчера занялся вопросом о «Чукоккале», книга будет издана в конце этого года, сейчас он снова ее читает... Я не сказала ничего, кроме: благодарю Вас за это известие. Про себя отметила — всё же *письменно* мне ни разу не ответили, то есть никакой гарантии нет. Однако похоже было на то, что где-то что-то решили, и дело, может быть, сдвинется с мели.

Через несколько дней В. Н. Войнович сообщил мне, что моё письмо к нему о судьбе альманаха опубликовано в виде приложения к его «Иванькиаде», изданной в Америке издательством «Ардис».

* В. Войнович. Иванькиада. Ann Arbor: Ardis, 1976. С. 70.

** См. с. 9 — 15 наст. изд.

Так начинался одиннадцатый год издательской эпопеи.

Однако прошло еще около года, прежде чем я записала в своем деловом дневнике:

«11 ноября 1976. Исторический день. Днём звонили из “Искусства”, “Чукоккала” передана в Первую Образцовую типографию для набора (!) Во мне затеплилась надежда, хотя боюсь дать ей разгореться, да и одолевают мысли о тех сокращениях, которые уже сделаны. Жалко их. И боюсь, что книжка без этих опорных точек будет слабовата. Но, с другой стороны, всё же основной корпус будет напечатан».

В феврале 1977 года были получены новые гранки «Чукоккалы». Второй набор был осуществлен через шесть лет после первого. Итак — шестилетняя отсрочка, потеря времени, затоптанный впустую труд десятков людей, большие денежные средства, пущенные на ветер, — вот далеко неполный перечень достижений С. С. Иванько и ему подобных. Впереди же — кропотливый труд над гранками, макетом и версткой книги — будни, заполненные реальным делом, а не пустыми разговорами с чиновниками. После всей бессмысленной многолетней волокиты я воспринимала эти, часто весьма нелегкие будни как радостные праздники.

В конце июня 1977 года у меня побывал издатель из Оксфорда — м-р Ричард Ньюнбам (Richard Newnham). Он сказал, что издание в Англии получится очень дорогим, что оно — крайне сложно, а тираж у них будет экземпляров двести. Этот разговор ясно показал мне, что издание за границей таит в себе бóльшие трудности, чем я полагала. В «Искусстве» между тем книга реально двигалась, застревая, впрочем, при каждом возможном случае. Книга не стояла в плане, и поэтому ее без конца передвигали, задвигали и отодвигали. Новые оттиски факсимильных листов альманаха получились намного хуже прежних. Сказались годы хранения пленки, ее усадка, а также то, что печать перешла в другую типографию, а, значит, в другие руки, и снова надо было подбирать оттенки фона, менять размеры оттисков и т. д. и т. п. Опускаю здесь детали тех трудностей, какие пришлось преодолевать людям, осуществлявшим издание. Об этих людях я расскажу отдельно — им посвящена глава «Обыкновенное чудо».

Снова привожу запись из своего «делового дневника»:

«16 марта 1979. В 3 часа позвонила Розочка*, что есть сигнал “Чукоккалы”. Я тотчас помчалась. Лежит на столе толстая, нарядная, нахальная книжка. В комнате сидел Жень**, смотрел книгу. Говорил, каким был молодым, когда делал макет 15 лет назад. Бессмысленно восклицали. По-моему всё прекрасно, со вкусом и без ошибок... Потом пришла Инна***, мы обнялись и тоже ликовали, листали, вспоминали... Разное вспоминали... Тираж стоит 25 тысяч. А 1-я Образцовая типография, оказывается, имени А. А. Жданова. Этим именем и кончается книга.

Очень странное чувство ее отчуждения от дома, из шкафа, со стола».

Обыкновенное чудо

Представьте себе, что автор сдал книжку в издательство в 1905 году, а она вышла через пятнадцать лет — в 1920-м, сдал в 1953-м — а она вышла в 1968-м. 15 лет в XX веке! Когда время мчится, открывая за каждым поворотом что-нибудь в корне меняющее жизнь — то крах самодержавия, то водородную бомбу, то кибернетику и электронику. Каждое из названных и неназванных обстоятельств меняет лицо земли, лица людей, воздух времени. 15 лет! В наш век — это целая эпоха. В 1965-м году одна, а в 1979-м — совсем, совсем другая.

Итак, издание «Чукоккалы» было начато летом 1965 года. Это было время, когда еще не все иллюзии после хрущевской «оттепели» испарились. Знаменитый писатель Корней Чуковский, лауреат Ленинской премии и любимец советской детворы жил в своем переделкинском доме, окруженный уважением, почетом и многочисленной семьей. Корнею Ивановичу было уже 83 года, но он был бодр, здоров и работоспособен.

Однако время шло, и исподволь всё вокруг менялось. Осенью 1965 года по приглашению К. И. на переделкинской даче гостил Солженицын после того, как был конфискован его архив и оставаться в Рязани стало опасным. С той осени и до самой высылки на Запад в феврале 1974 года Александр Исаевич часто

* Роза Петровна Бачек — технический редактор «Чукоккалы».

** Евгений Евгеньевич Смирнов — художник.

*** Инна Георгиевна Румянцева — художественный редактор «Чукоккалы».

живал то в Переделкине, то на нашей московской квартире — иногда день, иногда неделю, а иногда и месяц*.

В мае 1966 года Лидия Корнеевна написала «Открытое письмо к Шолохову» (протест по поводу его выступления о суде над Синявским и Даниэлем). Письмо было подхвачено самиздатом, а затем опубликовано за границей. Незадолго до этого в Париже вышла ее повесть «Софья Петровна», написанная в 1939—40 годах. В последующие годы на Западе была напечатана еще одна ее повесть «Спуск под воду» и некоторые публицистические статьи. Я отрывочно и конспективно называю обстоятельства, происходившие в непосредственной близости к Чуковскому, можно сказать в его доме.

Весь литературный климат неуклонно менялся. После «оттепели» явились первые заморозки, а там и морозы затрещали.

Через несколько дней после похорон К. И., 4 ноября 1969 года Солженицын был исключен из Союза писателей. А 9 января 1974 года та же участь постигла и Лидию Корнеевну.

Участь самого Чуковского оказалась странной — он попал в число «репрессированных посмертно». Постепенно мне прояснилось, что невозможно переиздать ни одну из его книг для взрослых: ни «Чехова», ни «От 2 до 5», ни «Современники», ни «Живой как жизнь». Только детские сказки избежали этой опалы. Иногда мне передавали, что в ответ на просьбу о музее, об издании, о мемориальной доске, те, «кому ведать надлежит», отвечали прямо: «Он помогал Солженицыну и поэтому — нет». Приходилось мне слышать такие слова и своими ушами**.

В этой обстановке крепчающего мороза, когда нельзя было в 22-й раз издать выходящую 21 раз книжку «От 2 до 5», публи-

* Об этом времени Солженицын вспомнил впоследствии в своих «очерках литературной жизни» — «Бодался теленок с дубом» (М. : Согласие, 1996. С. 125, 126 и др.).

** Тогда мне не было известно письмо председателя КГБ Ю. Андропова в ЦК КПСС от 14 ноября 1973 года (в письме идет речь о Лидии Чуковской):

«В последние годы Чуковская изготовила и передала на Запад ряд клеветнических документов... Из оперативных источников известно, что Чуковская предложила проживать на даче в зимний период Солженицыну, который дал на это предварительное согласие. С учетом изложенного считаем целесообразным отказать Чуковской в создании музея в поселке Переделкино» (Цит. по статье Л. Лазарева. «Колесико и винтик» // Октябрь. 1993. № 8. С. 182). — Примеч. 1995 г.

кация новой книги Чуковского, да еще столь необычной, как «Чукоккала», казалась абсолютно недостижимой. Прямо так и заявила мне одна руководящая дама, когда я сказала ей, что прекращаю передачу государству архива Чуковского вплоть до выхода «Чукоккалы».

— Но вы же понимаете, что «Чукоккала» никогда не выйдет.

Но я старалась не видеть очевидных вещей. Сейчас, оглядываясь назад, я ищу объяснений, почему же вопреки всем бюрократическим рогаткам книга всё же вышла.

Меньше всего повинны в этом мои хождения по инстанциям и разные петиции, которые я писала.

Наверное, была какая-то закулисная и неведомая мне сторона у этой борьбы. В каких-то загадочных коридорах за какими-то высокими дверьми кто-то не то помог, не то проморгал. Мне об этом ничего не известно.

Напишу, однако, о том, что мне известно.

Всё — и хорошее, и плохое — реализуется в мире, приходит в мир, как результат человеческих усилий. Я здесь много писала о тех усилиях, которые приложило начальство, чтобы помешать выходу «Чукоккалы» — сброшенный набор, проволоочки, ложь, запреты... Как легко всё это перечислить, процитировать, обличить.

Как трудно написать о «положительных» героях этой истории, среди которых по всем правилам соц. реализма мы находим и старого мастера-рабочего, и благородных тружеников, тихо, но неуклонно делающих своё дело, и чудаковатых самоотверженных интеллигентов-идеалистов.

Начну со старого мастера-гравера — Владимира Алексеевича Баландина, который неприветливо сказал мне, когда я первый раз явилась в типографию «Красный пролетарий»: «Я здесь каждую букву два года наводил, такой сложный материал. Когда пришел из Комитета по печати приказ “всё выбросить”, я не мог. Вот все плёнки тут в цехе и храню».

А технический редактор «Чукоккалы» Роза Петровна Бачек. Для того чтобы описать ее роль, нужны кантаты и оды, боюсь, перо мое будет бессильно. Сколько своих отпусков отдала Роза Петровна «Чукоккале», сколько вечеров после работы просидела в издательстве, сколько раз тащила к себе домой тяжелые папки, чтобы в выходные дни проверить какие-то размеры, выключки и втяжки, сосчитать какие-то пункты. Сколько месяцев

просидела она, не разгибаясь, в своём подвальчике (тогда еще на Цветном бульваре, в старом здании издательства), колдуя над макетом.

Для того чтобы воспеть труд Инны Георгиевны Румянцевой — художественного редактора «Чукоккалы» — тоже необходимы и кантаты, и оды. Инна Георгиевна, с энергией, которую она постоянно излучала, с редким терпением собственноручно накалывала весь макет, обсуждая и переделывая каждый разворот по многу раз. Она обладала колоссальным производственно-издательским опытом и умело лавировала среди всяческих издательских рифов, проявляя в делах бездну выдумки, находчивости, изобретательности и вкуса.

Редактор книги — Валентин Иванович Маликов держался несколько загадочно. На мои нервные вопросы, почему книги нет в плане, он отвечал, попыхивая трубкой, что чего в плане нет, то и вычеркнуть из плана трудно. Мол, чем меньше шума, тем лучше. Не всегда мне были понятны его ходы, но мне было ясно, что это — человек большой профессиональной квалификации. Валентин Иванович тщательно работал с текстами, добился высокого уровня издания книги, которая выходила после смерти автора, отстаивал книжку в разных инстанциях и, по крайней мере, от себя не вносил никакой дополнительной дерготни и редакторского своеволия.

Евгений Евгеньевич Смирнов, художник книги, завершил свою работу еще в 1967 году. Как я уже писала, найденное им художественное решение — макет, форзац, суперобложка — всё это встретило горячее одобрение Корнея Ивановича. Увы, в последующее десятилетие много хлопот доставил Евгению Евгеньевичу форзац, на котором ему приходилось многократно убирать и заменять портреты участников альманаха — Ходасевича на Исаковского и т. п. Деятельность эта нагоняла на него грусть, он устал от этих переделок и без больших надежд смотрел на перспективу издания книжки.

У меня было достаточно недель, месяцев и лет, чтобы приглядеться ко всем этим людям. Некоторые из них — как И. Румянцева и Е. Смирнов успели поработать над книгой еще вместе с Корнеем Ивановичем, другие включились в работу уже после его кончины. Но для всех них издание «Чукоккалы» стало их делом, частью их жизни.

И всё же у меня нет чувства, что я назвала словами всё, что помогло выходу книги. Был еще какой-то неуловимый воздух — пар, эфир, который состоял из мельчайших капелек симпатии к имени Корнея Ивановича и его злосчастному альманаху. Все, кто сталкивался с судьбой «Чукоккалы» (за исключением бюрократов), сочувствовали этому изданию и хотели ему помочь. Все они то ли сами, то ли своим детям читали «Айболита» или «Бармаля», все они понимали с разной степенью глубины, но с полной отчётливостью, что нелепо чинить препоны изданию автографов Репина, Маяковского, Блока и Пастернака, и все они помогали изданию реальными, иногда большими, иногда малыми усилиями. Частицы этого трудноуловимого и почти неназываемого сочувствия, капельки этого пара своим непрерывным давлением продвигали издание альманаха, проталкивали его в какие-то даже невидимые глазу щели и поры. Сочувствие это проявлялось на самых разных уровнях и даже в международном масштабе.

Нельзя тут не упомянуть с благодарностью тех весьма плодотворных усилий, которые приложил Оксфордский университет, чтобы помочь выпустить «Чукоккалу» в Англии, если не удастся издать ее в России. Письмо из Oxford University Press, подписанное мистером John'ом Stawardy, и несколько телефонных звонков из Оксфорда показали нашему руководству, что, говоря словами Василия Гроссмана, «удушить в подворотне» это издание не удастся. Душить придется под прожекторами и у всех на виду. Путь этот для нашего начальства, разумеется, тоже возможен, но не всегда желателен.

Вот я и попыталась бегло перечислить разных людей, которые в разное время помогали выходу книги. Сейчас я совершенно уверена — усилиями всех этих названных и неназванных лиц — всех тех, кто реально работал над изданием «Чукоккалы», хлопотал о ней, берёт ее, защищал от начальства, она и была опубликована. Именно эти люди и совершили «обыкновенное чудо» — выпустили в свет «Чукоккалу» в 1979-м, весьма неблагоприятном для чудес году.

Плыви, «Чукоккала», по свету

Не успела я отликовать по поводу сигнала «Чукоккалы», как снова поползли тревожные слухи: Комитет по печати взбешен этой книгой, А. М. Сахаров, сменивший Иванько и Туркина на

посту в Комитете, написал какую-то гневную докладную, что книга неуместна, несвоевременна и не созвучна... Стукалин публично заявил на коллегии Госкомиздата, что издательство готовило книгу самовольно, без разрешения, обманным путем.

Хотя с книгой опять было неладно, я совершенно не волновалась: я считала, что раз К. И. написал в открытке, которую я уже цитировала на этих страницах, что «Чукоккала» выйдет в 1979-м году, то она и выйдет в этом году. Ведь за одиннадцать лет предсказал.

И действительно, 30 марта 1979 года «Книжное обозрение» № 13 на странице 13 сообщило о выходе в свет издания:

Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. Предисл. И. Андроникова.

М.: Искусство, 1979. 447 с. с ил. 25 000 экз. 6 р.

Книга вышла точно к 1-му апреля — ко дню рождения Корнея Ивановича. И именно в 1979 году, как он и предсказал в своей открытке 11 лет назад. Но на этом еще не кончились странные, почти мистические совпадения.

Вечером того дня, когда я привезла из издательства экземпляры тиража «Чукоккалы», у нас в квартире обрушился потолок. Пачки с книгами не пострадали, но весь пол был усыпан глыбами штукатурки. Их, эти глыбы, можно было принять за прощальный привет от Иванько.

На выход «Чукоккалы» первым отозвался З. С. Паперный. В шуточных стихах он писал об издательских мытарствах:

Являюсь членом ССП я
И на лит. поприще тружусь.
Но тут такая эпопея,
Что я за ручку не возьмусь.

Гомер, слепой сказитель Трои,
Писатель просто первый класс,
И он, увидевши такое,
Сказал бы тихо: «Братцы, пас...»

Да что Гомер! А взять Толстого —
Узнав, что том не сдан в печать,
Великий был бы так взволнован,

Что только б охал бестолково:
Мол, дескать, не могу молчать.

.....
Плыви ж, «Чукоккала», по свету
Как стих и проза, смех и гимн...

Директор «Искусства» Б. В. Вишняков, по слухам, получил выговор. У издательства потребовали объяснений — кто разрешил печатание, и редакция писала какие-то развернутые докладные на этот счет. Мне рассказали, что нагорело даже «Книжному обозрению», которое упомянуло «Чукоккалу» в списке вышедших книг.

Изо всего этого я поняла, что никаких статей в нашей прессе не будет. И действительно, когда один из критиков предложил такую статью в «Советскую культуру», редактор ответил: «Стукалин возмущен этой книгой, там полно эмигрантов, например Гумилев (!) и т. п.».

Сейчас, когда я пишу эти строки, со времени выхода «Чукоккалы» прошел уже год, однако она так ни разу и не упомянута в нашей печати. На международной книжной выставке-ярмарке в Москве Сахаров (Госкомиздат) запретил ее экспонировать и на стенде издательства «Искусство» ее не было. Однако ВААП вёл переговоры с зарубежными издателями. Издатели проявляли интерес, знакомились с книгой и отступали перед трудностями издания. Я их вполне понимаю.

«Чукоккала» и цензура

После выхода книги мне часто задавали вопрос — а что же не вошло в издание? С какой полнотой изданная «Чукоккала» отвечает содержанию рукописного альманаха и замыслам Чуковского.

Я уже писала на предыдущих страницах (и напишу ниже) о самоцензуре, которая с самого начала ограничивала Корнея Ивановича, о том, что рукопись альманаха, представленная в издательство, была поэтому неполной и заранее обедненной.

В этой главе я попробую рассказать о тех купюрах, потерях и брешах, которые возникли за годы маринования рукописи в издательстве и в разных инстанциях. Как это обычно бывает, порча книги была многослойной, многоступенчатой и многообразной.

Из предисловия К. И. были вычеркнуты упоминания В. Ходасевича и А. Солженицына, а из альманаха исключены их автографы. Эссе Чуковского о Мандельштаме оборвано на середине. Не опубликована та часть этого эссе, где К. И. рассказывает о Мандельштаме 30-х годов и цитирует его стихи, написанные в Воронеже. Изъят из книги рисунок Владимира Маяковского, нарисовавшего портрет восьмилетней дочери Чуковского Лиды. Но она всё же протиснулась в книжку и красуется на с. 200 в центре фотографии, сделанной на юбилее Горького во «Всемирной литературе», — по правую руку от юбиляра. Однако из пояснений к фотографии убраны слова: «школьница с бантом — Лида Чуковская». Поэтому Лидия Корнеевна присутствует в книге инкогнито, контрабандой.

Горьковские записи в «Чукоккале» пострадали довольно сильно. Не воспроизведена та страница альманаха, которую Горький назвал «Анекдотики». Первый из этих «анекдотиков» кончался словами «не глупый был парень, хотя и русский». Фраза эта не понравилась директору издательства Е. И. Севастьянову, и он ее вычеркнул. Исключена из альманаха и редкая гравюра Боброва, подаренная Горьким, и история этой гравюры, записанная в альманахе Алексеем Максимовичем. Неполно представлены не только автографы самого Горького, но и те записи, которые позволяют судить об отношении к нему его сотрудников по «Всемирной Литературе», его современников. Снята пародия на «Песню о Буревестнике», написанная А. д'Актилем в 1928 году.

Как мне кажется, самые значительные страницы «Чукоккалы» связаны с именем А. Блока и его участием в альманахе. Две записи Блока К. И. не включил в издание сам, шуточный протокол Блока «Закрытие Дома Искусств» был снят одним из директоров издательства К. М. Долговым. Он же изъял афишу «О порядке сожжения трупов в Петроградском государственном Крематориуме», которую К. И. сорвал со стены в марте 1921 года. Об этой афише Блок пишет в своем последнем чукоккальском стихотворении.

Не попали на страницы издания рисунки, стихотворения, записи Н. Гумилева и обширная статья Чуковского о Гумилеве.

Из книги исключено большинство автографов Евг. Замятина, его фотография и эссе о нем, написанное Корнеем Ивановичем.

Убран также автограф Анны Ахматовой — стихотворение «Чем хуже этот век...»

Поэт М. Кузмин исчез со страниц издания без видимых причин. Просто из-за того, что на той странице альманаха, где речь шла о его юбилее в «Доме Искусств» несколько слов начертил и крамольный Н. Гумилев. Снято шуточное стихотворение «Умеревший офицер», подписанное именами трех поэтов — Н. Гумилева, О. Мандельштама и Георгия Иванова. Изъята также поэма Ирины Одоевцевой «Толченное стекло», лист подписей участников «Открытия Дома Искусств» (за то, что среди подписавшихся — Н. Гумилев)*.

Подавляющее большинство цензурных брешей относится к эпохе двадцатых годов. Уже с начала тридцатых — писатели перестали необдуманно шутить даже в рукописном альманахе. Времена наступили суровые, тональность записей и самый звук смеха совершенно изменились. Самоцензура опередила на долгие годы устремления самой жестокой цензуры. Вероятно, поэтому из записей последних лет цензура выкинула очень немногое. Снята концовка «Стихов о Серапионовых братьях» Евгения Шварца, с упоминанием Г. Сафарова**. Выкинута пародия В. Ардова «Бдительность младенца», высмеивающая шпиономанию. Разумеется, убран Солженицын, сняты все упоминания имени Лидии Чуковской, изъято шуточное четверостишие Н. Коржавина из-за отъезда автора в эмиграцию.

Через некоторое время после того, как в цензуру поступил сверстаный макет книги, мне было сообщено, что следует дописать о Мережковском, Ходасевиче, Замятине и Гумилеве, что они занимались антисоветской деятельностью. Разумеется, я не согласилась, сказав, что мне ничего на этот счет неизвестно. Тогда было предложено снять из книги автографы этих писателей, а заодно и автограф Анны Ахматовой. В готовой, сверстанной книге образовалось одиннадцать дыр — иногда лист, иногда полстраницы. Для того чтобы ничего не двигать в макете, на эти пустые полосы я предложила поставить те чукоккальские автографы, которые по разным техническим причинам убирали

* Этот перечень цензурных запретов дан в сокращенном виде.

** В это время Г. Сафаров, ответственный редактор журнала «Ленинград», расстрелянный в 1942 году, еще не был реабилитирован, и его имя, очевидно, находилось в цензурных списках запрещенных имен. — *Примеч. 1995 г.*

из книги за годы подготовки. И только один раз мне не удалось найти выхода — в случае с фотографией «Всемирной литературы», когда Главлит потребовал убрать из группы изображение Е. И. Замятина. Как легко видеть по этим заметкам, я шла на многие уступки, снимая по требованию инстанций те или иные тексты. И предел себе я поставила такой: не выпустить в печать фальсифицированных документов, ничего не сглаживать на страницах. В случае запретов — либо снимать весь лист целиком, либо уменьшать размер автографа, давать фрагмент, чтобы читатель видел, что это лишь часть целого. Но с фотографией «Всемирной литературы» выдержать этот принцип не удалось. Я первым делом рванулась убрать ее совсем. Но это потребовало бы переверстки половины книги (два месяца работы). Я писала в своем деловом дневнике: «...Нечем заменить целый разворот, придется отрезать Замятина. Малодушно утешаюсь тем, что еще кто-нибудь чего-нибудь потребует и при следующей переверстке я выну эту фотографию. Но это так — «запасной душевный выход». На самом деле “Чукоккала” выйдет без Гумилева, Замятина, с сокращенным Горьким, Блоком, Маяковским. Уж я не говорю об Анне Ганзен или д’Актиле. Мне кажется, что все, кто связан с этой работой, вымотаны и как-то внутренне оскорблены».

После выхода в свет альманаха я подсчитала, что в результате всех сокращений, о которых идет речь в этой главе, из книги изъяты 41 иллюстрация (листы рукописного альманаха) и около 20 страниц комментария Чуковского. Большая часть этих потерь касается 20-х годов.

Разумеется, ущерб, нанесенный изданию, исчисляется не в цифрах, а в искажении исторической перспективы.

«Чукоккала» и самоцензура*

Во время одной из переделкинских прогулок Лев Кассиль рассказывал Корнею Ивановичу о пословицах, переделанных на современный лад. Мне запомнилось: «Слово не воробей,

* Эта глава сильно сокращена мною. Здесь пространно цитировались страницы рукописного альманаха, которые Чуковский не мог включить в книгу, издаваемую в «Искусстве». Поскольку все эти записи теперь опубликованы, нет нужды снова повторять их. — *Примеч.* 1999 г.

поймают — вылетишь». Такое отношение к слову все более укоренялось по мере того, как люди получали тюремные сроки за рассказанный анекдот или за неосторожное суждение.

В этой главе следовало бы искать ответа на вопрос, чего не написали в альманахе его участники из-за такого вот новейшего отношения к слову. Задача эта, однако, слишком трудна.

После закрытия в 1924 году «Всемирной литературы» тон записей заметно меняется. Начинаются осторожные оговорки, опасливые примечания. А. д'Актиль под своим стихотворением «Муза по назначению» приписывает «Фельетон для себя». А Виктор Шкловский в 1932 году прямо пишет под текстом, украшенным его подписью: « Это не я... не Виктор Шкловский и почерк не мой». Писать стало невозможно. Наступило оледенение, ледниковый период. И только во времена хрущевской оттепели, в конце 50-х годов, на страницах альманаха снова стали появляться редкие эпиграммы и шутки.

Говоря о самоцензуре, перечислю те чукоккальские записи разных лет, которые Корней Иванович сам не включил в издание по цензурным или иным соображениям. Так, не были сданы в редакцию стихотворения Зинаиды Гиппиус, юношеские стихи Владимира Набокова (Сирина), две записи Александра Блока, стихотворения А. Амфитеатрова, Н. Лернера, А. д'Актиля*.

Не включил Чуковский и многие свои шуточные стихи, буримы, рисунки, записи «Новых слов», газетные вырезки, которые он клеивал в альманах.

Как видно из этого перечня причины тут были разные — и политические, и этические, и личные. Диапазон этих причин — от невозможности опубликовать некоторые тексты своих знаменитых современников по цензурным соображениям, до нежелания печатать на страницах альманаха слишком много своих собственных стихов — очень велик. Да и перечень получился немаленький.

* Здесь я прерываю свой перечень. В конце 1960-х годов, когда Чуковский готовил к печати «Чукоккалу», не только произведения З. Гиппиус, В. Набокова, А. Амфитеатрова и других эмигрантов, но даже упоминание их имен без бранных эпитетов было запрещено Главлитом.

«1979-м годом история литературы не кончается...»

Пожалуй, терпение читателя уже истошилось. Я подробно, лист за листом перечислила, что выкидывала редакция, что дирекция, что цензура, а что сам Корней Иванович. И если у читателя этих строк нет под рукой вышедшей книги, то у него обязательно возникнет вопрос — а что, собственно, в книге осталось. Да и осталось ли вообще что-нибудь?

На этот случай всё же скажу, что в книге опубликованы все чукоккальские рисунки Репина, почти все рисунки Маяковского, Юрия Анненкова, автографы Ремизова, Сологуба, Бунина, Ал. Толстого, Блока, Мандельштама, Волошина, Вячеслава Иванова, Георгия Иванова, Горького, Всеволода Иванова, Рисунки Радлова, Добужинского, Чехонина и даже Федора Шаляпина.

К более позднему времени относятся стихи Юрия Тынянова, Евгения Шварца, Н. Олейникова, Д. Хармса.

Очень трудно в нескольких словах охарактеризовать содержание альманаха. Тут и стихи, и проза, и шаржи, и документы, и шуточные протоколы «Дома Искусств» или «Всемирной литературы», и юбилеи, и съезды писателей. В «Чукоккале» запечатлелось время, стужился воздух той эпохи, когда хаотично и случайно заполнялись ее страницы.

А цензурные пробелы?

Горюя о них, я уговариваю себя тем, что «Чукоккала» — это альманах, т. е. книга по сути своей фрагментарная, что легче будет когда-нибудь в невообразимом и далеком будущем вставить недостающее в уже готовую книгу, нежели начинать всю работу с самого начала.

Недавно я наткнулась на такие строки Корнея Ивановича в письме к А. И. Солженицыну (17.8.63):

«А насчет урезок — берите пример с Николая Алексеевича Некрасова: он печатал свои стихи с любыми цензурными изъятиями, зная, что в собрании своих сочинений он реставрирует вычеркнутое. Ведь 1963-м годом история литературы не кончается»*.

* См.: Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским (1963–1969) / Подг. текста, вступ. и коммент. Е. Ц. Чуковской // Новый мир. 2011. № 10. С. 141. — *Примеч.* 2012 г.

Вот я и пытаюсь утешаться тем, что 1979-м годом история литературы не кончается.

А когда это сознание не утешает, я перечитываю письма о «Чукоккале», полученные мною и Лидией Корнеевной в 1979 году, после выхода книги в свет:

«Всё в этой книге прекрасно — и рисунки, и словесные тексты; вся шуточная и серьезная “злоба дня” и комментарий К. И., который сумел даже то, что само по себе имело бы только переходящую ценность, превратить в факт неофициальной, я бы сказал интимной истории русского искусства нашего века». *Мирослав Дрозда* (Прага, профессор-славист).

«“Чукоккала” — книга совершенно единственная в своем роде, во всяком случае — у нас. Не говорю уже о значении самого альбома К. И. — зеркала целой эпохи культурной жизни страны, причем не официальной, формальной, а глубоко интимной... Увидеть этот альбом в печати — это явление абсолютно уникальное. На Западе имеются такого рода факсимильные издания рисунков великих мастеров, как иллюстрации к каталогам музеев. У нас и этого почти нет. Но такое факсимильное воспроизведение изобразительных материалов вместе с литературными записями — это можно сравнить только с редчайшими изданиями рукописей Леонардо да Винчи или Микеланджело». *М. Я. Варшавская* (Ленинград, искусствовед, сотрудница Эрмитажа).

«Книга производит ошеломляющее впечатление. Ошеломляет в книге ее так сказать тотальная необычность. В ней необычно всё: жанр, содержание, оформление. Она опрокидывает все привычные читательские установки, любое ожидание: альбом репродукций? научное издание текстов? сборник юмора и сатиры? Не нужно быть профессиональным книговедом, чтобы оценить *размер и качество* небывалости этой книги: она просто уникальна.

Несмотря на все старания уменьшить ее “отражательные” потенции, она “отражает” многое — временами не отраженное нигде, не отраженное никак — а в ней резко и внятно.

Здесь *впервые* сказано о причинах закрытия “Всемирной литературы”, впервые же сказано, что М. Пришвин — ученик В. В. Розанова, здесь упоминаем Ю. Оксман, здесь В. Катаев говорит о гибели Маяковского серьезнее, чем в нынешних своих сочинениях... а Ю. Тынянов объясняет себя и свое время. И т. д.

Потрясающе *сообщительная* книга». *М. С. Петровский* (Киев, литературный критик).

«Чукоккала» вызвала во мне какое-то симфоническое чувство. Моё поколение дышало воздухом этих десятилетий, вдыхало эманации этого искусства. Перелистывая и читая страницы этого поразительного свидетельства времени, я вспоминаю один свой «заплыв» в Черном море. Было мне лет пятнадцать, против обыкновения я заплыла одна довольно далеко. Был полдень. Собираясь поворачивать назад, к берегу, я посмотрела вниз, в глубину и вдруг поняла, что подо мной бездна, что я на большой высоте ото дна морского. И мне почему-то представилось, что там потонувший мир, некая Атлантида. И мне стало жутко... Читая «Чукоккалу», иной раз невольно смеешься, а иной раз зажмуриваешься от ужаса...

А ведь какое это чудо — сама книга! Какого ума, искусства, изобретательности, вкуса и редакторского мастерства она — выражение!» *Н. М. Гнедина* (Москва, переводчица).

* * *

Вот и подошел к концу мой рассказ о «Чукоккале». В этом рассказе я много цитировала — участников альманаха, его читателей, его создателя — Корнея Ивановича и... себя, свои записи о судьбе альманаха.

Снова цитирую отрывок из своего письма к В. Н. Войновичу:

«Когда мой Дед, Корней Чуковский, подарил мне в 1965 году свой альманах «Чукоккала», он сделал на ее форзаце надпись, которая кончалась словами: "...она (то есть я. — *Е. Ч.*) может делать с ним, с альманахом всё, что заблагорассудится ей».

И вот мне заблагорассудилось, застряла в голове такая шальная мысль — во что бы то ни стало опубликовать эту книгу на родине ее замечательных участников и ее собирателя и создателя»*.

Правильным ли было мое решение? Этого ли ждал от меня Корней Иванович? Простится ли мне моя уступчивость, которая привела ко многим весьма существенным брешам в книге? Будут ли когда-нибудь заполнены эти бреши? Кончается ли история «Чукоккалы» 1979 годом?

Сейчас, сегодня, дописывая свой «мемуар», я не знаю ответов на эти вопросы.

* См. с. 14 наст. изд.

Думаю, что прав был Борис Пастернак, писавший в 1940-е годы совсем по другому поводу:

Грядущее на всё изменит взгляд,
И странностям на выдумки похожим,
Оглядываясь издали назад,
Когда-нибудь поверить мы не сможем...

Весна 1980

Post scriptum

В начале 1994 года частное издательство «Четыре искусства», связанное с фирмой «Маркон», предложило издать «Чукоккалу» по-новому — в виде факсимильного альбома с приложением тома «Пояснений». Ядро издательства составляли бывшие сотрудники «Искусства», помнившие эпопею с альманахом еще от 1970-х годов.

Решено было прежде всего сканировать все страницы альманаха. На этом пути встретились две трудности.

Чтобы рассказать о первом препятствии, надо снова вернуться в 1970–80-е годы.

После высылки из Москвы А. Солженицына — на Запад и А. Сахарова — на восток, после исключения из Союза писателей Лидии Корнеевны и угроз со стороны КГБ автору этих строк, я считала опасным хранить у себя дома некоторые страницы альманаха. Я вырвала из факсимильного альбома три листа — две записи А. Блока и два стихотворения З. Гиппиус*. Эти четыре крамольные записи я вложила в папку, где хранились также и письма ко мне от А. Солженицына. Сам альманах тоже был унесен из квартиры. Эти предосторожности были не лишними, так как в нашей квартире проводились негласные обыски в отсутствие хозяев.

Середина восьмидесятых годов для меня была окрашена еще и бесконечным изматывающим судом в защиту переделкинского Дома Чуковского. Дом стихийно превратился в музей, однако подвергался травле со стороны Союза писателей.

Но вернусь к «Чукоккале». Последний раз я видела свою папку с четырьмя вырванными страницами в феврале 1985 года. Лица, ее хранившие, по случаю очередных тревог и окрестных

* См.: Чукоккала. М.: Русский путь, 2006. С. 245, 257, 292–295.

обысков, предложили мне немедленно взять у них эти бумаги. Я их взяла, принесла домой и сразу попросила свою приятельницу снова их унести и спрятать в надежном месте. По неписанным правилам конспирации того времени мне самой не следовало бывать в том доме, где хранились мои архивы и даже знать этот адрес. Папка была унесена и спрятана. Неделью спустя я попала в больницу с переломом позвоночника и проболела около года. Тем временем началась перестройка, рухнули многие запреты, «грядущее» на глазах меняло взгляд на имена и обстоятельства еще вчера неупоминаемые. Шли годы.

В 1989 году В. Енишерлов, главный редактор журнала «Наше наследие», предложил напечатать в этом журнале неопубликованные страницы «Чукоккалы». Нужно было сфотографировать некоторые страницы, сам рукописный альманах уже снова был у меня на полке, я попросила приятельницу принести домой мою папку с недостающими листами. Но она ничего о ней не помнила, всё позабыла за это время. Я принялась объезжать все места хранения своего архива, перетряхивать все чемоданы и антресоли у моих хранителей — папка исчезла бесследно. Поиски заняли у меня почти полгода, очень трудно было примириться с такой потерей. Я говорила себе, что Корней Иванович сохранил эти бумаги сквозь террор тридцатых годов, войну, переезды, а я потеряла драгоценные записи А. Блока просто по невниманию. После многих напрасных поисков и метаний я поняла, что искать больше нигде. Публикация блоковской записи в «Нашем наследии» была сделана по фотокопии*.

Прошло еще лет пять, пока издательство «Четыре искусства» задумало свое факсимильное издание. Факсимильность издателя ставили во главу угла, и когда я заговорила о потерянных страницах, мне было сказано, что они не войдут в книгу. Это настолько меня опечалило, что я долго не могла взяться за подготовку предстоящего издания. Но вот в середине октября 1994 года я заставила себя написать о пропаже в своем комментарии к одной из страниц «Чукоккалы».

Через несколько дней после того, как вся история была снова с грустью и самообвинениями мною припомнена и записа-

* Неопубликованные автографы из «Чукоккалы» // Наше наследие. 1989. IV. С. 72.

на, мне позвонили с телевидения. Незнакомый мужской голос сообщил, что говорит журналист из редакции НТВ — Алексей Ивлев. Это имя я слышала в передачах новостей НТВ. Ивлев спрашивал меня, будет ли Солженицын присутствовать на митинге у Соловецкого камня по случаю дня политзаключенного. Я довольно неприветливо ответила, что мне об этом ничего не известно. В конце разговора Ивлев вдруг сказал:

— Ко мне попала Ваша папка с письмами Солженицына, я ездил встречать его во Владивосток, хотел подойти и сказать ему об этом, но мне это не удалось из-за большого числа встречавших.

Я была очень взволнована этими словами, но побоялась поверить такой удаче и сказала, что когда выберется время, заеду и посмотрю, что за папка? Он оставил мне свой телефон. Дня через два я туда позвонила, сговорила с женой Ивлева — Наташей и поехала к ним домой в район ВДНХ.

Дальше цитирую свой деловой дневник:

«30 октября 1994. Вчера ездила за своей папкой. Девочка Наташа лет двадцати и двое крошечных детей — полтора месяца и полтора года. Полина и Никита. Наташа рассказала, что ее отец жил в этой квартире со своей женой (ее мачехой). В 1987 году она уехала в США, а в 1989 году уехал и он, передав квартиру дочери. Дочь в 1990 году накануне свадьбы убирала квартиру, за книгами нашла папку, завернутую в газету... Очевидно хранители о ней просто забыли».

Когда Наташа передала мне мою папку, я сразу увидела, развернув ее, сверху — автографы Блока и Гиппиус из «Чукоккалы».

Круг замкнулся. Так выяснилось, что моя приятельница отдала эту папку своим друзьям — родителям Наташи, а потом позабыла, кому именно. И они забыли про папку, переехав на другой конец света. И всё же сквозь все прошедшие годы, беды и переезды Ивлевы постепенно разыскали меня (мы не были знакомы) и вернули мне бесценные рукописи в полной целостности и сохранности. Я так подробно пишу об этом детективном сюжете, чтобы выразить свою безмерную благодарность этим благородным людям.

Однако даже эта чудесная и почти невероятная находка не помогла сканированию злополучной «Чукоккалы» в «Четырех искусствах». У издательства всё не было средств на покупку сканера и мы работали с редактором — Михаилом Зиновьевичем

Долинским на протяжении двух лет, не имея отпечатков для макета. Работали по оригиналу или по ксероксу.

Об этой работе я вспоминаю со смешанными чувствами. М. З. Долинский — тонкий знаток творчества В. Ходасевича и всей этой эпохи, страстный библиофил и горячий поклонник «Чукоккалы» сделал очень много для будущего издания. Он заставил меня сильно расширить примечания и указал ряд источников для этого. Он тщательно сверял тексты и вообще вкладывал в издание много времени, внимания, знаний, азарта. Но его замысел будущей книги все больше расходился с моим. Как мне казалось, книга утрачивала легкость, превращаясь иногда в тяжеловесный справочник. Мне не удавалось ни в чем, даже в мелочах, переубедить Долинского. Впрочем, для меня тут и не было мелочей.

В 1997-м году издательство «Четыре искусства» распалось, а вскоре наша работа с М. З. Долинским была прекращена.

В результате задуманное издание «Чукоккалы» вышло в другом издательстве — в московском издательстве «Премьера» в 1999 г. Издательство «Четыре искусства» задумало книгу в двух томах — первый том должен был представлять собой факсимильное воспроизведение страниц альманаха, а второй — комментарии к этим страницам. В «Премьере» вышел только второй том — т. е. том комментариев.

В своем вступлении «От составителя» я писала:

«Читать эту книгу будет нелегко. В ней нет никакой системы — ни хронологической, ни тематической, ни какой-либо иной.

Страницы заполнялись случайно, в разное время, по разным поводам вне зависимости от значимости имен и происходящих событий. Здесь всё вперемежку, непоследовательно.

Такой тип издания имеет мало аналогий в мировой издательской практике и очень труден для издателя и для читателя.

Первое издание альманаха готовил к печати сам Корней Иванович, но книга вышла лишь через десять лет после его кончины. По условиям времени в это первое издание не могли войти записи Н. Гумилева, В. Ходасевича, З. Гиппиус, Г. Иванова, И. Одоевцевой, А. Амфитеатрова, да и многие другие, чьи имена находились под цензурным запретом.

В основу подготовки настоящего издания положена полнота воспроизведения подлинника.

Рукописный альманах, составленный и собранный К. Чуковским, содержит кроме основного альбома, начатого в 1914 году, еще и так называемые филиалы.

Эти филиалы складывались с середины 50-х годов, когда основная тетрадь была уже заполнена, но Корней Иванович продолжал собирать свою Чукоккалу. К филиалам относятся блокноты 2-го и 3-го съездов писателей, в которых участвовал Чуковский, школьная тетрабочка, обернутая в яркую цветную бумагу, и кипа отдельных листов, подаренных ему в разное время для альманаха его друзьями писателями. Сюда же относятся и некоторые рисунки, которые по формату нельзя было приобщить к альманаху и они, окантованные, висели в доме Чуковского, а теперь висят в его музее.

Листы из филиалов печатаются выборочно в специальном отделе настоящего тома. Выбор сделан самим Корнеем Ивановичем. Печатается всё, что он отобрал из этих записей для издания еще в 60-е годы.

Записи в альманахе делались не только по-русски но и на других языках. Особенно много в альманахе английских страниц. Это отражает круг интересов Чуковского, его жизненные и литературные связи. Можно назвать также армянский, венгерский, грузинский, идиш, немецкий, норвежский, украинский, французский, чешский, шведский языки, хотя этот перечень не исчерпывает всего.

Неоценимую помощь в чтении английских записей оказал мне профессор истории Гавайского университета м-р *Джон Стефан* (США). Я посылала ему копии рукописных страниц альманаха, а он не только прочитывывал иногда совершенно неразборчивые почерки и переписывал их для меня в читаемом виде, но постоянно находил и присылал мне оттиски труднодоступных и малоизвестных у нас английских или американских журналов и газет 20-х годов, на которые я ссылалась в своих примечаниях. Пользуюсь возможностью высказать ему свою огромную благодарность и восхищение его безграничным терпением и эрудицией.

Благодарю *Сильву Рубашову* (Англия) и *Ларису Беспалову* за безотказную помощь в переводе иностранных текстов. Подготовить к печати некоторые неанглийские иностранные записи мне помогли г-н *Дьорд Далош* (Венгрия), *М. Петровский* (Украина), *А. Эбанюидзе*, *Е. Суриц*, а также *С. Уварова*, *Б. Нильсон* и *С. Витт*

(Славянская кафедра гуманитарного факультета Стокгольмского университета, Швеция). Пользуюсь случаем поблагодарить их за это.

Моя отдельная благодарность *Владимиру Корнилову* за перевод стихотворения Роберта Фроста.

Знаменитый филолог Г. Винокур сделал в альманахе записи на тринадцати языках. Расшифровку, транслитерацию и перевод на русский фраз, написанных на литовском, готском, древнегреческом и других языках помогли сделать лингвисты *Л. П. Крысин, Ж. Ж. Варбот, Р. И. Розина, О. В. Синёва, Т. В. Топорова, А. А. Пичхадзе и О. К. Шимко*.

1999

Окончательный Post scriptum

В 2006 году в издательстве «Русский путь» «Чукоккала» вышла наконец в том виде, как ее задумал Корней Иванович. Страницы альманаха воспроизведены факсимильно (как в первом издании 1979 года), но безо всяких цензурных изъятий. Макет и сложную верстку книги сделал Сергей Стулов, вложивший в это издание свой талант современного дизайнера.

За полвека работы по изданию альманаха кардинально изменилась вся полиграфическая техника. Начинали с фотографирования страниц, причем каждая перемена размера фотографии в макете требовала сложных перестановок. А кончили, используя все возможности компьютерной верстки.

На презентации была устроена выставка страниц «Чукоккалы», не вошедших в первое издание 1979 года по цензурным причинам. Большая комната была по стенам завешана витринами с этими страницами. Таких витрин размером с лист ватмана было одиннадцать. В витринах были выставлены автографы Блока, Гумилева, Горького, Набокова, Ходасевича, Ахматовой, Гиппиус, Мережковского, Солженицына, Коржавина (подробнее см. выше главу «“Чукоккала” и цензура»). Наглядно видно было, какой непоправимый и огромный урон культуре наносила советская цензурная политика, вычеркивая из истории русской литературы произведения ее создателей или их имена.

Малая планета в Солнечной системе

Летом 1988 года пришло известие, что в честь «Чукоккалы» названа малая планета, открытая советскими астрономами в 1979 году. Это — редкий случай, когда планета названа в честь книги.

В «Почетном свидетельстве» о присвоении названия малой планете № 3094 сказано: «Отныне эта неотъемлемая частица Солнечной системы будет именоваться Chukokkala».

Сейчас, когда я пишу свой *Post scriptum* от начала подготовки первого издания альманаха — от 1965 года, с которого начался мой рассказ, прошло чуть менее половины века. Поэтому неудивительна моя радость по случаю завершения этой работы.

Сентябрь 2012

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «ОНЕГИНУ НА ЧУЖБИНЕ»



подумал, как потрясающая судьба Пушкина, как он живуч и как властно он поставил требование перед лучшими писателями США, чтобы они знали русский язык!» — заметил Корней Чуковский в одном из писем.

Пять лет, с конца 1964 года и до последних дней жизни, он работал над статьей, посвященной переводам «Евгения Онегина» на английский язык. Центральное место в этой статье занимает критический разбор четырехтомника «Евгений Онегин», выпущенного в 1964 году в переводе и с комментариями Владимира Набокова. Статья эта не была закончена.

Если обратиться к черновикам, пометкам на полях четырехтомника, легко установить, что Чуковский успел высказать лишь часть того, что намеревался сказать. Для его критического метода вообще характерно строить свои статьи так: сначала с большим преувеличением развить и утвердить одну какую-то мысль, затем — другую, как бы противоположную ей, а в конце, в заключение, объединить обе в совершенно ясном, хотя и сложном синтезе. Поэтому можно предположить, что в статье Чуковского об «Онегине» могли бы в дальнейшем появиться главы, в которых автор выдвинул бы на первый план и другие, привлекательные черты набоковского стиля. В пользу такого предположения говорят многочисленные пометки Чуковского на полях второго и третьего томов: «ново для меня», «ново»...

Обращает на себя внимание и то, что написанное касается в основном набоковских комментариев к «Онегину», а не самого перевода. Важным дополнением к «Онегину на чужбине» могут послужить те суждения К. И. Чуковского о В. В. Набокове, ко-

торые он по мере работы над статьей высказывал в письмах и в дневнике.

«Перевод “Евгения Онегина”, сделанный Набоковым, разочаровал меня. Комментарии к переводу лучше самого перевода» (октябрь 1964).

«Я получил недавно четырехтомник “Евгений Онегин” Набокова. Есть очень интересные замечания, кое-какие остроумные догадки, но перевод плохой — хотя бы уже потому, что он прозаический. И, кроме того, автор — слишком уж презрителен, высокомерен, язвителен. Не знаю, что за радость быть таким ключим» (февраль 1965).

«Никто не отрицает, что Вл. Набоков — искренний и сильный талант и что снобизм — его защитная маска. Но все же к людям он относится с излишней насмешливостью. Для меня Пнин — трогательно жалок, патетичен, а для него только смешон... Комментарии к “Онегину” блистательны. Перевода я не сверял, но то презрение, которое он питает к другим переводчикам “Онегина”, я вполне разделяю» (апрель 1965).

«Читаю набоковский четырехтомник “Евгения Онегина”. Нравится очень» (апрель 1965).

Осенью 1969 года Чуковский отправил свою незавершенную статью для публикации отрывков из нее в одном ленинградском сборнике. При этом он написал в редакцию: «...невозможно печатать эти отрывки, не указав на великую талантливость автора, на его мировую известность, на другие его превосходные труды (например, перевод “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”). Иначе говоря, немислимо (и даже безнравственно!) отмечать одни минусы, не сказав о плюсах. Я прочитал почти все книги Набокова — и “Пнин”, и “Nabokov’s Dozen”, и “Pale Fire”, и “Защиту Лужина”, и “Приглашение на казнь”, и “Лолиту”, и работу его о Гоголе, и его “Мемуары” и считаю невозможным умолчать обо всех этих книгах и не заявить громко и недвусмысленно о их талантливости и значительности. Лишь после того, как это будет сказано, я могу говорить о его снобизме, нигилизме, самохвальстве и прочее. Огульно бранить Набокова — для этого и без меня найдутся охотники».

Последнее письмо Чуковского по поводу «Онегина на чужбине» написано в больнице, 20 октября 1969 года, за восемь дней до кончины и адресовано академику М. П. Алексееву: «...этот фрагмент можно напечатать лишь при условии, что читателю

будет объяснена литературная значительность В. В. Набокова. В этой объяснительной части должны быть сделаны нейтральные ссылки на его романы “Пнин”, “Приглашение на казнь”, “Защита Лужина”, “Лолита” и другие произведения, в частности, переводы Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Без этого моя статья не имеет права существовать».

Тогда, в конце 60-х годов эти пожелания автора оказались неисполнимыми и даже отрывки из статьи не были опубликованы. К сожалению, остались незавершенными те главки, в которых Чуковский говорит о других переводах «Онегина». Через восемь лет после кончины Чуковского, в 1977 году в Лондоне был опубликован новый перевод «Евгения Онегина», в котором впервые точно соблюдена онегинская строфа. Этот перевод принадлежит лорду Чарльзу Джонсону (1912–1986) и ныне признан лучшим из английских переводов «Онегина».

1988

БОРЬБА ЗА СКАЗКУ

Из архива Корнея Чуковского



«Борьба за сказку» — так озаглавил Корней Чуковский одну из глав своей книги «От двух до пяти». Глава эта была впервые включена в одиннадцатое издание книги (1956) и с тех пор от издания к изданию дополнялась все новыми примерами «обывательских методов критики».

Особенно суровым нападкам и запретам подвергались сказки Чуковского в конце 20-х годов. Вспоминая об этом времени, Чуковский писал: «Сказка “Мойдодыр”, например, была осуждена критикой за то, что в ней я будто бы оскорбил трубочистов... От “Мухи-Цокотухи” критики спасали детей на том довольно шатком основании, будто “Муха” — “переодетая принцесса”... Тогда же в Москве состоялся диспут о детской книге. Об этом диспуте репортер Д. Кальм дал отчет... Там с величайшим сочувствием сказано о выступлении одного из руководящих работников ГИЗа: “Тов. Разин заявил, что основной опасностью нашей детской литературы является *чуковщина*”. Другой журнал через несколько месяцев так и озаглавил свое выступление: “Мы призываем к борьбе с “чуковщиной”...”

* Речь идет о статье в журнале «Дошкольное воспитание» (1929. № 4. С. 74). Приводим выдержки из этой статьи:

«Общее собрание родителей Кремлевского детсада в количестве 49 чел. (22 рабочих, 9 красноармейцев, 18 служащих), заслушав и обсудив 7 марта сего года доклад о том, “какая книга нужна дошкольнику”, считает необходимым привлечь внимание советской общественности к тому направлению в детской литературе, которое стало известно под общим названием “Чуковщина”... Как выяснилось, Чуковского читают своим детям и часть наших родителей... У Чуковского и его соратников мы знаем книги, развивающие суеверия и страхи (“Бармалей”,

К счастью, все это давно позади»*.

Когда писались эти строки, почти двадцать пять лет отделяли Чуковского от перипетий «борьбы с “чуковщиной”». Он устоял, одержал победу в этой борьбе и теперь мог рассказать о ней своим читателям со сдержанно-иронической интонацией.

Однако в 1928—1929 годах, когда борьба бурлила и клокотала, Чуковскому пришлось защищаться, отстаивая право детей на волшебную сказку. «Мне давно уже кажется,— писал Чуковский,— что нам, сочинителям детских стихов и рассказов, необходимо “уйти в детвору”, как некогда “ходили в народ”. Иначе все наши писания будут мертвечина и фальшь». Это суждение вызвало отповедь К. Свердловой: «“Хождение в ребенка”, культ тем личного детства... боязнь разорвать с корнями “национально народного”... культ и возведение в философию “мелочей”, нелепиц вот наиболее характерное для точки зрения этой писательской группы. Почему надо присматриваться к писаниям Чуковского и иже с ним?.. Опасно не то, что Чуковский в “Муркиной книге” развесил башмаки на деревьях, а то, что он подсовывает ребенку свою сладковато-мещанскую идеологию...»**

От тех трудных лет, когда почти все сказки Чуковского были запрещены и не издавались, осталась у него в архиве пухлая папка «Борьба с “чуковщиной”». В папке — письма Чуковского в разные инстанции в защиту своих сказок, наброски, заготовки и черновики выступлений, письма читателей и писателей, протестующих против запрета издавать эти сказки, да и самые эти запреты.

Сегодня мы предлагаем читателям некоторые из этих документов. Они существенны, потому что лишний раз напоминают мало освещенные или забытые страницы истории нашей детской литературы. Знаменательны они и тем, что, защищаясь от несправедливых и невежественных нападок, Чуковский ис-

“Мой Додыр” — ГИЗ, “Чудо-дерево”), восхваляющие мещанство и кулацкое накопление (“Муха-Цокотуха” — ГИЗ, “Крокодил” и “Тараканище”).

...мы, родители Кремлевского детсада, постановили.

Не читать детям этих книг, протестовать в печати против издания книг авторов этого направления... Призываем другие детские сады, отдельные родители и педагогические организации присоединиться к нашему протесту...»

* *Корней Чуковский*. От двух до пяти. Гл. 3. Борьба за сказку // Собр. соч.: В 6 т. М., 1965—1969. Т. 1. С. 541.

** *К. Свердлова*. О «чуковщине» // Красная печать. 1928. № 9—10. С. 9—94.

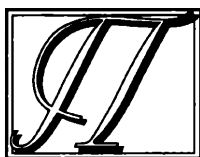
пользовал весь свой арсенал профессионального литературного критика, умелого, находчивого и остроумного полемиста. Навязанная ему полемика заставила его сформулировать многие принципы, на которых основывалась его собственная работа в качестве детского писателя.

Мы надеемся, что публикуемые материалы будут интересны теперешним историкам и критикам детской литературы, детским писателям, педагогам, родителям — всем тем, кто сегодня читает детям сказки Чуковского, выдержавшие испытание временем.

Май 1988

БОРЬБА С «ЧУКОВЩИНОЙ»*

Документы по истории литературы 20-х годов



Предлагаемые вниманию читателей документы — образчики печатной продукции, обширно представленной в журналах и газетах 20-х годов. Современному читателю известно, что в те годы велась борьба с «булгаковщиной», «есенинщиной» и со многими другими писателями. В числе других оказался и Корней Чуковский.

От тех времен сохранилась в его архиве папка: «Борьба с «чуковщиной»». Некоторые документы из этой папки теперь опубликованы (см. «Детская литература». 1988, № 5. С. 31–35). В 60-е годы Чуковский заказал увеличенные фотокопии статей К. Свердловой и «Родителей Кремлевского детсада», застеклил и окантовал их, после чего развесил статьи по стенам у себя в переделкинском доме.

Начиная с одиннадцатого издания «От двух до пяти», в книгу входила глава «Борьба за сказку». В главе приводились многие примеры «обывательских методов критики», однако не были названы по именам те, кто организовал и возглавил «борьбу с «чуковщиной»».

Дело в том, что против Чуковского, напечатавшего в 20-е годы большую часть своих детских сказок, выступила вся казенная педагогика, которую тогда возглавляли жены видных дея-

* Горизонт. 1991. № 3. С. 17. Предисл. и публ. Елены Чуковской. Опубликовано: *Н. К. Круская*. О «Крокодиле» К. Чуковского (Правда. 1928. 1 февр.); письмо Л. К. Чуковской к А. М. Горькому от 14 февраля 1928 г.; письмо в редакцию М. Горького (Правда. 1928, 14 марта); *К. Свердлова*. О «чуковщине». Красная печать. 1929. № 9–10; Мы призываем к борьбе с «чуковщиной» (Резолюция общего собрания родителей Кремлевского детсада). См. также: *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра-Кн. клуб, 2001. Т. 2: Борьба с чуковщиной. С. 601–630.

телей ВКП(б). Считалось, что они достаточно подготовлены, чтобы руководить культурой, просвещением, детской литературой. Тут можно назвать З. И. Лилину — жену Г. Е. Зиновьева, Н. К. Крупскую, К. Т. Свердлову и других. Носительницы известных в те годы фамилий высказывали свои педагогические взгляды в виде непререкаемых резолюций, так как звучные фамилии подкреплялись весьма внушительными постами. Вот, например, перечень должностей Н. К. Крупской: председатель научно-педагогической секции ГУСа (Государственного Ученого Совета), председатель Главполитпросвета, зам. наркома просвещения (с 1930 г.). Существовала Академия Коммунистического воспитания имени Крупской.

Именно поэтому ее статья в «Правде» (1 февраля 1928 г.) «О «Крокодиле» К. Чуковского» представляла собой не литературную рецензию, но руководящую директиву, за которой немедленно последовали запреты на издание сказок.

О дальнейшем говорят уцелевшие документы тех лет.

Дочь Корнея Чуковского, Лидия Корнеевна, которой шел тогда 21-й год, написала письмо Горькому в Италию. «Я с детства привыкла знать, — писала она, — что если с писателем случается несчастье — нужно просить защиты у Горького. С моим отцом, писателем К. И. Чуковским, случилось большое несчастье, и я обращаюсь к Вам, Алексей Максимович, за помощью... Надежда Константиновна плюнула ему в лицо незаслуженно. Как бороться с этой травлей специалиста — я не знаю*». Возможно, под влиянием этого письма Горький возразил Крупской в «Правде».

Странную, непонятную для тогдашней интеллигенции манеру жен партийных сановников — поучать профессиональных литераторов — впервые высмеял в печати Владислав Ходасевич в своем эссе «Белый коридор». Ходасевич написал об Ольге Давыдовне Каменевой, жене Л. Б. Каменева. Она заведовала тогда Всероссийским театральным отделом. Вот несколько зарисовок Ходасевича:

«Она (О. Д. Каменева. — *Е. Ч.*) меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэты, художники, музыканты не рождаются, а делаются; идея о прирожденном даре выдуманна феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художе-

* Письмо хранится в Архиве М. Горького (ИМЛИ).

ственную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу — певицей или танцовщицей; дело все только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Ей непременно нужно вмешиваться в дела художественные. Поэтому она затевает новую организацию, нечто вроде покойного Пролеткульта, но не Пролеткульт... Ольга Давыдовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы сообща обсудить проект. Это значит — опять будут морить людей заседаниями...»

В дневниковых записях Корнея Чуковского тоже присутствуют портреты руководящих педагогических деятельниц.

В разгар «борьбы с «чуковщиной»» Чуковский писал в одном из своих протестов:

«...А насчет того, что такое чуковщина, у меня есть особое мнение. Я, например, думаю, что этим словом ругаться нельзя... Чуковщина — это, во-первых, любовное и пристальное изучение детей. Во-вторых, это литературное новаторство — правда, очень скромных размеров: попытка изобрести новые формы и методы литературного подхода к ребенку... В третьих, чуковщина — это честная работа над своим материалом...»*

В нашей публикации звучат аргументы обеих сторон. Пусть же время и читатели рассудят, кто был прав в этом споре.

Март 1991

* Борьба за сказку // Детская литература. 1988. № 5. С. 35.

КАК ОН ВЫЖИЛ... ПОВЕЗЛО*



Интересно, что из всех детских сказок «Крокодил» подвергся особенно серьезной цензуре. Сперва Чуковскому пришлось заменить Петроград на Ленинград, потом — «по-немецки говорил» на «по-турецки говорил». Затем цензорам не понравился такой персонаж, как городской. По этому поводу есть очень смешные письма Корнея Ивановича. К сожалению, в советское время о многом не следовало упоминать. О Рождестве, к примеру. Все это ему пришлось менять.

Сейчас трудно издавать эти книги, ориентируясь на первоначальный вариант: сказки Чуковского уже настолько вошли в сознание, что любое изменение может вызвать шок у читателя.

Вот комический случай. У Чуковского в «Мойдодыре» было: «Боже, боже, что случилось, отчего же все кругом...» «Боже, боже» у нас было нельзя, поэтому его заставили заменить эту фразу. И долгое время в «Мойдодыре» выходило «Что такое, что случилось...», но рифмы не было. Есть даже письмо к редактору, где Чуковский просит, чтобы ему разрешили «Боже, Боже...» Последнее издание так и выходило: «Что такое, что случилось...» Потом я как-то раз вписала это самое «Боже, Боже...»: просто исправила в корректуре, и появилось такое издание. Меня вызвал к себе заместитель главного редактора издательства «Малыш». Оказалось, к ним пришло возмущенное письмо откуда-то, чуть ли не с Дальнего Востока. Родители писали, что их сыну 14 лет, и он якобы читает сказки Чуковского. Изменяя слова знакомой с детства сказки, следует учитывать, какой вред это может принести его юной неокрепшей душе. Так что вопрос о канонических текстах сказок — не так уж и прост.

* Из интервью Светлане Богдановой. См.: Газета.Ru 29.03.2002 или сайт <http://www.chukfamily.ru/>

Сначала советская власть выступала против «Крокодила», потом объявила войну сказке «Одолеем Бармалея». Затем Чуковский попал под постановление против Зощенко и Ахматовой, и в результате разгромили его «Бибигона». У него всегда были трудности. И в то же время он всегда был очень популярен. И именно детские вещи выходили из-под всех этих катков. Но с другими текстами было трудно. И только с 1957 года, когда впервые на официальном уровне пышно отпраздновали 75-летний юбилей Чуковского, когда в прессе было очень много и поздравлений, и шуточных стихов, и рисунков, снова начали переиздаваться его книги, и он стал эдаким патриархом от литературы. Таким он всем и запомнился.

Март 2002

О КНИГЕ «ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ»*



а несколько дней до моей поездки в Японию мне неожиданно позвонил директор нашего самого крупного детского издательства «Росмэн». Он сообщил, что их издательство выпускает по 50 названий разных детских книжек в месяц, но сборник сказок Чуковского в течение всего времени остается у них бестселлером, стоит на первом месте по спросу, они постоянно допечатывают тиражи этой книжки. Книга у них выходит в том виде, как выходила тридцать лет назад, еще при жизни Чуковского. Тогда ее иллюстрировали наши лучшие художники — Конашевич, Васнецов, Сутеев. Сказки, вошедшие в книжку, были написаны в 20-е годы, т. е. более 70-ти лет назад, но их читают всё новые и новые поколения детей.

Почему эти сказки оказались столь долговечными? Не только потому, что они написаны талантливым человеком, знающим и любящим поэзию. Этого, разумеется, недостаточно. Чуковский тщательно, на протяжении всей своей жизни изучал детскую психологию. Психологию детей «От 2 до 5». Так называется его книга, выдержавшая уже более двадцати пяти изданий в нашей стране и переведенная на десятки иностранных языков — английский, немецкий, шведский, норвежский, чешский, польский, болгарский — и японский. Тираж этой книги по-русски, я думаю, превышает один миллион экземпляров.

Нельзя понять успех детских сказок Чуковского, не зная этой его книги.

Над этой книгой он работал без преувеличения всю свою жизнь.

Материал для книги Чуковский собирал по двум направлениям.

* Доклад в Японии в Осаке в декабре 1997 года. Печатается впервые.

Во-первых, это его собственные наблюдения над своими детьми, а их у него было четверо, над приятелями детей и над теми малышами, с которыми он сам виделся в течение всей жизни — во время бесчисленных выступлений в детских садах, санаториях и просто на улицах. (Теперь эти наблюдения опубликованы на страницах его дневников.)

Но был еще один неиссякаемый источник сведений о детях. Еще в 1909 году Чуковский в печати обратился к своим читателям с такими словами:

«Я прошу всех лиц, которые так или иначе близки к детям, записывать для меня все детские слова и речения, почему-либо их поразившие, и присылать их ко мне...»*.

В те годы он не написал еще ни одной детской сказки, а лишь как критик выступал со статьями о тогдашней детской литературе и детских журналах. Но к нему довольно быстро пошел поток писем от родителей, от бабушек и дедушек с разнообразными наблюдениями за маленькими детьми, родительскими дневниками и проч. Теперь в архиве Чуковского хранятся свыше тысячи писем от родителей и родительских дневников.

Поэтому — *сначала* был опыт изучения детской психологии и детского языка, опыт наблюдений за маленькими детьми, а только позже, лет через 10 была написана первая сказка для малышей.

К этому времени во многих своих газетных статьях Чуковский уже сформулировал для себя закономерности детского мышления. Начал он свой анализ с исследования того, как дети овладевают языком.

В книге «От 2 до 5» есть глава «Детский язык». А в ней отделы: «Прислушиваюсь» с многочисленными примерами детских слов и выражений. Другие отделы называются «Подражание и творчество», «Детское чутье языка», «Величайший труженик», «Народная этимология», «Завоевание грамматики», «Типичные ошибки детей», «Анализ языкового наследия взрослых», «Свежесть детского восприятия слов», «Детская речь и народ».

В этих отделах приведены сотни убедительных, часто забавных примеров детской речи.

Основной вывод, который делает автор: «Воспитание речи — всегда воспитание мысли».

* Корней Чуковский. О детском языке // Речь. 1909, 14 (27) дек.

Книга «От 2 до 5» складывалась постепенно, многие ее главы сперва появлялись в виде отдельных статей. Так, в 1924 году вышла статья «Лепые нелепицы».

Начинается она с письма:

«Стыдно, т. Чуковский забивать головы наших ребят всякими путаницами, вроде того, что на деревьях растут башмаки, а “Жабы по небу летают, рыбы по полю гуляют...”. Зачем вы извращаете реальные факты? Детям нужны полезные сведения, а не фантастика насчет белых медведей, которые кричат ку-ка-ре-ку. Не этого мы ждем от наших детских писателей».

Отвечая на это письмо, Чуковский доказывает, что бытательский «здравый смысл» бывает врагом научной истины.

Он приводит примеры народной детской поэзии:

Ехала деревня
Мимо мужика.
Вдруг из под собаки
Лают ворота

и мн. др.

Приводит примеры английских и немецких народных детских песенок и утверждает, что ключ тут — в умственной игре, при которой распространенным методом является обратная координация вещей: собака мяукает, а кошка лает.

По этому же методу почти одновременно со статьей написана и сказка Чуковского «Путаница», где утки говорят ква-ква (как лягушки). А лягушки (кря-кря) как утки.

Чуковский пишет, что это стихотворение написано, так сказать, по заказу и по рецепту ребенка, что он изготовил для своего малыша игрушку. Дети неизменно ощущают эти игрушки, как нечто забавное. Чем яснее для ребенка правильная координация вещей, от которой он намеренно отступает в игре, тем сильнее в нем ощущение смешного. Значение этой детской игры — в самоэкзаме и в том, что она повышает самооценку ребенка.

Для ребенка невыносимо сознание, что он неспособен к тем действиями, которые совершают взрослые. Игрушками становятся только те идеи, которые уже крепко скоординированы между собой. Нельзя забывать, что именно координация знаний — важнейшая забота ребенка.

В 1925 году Чуковский заносит в свой дневник:

«Пришло в голову написать статью о пользе фантастических сказок, столь гонимых теперь. Вот такую: беременная баба узнала, что на таком то месяце ее будущий младенец обзавелся почему-то жабрами. — О, горе — не желаю рожать шуку! Потом еще немного — у ее младенца вырос хвост: О горе! не желаю рожать собаку! — Успокойся, баба, ты родишь не шуку, не собаку, но человека. Чтобы стать человеком, утробному младенцу необходимо побыть вчерне и собакой, и шукой. Таковы были все — и Лев Толстой, и Эдисон, и Карл Маркс. Много черновых образов сменяет природа для того, чтобы сделать нас людьми. В три года становимся фантастами, в четыре воинами и т. д. Этого не нужно бояться. Это черновики. Времянки. Самый трезвый народ — англичане, дали величайших фантастов...»

Так складывалась новая большая глава в книге «От 2 до 5», глава — «Борьба за сказку», которую автору удалось включить в книгу лишь в 1955 году, в одиннадцатое издание...

В 1928 году выходит первое издание книги «От 2 до 5» — под названием «Маленькие дети». В это же время Чуковский формулирует свои известные «Заповеди для детских поэтов» (1929).

«Я хорошо помню те сотни ненавидящих глаз, — вспоминал позже Чуковский, — которые буквально вонзались в меня, когда я осмеливался выступать на собраниях педологов в защиту моих бедных “Мойдодыров”. Именно в борьбе с этими врагами детей и родилась моя книжка “От двух до пяти”. В книжке я восставал против наивно-утилитарного подхода к детской литературе и доказывал, что даже небывальщина, даже “перевертыши”, даже явные нелепицы служат утверждению детей в реализме; что отнимать у них фантастическую, волшебную сказку — значит уродовать их душевную жизнь».

Читатели первых изданий книги горячо ее приняли. В 1930 году в Дневнике Чуковского появляется такая запись:

«Июль 1930. Разбирал письма о детях, которые идут ко мне со всего Союза. В год я получаю этих писем не меньше 500. Я стал какая-то “Всесоюзная мамаша” — что бы ни случилось с чьим-нибудь ребенком, сейчас же пишут мне об этом письмо. Дней 7–8 назад сию я небритый в своей комнате — пыль, мусор, мне стыдно в зеркало на себя поглядеть — вдруг звонок, являются двое — подтянутые, чудесно одетые, с очень культурными лицами — штурман подводной лодки и его товарищ Шевцов. Вытянулись в струнку, и один сказал с сильным украинским ак-

центом: «Мы пришли вас поблагодарить за вашу книгу о детях: вот он не хотел жениться, но прочитал вашу книгу, женился и теперь у него родилась дочь». Тот ни слова не сказал, а только улыбался благодарно».

Корней Иванович всю жизнь был окружен детьми. Вот, например, его записи в дневнике 1936 года:

«С тех пор как я познакомился с этими детьми, для меня как-то затуманились все взрослые. Странно, что отдыхать я могу только в среде детей».

«Потрясающе провожали меня дети... Каждый хотел непременно нести за мною какой-нибудь предмет: один нес зонтик, другой шляпу, третий портфель. Тот, кому не досталось ничего, горько заплакал... Я сел в машину, они убежали и вдруг гляжу: несут мой самый большой чемодан, который и мне не поднять — все вчетвером — милые! И как махали платками».

Но вернусь к «Борьбе за сказку».

Чуковский пишет, что если ребенку читают ту сказку, где выступает добрый, неустрашимый, благородный герой, который сражается со злыми врагами, ребенок непременно отождествляется с этим героем себя.

«Он жаждет, чтобы борьба, которую ведет благородный герой завершилась победой над коварством и злобой. Здесь великое гуманизирующее значение сказки: она приучает ребенка принимать к сердцу чужие печали и радости.

Надо использовать тяготение детей к сказке, чтобы при помощи веками испытанных книг развить, укрепить, обогатить и направить их способность к творческой мечте и фантастике.

Трезвым, осторожным рутинерам принадлежит настоящее, а тем, кто фантазирует — будущее. Творческая фантазия — это способность быстро образовывать новые и новые связи между явлениями.

Нельзя допустить, чтобы на основе своих мелко утилитарных теорий горе-педагоги отнимали у детей великое наследие мировой и классической словесности.

Эти горе-педагоги не умеют представить себе жизнь ребенка в виде процесса, т. е. в движении, изменении, развитии. Этим людям мерещится, что ребенок есть просто сундук, в который что положишь, то и вынешь. Положишь любовь к волку, мухе

или комару — так это и останется до конца жизни. На самом деле ребенок — это черновик человека и многое в этом черновике будет зачеркнуто или написано заново, пока он станет взрослым.

Цель сказочников — какую угодно ценою воспитать в ребенке человечность — эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою.

Надо пробудить в детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой и человек не человек».

Большая глава книги называется «Как дети слагают стихи».

Здесь Чуковский приводит многочисленные примеры стихотворений, написанных самими детьми, анализирует их ритмы и рифмы. Он отмечает, что детям свойственно влечение к рифме и ритму, что овладеть языком они начинают, упиваясь звонкими созвучиями, что первые ритмические звуки, которые слышит ребенок — это песни матери.

Чуковский приводит многие примеры детских дразнилок и песенок и приходит к выводу, что любимый стихотворный размер маленьких детей — хорей.

На основании своих наблюдений над детьми он формулирует «Заповеди для детских поэтов». Во всяком случае, сам он придерживался этих заповедей. И прежде всего он рекомендовал детским писателям учиться у народа, учиться у детей.

Назову лишь некоторые из его заповедей (их всего 13):

«Наши стихи должны быть графичны, т. е. в каждом двустишии должен быть материал для художника. В стихах должна происходить быстрая смена образов. Ребенку нужно, чтобы в стихах была песня и пляска, повышенная музыкальность поэтической речи.

Стихи для детей нельзя загромождать прилагательными, т. е. свойствами предмета, их надо насыщать глаголами, действием. Ритмом этих стихов должен быть хорей.

Стихи для детей должны быть и для взрослых поэзией».

Я кончаю тем, с чего начала. В своей книге «От 2 до 5» Чуковский построил целую теорию детского восприятия языка и окружающего мира и проверил свою теорию практикой — своими собственными стихами для детей.

От издания к изданию содержание книги менялось, расширялось, дополнялось.

Сам автор писал о своей книге у себя в дневнике:

«...Когда я писал эту книжку в ней было ново каждое слово, каждая мысль была моим *изобретением*... я умею писать, только *изобретая*, только высказывая мысли, которые никем не высказывались. Остальное совсем не занимает меня. Излагать *чужое* я не мог бы» (1955, декабрь).

«Третьего дня вышло новое 11-е издание «От двух до пяти».

Нет ни одной мысли, которую я списал бы откуда-нибудь — вся она *моя*, и все мысли в ней *мои*» (1956, сентябрь).

Приведу один из бесчисленных читательских отзывов:

«Я в один присест прочитал эту бессмертную книгу! Она поразительно умна, блестяща, остроумна, неповторима. Удивляет изобилие мыслей, совершенно самостоятельных, ни у кого не взятых. Эта книга гораздо шире своей темы. Если когда-нибудь будет существовать подлинная наука о человеческом мышлении, ей придется опереться на эту книгу. Книга представляется мне основой и другой науки, которой до сих пор не существует, — поэтики. И в то же время это занимательное чтение для зауряднейших мамаш. Она каждому дает столько, сколько он может взять, и способна накормить досыта и болвана и мудреца».

Корней Иванович скончался 28 октября 1969 года. До последних дней в больнице он работал над новой главой для «От 2 до 5», которую назвал «Признания старого сказочника». Глава не была закончена, но вошла приложением во все посмертные издания книги.

В этой недописанной главе он подчеркивает значение литературного вкуса в арсенале каждого писателя и утверждает, что писатель для маленьких детей непременно должен быть счастлив — счастлив, как и те, для кого он творит.

Декабрь 1997

ТЕНЬ БУДУЩЕГО*



книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» есть глава под названием «Тараканище». Там рассказано, как Евгения Семеновна читает эту сказку дочке. Дело происходит в бараке для ссыльнопоселенцев в начале 1953 года, еще при жизни Сталина. «Всех нас поразил второй смысл стиха», — замечает автор, цитируя строки: «...покорилися звери усатому, чтоб ему провалиться, проклятому».

Лев Копелев, вспоминая свои тюремные годы, пишет: «В Марфинской спецтюрьме мой приятель Гумер Измайлов доказывал, что Чуковского травили и едва не посадили за сказку “Тараканище”, потому что это сатира на Сталина — он тоже рыж и усат»**.

В наши дни посетители переделкинского Дома-музея Чуковского часто спрашивают: «Как он решился такое написать и как ему удалось после этого выжить?»

Газета «Господин народ» — есть и такая! — даже напечатала статью И. Андроникова «Не может быть», где уже сам Чуковский доверительно сообщает автору, что Таракан — это Сталин. Правда, очень быстро выяснилось, что Андроников такой статьи никогда не писал, а значит, и Чуковский ему ничего подобного не говорил, да и не мог говорить. Однако газета пока от опровержения воздерживается.

Живуча легенда. И жалко с ней расставаться. Но, увы, придется это сделать.

Сказка Корнея Чуковского «Тараканище» писалась в 1921–1922 годах*** и была опубликована в 1923 году. Вряд ли в те годы

* Независимая газета. 1991. 9 июля.

** Из кн.: *Раиса Орлова и Лев Копелев*. Мы жили в Москве. 1956–1980. М.: Книга, 1990. С. 304.

*** Рукопись см. в Литературном музее, дневниковые записи о работе над «Тараканищем» в 1922 году см. *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. Т. 12: Дневник (1922–1935). С. 48–49, 53 (записи от 27, 31 июля, 3 августа, 1 сентября 1922 г.). — *Примеч.* 2014 г.

Чуковский, далекий от партийных дел, даже слышал о Сталине, чье имя начало громко звучать лишь после смерти Ленина и загрохотало в сознании каждого в конце двадцатых годов.

Таракан — такой же Сталин, как любой другой диктатор в мире.

Попытки приписать сказкам Чуковского тот или иной политический смысл постоянно предпринимались в двадцатые и тридцатые годы. Вульгарно-социологическая критика убеждала читателя, что в «Крокодиле» показан мятеж генерала Корнилова, а «Муха-Цокотуха» — это прославление нэпа и кулацкого накопления.

Не переставая удивляться этим обвинениям, Чуковский писал в 1928 году: «...как беззащитна детская книга, и в каком унижении находится детский писатель, если имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика, и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл». И еще: «...не есть ли вообще Крокодил переодетый Деникин? Да, да, это высказывалось вслух — и на таких основаниях мои книги запрещались, изымались из обращения, урезывались»*.

Чуковский пытался объяснить своим прокурорам, что его сказки — не политиканские пасквили, что у него совсем другие задачи.

Но, пожалуй, этих простых объяснений недостаточно.

Нельзя не задуматься об удивительной способности искусства воплощать действительность и предугадывать будущее, нельзя не сказать о такой неуловимой субстанции, как интуиция художника.

Приведу еще одну цитату из Чуковского, которая наглядно демонстрирует мою мысль:

«Придумал сюжет продолжения своего “Крокодила”. Такой: звери захватили город и зажили в нем на одних правах с людьми. Но люди затеяли свергнуть звериное иго. И кончилось тем, что звери посадили всех людей в клетку, и теперь люди — в Зоологическом саду, а звери ходят и щекочут их тросточками**.

Это — строки из дневника 1920 года. Автор не осуществил своего замысла, не написал продолжения «Крокодила».

* *Корней Чуковский*. В защиту «Крокодила». Борьба за сказку // Детская литература. 1988. № 5.

** *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. Т. 11: Дневник (1901–1921). С. 300 (запись от 28 июня 1920 г.).

А если бы написал тогда же, в 1920 году?

Эта сказка могла бы впоследствии обернуться рассказом о Колыме и Магадане, которых тогда еще не было, но уже возникло многое, что их предвещало, делало их возможными.

На этих примерах видно, какие непростые связи определяют понятия реализм — фантастика, сказка — быль, прошлое — настоящее — будущее, как они переплетаются и переходят одно в другое.

Очевидно, будущее бросает свою тень на настоящее. И искусство умеет проявить эту тень раньше, чем появился тот, кто ее отбрасывает.

Июль 1991

АЛЕКСАНДР БЛОК В ДНЕВНИКЕ ЧУКОВСКОГО*



лок и Чуковский принадлежали к одному поколению — Блок всего на полтора года старше Чуковского. Но Чуковский пережил Блока почти на полстолетия, и поэтому его имя в сознании многих читателей связано с другим временем, с другой эпохой.

Поначалу личные отношения поэта Александра Блока и критика-фельетониста Корнея Чуковского сложились неблагоприятно. Знакомство их относится, вероятно, к 1906–1907 годам, когда Чуковский переехал в Петербург и начал печатать свои критические статьи в «Весах», «Ниве», «Речи», «Русской мысли» и других изданиях. Он, по собственным словам, «перезнакомился чуть ли не со всеми литераторами», часто выступал с чтением лекций, вызывавших шумные споры и полемику в печати. Среди первых же работ молодого критика (Чуковскому тогда было двадцать пять лет) можно назвать такие, в которых он писал о Блоке. Это статьи: «О современной русской поэзии»**, «Об Александре Блоке»***, «О хихикающих»**** и др.

Уже в это время Чуковскому случалось выступать перед публикой вместе с Блоком. Так, например, 13 июля 1907 года и Блок, и Чуковский приняли участие в литературном отделении «Вечера нового искусства», устроенного Мейерхольдом в театре-казино финляндского курорта Териоки*****.

* *Корней Чуковский*. Из дневника (1919–1921) / Вступ. ст., публ. и примеч. Е. Чуковской // *Вопр. лит.* 1980. № 10. С. 284–313.

** Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1907. Март. Стб. 391–419.

*** Свободные мысли. 5 (18) ноября 1907 года.

**** Речь. 20 декабря 1908 года (2 января 1909 года).

***** *Литературное наследство*. М., 1978. Т. 89: Александр Блок. Письма к жене. С. 214.

В то время Блок относился с неприязнью к литературной деятельности Чуковского. В статье «О современной критике», опубликованной в конце 1907 года, Блок писал: «Вот уже год, как занимает видное место среди петербургских критиков Корней Чуковский. Его чуткости и талантливости, едкости его пера — отрицать, я думаю, нельзя. Правда, стиль его грешит порой газетной легкостью...» (V, 203). Полемизируя далее со статьями Чуковского о бальмонтских переводах Уитмена и главным образом со статьями о Леониде Андрееве, Блок утверждает: «Чуковский — пример беспочвенной критики» (V, 205). Еще более резко высказывается он о Чуковском в своих Записных книжках того времени.

Позже в письме к исследователю биографии и творчества Блока — Д. Максиму Чуковский вспоминал: «Что же касается нападок Блока на меня, то они были вполне закономерны: часто я писал отвратительно, вульгарно, безвкусно. И Блок естественно возмущался моими писаниями»*.

В воспоминаниях о Блоке Чуковский так характеризует этот период их отношений: «Все эти годы мы встречались с ним часто (речь идет о 10-х годах. — *Е. Ч.*) — у Ремизова, у Мережковских, у Коммиссаржевской, у Федора Сологуба, у Руманова, и в разных петербургских редакциях, и на выставках картин, и на театральных премьерах, но ни о какой близости между нами не могло быть и речи. Я был газетный писатель, литературный поденщик, плебей, и он явно меня не любил. Письма его ко мне, относящиеся к тому времени, — деловые и сдержанные, без всякой задушевной тональности»**.

Эти далекие отношения переменились лишь в конце жизни Блока, в 1919–1921 годах. Впрочем, есть основания полагать, что Блок несколько изменил свои взгляды на литературную деятельность Чуковского уже и раньше. Так, известно, что именно Блок предложил Луначарскому поручить редактуру первого послереволюционного издания стихотворений Некрасова Чуковскому и В. Евгеньеву-Максимову***.

* *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15: Письма (1926–1969). М., 2009. С. 505. (После 22 апреля 1962 г.) — *Примеч.* 2014 г.

** *Корней Чуковский*. Современники. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 258.

*** См. «Протокол № 3 заседания Комиссии по изданию русских классиков при Комиссариате по народному просвещению 31-го января 1918 г.». С. 7:

В сентябре 1918 года Горький организовал в Петрограде издательство «Всемирная литература». В редакционную коллегию экспертов вошли Ф. Батюшков, А. Блок, Ф. Браун, А. Волинский, Е. Замятин, М. Горький, Н. Гумилев, А. Левинсон, Г. Лозинский, А. Тихонов (Серебров) и К. Чуковский. Совместная работа во «Всемирной литературе», в Секции исторических картин и в Доме искусств привела к тому, что Блок и Чуковский виделись чуть ли не ежедневно.

«В то трехлетие (1919–1921), — пишет Чуковский, — мы встречались с ним очень часто — и почти всегда на заседаниях: в Союзе деятелей художественной литературы, в Правлении Союза писателей, в редакционной коллегии издательства Гржебина, в коллегии «Всемирной литературы», в Высшем совете Дома искусств, в Секции исторических картин и др.

Через несколько месяцев нашей совместной работы у него мало-помалу сложилась привычка садиться со мною рядом и изредка (всегда неожиданно) обращаться ко мне с односложными фразами...»*

В Записных книжках Блока тех лет отмечены многие литературные разговоры с Чуковским, лекции Чуковского, на которых побывал Блок, совместные заседания во «Всемирной литературе», стихи для «Чукоккалы».

В 1920 году Чуковский начал работать над книгой о Блоке. Книга была почти закончена при жизни Блока. Блок был, безусловно, знаком с ее содержанием, слышал отрывки из нее на лекциях Чуковского. Их совместные выступления в апреле — мае 1921 года показывают, что Блок, очевидно, благожелательно отнесся к высказанным в книге суждениям Чуковского.

Так, 25 мая 1921 года Блок пометил в своем Дневнике: «Чуковский написал обо мне книгу и читал ряд лекций. Отсюда —

«...А. В. Луначарский обращается к А. А. Блоку с предложением взять на себя редактирование Некрасова.

А. А. Блок, ссылаясь на то, что он “не так знает, любит, понимает” Некрасова, чтобы братья за его редактирование, указывает на Чуковского и Максимова (Евгеньева), как на наиболее соответствующих этому» (РГБ. Ф. 620. Картон 67. Ед. хр. 40).

Сборник стихотворений Некрасова вышел в 1920 году под редакцией Чуковского и с биографическим очерком Евгеньева-Максимова.

* *Корней Чуковский*. Современники. М., 1967. С. 288.

наше сближение, вечер в театре 25 апреля, снимались Наппельбаумом» (VII, 421).

«Книга об Александре Блоке» была опубликована Чуковским через несколько месяцев после кончины Блока и посвящена исследованию его поэзии. В предисловии Чуковский писал:

«В начале 1920 года, во время яростных нападок заграничной печати на поэму Блока «Двенадцать», мне захотелось осветить эту поэму по-своему... Мне было ясно, что эта поэма неразрывно связана со всем предшествующим Блока, и что понять ее может лишь тот, кто близко знаком с этим творчеством... Поэтому, прежде чем говорить о «Двенадцати», я решил... сделать беглый обзор предшествующих произведений поэта... Я писал страницу за страницей и с огорчением видел, что предисловие разрастается в большую статью, а до «Двенадцати» еще далеко»*.

На страницах книги Чуковского мы читаем: «В «Двенадцати» высший расцвет его творчества, которое — с начала до конца — было как бы приготовлением, к этой поэме... Я назвал его поэму «Двенадцать» гениальной. Блок для моего поколения — величайший из ныне живущих поэтов. Вскоре это будет понято всеми»**. (Написано еще при жизни Блока.)

В архиве Чуковского сохранилось письмо М. Шкапской, которая была дружна с матерью Блока. 26 января 1922 года М. Шкапская пишет: «Александра Андреевна <...> просила меня передать Вам, что книга ей очень понравилась. Она выразилась так: «...На многое я могла бы возразить, но в целом написано необычайно талантливо и сказаны об Александре Александровиче поистине драгоценные вещи»***.

В «Книге об Александре Блоке» Чуковский занимался исключительно анализом его поэтического творчества, а в статье «Последние годы Блока» он поставил перед собой уже другие задачи. Он написал портрет Блока-человека, того человека, которого он узнал и полюбил в последние годы жизни, которому он сострадал и сочувствовал, которым восхищался. Это — воспоминания о Блоке, написанные в первые же месяцы после его кончины. Они были опубликованы в «Записках мечтате-

* К. Чуковский. Книга об Александре Блоке. Берлин: Эпоха, 1922. Предисловие.

** Там же. С. 129.

*** РГБ. Ф. 620. Картон 73. Ед. хр. 29.

лей» (1922. № 6). Весь этот номер, выпущенный издательством «Алконост» весной 1922 года, посвящен памяти Блока. Там же опубликованы «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке» Андрея Белого. В октябре 1921 года, когда этот сборник еще готовился к печати, Белый прочел статью Чуковского и написал в «Чукоккале»:

«Корнею Ивановичу Чуковскому с чувством двойной симпатии к нему лично; и к нему — за Блока, который для нас обоих так много значит.

Блок есть тот, кого понесут поколения русских к золотому бездорожью вселенского света; он будет жив, пока жива Россия...»*

Продолжая вспоминать Блока, его судьбу, его стихи, Чуковский несколько дополнил свои работы о нем. В 1924 году «Последние годы Блока» и «Книга об Александре Блоке» в переработанном виде были объединены в книгу «Александр Блок как человек и поэт».

Через сорок лет, в 1960-е годы, Чуковский вновь вернулся к воспоминаниям о Блоке. Эти воспоминания вошли в его книгу «Современники». В 1965 году он написал еще одну работу. Речь идет о комментарии к многочисленным блоковским автографам в «Чукоккале». В разное время Блок записал в рукописном альманахе Чуковского не только свои стихи (отрывок из «Скифов», «Чуковскому», «Продолжение “Стихов о Предметах Первой Нecessности”», «Сцена из исторической картины “Всемирная литература”», «Как всегда, были смутны чувства...»), но и прозаические отрывки — шуточные протоколы открытия (и закрытия) Дома Искусств, юбилейные поздравления М. Горькому и М. Кузину и многое другое. С именем Блока связаны десятки наиболее значительных и важных страниц альманаха. Большинство этих блоковских записей теперь опубликовано. Есть в «Чукоккале» и стихотворение «Пушкинскому Дому», написанное рукою матери Блока, билеты на его выступления и другие записи и документы.

Тогда же, в 60-е годы, Чуковский подготовил сборник стихотворений Александра Блока, который вышел с его предисловием в издательстве «Детская литература» в 1968 году. Об этом небольшом сборнике хочется вспомнить потому, что Чуковский отобрал для него свои любимые стихи.

* Чукоккала. М.: Русский путь. 2006. С. 379.

Завершается сборник стихотворением, которое оказалось нерасторжимо связанным с последними днями Чуковского. Именно эти стихи повторял Корней Иванович в больнице, чувствуя приближение конца, в последние дни своей смертельной болезни:

Боль проходит понемногу,
Не навек она дана.
Есть конец мятежным стонам.
Злую муку и тревогу
Побеждает тишина.

В архиве Чуковского сохранилось семь писем от Александра Блока.

Не только письма Блока и его записи в «Чукоккале», но и Дневник Чуковского тех лет предоставляет новые факты для биографии Блока. Свой Дневник Чуковский вел с 1900 года и до последних дней жизни. Записи касаются главным образом литературных событий, всегда стоявших в центре его интересов*. Прав был Зошенко, написавший в 1934 году в «Чукоккале»: «Наибольше всего завидую, Корней Иванович, тем Вашим читателям, которые лет через 50 будут читать Ваши дневники и весь этот Ваш замечательный материал»**. Действительно, Дневник Чуковского богат описаниями обстоятельств и лиц, оставивших след в нашей литературе.

Главное, что характеризует записи Чуковского о Блоке, — это неизменное сочувствие поэту, стремление сохранить, сбегать, запомнить каждое его слово.

Чуковский, человек иронический, насмешливый, острый, едкий — даже в записях, сделанных для себя одного, — на стра-

* Дневник Чуковского охватывает почти семьдесят лет XX века. Уже на протяжении десяти лет совместно с секретарем Чуковского К. Лозовской мы готовим Дневник к изданию. За эти годы он перепечатан, сверен с оригиналом, снабжен подробными указателями. Один только именной указатель лиц, упомянутых в Дневнике, занимает триста машинописных страниц. Эта предварительная работа, уже близкая к завершению, очень помогла при составлении примечаний и при выборе записей, касающихся Блока. Дневник, также как «Чукоккала», находится в моем личном архиве. *Примеч. 1980 г.*

** Чукоккала. С. 476.

ницах своего личного Дневника сразу меняет тон, чуть заговаривает о Блоке. Вот он описывает наружность Блока: «Я смотрел: его лицо и потное было величественно: Гёте и Данте», или: «Он был прекрасен — словно гравюра какого-то германского поэта», и в другом месте: «Измученное прекрасное лицо Блока». Вот — звук его речи: «Он читал упоительно: густым, страдающим, певучим, медленным голосом». А вот Чуковский слушает рецензии Блока: «Рецензии глубокие, с большими перспективами, меткие, чудесно написанные. Как жаль, что Блок так редко пишет об искусстве»; вот обсуждается программа издания ста лучших русских книг: «Блок... составил программу идеальную: она и свежа, и будоражит, в ней нет пошлости — и научна». В самом тоне этих записей чувствуется, что их автор всегда на стороне Блока, всегда, говоря словами Пушкина, «заодно с гением».

Но Чуковский не только очевидец, не только сосед по заседанию, который, придя домой, записывает слова любимого поэта. Чуковский в это время работает над книгой о нем. Поэтому он задает Блоку множество вопросов о его стихотворениях, о том или ином их толковании: «Я задавал ему столько вопросов о его стихах, что он сказал: “Вы удивительно похожи на следователя в ЧК”, — но отвечал на вопросы с удовольствием... Ему очень понравилось, когда я сказал, что “в своих гласных он не виноват”» и т. д.

Время предоставило возможность сопоставить записи Чуковского с дневником самого Блока, с воспоминаниями и дневниками других очевидцев тех же событий. Сопоставление это показывает, что Чуковский неизменно точен в передаче фактов, слов, интонаций. Он, например, подробно записывает, что говорил Блок на одном из заседаний (26 марта 1919 года) о кризисе гуманизма, что говорил об этом же Горький, с чем спорил Вольнский. Блок тоже записывает в своем Дневнике, что говорилось в этот день. Обе записи, дополняя друг друга, во многих местах совпадают почти дословно. Так же дословно совпадает рассказ Блока о вечере у Бразы, записанный в Дневнике Чуковского, и запись Блока об этом вечере в его Дневнике.

Чуковский описывает один из последних вечеров Блока в Москве, на котором был Маяковский. Он пишет: «...Все наше действо казалось ему скукой и смертью». Сам Маяковский

в своей статье 1921 года об этом же вечере Блока вспоминает: «Я слушал его... в полупустом зале, молчащем кладбищем... дальше дороги не было. Дальше смерть»*.

Можно указать и множество других подобных дословных совпадений записей в Дневнике Чуковского со статьями, дневниками, воспоминаниями других участников тех же событий. Так, например, записанный Чуковским рассказ Горького о том, что Л. Толстому не нравилось выражение «стеженое одеяло». Этот рассказ впоследствии вошел в воспоминания Горького о Толстом.

Несомненный интерес в Дневнике Чуковского представляют и его собственные суждения и оценки. В высокой степени ему было свойственно чувство истории, понимание, что он — участник и очевидец важных событий. Услышав 13 февраля 1921 года речь Блока «О назначении поэта», Чуковский записывает: «Только что вернулся с Пушкинского празднества в Доме литераторов. Собрание историческое».

Страницы Дневника, посвященные смерти Блока, исполнены пронзительной боли: «...Всю эту непередаваемую словами атмосферу Блока я вспомнил — и мне стало страшно, что этого нет. В могиле его голос, его почерк, его изумительная чистоплотность, его цветущие волосы, его знание латыни, немецкого языка, его маленькие изящные уши, его привычки, любви, “его декадентство”, “его реализм”, его морщины — все это под землей, в земле, земля».

Необходимо указать также на ту связь, которая существует между Дневником Чуковского, написанным для себя одного, и тем, что он писал и печатал о Блоке для читающей публики. Теперь, когда явилась возможность ознакомиться со страницами его Дневника, стало очевидным, что связь эта теснее, чем можно было предполагать. Удивительным образом в статье «Последние годы Блока», написанной осенью 1921 года «по живому следу», не оказалось ни одного факта, ни одного эпизода, ни одной реплики Блока, которые не были бы в свое время записаны в Дневнике. В этой статье Чуковский рассказывает читателю не о том, что сохранилось в его памяти, но о том, что сохранилось в его архиве. Это обстоятельство на первый взгляд может показать-

* *Владимир Маяковский*. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 12. С. 22.

ся неожиданным. Принято считать Чуковского «громогласным собеседником», помнившим десятки литературных историй, занимательным рассказчиком, обладателем неистощимой памяти. Такими утверждениями изобилуют воспоминания о нем*. На самом деле это только внешняя сторона его личности, так сказать, ее парадный фасад, отчасти даже маска.

Сам он любил называть себя «чернорабочим в литературе». И он не полагался ни на свои способности, ни на свою действительно великолепную память. Он знал цену литературному факту, историческому свидетельству и, восстанавливая в памяти дорогие для него черты облика Александра Блока, не позволял себе «сочинять воспоминания».

Этим Чуковский вновь подтвердил высокое уважение к своему великому современнику.

Октябрь 1980

* См.: Воспоминания о Корнее Чуковском. Составители: К. И. Лозовская, З. С. Паперный, Е. Ц. Чуковская. М.: Советский писатель, 1977.

АХМАТОВА И МАЯКОВСКИЙ



ы предлагаем вниманию читателей статью Корнея Чуковского «Ахматова и Маяковский», которая не вошла в его Собрание сочинений (М.: Художественная литература, 1965—1969), а сейчас известна только узкому кругу специали-

стов.

Чем же обусловлено обращение к критической работе, написанной более полувека назад?

Отвечая на этот вопрос, можно указать на большой общественный резонанс, который в свое время вызвало это выступление Чуковского, на то, что основные мысли и суждения, высказанные в статье, не обветшали и не опровергнуты временем.

Но сперва — немного истории.

В 1920 году Чуковский неоднократно выступал с лекцией «Две России (Ахматова и Маяковский)». Он читал ее и в Петрограде — в Доме Искусств, и в Москве — в Политехническом музее. Лекцию слушал Александр Блок, Маяковский отозвался на нее шуточными стихами:

Что ж ты в лекциях поешь,
Будто бы громила я,
Отношение моё ж
Самое премилое...*

В начале 1921 года статья «Ахматова и Маяковский» была напечатана в журнале «Дом искусств», № 1, выходявшем под редакцией М. Горького, М. Добужинского, Евг. Замятина, Н. Радлова и К. Чуковского. Хотя журнал из-за разрухи печат-

* Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 16.

тался мизерным тиражом, публикация статьи вызвала множество откликов в литературных кругах. Отзывы о ней встречаются в рецензиях и письмах М. Горького, С. Есенина, М. Кузмина, А. Луначарского, К. Федина и других.

Приводим некоторые из этих суждений современников:

М. Горький: «Статья К. И. — на мой взгляд — самое значительное и продуманное из всего, что он написал до сего дня.

Но — слишком много слов и есть ненужные повторения.
<...>

Любить — прекрасно, перехваливать — не следует. Порою К. И. перехваливает и Ахматову, и Маяковского»*.

А. Луначарский: «Лучше всего статья Чуковского “Ахматова и Маяковский”. Так как журнал не очень распространен, то я привожу здесь длинную выписку, резюмирующую мысль Чуковского об обоих писателях». Приведа пространную цитату из статьи, Луначарский не соглашается с тем, что пишет Чуковский о Маяковском: «Маяковский... совершенно не покрывает собою новой России, об этом просто смешно говорить... Он, конечно, явление очень крупное, но вовсе не знаменосец... Партия, как таковая, коммунистическая партия, которая есть главный кузнец новой жизни, относится холодно и даже враждебно не только к прежним произведениям Маяковского, но и к тем, в которых он выступает трубачом коммунизма... Маяковский не орел, как мыслитель...»**

К. Федин: «Для петербуржцев не нова статья К. Чуковского “Ахматова и Маяковский”: автор выступал не раз с докладом на тему “Две России”, и всем известно, что “Россия раскололась теперь на Ахматовых и Маяковских”. Критик приходит к заключению, что настало время синтеза тихой, старой, “культурной” Руси, которую воплощает “церковная” Ахматова, и барабанно-бравурной, площадной России Маяковского. Но хотя автор и уверяет, что он одинаково любит и Ахматову, и Маяковского, чувствуется, что о Руси Ахматовой он говорит с большей любовью, большей нежностью, чем о горластом дядьке футуристов»***.

* Отзыв М. Горького о журнале «Дом искусств». № 1 // Архив А. М. Горького. ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР. Цит. по фотоконпии, хранящейся в архиве семьи Чуковского.

** «Печать и революция». 1921. Кн. 2. Авг. — окт. С. 225, 227.

*** «Книга и революция». 1921. № 8—9. С. 86.

М. Кузмин: «...не напрасно Чуковский соединил эти два имени. Оба поэта, при всем их различии, стоят на распутии. Или популярность, или дальнейшее творчество... И Маяковский, и Ахматова стоят на опасной точке поворота и выбора. Я слишком люблю их, чтобы не желать им творческого пути, а не спокойной и заслуженной популярности»*.

А. Кублицкая-Блок-Бекетова: «<...> может быть, Вы прочтете лекцию или напечатаете <...> как об Ахматовой и Маяковском. (Боже мой, я ведь и слушала это Ваше сообщение, и перечла его на днях — как блестяще хорошо!) И как поражает Маяковский крупностью...»**.

Разумеется, читая эту давнюю статью теперь, нельзя забывать, что произведения обоих поэтов — Ахматовой и Маяковского, — написанные после 1921 года, требуют от современной критики нового осмысления. Говоря словами Чуковского, «на каждого писателя, произведения которого живут в течение нескольких эпох, всякая новая эпоха накладывает новую сетку или решетку, которая закрывает в образе писателя всякий раз другие черты — и открывает иные»***. Однако есть в статье Чуковского такие качества, о которых стоит напомнить именно сегодня, когда так много говорится о пробелах современной критической мысли.

Отвечая Горькому на его замечания по поводу статьи, Чуковский так сформулировал основные черты своего критического метода: «<...> Вы пишете, что моя статья об Ахматовой и Маяковском — многословная. Верно. Я писал ее для лекции, для публичного чтения, и, боясь рассеянного внимания слушателей, часто варьировал одну и ту же мысль на несколько ладов. Это прием необходимый при чтении лекций: ежели слушатель не уловит одного варианта, он уловит другой. <...>

Меня, как литературного критика, <...> здесь интересовало применение неких драгоценных критических методов для исследования литературных явлений. Я затеял характеризовать писателя не его мнениями и убеждениями, которые ведь могут, меняться, а его *органическим стилем*, теми *инстинктивными*,

* М. Кузмин. Условности. Пг. 1923. С. 166—167.

** Это письмо матери А. Блока К. Чуковскому написано 23 февраля 1921 года. Литературное наследство. 1987. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. С. 317.

*** «Юность». 1982. № 3. С. 87.

бессознательными навыками творчества, коих часто не замечает он сам. Я изучаю излюбленные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам, и на основании этого чисто формального, технического научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя... нужно на основании формальных подходов к материалу конструировать то, что прежде называлось душою поэта... Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но, когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека... Критика должна быть и научной, и эстетической, и философской, и публицистической».*

В статье «Ахматова и Маяковский» автор использует все те приемы, о которых говорит в своем письме к Горькому.

Январь 1988

* Письмо К. Чуковского М. Горькому см.: *К. Чуковский. Собр. соч.*: В 15 т. Т. 14. С. 446–447. — *Примеч.* 2012 г.

О ДНЕВНИКЕ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО*



вой дневник Чуковский вел почти семьдесят лет — с 1901 по 1969 год. Сохранилось двадцать девять тетрадей с дневниковыми записями. Дневник писался весьма неравномерно — иногда чуть не каждый день, иногда с интервалом в несколько месяцев или даже в целый год. По виду дневниковых тетрадей ясно, что их автор не раз перечитывал свои записи: во многих тетрадях вырваны страницы, на некоторых листах отмечено красным и синим карандашом — «Горький», «Репин», «Блок». Очевидно, Чуковский пользовался дневником, когда работал над воспоминаниями.

В 20-е годы было трудно с бумагой, и автор дневника писал на оборотах чужих писем, на отдельных листках, которые потом клеивал или просто вкладывал (не всегда датируя) в тетрадку. В дневник вклеены фотографии лондонских улиц, письма, газетные вырезки, встречаются беглые зарисовки.

Особняком стоит первая тетрадь большого формата за 1901 — лето 1903 года (до отъезда в Англию). Эту тетрадь вел в Одессе 19–20-летний Корней Чуковский, начинающий философ, недавно выгнанный из гимназии, изобретающий свою философскую систему и печатающий свои первые статьи. Записи личного характера перемежаются с конспектами читаемых книг и журналов, сочинениями, написанными на заказ для заработка, и набросками первых газетных статей. В довершение всего, записи ведутся беспорядочно, с разных концов тетради и далеко не всегда датированы.

Эти ранние записи дают почувствовать, какова была его жадность к знаниям, из чего складывалась его эрудиция и начитан-

* Елена Чуковская. От публикатора // Корней Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. Т. 11. С. 513–516. Печатается с сокращениями.

ность, позволившая ему уже через несколько лет стать заметным петербургским критиком.

После отъезда в Англию Чуковский уже никогда не возвращался к такой манере ведения дневника. Во всех последующих тетрадах нет никаких конспектов и набросков статей, большинство записей датированы и идут последовательно друг за другом.

Обращает на себя внимание полное отсутствие записей за 1915 год, их немного в 1916—1917 годах. Вообще, дневник велся нерегулярно. В 1919—1924 годах он очень подробен, а иногда записи отсутствуют целые месяцы или даже целый год.

Основное содержание дневника — литературные события, впечатления от читаемых книг, от разговоров с писателями, художниками, актерами. Прав был Зощенко, написавший в 1934 г. в «Чукоккале»: «Наибольшее всего завидую, Корней Иванович, тем Вашим читателям, которые лет через пятьдесят будут читать Ваши дневники и весь этот Ваш замечательный материал».

Действительно, дневник Чуковского богат описаниями обстоятельств и лиц, оставивших след в нашей литературе.

Время предоставило возможность сопоставить записи Чуковского с Дневником Блока, с воспоминаниями и дневниками других очевидцев...

Дневник насыщен литературными ассоциациями, расквашенными внутренними цитатами или цитатами, взятыми в кавычки, стихотворными строками, заглавиями читаемых книг и т. д.

После кончины Чуковского в начале 70-х годов дневник был полностью перепечатан и сверен с оригиналом.

Первые публикации отрывков из дневника начались в «Литературном наследстве», в журналах и газетах 1980-х годов, а отдельным сокращенным изданием в двух книгах дневник вышел в 1991, 1994 годах и с тех пор несколько раз переиздан, в том числе в полном виде — в трех томах.

Полное издание и комментирование дневника стало возможным благодаря весьма существенным публикациям последних лет. Это библиографический указатель «Корней Чуковский» (М., 1999), составленный Д. А. Берман, а также тома пятнадцатитомного Собрания сочинений Чуковского, представившего под своими обложками многие произведения, не переиздавав-

шиеся с давних пор. Нужно назвать также том стихотворений Чуковского в «Библиотеке поэта» (2002), тома его переписки с дочерью Лидией (2003) и сыном Николаем (2005), полное издание «Чукоккалы» (1999, 2006), книги *Н. Н. Панасенко* (2002) и *Е. В. Ивановой* (2005) о дореволюционном периоде жизни Чуковского. Используются также неопубликованные документы из архива Чуковского.

Пользуюсь возможностью поблагодарить *К. И. Лозовскую*, многолетнюю помощницу *К. И. Чуковского*, за участие в подготовке рукописи дневника к печати, а также *Е. В. Иванову*, которая прочла всю рукопись и сделала много полезных замечаний и ряд существенных дополнений для комментариев.

От души благодарю всех, кто помогал готовить к печати это весьма трудоемкое издание.

1991–2005

НАЕДИНЕ С САМИМ СОБОЙ*



можно догадаться, какие барьеры вам пришлось преодолеть за 20 лет работы над «Дневником». Он появляется на свет, когда, кажется, напечатано уже все, что раньше не было дозволено.

— Я не открою ничего нового, если скажу, что мы оказались без истории литературы, которая только начинает создаваться. В 20-е годы Корней Иванович был тесно связан с людьми, о которых позже нельзя было даже упоминать. Один перечень названных в дневнике лиц занимает десятки страниц. Многие из них погибли: были расстреляны, умерли в лагерях, иные эмигрировали. Большую помощь в поисках сведений об этих людях мне оказал молодой историк Дмитрий Юрасов, который ведет картотеку репрессированных.

Под запретом находилось даже имя моей матери, часто встречающееся в дневнике. Судя по официальным биографиям, у Корнея Чуковского не было дочери Лидии.

По дневнику видно, что Корней Иванович обладал особым качеством — талантом жизни. У него был меткий глаз — иронический, чуждый иллюзий. Дневник изобилует описаниями литературных событий и нравов тех лет.

После убийства Кирова в его записях появляются многочисленные пропуски. В это время был арестован и вскоре расстрелян муж Лидии Корнеевны. Сам Чуковский постоянно хлопочет о репрессированных — это видно по архивным документам. Но в дневнике об этом ничего нет. Записи утрачивают доверительный характер, пропадают оценки. Уходит и то, чем так хороша

* Беседу вела Елена Веселая // Московские новости. 1990. 16 сент. № 37.

первая часть, — точность и образность в описании людей и событий. Любая фраза могла стать уликой. Люди перестали писать письма, вести дневники. С какого-то момента самоцензура обогнала цензуру. Корней Иванович был очень жестким цензором по отношению к себе.

— Сейчас многие считают подозрительным даже сам факт, что какой-то известный человек в те годы уцелел...

— Это так. Я очень обиделась, когда один писатель сказал о поколении 20–30-х годов: «Ну, что о них говорить? Литература третьего рейха».

Слишком много дорогих мне людей связано с тем страшным временем, они жили в нем в соответствии со своими понятиями о справедливости.

Корней Иванович был одним из этих людей. Его любимым писателем был Чехов. Чуковский очень чтил теорию «малых дел», над которой у нас было принято издеваться. Он каждый день занимался чьим-нибудь делом: помогал с устройством в больницу, с пропиской, с деньгами, с публикациями.

Человек должен быть судим за свои поступки, а не за то, что он часть эпохи.

— И тем не менее мы судим. Переосмысливаем роль бывших титанов. Вы же сами сказали, что история литературы у нас только начинает писаться.

— В сущности, теперь мы боремся с масками, созданными нашей пропагандой. Горький, Маяковский, Алексей Толстой были канонизированы. То, что в их произведениях подходило для сиюминутных политических целей, всячески выпячивалось, все неудобное — задвигалось.

В известной мере то же самое произошло с Чуковским. В сознании многих это улыбающийся старик, друг детей, автор «Мухи-Цокотухи». Но Корней Иванович начинал как шумный, скандальный критик, статьи которого было принято считать субъективными. Как критик он никому не известен, в мировосприятии нынешнего поколения его статей просто нет. Надеюсь, этот год будет в каком-то смысле поворотным для Чуковского: в библиотеке «Огонёк» большим тиражом вышел том его кри-

тических статей, появится «Дневник». Быть может, настоящий Чуковский читателю совсем не понравится, но не понравится уже реальное лицо, а не придуманное.

В 1925 году Корней Иванович писал: «Как критик я принужден молчать, ибо критика у нас теперь рапповская, судят не по талантам, а по партбилету. Сделали меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книгами — их замалчивание, травля, улюлюканье, запрещения их цензурой заставили меня сойти с этой арены. И вот я нашел последний угол: шутовской газетный роман под прикрытием чужой фамилии... Да я, Корней Чуковский, вовсе и не романист, я бывший критик, бывший человек и т. д.».

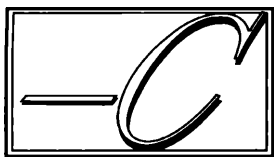
— Но ведь и сам Чуковский как-то повинен в том, что мы не знаем его истинного лица. Его хорошо известные мемуары «Современники», вероятно, сильно отличаются от «Дневника»?

— Мемуары писались в 50-е годы и, увы, в духе времени. Сейчас, сопоставляя «Дневник» и мемуары, я вижу множество расхождений, например в записях о Горьком. При том что Корней Иванович очень ценил Горького, не все в нем было ему близко. Но в 20-е годы Горький многих просто спасал, вытаскивал из тюрьмы, доставал пайки. Чуковский работал в созданном Горьким издательстве «Всемирная литература» и, как человек памятный, был ему глубоко признателен.

Когда в 1928 году Крупская обвинила Чуковского в том, что он ненавидит Некрасова, Горький из Италии защитил его письмом в «Правду», напоминая, как Ленин ценил работы Чуковского о Некрасове. Благодаря этой защите Корней Иванович смог устоять, когда на него накнулись жены наших вождей — Крупская, Свердлов, Лилина, занимавшиеся, как известно, педагогикой и развернувшие кампанию борьбы с «чуковщиной».

Чуковский был человек сложный. Увлеченный своим делом, даже одержимый, он бывал и очень несправедлив, и труден в общении. Не всегда мотивы его поступков лежали на поверхности. Не говоря уже о том, что большой период его жизни пришелся на ужасное время, которое его ломало и которое он пытался преодолеть. Думаю, его «Дневник» позволит судить и об эпохе, и об авторе.

ВРЕМЯ ДОЛЖНО ЗАПЕЧАТАТЬ СЕБЯ В СЛОВЕ*



тех пор как вышел дневник Чуковского, о нем много писали и говорили. Иногда очень критически. Вы также следили за откликами?

— На все упреки по поводу сокращений я отвечаю, что до сих пор не получила ни одного предложения от издателя на публикацию дневника полностью. В основном ведь критиковали за сокращения. Я по неопытности очень тщательно отметила их, но эти сокращения были обусловлены двумя обстоятельствами. Во-первых, подготовка рукописи — а это было множество тетрадок — начиналась еще тогда, когда было ясно, что многое придется опустить из-за цензуры: о Гумилеве, Замятине, Ходасевиче, даже имя Лидии Корнеевны нельзя было упоминать. Во-вторых, предполагалась только одна первая часть дневника, потому что многие из упомянутых позже были живы — тогда еще было не принято задевать живых людей. И наконец, сам Корней Иванович пишет в дневнике, что не нужно слишком интимничать с читателем. Он имел в виду мелочи жизни: что ел, как спал. А все думают, что за сокращениями скрыто что-то очень важное. На самом деле все общественно значимое, включая моменты крайне невыгодные — например, восхищение Сталиным или ядовитые замечания по адресу каких-то известных людей, — я сохранила. Но и это тоже многим не понравилось. В 1921 году Корней Иванович после доклада Китаиста Василия Алексева на заседании коллегии «Всемирной литературы» назвал его в дневнике «желтой опасностью»... Я получила очень обиженное письмо от дочери Алексева: «Вот вы так

* Из интервью Анне Вербиевой // Независимая газета — Ex-Libris. 1999. 15 июля.

много сокращали, почему же не выкинули колкости про моего отца, замечательного китаиста?»

— Что это будет за дневник, если ему вырвать все зубы?

— И что это будет за время? Я убеждена, что время должно запечатлеть себя в слове. Таким как есть, со всеми подробностями, даже если это кому-то не нравится... Но во втором томе были и сокращения иного рода. Например, в то же время, когда я готовила дневник, Лидия Корнеевна писала свою книгу «Прочерк» (пока неопубликованную)* о том, как она, девятнадцатилетняя студентка, была арестована и выслана в Саратов. И она попросила, чтобы никакие упоминания об этой истории — а они были в дневнике Корнея Ивановича — не публиковались прежде, чем увидит свет ее рассказ. Сейчас глава о Саратове из «Прочерка» выходит в журнале «Звезда», а в качестве приложения к нему — соответствующие места из дневника Чуковского.

Дневник Блока, например, тоже ведь опубликован не полностью, но пропуски не указаны. То же самое — первые издания дневника Суворина.

— Кроме претензий к вам, на мой взгляд, несправедливых, есть еще и, скажем так, претензии к автору дневника. Личность Чуковского вырисовывается очень непростая. Добрый дедушка Корней — и желчный, язвительный критик. Подобострастный прислужник властей... Детский поэт, который начинал как критик — или критик, который спрятался от цензуры в детскую поэзию? Каким видели его вы?

— Спрятался — это неверно, хотя он сам так говорил. Все его занятия проходят сквозь всю жизнь. Еще в 1909 году он напечатал обращение с просьбой присылать письма обо всем, «что вас удивит в своем или чужом ребенке». У него накопилось колоссальное количество родительских писем — на их основе писалась книга «От 2 до 5». Потом он обнаружил, что словотворчество футуристов строится по тем же законам, что и детское. Начал писать о языке — отсюда пошла книга «Живой как жизнь»... Он шел, широко разбрасывая шаги, но не теряя направления. На-

* См.: Лидия Чуковская. Прочерк. М.: Время, 2009. — Примеч. 2012 г.

зывал себя легкомысленным, но в нем не было ничего приблизительного. Меня поражала в нем одержимость литературой и универсальность познаний. Глубоких, доскональных. Бранным словом у него было «полузнайство».

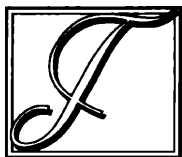
— Вы считаете свою миссию публикатора выполненной или мы еще увидим дневник полностью?

— В науке принято считать главным признаком признания работы — индекс цитируемости, а не похвалы или ругань на ученом совете. С этой точки зрения с дневником Корнея Ивановича все обстоит очень хорошо — его читают. С тех пор не вышло, во всяком случае, я не встречала, ни одной работы по истории литературы этого периода, где не было бы ссылок на дневник Чуковского. Используют сведения, почерпнутые оттуда, полемизируют, комментируют, просто цитируют. Так что с дневником, я думаю, все в порядке.

Июль 1999

О ПИРАТСКИХ ИЗДАНИЯХ*

Письмо в редакцию



лубокоуважаемая редакция «Книжного обозрения»!

В последнее время Ваша газета регулярно печатает сообщения и рекламные анонсы о книгах, подготовленных к печати при участии Корнея Чуковского. Привожу имеющиеся у меня сведения (приведены 12 изданий с указанием издательства и тиража. — *Е. Ч.*).

Как правопреемник автора могу сообщить, что ни одно из этих неведомых мне издательств не заключало со мной никаких договоров, я не предоставляла им никаких рукописей, не давала согласия на иллюстрации художникам, не читала корректур, не видела макетов книг и не получала ни авторских экземпляров, ни гонорара. Таким образом, перечисленные издательства нарушили в с е без исключения нормы авторского права.

Это не так безобидно, как кажется на первый взгляд. С 20-х годов Чуковский работал в содружестве с лучшими художниками — Ю. Анненковым, М. Добужинским, С. Чехониным, Н. Ре-Ми, Вл. Конашевичем, Ю. Васнецовым, В. Курдовым и многими другими, предъявляя высокие эстетические требования к детским книжкам. В книге «От двух до пяти» он сформулировал «Заповеди для детских писателей». Специалистам известно, что у К. Чуковского почти не было неизменных переизданий — в каждое последующее издание он вносил уточнения, изменения, поправки.

А теперь совершенно неведомые люди, никого ни о чем не спрашивая, берут первую попавшуюся под руку книжку и самовольно тиражируют тексты, которые, может быть, и не соответствуют окончательной авторской редакции. Часто эти пиратские

* Книжное обозрение. 1992. 31 янв.

издания снабжены негодными иллюстрациями и ни по шрифтам, ни по форматам не отвечают элементарным требованиям, предъявляемым к детской книге.

Кроме того, эти книги появляются на книжном рынке совершенно внезапно и своей нахрапистой халтурностью дезорганизуют, а иногда и срывают работу квалифицированных и профессиональных издателей. Искусство детской книги, которым славилась наша страна, они превращают в надоедливый ширпотреб, в «дешевку», которая к тому же безобразно дорога.

Совершенно очевидно, что издатели, о которых идет речь, не знакомы с азами книгоиздательского дела.

Мне уже случалось писать о разбойном нападении на А. Солженицына и одновременно на миллионы читателей. Речь идет о Малом собрании сочинений Солженицына, выпускаемом издательством «Инком-НВ». Моя статья по этому поводу напечатана в «Литературной газете» 14 августа 1991 г.*

Можно привести еще один выразительный пример — тоже из разряда разбойных нападений. Я имею в виду пятикратно переизданного в 1991 году «Сына Тарзана» в переводе Л. и Н. Чуковских (также перечислены издания с указанием издательства и тиража). Лидия Чуковская делала этот перевод в семнадцатилетнем возрасте в начале 20-х годов. А теперь, в 90-е, никто из издателей не спросил ее, желает ли она переиздать этот свой ранний переводческий опыт 70 лет спустя и сегодня предстать с этой работой перед судом читающей публики. Никто не спросил — и, разумеется, не прислал ни экземпляров, ни гонорара.

Примеры издательских своеволий можно продолжить и дальше — бывает, что тираж, указанный на книге, не соответствует реально отпечатанному. Но, пожалуй, достаточно и сказанного.

Я считаю, что необходимо безотлагательно разработать и активно применять законодательство по авторскому праву. В этом законодательстве следует предусмотреть жесткие экономические и административные санкции — вплоть до лишения лицензии — за самоуправство в области издательского дела. Закон должен быть таков, чтобы хватать книжки без спросу и издавать их незаконно и халтурно стало бы невыгодно.

Январь 1992

* Упомянута моя статья «Благодарю...», см. с. 285 наст. изд.



сожалению, мне не удалось поместить в печать ни одного из своих бесчисленных писем в защиту переделкинского Дома Чуковского, стихийно превратившегося в музей вскоре после кончины Корнея Ивановича. Суд, затеянный в 1982 году СП СССР и Литфондом СССР для уничтожения музея, не освещался в печати и многочисленные письма наших заступников в защиту дома тоже не проникали на страницы газет. Сейчас часть этих документов опубликована в статье Павла Крючкова «Дело о Доме» (Вопросы литературы. 2011. Май-июнь. С. 368–439). Ниже помещен отзвук истории музея, — статья и выдержки из некоторых моих интервью, напечатанных в годы перестройки. По этим интервью видно, сквозь какие препоны шло становление переделкинского музея Чуковского.

ДЕНЬГИ ОТ БАРМАЛЕЯ*



№ 33 вашей газеты помещена статья Льва Копелева под заглавием «Отстоим Дом Чуковского». В статье Копелев пишет о переделкинском Музее Чуковского с необыкновенной сердечностью и сочувствием. Статья завершена обращением к читателям: каждому, кто помнит хоть одну строчку Чуковского, внести хоть один рубль на реставрацию музея. Средства предлагается перечислять по адресу: Российский международный фонд культуры... целевой взнос «Дому Чуковского в Переделкине».

Я заранее благодарна тем, кто откликнется на этот призыв. Дом Чуковского в Переделкине за 21 год посетили свыше 100 тыс. человек. У нас хранятся 13 толстых тетрадей с просьбами от посетителей со всех концов нашей страны и из-за рубежа — сохранить дом для будущих поколений. Музей располагает предложениями материальной помощи от пенсионеров, от малоимущих граждан, приходивших к нам с детьми и внуками, от учителей, библиотекарей и т. д.

Со своей стороны я хочу выдвинуть еще одно предложение. Дело в том, что сейчас идет обвальное пиратское печатанье произведений К. Чуковского для детей — его сказок, переводов и пересказов. К сегодняшнему дню выпущено уже более 60 пиратских изданий книг Чуковского общим тиражом около 16 млн. экземпляров. Книги изданы без договора со мной как с правопреемником автора, без выплаты гонорара, без предоставления авторских экземпляров, часто на низком профессиональном и полиграфическом уровне. Иногда без имени Чуковского или под другим именем (плагиат!). Если бы все эти издатели-пираты выплатили причитающийся гонорар, не пришлось бы собирать средства с малоимущих граждан. Пусть лучше платят те, кто,

* Литературная газета. 1992. 9 сент.

пользуясь моментом, наживается на имени Чуковского, продавая его книги по цене от 10 до 100 рублей за экземпляр. И это — в те самые дни, когда рушится его переделкинский музей, т. к. нет денег на его реставрацию.

Я призываю издателей, выпустивших незаконно какую-либо книгу Чуковского или его перевод (пересказ) для детей, связаться с моими юридическими представителями, заключить договор и по этому договору выплатить гонорар, который будет перечислен мною на нужды музея.

Надеюсь, что предлагаемый мною выход поможет издателям восстановить свое доброе имя, а Дому Чуковского — устоять вопреки всем трудностям нашего времени.

Сентябрь 1992

ДОМ, КОТОРЫЙ СЪЕЛ БАРМАЛЕЙ*



ури и ураганы, пронесшиеся над дачей Чуковского, казалось бы, улеглись; Союз писателей и Литфонд, пытавшиеся выселить ее обитателей, а сам дом снести, отступились, дело в суде прекращено, музей передан в аренду Фонду культуры и взят под охрану государства. Был даже начат его капитальный ремонт. Но, как оказалось, это были временные победы, и с уходом Дмитрия Сергеевича Лихачева с поста председателя правления Фонда культуры, много занимавшегося проблемами музея, настала новая эпоха — затишья и забвенья.

— Я убедилась: добро и зло всегда конкретны, их совершают конкретные люди. И перипетии конфликта вокруг Музея Чуковского — тому яркий пример. Этот музей никто официально не создавал, не организовывал. Просто Лидия Корнеевна Чуковская, моя мать и дочь Корнея Ивановича, как-то истово относилась к памяти отца, к тому, чтобы после его смерти в комнатах все сохранилось так, как было при нем, чтобы мы ничего не трогали. Поначалу домочадцам это было непривычно. Корней Иванович наоборот разрешал все... Очень скоро начали приходить люди, то один, то другой, просили показать кабинет, где работал Корней Иванович. Посетителей вскоре стало так много, что как-то сам собой возник и музей. И мы, живущие в доме, как-то естественно стали экскурсоводами.

У нас было много добровольных помощников и среди посетителей, и среди музейных работников. Блоковский музей, например, прислал нам музейные тапочки, помогал и помогает Литературный музей. А вот те, кто должен был бы помочь по

* Из интервью Ирине Тосунян // Литературная газета. 1994. 19 янв.

должности, всегда мешали. В ЦК сидел С. В. Потемкин, в Союзе писателей — Ю. Н. Верченко, в Министерстве культуры — Ю. С. Мелентьев.

Александр Зиновьевич Крейн, замечательный музейщик, говорил, что это был самый богатый музей страны, потому что все в нем было подлинным и все было в сохранности — от реликвий некрасовской эпохи да «Страны Муравии» Твардовского с вписанными рукой автора строфами, которые цензура выкинула из книги. Библиотека в пять с половиной тысяч томов, многие книги с автографами и пометками писателей, рисунки В. Маяковского, Ю. Анненкова, И. Репина, Б. Григорьева, редкие игрушки со всех концов мира и редкие фотографии, последнее письмо Л. Толстого из Оптиной пустыни, адресованное Чуковскому...

— Елена Цезаревна, я знаю, что суд был прекращен в 1989 году с помощью Дмитрия Сергеевича Лихачева. Фонд культуры добился, чтобы дом Чуковского был передан под охрану государства и даже отпустил деньги на капитальный ремонт.

— Да, укрепили фундамент, починили крышу и отопление. Много души вложила в заботу о музее сотрудница фонда Т. И. Андропова. А в мае 1993 года Лихачев ушел из Фонда культуры, и на его место заступил Никита Сергеевич Михалков. Я все думала: зачем ему, такому талантливому актеру и режиссеру, человеку занятому, постоянно находящемуся то на съемках, то в дальних и ближних поездках, зачем ему весь этот кошмар нашей разваливающейся культуры? Неужели бросит свое дело, свое призвание и займется только той огромной работой, которую потребует от него руководство Фондом культуры?.. Сегодня, спустя восемь месяцев уже ясно, что приход Михалкова-младшего был концом того Фонда культуры, который создал Дмитрий Сергеевич. Что же касается непосредственно Музея Чуковского, то он оказался и вовсе исключен из сферы внимания нового председателя. Все прошлые программы по спасению музея ликвидированы, сотрудники, которые занимались нашим музеем, уволены, письма мои остались без ответа. Ремонт дома остановлен, договор, заключенный со строителями, не выпол-

нен. Сами строители в один прекрасный день ушли, разгромив все в доме. Теперь там вскрытые полы, выломанные рамы, искорежены ворота и перерыт двор.

— А почему, рассказывая о музее, вы говорите «был самый богатый», «в нем все было подлинным»? Что случилось с экспонатами? Где все эти вещи, книги?

— В трех местах. Часть вещей в Доме-музее Пастернака в Переделкине (там нашлась свободная терраса), какие-то экспонаты приютил музей Цветаевой в Борисоглебском переулке, остальное — в Литературном музее.

— Что же получается? Статус музея да сих пор как бы не определен. Фонд культуры от него как бы отказался. Союз писателей и Литфонд его тоже как бы не признают. Фонды музея как бы разползлись по новым квартирам. А сам дом, где они ранее располагались, в полуразрушенном состоянии. И тогда может возникнуть вопрос: а зачем нам его заново создавать и строить? Вы не боитесь такого поворота событий?

— Очень боюсь. И сейчас вопрос в том, насколько реальными окажутся усилия Министерства культуры и Литературного музея, которые предложили свою помощь. Если музей Чуковского станет государственным...

— Вы отказались от своей идеи создать «первый частный музей»?

— В свое время Корней Иванович подарил государству детскую библиотеку, и мы стали свидетелями того, что с ней делалось, как она оказывалась и меняла свой облик. Такой судьбы для литературного музея я, конечно, не хочу. Но двадцать лет я занималась только тем, что доставала деньги, искала сторонников, ругалась с противниками, судилась, писала письма, статьи. Результат вы видите. И потом, дом все равно — не наша собственность и, вероятно, никогда ею не будет. Значит, и музей уже никакой не частный. Значит, пусть он будет хотя бы государственным, лишь бы не заразился государственной отчетностью и казенщиной, всем тем, что есть смерть для любого дела.

Выход я вижу в том, чтобы создать фонд музея, где будут накапливаться средства от изданий Чуковского и от спонсоров, если таковые найдутся... Я всегда считала и считаю, что наш музей должен быть бесплатным, что люди сюда должны приходить, как в гости. Это очень многое определяло в наших отношениях с посетителями. У нас не было никакой охраны, но у нас никогда ничего и не воровали. А если все сделать платным и поставить на поток, отношения станут другими.

— Не думаете ли вы, что сегодня, когда все в нашей стране кардинально изменилось, когда интерес к литературе не то чтобы пропал, а как бы сместился, стал несколько утилитарным, внимание к Музею Чуковского не будет таким живым, как в 70-е годы?

— Я буду рада, если этот вопрос, о котором я тоже постоянно думаю, прозвучит со страниц вашей газеты. Возможно, мы получим ответ. Я же считаю, что Музей Чуковского мог бы устоять среди нынешних бурь и был бы людям интересен. К Корнею Ивановичу (возможно, это мне только кажется) и сегодня народ очень хорошо относится, его детские книги постоянно переиздаются. Конечно, он почти неизвестен как критик, конечно, его дневники вышли маленьким тиражом, в сокращении...

— Но отчего дневники Корнея Ивановича оказались «подстрижены»? Простите, но я знаю, что многие писатели, критики именно вам предъявляют по этому поводу претензии. Почему нужны были купюры?

— Вы, конечно, имеете в виду в первую очередь выступление Бориса Хазанова по радио «Свобода»? Я его слышала. Ну что же, поговорим о дневниках. Они занимают 100 печатных листов. Там фигурируют такие имена, как Гумилев, Ходасевич, Замятин... Всюду — Лидия Корнеевна. Хочу напомнить, что это сейчас можно все, а до 1988 года подобные имена были просто неупоминаемы. Потому и вопроса о печатании дневников передо мной не стояло — чтобы не исказить, не сдвинуть картину. Тогда допускались лишь публикации типа: Чуковский о Блоке, Чуковский о Пастернаке. В 1986 году по инициативе издательства «Советский писатель» со мной был заключен договор

на книгу «Чуковский о литературе», которая должна была быть составлена по дневнику и письмам. И когда я ее подготовила (объем в 35 печатных листов был жестко оговорен), произошли известные события, сняли запреты с имен, и я поняла, что можно начать само печатание дневника. Никаких предложений об издании дневника в полном объеме у меня не было и до сих пор нет. Но я убеждена, печатать его полностью не следует. Не потому, что нужно что-то скрыть, просто в дневниках есть много таких бытовых подробностей, которые читателям неинтересно знать. И я взяла на себя смелость выбрать ту часть дневника, которую сочла общезначимой.

— То есть вы хотите сказать, что никакой цензуры в подготовленном вами материале не было?

— Там была огромная самоцензура. Масса страниц вырвана (целые годы отсутствуют) самим Корнеем Ивановичем. Я же выбирала, повторяю, то, что сочла общезначимым. Старалась, чтобы не было никакой ретуши, чтобы не были выброшены такие куски, где, скажем, Чуковский с Пастернаком, захлебываясь от восторга, аплодируют Сталину. И многое другое. Но у меня есть свое представление о динамике книги. То, что пишется «в стол», и то, что выходит к читателю, — это разные вещи. И я не согласна с утверждением, что дневник пишется для других, что писатель рассчитывает на то, что дневник его будут читать. Для Чуковского записи в дневнике были способом запомнить, сохранить достоверность своего свидетельства, чтобы потом в своей работе воспользоваться этим.

Мне очень хотелось, чтобы первая часть дневника, которую я подготовила для «Советского писателя», заканчивалась смертью Кирова. Мне кажется, 1934 годом замыкается целая эпоха. Но объем этого не позволил, и книга оборвалась 1929 годом. Пришлось изъять из рукописи пять последних листов... Я не говорю, что надо было делать только так, как это сделала я. Возможно, какие-то абзацы, которые я не включила в книгу в 1988 году (а вышла она в 1991-м), в 1992-м сохранились бы. Потому что сегодня я и сама стала другим человеком, и время стало другим. А тогда моей целью было показать, что есть такой дневник, и, посмотреть, интересно ли это потомкам, нужен ли им этот дневник, нужен ли им вообще Чуковский.

— Мне это кажется безусловным.

— Нужен? Я этого не вижу. Где же те издатели, которым он нужен? Вторая книга лежит готовая, но опубликовать я ее не могу. А если кто-то сочтет возможным печатать дневники Чуковского полностью, пожалуйста, создавайте любые редколлегии. Все сохранено, перепечатано, сверено с оригиналом. Борис Хазанов, упрекая наследников, говорил, что «пора им понять: каждая фраза классика — национальное достояние». Но я вам покажу свою заявку в «Литературное наследство», где пишу, какие письма находятся в архиве Чуковского. Только перечень имен занимает страницу. Заявка не принята, письма не опубликованы. Посмотрите, в нашей квартире есть три полки неопубликованных «фраз классика». И никто это «национальное достояние» не востребовал.

— Возможно, это просто реалии нашей сегодняшней жизни.

— А вы знаете, что было, когда в свет вышла «Чукоккала»? Тоже реалии жизни. Б. И. Стукалин кричал, что это диверсия, у издательства были большие неприятности.

— Однако и «Чукоккала», и дневник Корнея Ивановича, не успев выйти из печати, разошлись моментально и имели успех.

— Что значит «имели успех»? Тираж дневника — 30 тысяч экземпляров. Печаталось все в Минске. До Москвы доехала лишь незначительная часть тиража. Но пресса, вы правы, была порядочная — вполне достаточно и добрых слов, и «шпилек». Все как полагается.

— Вы говорили, что вам не удалось в полной мере представить Чуковского как критика. У вас остались его неопубликованные статьи?

— В конце 60-х, когда снова стали сгущаться тучи (у Корнея Ивановича об этом времени много записей в дневниках, частично они опубликованы в «Знамени»), вышло Собрание сочинений Чуковского в 6 томах. Издание совершенно искореженное.

И он сам составил 7-й том, куда включил те свои статьи, которые любил: о Некрасове, о Гумилеве, об Ахматовой... Я все эти годы хранила 7-й том и сейчас его храню. Недавно в приложении к «Огоньку» вышел двухтомник Чуковского, один том — критические статьи. Тираж — 1 миллион 700 тысяч экземпляров. И что? И ничего. Полное молчание. Критика Чуковского как не было, так и нет.

— Но надежда... вы ведь не теряете надежду на то, что и дом в Переделкине будет спасен, и рукописи, пока не востребоваанные, найдут своего издателя и своего читателя.

— Не знаю, не знаю. Я уже теряю надежду на себя. Двадцать лет борьбы, согласитесь, много... Владимир Леонович, пытавшийся помочь Музею Чуковского, написал письмо М. С. Горбачеву, где были такие строки: «На Патриарших прудах сидит бородатый Крылов в окружении героев своих басен. Придет время, и где-нибудь в Переделкине возле дома, где Чуковский прожил 30 лет и сейчас висит табличка, охраняющая дом как памятник истории и культуры, благодарные потомки соорудят нечто подобное».

Знаете, в бытность мою экскурсоводом мне было значительно интереснее общаться с нашими людьми, чем с иностранцами. Потому что в первом случае все всё понимали с полуслова. А иностранцам наши реалии не всегда понятны и интересны. Они не часто вникали в то, что, скажем, этот рисунок сделан Маяковским, а это написано Репиным — окурком вместо кисти и кто такой Брюсов... Нечто подобное происходит сегодня с нашими согражданами. Они усвоили, что Чуковский — детский писатель. А Корней Иванович в первую очередь прозаик, критик, литературовед, историк литературы, переводчик...

И если бы это осознали, было бы легче спасти и сам дом в Переделкине, и его экспонаты.

Январь 1994

ПРИЕЗЖАЮ В ПЕРЕДЕЛКИНО НА ЧАС И МЕСЯЦ ПОТОМ БОЛЕЮ*



Как известно, первая дача Корнея Ивановича в Куоккале после отъезда Чуковских в Петербург весной 1917 года оказалась разгромленной. «И многое множество брошюр... с сокрушенным сердцем видел я, — писал летом 1923 года из Куоккалы Корнею Ивановичу Репин, — ...в растерзанном виде, на полу, со следами от всех грязных подошв валенок, среди ободранных роскошных диванов, где мы так интересно и уютно проводили время за слушанием интереснейших докладов и горячих речей талантливой литературы, разгоравшейся красным огнем свободы. Да, целый помост образовался на полках в библиотеке из дорогих редких изданий и рукописей, и под этим толстым слоем нестерпимо лопались, трескали стекла».

— Елена Цезаревна, у вас нет опасений, что дом Чуковского в Переделкино ожидает подобная участь?

— Судьба этих домов разная. До революции совсем молодым — Корнею Ивановичу было чуть больше двадцати — он жил в финской деревне Куоккале просто потому, что снимать квартиру в Петербурге оказалось не по средствам. Сначала жил у дачевладельца Павла Семеновича Анненкова, а потом Илья Ефимович Репин купил ему дом невдалеке от своих «Пенатов». Этот дом, в отличие от переделкинского, никогда музеем не был. Правда, в 70-е годы дирекция «Пенатов» делала попытки получить дачу Чуковского в свою собственность, с тем чтобы устроить в ней музей «Русские писатели на Карельском перешейке». Ведь в куоккальском доме бывали Леонид Андреев, Гумилев,

* Из интервью Елене Константиновой // Сегодня. 1994. 12 авг.

Ахматова, Маяковский, Хлебников, Городецкий, Шкловский, Ремизов, Сологуб, Мандельштам — цвет тогдашней литературы. На знаменитые репинские «среды», на «воскресенья» к Чуковскому, а иногда и в другие дни недели съезжались писатели, поэты, артисты, художники. В общем, этот дом многих помнил... Здесь, в Куоккале, началась и «Чукоккала», и «Костры», и детские спектакли. Здесь же в 1915–1916 гг. написан был «Крокодил» — первая детская книга Корнея Ивановича, здесь начались и другие труды, разросшиеся затем в книги: «Чехов», «Рассказы о Некрасове», «Современники», не говоря уже о том, что именно куоккальские годы — начало всех его дальнейших некрасовских текстологических и комментаторских поисков. «Там, — как написала Лидия Корнеевна, — он обрел свою духовную родину».

Так вот, как мне рассказывала Елена Григорьевна Левенфиш — директор «Пенатов» в 70-е годы, дом Чуковского обкомовские власти не отдали, мотивировав свой отказ тем, что Корней Иванович помогал антисоветчику Солженицыну. И дом пустовал. Пока не сгорел.

Судьба переделкинского дома иная. Корней Иванович прожил в нем около тридцати последних своих лет. Там стояла вся его обширная библиотека — более пяти тысяч томов; там были написаны его поздние работы; туда приезжали к нему множество людей, которые навсегда запомнили его в этих стенах. После кончины Корнея Ивановича дом по-прежнему был полон. Посетители самые разнообразные: библиотекари, учителя, студенты, дети... Со всех концов света. Люди просили показать кабинет, в котором работал Чуковский. Так постепенно, как само собой разумеющееся, возник музей, мы, жившие в этом доме, превратились в экскурсоводов, у нас появились добровольные помощники, установились дни и часы приема экскурсий. По словам профессиональных музейных работников, дом Чуковского оказался одним из самых богатых литературных музеев страны — все экспонаты в нем были подлинные и все в комнатах сохранилось в том же виде, как и при Корнее Ивановиче... Картины Репина, Коровина, Грабаря, Ю. Анненкова, рисунки Маяковского, Ре-Ми, Бориса Григорьева, Чехонина, Добужинского, редкие фотографии, в том числе репродукция портрета Корнея Чуковского работы Репина с его дарственной надписью, карикатуры, гравюры времен Некрасова... Книги с автографами

Ходасевича, Розанова, Пастернака, Ахматовой, Зощенко, Маршака. Всех не перечислишь... Все, что стояло на книжных полках и висело на стенах, позволяло рассказать не только о Корнее Ивановиче, но и о его эпохе, о многом и о многих.

— Иными словами, в 70–80-е годы нашего века, когда во все поры общественной жизни, как сказал Антон Павлович Чехов примерно о тех же годах прошлого века, проникал «своловичный дух», отравляющий и без того затхлую вследствие правительственной реакции атмосферу, дом Чуковского был той самой живой водой...

— Возможно... Наши экскурсии, как я уже отметила, не были только рассказом о самом Чуковском. Мы не старались внушить посетителям, как сам он говаривал по разным поводам, что «чуден Чуковский при тихой погоде»... Достаточно было, например, снять с полки «Страну Муравию» Твардовского, куда своей рукой Александр Трифонович вписал строфы, вымаранные из книги цензурой, чтобы очень многое узнать и об этом авторе, и о том, что связано с его именем, о времени.

— Елена Цезаревна, на каких правах семья Чуковского занимала дом в Переделкино после смерти Корнея Ивановича?

— На птичьих. В этом и заключены истоки его сегодняшней разрухи. Как известно, поселок был построен специально для писателей по инициативе Горького в 1935 году. Предполагалось, что дачи будут кооперативными, но затем — передумали, и Литфонд стал сдавать дачи в аренду. В случае смерти писателя его семья должна была освободить это ведомственное помещение через два года. Но поскольку в то время Лидия Корнеевна еще числилась в Союзе писателей, нас не трогали. С января 1974 года, после ее исключения из Союза писателей, занимать этот дом с точки зрения власть предержащих никаких оснований у нас не было. То, что дом функционировал как музей — а это не есть мое личное утверждение, тому свидетельство тринадцать толстенных книг отзывов посетителей с просьбами сохранить его для будущих поколений, — никого не интересовало. «Если вы у кого-то в долг взяли шубу, то по первому же требованию хозяина обязаны ее вернуть, — растолковывали мне. — Так же и

этот дом. Он — не ваш. Выезжайте!» И Литфонд не мешкая начал судебный процесс.

— **Какой это был год?**

— ...Очень интересный, 1982-й. Для Корнея Ивановича — юбилейный. Была организована комиссия по празднованию 100-летия со дня рождения Чуковского под председательством Сергея Владимировича Михалкова. И тут пришла повестка в суд. Я решила послать Михалкову телеграмму. На телеграфе были скверные перьевые ручки, которые так скребли бумагу, что оставляли невообразимую грязь. «Дорогой Сергей Владимирович! — царапала я. — Ставлю Вас в известность, что дом Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, работающий как музей и хранящий тысячи книг, среди которых есть и Ваши с дарственными надписями, сейчас будет уничтожен в результате судебного дела, начатого Союзом писателей». Протягиваю исписанный бланк в окошко телеграфистке. «Невозможно!» — восклицает она. Подумав, что ее недовольство относится к моему неряшливому письму, мысленно приготовилась отражать удар: сами, мол, виноваты, это от ваших безобразных ручек такие чернильные кляксы. И вдруг слышу: «Неужели замахнулись на нашу святыню? Но вы не волнуйтесь! Сергей Владимирович поможет». Однако вопреки ее ожиданиям Михалков ничего не сделал, чтобы помешать суду.

В результате мы оказались под судом. Десятилетие борьбы... Я могу показать вам гору повесток о выселении, угрожающих записок милиции. Этот бесконечный судебный процесс съедал массу времени, сил, нервов, бумаги, в конце концов...

В 1989 году, встав во главе Фонда культуры, Дмитрий Сергеевич Лихачев, неотступно сражавшийся за дома-музеи Пастернака и Чуковского в Переделкино (дом Бориса Леонидовича Пастернака Литфондом был вообще разгромлен в результате многолетней тяжбы), первым делом прекратил эти позорные суды. Музей Чуковского был снова взят под охрану государства и передан в аренду Фонду культуры. Фонд выделил средства на его капитальный ремонт. Казалось бы, конфликт исчерпан, можно, наконец, душой отдохнуть. Но... в самом Фонде культуры к тому времени произошли отнюдь не отрадные перемены — конфликт Лихачева со своими заместителями. Прибавьте к то-

му начавшуюся в стране инфляцию и прочее. Дом Чуковского оказался сбоку припекой. Строители, начав ремонт и разгромив дом и участок, внезапно прекратили работу.

— И что с домом теперь?

— Отношение власть преержащих повернулось по сравнению с упомянутыми годами борьбы на 180 градусов. Министр культуры Евгений Сидоров по собственной инициативе выразил готовность помочь дому Чуковского, издал приказ о создании в его стенах филиала Государственного литературного музея. Целесообразность этого решения активно поддержана директором Государственного литературного музея Натальей Владимировной Шахаловой. Но ведь, кроме благих желаний, необходимы и конкретные действия! Нужны деньги на ремонт, стройматериалы, строители. Со всем этим, увы, туго... Денег на культуру в государственной казне нет. Недавно я была в Переделкино. Черный сарай, прогнившие балконы, крошащиеся стены. Чудовищная картина... С ужасом приезжаю туда на час раз в полгода и болею потом месяц...

— А как обстоит дело с детской библиотекой в Переделкино, которая, как стремился к тому Корней Иванович, объединила бы писателей, артистов, художников, детей и книгу?

— Корней Иванович подарил эту библиотеку поселковому Совету. Она стала областной, казенной, со всеми вытекающими отсюда последствиями... Ни разу, приезжая в Переделкино, не видела ее открытой. Может быть, мне просто не везло...

— В представлении большинства Чуковский остается лишь добрым сказочником — «дедушкой Корнеем». Однако доктор Оксфордского университета Корней Иванович Чуковский — это прежде всего литературный критик, публицист, переводчик, текстолог, мемуарист, исследователь детского творчества, детской психологии, наконец. Насколько востребовано его литературное наследие?

Чуковский начинал как газетчик, ничего не писал в стол. Это необходимо подчеркнуть. Что же из неопубликованного

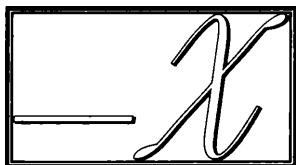
осталось после его смерти в 1969 году? Дневник, который он вел всю жизнь, «Чукоккала» и колоссальный архив — письма Блока, Репина, Волошина, Горького, Гумилева, Бунина, Ходасевича, Зощенко и т. д. Однако в силу тех причин, о которых я уже говорила, Корнею Ивановичу в нашей стране действительно было отведено лишь место сказочника. Даже книга «От двух до пяти» из-за того, что там была глава о борьбе с чуковщиной, после его смерти долго не переиздавалась — вышла лишь в середине 80-х в детгизовской «Библиотеке мировой литературы». Аналогичная картина — с публикацией дневника. Во-первых, там всюду упоминается Лидия Корнеевна. Во-вторых, до 1988 года целые списки имен у нас были под запретом — Гумилев, Ходасевич, Замятин, Пильняк, Пастернак.

В 1972 году я подготовила заявку для издания «чуковского» тома «Литературного наследства». Туда должен был войти дневник, письма, воспоминания, «чужие рукописи», сохранившиеся в его архиве. Но, хотя там и работали друзья Чуковского, максимально ему сочувствующие — Сергей Александрович Макашин и Илья Самойлович Зильберштейн, эта затея оказалась тогда обреченной на неудачу...

Что же в конце концов увидело свет? За двадцать с лишним лет вышла — в обстриженном виде — «Чукоккала» (М.: Искусство, 1979); первый том дневника, 1901–1929 (М.: Сов. писатель, 1991) — сейчас мыкаюсь с изданием второго тома. Промелькнули в печати какие-то отдельные письма — но, в общем, вся переписка Чуковского остается поныне неизвестной читателю. Удалось выпустить том его критических статей (Б-ка «Огонек». М., 1990. Т. 2). Статьи Чуковского о детской литературе, разбросанные по газетам и журналам, в которых Корней Иванович очень много внимания уделял преподаванию литературы в школах, так и не удалось издать в виде сборника.

Август 1994

«ЧТОБЫ РЕБЕНОК ЧИТАЛ “ВОЙНУ И МИР”... ПУСТИТЬ В САМИЗДАТ»*



отела бы побеседовать с вами не столько о вашей редакторской работе, сколько о вас. Скорее это поиск жизненного совета. Задолго до того, как мы договорились об интервью, я думала о вас с завистью. Вы же выросли в каком-то совершенно необычном мире. Выбор был сделан в некотором смысле за вас: дедушка Корней Чуковский, вы скачете на деревянной палочке-лошадке среди великих, которые для вас просто дяди и тети, мама ваша потрясающая. Скажите, вы ощущали эту свою избранность?

— Слушаю вас с некоторым удивлением. Конечно, не ощущала. В 1930–1940-е, когда я росла, жизнь была очень трудной. Я помню не каких-то знаменитых людей, не банкеты и не приветы, а то, сколько работали и Лидия Корнеевна, и Корней Иванович. В 1938 году Корней Иванович переехал в Москву, мы с мамой остались в Ленинграде. Квартира наша была опечатана, поскольку мой отчим Матвей Петрович Бронштейн был арестован. Мама много болела. Потом началась война, эвакуация в Ташкент. Жизнь взрослых не представлялась мне таким праздником, каким вы ее описали. Мама оказалась без работы. Корней Иванович в Ташкенте тоже жил очень трудно, там он писал антивоенную сказку «Одолеем Бармалея», которую потом разгромили. В 1946 году, после разгрома следующей сказки, «Бибигона», он был полностью изгнан из детской литературы, занимался комментариями. В конце войны в квартире, которую получил Корней Иванович для себя и жены, оказалось одиннадцать человек. Разбомбили ленинградскую квартиру моего дяди,

* Из интервью Е. Малкиной // Московские новости. 2011. 21 окт.

маминого брата, и он вместе с семьей приехал в Москву. Я совершенно не считала, что моя жизнь как-то сильно выделяется.

— **Безусловно, я не имела в виду счастливое номенклатурное детство и сытое банкетное прошлое. Речь о привилегии быть окруженной людьми, для которых работа заключается в чтении и написании книг. О детстве среди интеллектуалов.**

— Мне хотелось бы, чтобы наши слушатели и читатели понимали, какова была жизнь этих интеллектуалов. Я видела Заболоцкого, который вернулся из лагеря, жил в Переделкине в чужом доме, сажал картошку. Видела Ахматову, которая тоже много пережила в 1940–1950-е годы. Видела Цветаеву в Чистополе за несколько дней до гибели. Это не было праздником интеллекта. Очень трудная была жизнь у этих людей.

— **Напомните, пожалуйста, за что разгромили любимейшего «Бибигона».**

— В 1946 году, после выступления Жданова против Ахматовой и Зощенко, нужно было в каждом журнале выявить своих злодеев. В «Мурзилке» тогда печатался «Бибигон». Корней Иванович очень много выступал с ним на радио. Дети писали Бибигону письма, посылали ему костюмчики какие-то, игрушки. Набралось множество этих подарков. Выставка всех этих писем и бибигонских нарядов должна была пройти чуть ли не в Политехническом музее. И вот в «Правде» появилась статья, где говорилось, что чернильница у писателя большая, а требований к себе очень мало. И «Бибигона» прихлопнули в «Мурзилке», просто оборвали публикацию. Разумеется, и выставку отменили.

— **А почему вы стали химиком?**

— В 1949 году я заканчивала школу. Лидия Корнеевна была отовсюду изгнана, Корней Иванович с трудом работал, публиковал примечания в «Литературном наследстве» к Некрасовским томам. Я видела, что литература — это просто ужас, и потому хотела получить профессию, которая позволит приносить пользу и не сталкиваться со всем этим. А главное — в литературу идут люди, которым есть что сказать и которые хотят как-то себя вы-

разить. У меня таких стремлений не было совершенно. В другое время я, возможно, пошла бы на гуманитарный факультет. Но в 1949 году, когда надо было доказывать, что Россия — родина слонов, и на всех собеседованиях говорить, что не Маркони изобрел радио, а Попов, идти в гуманитарный вуз совершенно не хотелось, и я пошла на химический факультет МГУ. Когда оканчивала химфак, открылся Институт элементоорганических соединений, который построили для академика Несмеянова. Многие с нашего курса, в том числе я, пошли туда работать.

— Как отнеслись к выбору профессии ваши мама и дедушка?

— Первая моя статья называлась «Реакция Пищемуки». Корней Ивановича это страшно забавляло. Он написал мне стихи:

Боже мой, какая мука
Мне читать про Пищемуку,
Про фильтрат и ацетат
Слышать от родного внука,
Экий ты дегенерат.

Это была, конечно, не самая одобрительная реакция. Но в общем они отнеслись спокойно.

— Музей Чуковского в Переделкине — ваша заслуга?

— Это заслуга Лидии Корнеевны, потому что она не могла себе представить, чтобы этот дом был уничтожен. Сам Корней Иванович никогда и не думал о музее. Когда-то ему предлагали выкупить этот дом, но он ответил, что его устраивает аренда, а собственный дом ему не нужен. Хотя многие помнят его именно по Переделкину. Он всегда гулял, обрастая толпой народа. Летом устраивал праздничные костры для детей, построил рядом со своим домом детскую библиотеку.

Но когда через несколько лет после смерти Корнея Ивановича Лидию Корнеевну исключили из Союза писателей, союз — не глядя на свои же решения и на действующий музей — начал нас выселять.

Союз писателей боролся с нами — Лидия Корнеевна стояла у него как кость в горле, ее открытые письма, книги, напечатан-

ные на Западе, выступления в защиту Сахарова и Солженицына. А система у нас была такая: в Союзе писателей секретарем был Юрий Верченко, в ЦК (в отделе культуры) сидел Сергей Потемкин, а министром культуры РСФСР был Юрий Мелентьев. Все трое — бывшие директора «Молодой гвардии», дружный, спаянный коллектив. Жаловаться можно было только в одну из этих инстанций. Вот и жаловались, а они между собой все это решали. Так что достучаться было совершенно безнадежно.

— Мне кажется, что становится все меньше людей с большими мыслями и большими целями.

— Существенная работа не всегда на виду, она проявляется впоследствии. Может быть, сейчас делается что-то очень важное, о чем мы просто не знаем. Надеюсь, нынешнее поколение использует возможности, которые у него есть. Будем считать, что мы об этом пока не знаем.

— Мне очень трудно найти для моих детей такой круг общения, где люди читают одни и те же книжки и узнают друг друга по культурным кодам.

— Нам многое не было разрешено. Есенина мы читали под партой, он был запрещен, когда я училась в школе. Поэтому мы его стихи знали наизусть. Пастернака переписывали, его тоже нельзя было читать. Цветаева вообще эмигрантка, какой разговор? Тогда шутили: чтобы ребенок читал «Войну и мир», бабушка должна ее перепечатать на машинке и пустить в самиздат. Читали исключительно самиздат. Помню, читали Авторханова как-то с испугом. А сейчас все это лежит, но никто не читает и знать не хочет.

— Что же с этим делать? Как привлечь детей к тому миру, который мне кажется привлекательным?

— Если человек сам не интересуется, то ему вряд ли навяжешь что-нибудь.

— Сохранился ли в Переделкине прежний дух?

— Да, там остались живые люди, преданные памяти этого дома. И костры они проводят, и библиотека Корнея Ивановича стоит, и трубы ремонтируют. Музей Чуковского — один из самых посещаемых в Переделкине. Так что все неплохо.

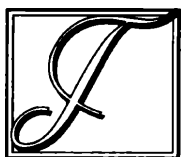
— Несомненно, музей хороший. Я каждый раз поражаюсь тому, что он вообще есть.

— Мы говорим с вами в столетие Семена Липкина, и я вспомнила его рассказ о правиле, которое сформулировал Михаил Булгаков, — «удивляться не тому, что трамваи не ходят, а тому, что трамваи еще ходят».

Октябрь 2011

ЧУКОВСКИЙ НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЛ*

Письмо в редакцию КО



лубокоуважаемая редакция «Книжного обозрения»!

С удивлением, окрашенным обидой, я прочла заметку Н. Красильникова в № 7 вашей газеты под заглавием «Эта сказка — авторская!»

Н. Красильников уличает Корнея Чуковского в том, что для «Айболита» он «использовал “Приключения доктора Дулиттла” англичанина Гью Лофтинга». Завершаются нравоучения Н. Красильникова полезным советом: «...не мешало бы на титуле того или иного издания упоминать, по мотивам чьих произведений написана сказка».

На это могу возразить, что не мешало бы знать предмет, о ком берешься писать в газету. Чуковский никогда не скрывал, что прозаический «Доктор Айболит» написан «по Гью Лофтингу». Прилагаю для вашего читателя титульный лист «Доктора Айболита», где как раз это и указано. Шлю также оглавление тома произведений К. Чуковского в «Библиотеке мировой литературы», где тоже напечатано: «по Гью Лофтингу». Книга выходила несколько раз тиражом по полмиллиона и есть во всех библиотеках. Еще прикладываю страницу из статьи К. Чуковского «Признания старого сказочника», где К. И. пишет очень бегло, как он перерабатывал Лофтинга. Бегло — т. к. статья не закончена и опубликована посмертно.

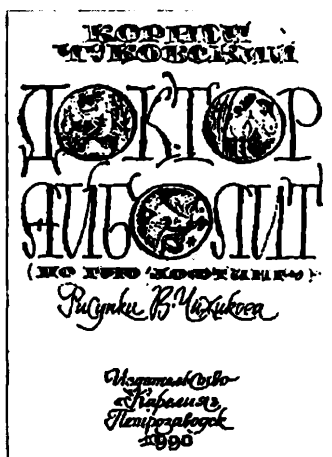
С тех пор однако французская исследовательница Анна Пувурвиль написала диссертацию, посвященную сопоставлению «Доктора Дулиттла» и «Доктора Айболита». Она сравнила тексты обоих авторов и установила, что работа Чуковского шла по многим направлениям. Сам Чуковский в своей вышеназванной статье упоминает лишь о том, что он «внес в свою переработку

* Книжное обозрение. 1993. 28 мая.

десятки реалий, которых нет в подлиннике» и «окрестил Дулиттла Айболитом». Анна Пувурвиль указала и на то, что Чуковский переадресовал сказку другому возрасту. «Дулиттл» предназначен для подростков — и по длине книги, и по содержанию диалогов (например, о деньгах), а «Доктор Айболит» написан для тех малышей «от 2 до 5», психологию которых Чуковский изучал всю жизнь. Короткая и простая фраза без деепричастий, динамичность, лаконизм и образность каждого сюжета, отсутствие длинных диалогов — вот лишь некоторые приемы, которыми пользовался Чуковский, адресуясь к малышам со своими пересказами норвежских или английских сказок. А придуманные Чуковским персонажи и слова — «Айболит», «Мойдодыр» — вошли прочно в язык и стали нарицательными.

Читая письмо Н. Красильникова, я вновь задумалась о том, что мы живем в «обществе взаимного неуважения». В обществе, где любой человек, в том числе и решительно несведущий в предмете, берется обсуждать этот предмет, мимоходом оскорблять писателя, обвиняя его публично в плагиате (т. е. в краже!), подавать полезные советы.

Мы все еще остаемся в полном смысле слова «страною советов», причем в данном случае — советов, увы, некомпетентных.



ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЫМЫСЛА*

Почему Репин не приехал в СССР



равда ли, что Чуковский отговаривал Репина вернуться в Россию? — спросил меня один высокопоставленный сотрудник Президиума Академии Наук в кулуарах какого-то заседания. Разговор происходил в середине семидеся-

тых годов. Вопрос звучал как серьезное политическое обвинение.

— Откуда этот слух? — удивилась я.

— Говорят, есть такое письмо Чуковского к Репину.

Этот случайный вопрос, который потом мне задавали еще несколько раз, заставил меня задуматься.

В доме Корнея Ивановича был настоящий культ Репина. На стенах висели его куоккальские фотографии, акварельный портрет Марии Борисовны его работы, фотография с репинского портрета Чуковского с собственноручной дарственной надписью Репина. Рукописный альманах «Чукоккала» содержит десятки репинских рисунков и записей. Чуковский сохранил более ста писем от Репина за 1907—1929 годы**. И наконец, в Дневнике Корнея Ивановича множество записей о прославленном художнике. В частности подробно записана поездка К. И. в Куоккалу в 1925 году, последние посещения «Пенатов», разговоры с Репиным. Можно напомнить и о мемуарной книге Чуковского «Илья Репин», вышедшей много раз.

А вот своих писем Чуковский никогда не хранил. Писал всегда смаху, от руки, без копий и черновиков. Где же эти письма? И есть ли среди них «отговаривающее письмо»? За ответом на эти вопросы я в начале 70-х поехала к тогдашнему директору «Пе-

* Литературная газета. 1997. 11 июня.

** Теперь эта переписка опубликована. См.: Илья Репин — Корней Чуковский. Переписка: 1906—1929. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 319—324.

натов» Елене Григорьевне Левенфиш. Удивительным образом через четыре года после смерти Чуковского сотрудникам музея «Пенаты» удалось разыскать и получить в свои фонды семьдесят восемь ранее неизвестных писем Чуковского к Репину.

Эта находка позволила пролить новый свет на вопрос о том, что именно писал Чуковский Репину по поводу его возможного приезда в Россию. Читатель имеет теперь полную возможность сам судить о содержании этой переписки.

В конце 1939 года, через восемь лет после кончины И. Репина, советские войска пришли в «Пенаты» в результате советско-финской войны. С войсками в числе первых, получивших доступ к репинскому архиву, появился в «Пенатах» Иосиф Анатольевич Бродский, искусствовед, племянник ученика Репина, художника Исаака Бродского. А уже 15 января 1940 года, когда война еще не закончилась и мир не заключен, Чуковский пишет такое письмо И. Грабарю:

«...К несчастью, репинский архив попал в руки к каким-то искусствоведам, которые из всей груды моих писем, адресованных Репину, вырвали произвольно одно или два, относящиеся к давней поре, и теперь повсюду демонстрируют их *в целях моей политической дискредитации*. (Выделено мною. — Е. Ч.) Слухи об этих письмах циркулировали сначала в Ленинградской Академии Художеств, потом перекинулись в Москву — и теперь усиленно раздуваются в разных интеллигентских кругах — принимая характер травли. Искусствовед, разбиравший репинский архив, заявляет повсюду, что, пользуясь найденными письмами, он «уничтожит» Чуковского. Эти оскорбительные угрозы мне нисколько не страшны. Но я хотел бы, чтобы Вы о них знали. О моей переписке с Репиным необходимо судить на основании всех моих писем к нему (их было больше сорока), не выдергивая двух или трех, относящихся к ранней поре».

Письмо не нуждается в комментариях. Отметим только, что переписка Чуковского с Репиным велась в 20-е годы, а письмо к Грабарю написано в 1940-м. Чуковский уже многого не помнит — не помнит точно содержания своих писем, не помнит,

сколько именно их было. Он утверждает «больше сорока», на самом деле — больше ста. Но источник обвинений назван точно — «искусствовед, разбиравший репинский архив». Его фамилия, однако, не указана. Но ее легко обнаружить в переписке Корнея Ивановича со старшим сыном — Николаем.

Сразу после финской войны, в апреле 1940 года Николай Корнеевич Чуковский, чье детство прошло в Куоккале, делает попытку получить куоккальский дом. Он живет в Ленинграде, а Корней Иванович к этому времени уже переехал в Москву. В письме Н. К. Чуковского к отцу по поводу этого дома от 24 апреля 1940 года читаем: «Клевета Бродского *безусловно* ни в чем никакой роли не сыграла. Решительно никто о ней не знает...»

И еще одно письмо на ту же тему — в июне 1940 года младший сын К. Чуковского Борис пишет своему старшему брату Николаю и его жене Марине:

«Дорогие Коля и Марина! Письмо, привезенное Лидочкой от Коли, произвело на папу ужасное впечатление. Странное дело! Третий раз из Ленинграда папе пишут об этом репинском деле и третий раз папа совершенно выбивается на неделю или две из работы. Он так взволновался, что не в состоянии был написать несколько слов Фадееву с просьбой принять его и поговорить — руки дрожали, и мне пришлось напечатать записку эту на машинке».

Вышеприведенные строки из письма к Грабарю и из семейной переписки Чуковских позволяют утверждать, что какие-то слухи, бросающие на Чуковского неблагоприятную тень, возникли в январе 1940 года, когда репинский архив попал в руки к советским искусствоведам. Слухи эти касались переписки Чуковского с Репиным, носили характер политических обвинений и исходили от Иосифа Анатольевича Бродского, получившего доступ к репинскому архиву, находившемуся в «Пенатах». При этом сами письма Чуковского из архива Репина исчезли и поэтому проверить и опровергнуть слухи было невозможно.

Чем же так прогневал Корней Иванович Иосифа Анатольевича, которого знал еще мальчиком в Куоккале, с которым работал в 30-е годы? Чем навлек на себя эти опасные слухи?

Чтобы ответить на эти вопросы придется вступить в область догадок. Итак — догадка: в одном из своих злополучных писем

к Репину Чуковский обругал дядю И. А. Бродского, знаменитого художника Исаака Бродского. А это могло очень не понравиться племяннику. В мае 1926 года, за месяц до поездки Исаака Бродского в Куоккалу, Чуковский пишет Репину:

«... Ваши письма вообще очень окрылили его [Исаака Бродского. — *Е. Ч.*], особенно Ваш отзыв о его картине “Расстрел”. Он вырос на десять голов — и воображаю, как гордо показывает он Ваше письмо своим московским именитым покровителям. Влияние его вообще *огромно*, связи у него *колоссальные*. Я убедился в этом на днях, когда ходил с ним в суд, хлопотать об одном человечке. Бродский на ты с такими персонами, которые меня и на порог не пустили бы... Шутка ли! его портреты Ленина висят буквально во всех учреждениях — и всё оригиналы! — его “Расстрел” тоже на каждой стене — один только Кавказ заказал ему 600 копий (маслом) этой картины, десятки помощников изготавливают копии разных величин, а маэстро поправляет их своей опытной кистью и ставит на каждой копии свое знаменитое имя.

Мне, признаюсь, его “Расстрел” не понравился — театрально, безжизненно, без внутреннего пафоса».

Репин не согласился с этим мнением:

«А к Бродскому Вы слишком строги, — ответил он в конце мая 1926 года. — А Бродский это наш, да не только наш — всего света-нашего времени — РАФАЭЛЬ, в самом великом смысле этого признания. Та же цельность, простота и убедительность творчества! Ах, как он мне нравится! — и чем больше смотрю на него, строгость рисунка, выдержка, т. е. на его последние творения, тем выше растут достоинства — этого художника *Божией милостию*».

Однако не проходит и года, как Репин круто меняет свое мнение об И. И. Бродском. В январе 1927 года он пишет Чуковскому:

«Зато, кого я возненавидел? — это Бродского!.. Вот подальше! — подальше... черствая душа. Кто-то распространил слух,

что я, к весне, переезжаю в СССР. И ко мне, на разные лады — многочисленные запросы... Конечно, вздор...»

Вспомним, что 30 июля 1926 года, в промежутке между этими противоположными суждениями, И. И. Бродский с группой художников приезжал к Репину в Куоккалу — с последними условиями о переезде в Россию, а через несколько месяцев к Репину обратился сам нарком Ворошилов. Но Репин не приехал, а с И. Бродским порвал.

Можно предположить, что Иосиф Анатольевич усмотрел в письме Чуковского о картинах и о «высоких связях» своего дяди повод для охлаждения Репина к своему любимому ученику (из вышеприведенных писем очевидно, что для этого была какая-то совсем другая причина). Возможно, эта родственная обида и послужила отправной точкой для злополучных слухов о неблагонадежности Чуковского.

Прошло много лет. В октябре 1969 года Чуковский скончался, так и не узнав ничего определенного о содержании и о судьбе своих писем к Репину. А в середине 1970-х И. А. Бродский написал воспоминания о Чуковском и предложил их мне для публикации в сборнике воспоминаний о Чуковском, где я была одним из составителей. Эти воспоминания — «Дядя Облей» — теперь опубликованы*, но, к сожалению, не содержат никаких упоминаний об истории, которой посвящена эта статья.

В 1982 году, к 100-летию Чуковского эмигрантская газета «Новый американец» напечатала статью Леонида Гендлина «Мастеровой русской культуры». Автор, в частности, пишет:

«Мне довелось несколько раз побывать в Куоккале — теперешнем “Репино”. Однажды я встретился там с поэтом Сергеем Городецким. Обедать мы поехали в знаменитый ресторан “Медведь”. За столом... Сергей Митрофанович рассказал любопытный случай.

В середине двадцатых годов Луначарский в присутствии А.М. Горького попросил Чуковского поехать к Репину, уговорить его навсегда вернуться в Россию. Когда Корней Иванович туда выбрался, Репин находился за границей. Спустя несколько

* См.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М.: Сов. писатель, 1983. С. 23–37.

лет, разбирая архив маститого художника, мы обнаружили записку Чуковского, написанную на клочке бумаги:

“Дорогой Илья Ефимович!

Сожалею, что Вас не застал. Советское правительство в лице Луначарского и Алексея Максимовича Горького просят Вас вернуться в Россию. Дорогой друг, ни под каким видом этого не делайте, будьте благоразумным. Ваш Корней Чуковский”.

Когда я наедине поведал об этом Чуковскому, он был явно смущен. Горький возвратил ему этот компрометирующий документ».

К сожалению, автор этой юбилейной статьи неубедительно сочинил письмо Чуковского к Репину. Легко установить, что когда Чуковский приезжал в 1925 году в Куоккалу, Репин жил в своих «Пенатах», а не «находился за границей». Виделись они ежедневно. «Когда мы разбирали архив маститого художника» и «обнаружили записку Чуковского» Горького уже не было в живых (зима 1940 года), и он, хотя бы по этой уважительной причине, не мог вернуть Чуковскому «компрометирующий документ».

Но для нас важно, что легенда оказалась живучей и молва до сих пор приписывает Чуковскому какое-то пагубное влияние на Репина, влияние, в результате которого Репин не только не вернулся в Россию, но даже не приехал на несколько дней — повидать своих друзей, свои работы в музеях.

С цитатами из документов, обнаруженных после смерти Чуковского, мы пытались показать, что подтверждения этой легенде в письмах Чуковского нет.

Июнь 1997

МОЛОДОЙ ЧУКОВСКИЙ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ*



Предлагаем вниманию читателей две статьи Корнея Чуковского о Льве Толстом.

Эти статьи написаны очень молодым человеком. Первая статья «Толстой и интеллигенция» была напечатана 28 мая 1905 года в № 22 еженедельника «Театральная Россия».

В статье нашли свое отражение споры о роли интеллигенции в русском общественном и историческом движении, о взглядах Толстого на эту роль. Эти споры вспыхнули с новой силой в революционном 1905 году.

Автору было тогда двадцать три года.

Статья с 1905 года не переиздавалась. Вероятно Чуковский о ней просто забыл.

Вторую статью — «Толстой как художественный гений» (1908) автор хотел включить в свое единственное прижизненное шеститомное собрание сочинений (М: Художественная литература, 1965—1969). Он даже написал для этого в 1968 году специальное вступление.

«Это статья — древняя, — писал Чуковский в своем вступлении. — Между нею и современным читателем прошло две революции и две мировые войны. Написана она еще при жизни Льва Толстого одним молодым человеком. Этим молодым человеком был я.

С тех пор она ни разу не попадалась мне на глаза, и я совершенно забыл бы ее, если бы мне не напомнила о ней книга Валентина Булгакова «Л.Н. Толстой в последний год его жизни». Там я с удивлением прочел, что в августе 1910 года В.Г. Короленко, гостивший в Ясной Поляне, беседовал с Львом Николаевичем именно об этой статье.

* Ясная поляна. 2000. № 1 (3). С. 350—351.

— Один молодой критик, — сказал Короленко Толстому, — говорит, что (...) у вас нет типов. Я с этим конечно не согласен (...), но кое-что есть в этом и правды.

В комментариях к этим словам сказано, что «речь идет о статье К. Чуковского «Толстой как художественный гений» (см. Литературные приложения к «Ниве». 1908. № 9).

Я разыскал старинную статью и прочел ее с живейшим интересом, как новую. Вся она ушла из моей памяти, но я не мог не вспомнить ту дрожь молодого восторга, с которой я писал эти страницы. Здесь много незрелого, много наивного, те же мысли и чувства я изложил бы в настоящее время иначе, но в теперешней моей — стариковской — статье уже не было бы того сердцебиения молодости, какое чувствуется в каждом слове этого юношеского гимна Толстому...»

Однако ни это вступление, ни сама статья в Собрание сочинений так и не вошли. Сейчас трудно сказать определенно, почему это произошло. Издание продвигалось с трудом, многие дореволюционные критические статьи редакция отклоняла по конъюнктурным соображениям. Может быть, кому-нибудь показалось, что заглавие статьи Чуковского противопоставлено знаменитому названию ленинской статьи «Толстой как зеркало русской революции», а может быть, была какая-нибудь другая причина. Во всяком случае, при жизни Чуковского статья после 1908 года не печаталась.

После его кончины статья была перепечатана журналом «Юность» (1971. № 9) и вошла в двухтомник К. Чуковского, выпущенный издательством «Правда» (Б-ка «Огонёк». М., 1991).

Надо сказать еще несколько слов о том, как складывались отношения Корнея Ивановича с его великим современником.

Чуковский был необыкновенно общительным человеком и лично знал всех современных ему литераторов. Однако он так и не решился поехать к Льву Толстому и побывал в Ясной Поляне лишь на его похоронах.

Корней Иванович потом всю жизнь жалел о своей нерешительности, в особенности после того, как появились в печати дневники секретарей Толстого, и он узнал, что Толстой читал его статьи и доброжелательно отзывался о его книге «Нат Пинкертон и современная литература».

Но хотя знакомство и не состоялось, случилось так, что последнее письмо Льва Толстого было адресовано Корнею Чуковскому и написано в Оптиной пустыни уже после ухода Толстого из Ясной Поляны.

В ответ на письмо Чуковского, обратившегося к Л. Толстому с просьбой: «Пришлите мне хоть десять, хоть пять строчек о палачах и о смертных казнях, и редакция «Речи» с благоговением напечатает этот единовременный протест лучших людей России против неслыханного братоубийства, к которому мы все привыкли и которое мы все своим равнодушием и своим молчанием поощряем» — Толстой написал статью «Действительное средство». Чуковский получил рукопись от Сергеенко в Ясной Поляне в день похорон Толстого. Статья была опубликована в газете «Речь» 13 ноября 1910 года. Этот эпизод подробно описан в работе А. Шифмана «Последняя статья Льва Толстого» (Вопросы литературы. 1982. № 9. С. 275–278).

Хотя личное знакомство и не произошло, Чуковский всю жизнь думал о Толстом, с горячностью писал о нем в своем дневнике.

Привожу несколько записей разных лет:

2 марта 1901. Вдруг... пало известие, что Л. Толстого отлучили от церкви... и неожиданно для самого себя встаю с кресла, руки мои, к моему удивлению, начинают размахиваться, и я с жаром 19-тилетнего юноши начинаю Цицеронствовать.

40 лет, говорю я, великий и смелый духом человек на ваших глазах кувыркается и дергается от каждой своей мысли, 40 лет кричит нам: не глядите на меня, заложив руки в карманы, как праздные зеваки. Корчитесь, кувыркайтесь тоже, если хотите познать блаженство соответствия слова и дела, мысли и слова... Мы стояли, разинув рот, и говорили, позевывая. «Да, ничего себе. Его от скуки слушать можно...» И руки наши по-прежнему были спрятаны в карманы. И вот... наконец, мы соблаговолили вытащить руки, чтобы схватить его за горло и сказать ему: как ты смеешь, старик, так беспокоить нас? Какое ты имеешь право так долго думать, звать, кричать, будить? Как смеешь ты страдать? В 74 года это не полагается...

Поневоле вспоминается наша Анна Каренина, это дивное окно, открытое в жизнь. Несмотря на протухлые тенденции, несмотря на предвзятость и вычурность тяжелой мысли Толстого,

его самого просто и не чувствуешь, не замечаешь, забываешь, что ко всем этим Левиным, ко всем этим Облонским нужно прибавить еще одного, который всех их сделал, который стал-кивал их, как было ему угодно; забываешь. А когда вспомнишь, как громаден, безграничен кажется этот человек, поместивший их всех в себе самом, могуч, как природа, загадочен, как жизнь.

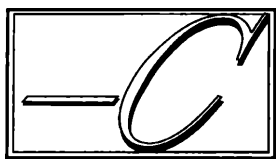
28 июня 1920. Читая «Анну Каренину» я вдруг почувствовал, что это — уже старинный роман. Когда я читал его прежде, это был современный роман, а теперь это произведение древней культуры, — что Кити, Облонский, Левин и Ал. Ал. Каренин так же древни, как, например, Посошков или князь Курбский. Теперь — в эпоху советских девиц, Балтфлота, комиссарш, милиционерш, кондукторш, — те формы ревности, любви, измены, брака, которые изображаются Толстым, кажутся допотопными (*К. Чуковский. Дневник. 1901–1929. М.: Сов. писатель, 1991. С. 10, 12, 146*).

24 марта 1955. Я целый день читал дневник Льва Толстого 1854–1857 — поразила меня ёмкость его времени — в один день он успевает столько увидеть людей и вещей, сколько иной не увидит и в месяц, и какое труженичество! Каждый день пишет и пишет, читает бездну — и еще укоряет себя в лени, безделье и проч. (*К. Чуковский. Дневник. 1930–1969. М.: Совр. писатель, 1994. С. 224*).

Как нам кажется, обе малоизвестные статьи Корнея Чуковского о Льве Толстом и сегодня не утратили своего значения и созвучны многим нынешним тревогам и спорам.

Январь 2000

«ДЕДУ, ОЧЕВИДНО, НЕ ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ “КРОКОДИЛА”»*



удя по дневникам, Корней Иванович не любил дни своего рождения и обычно с утра записывал что-то едкое, вроде: «Позади ка- торжная, очень неумелая, неудачливая жизнь...» Или: «Всех карандашей мне не истратить, туфлей не доносить, носков не истрепать. Всё это чужое». На ваш взгляд, если бы это было возможно, какими комментариями Чуковский снабдил бы нынешнюю дату?

— Говорить, что Корней Иванович не любил дни рождения, неверно. Просто он терпеть не мог канонов, не выносил бездарно тратить время на сидение за столом. В последние годы порой даже не выходил к гостям, отсиживался наверху, пока родственники принимали поздравления. При этом простодушно радовался подаркам — обычно каким-нибудь канцтоварам: карандашам, ручкам, бумажкам. Случалось, ему дарили дорогие бутылки. Дед в них совершенно не разбирался. Угощая, вечно наливал коньяк, виски не в те фужеры.

А насчет даты? С одной стороны, Корней Иванович был бы изумлен, узнав: всё, что казалось несбыточным напечатать, сейчас опубликовано. В издательстве «Терра-Книжный клуб» заканчивается работа над последними двумя томами пятнадцатитомного собрания сочинений Чуковского. Выпущена «Вавилонская башня...», чей тираж при нем полностью пустили под нож. Год назад впервые вышла в свет неизуродованная «Чукоккала», про которую дед мрачно писал, что его глаза ее не увидят. Появились три тома его критических статей. С другой стороны,

* Из интервью Марине Заваде и Юрию Куликову // Известия. 2008. 31 марта.

хватает и причин для огорчений. Потому что в целом интерес к литературе падает.

— В беспросветные моменты Корней Иванович мог лечь на пол и так провести целый день. Когда к его статье о Собинове редактор поставил заголовок «Русский соловей», Чуковский, корчась от пошлости, горестно выкрикивал, что не вынесет срама. Скажите, Елена Цезаревна, настоящие страшные удары судьбы повергали вашего деда в растерянность? Или, напротив, он собирался, группировался, проявлял стойкость и силу характера?

— Моя мать, Лидия Корнеевна, называла деда «гением отчаяния». Ему были свойственны крутые повороты настроения. Вспыльчивый, мог от злости стул сломать... Но и бед на голову Корнея Ивановича свалилось с лихвой. Из четверых детей троих он пережил. Сначала — Мурочка. Потом сын Боба пошел добровольцем в ополчение и погиб. В 1965 году внезапно умер второй сын — Коля. Безусловно, дед умел сквозь отчаяние пробиваться. Спасался работой. Как и все, кого я близко наблюдала. Так спасался во время травли Солженицын. Работу противопоставляла многолетним напастям Лидия Корнеевна. И конечно, Корней Иванович был опорой семьи. Сыну Коле помогал в переводах, мою мать вызволил из саратовской ссылки, иначе кто бы ее отпустил? Ходил к Луначарскому, Маяковскому... Хлопоча за моего отчима Матвея Петровича Бронштейна, дошел до Ульриха.

Сейчас я готовлю к печати том писем деда. Под рукой — горы записок, где он заступает за самых разных людей. За день в доме могли перебивать человек пятьдесят. Когда на даче в Переделкине поставили телефон, Корнею Ивановичу звонили: «Пожалуйста, сходите в Измалково, передайте то-то и то-то...» Он надевал валенки, шел. Однажды в санатории «Барвиха», где лечился, некое сановное лицо отказалось посадить в персональный автомобиль кого-то из собирающихся в город. Чуковский в гневе швырнул вслед машине палку.

— В наше время надувания щек такая отзывчивость кажется уст. (устарелой, как пишут словари).

— К сожалению. Мне самой иногда хочется проскочить мимо чужих проблем, бегом-бегом — к своей цели. А Корнея Ива-

новича занимали чужие судьбы. Он умел разговаривать с высоким начальством, привык просить, звонить и не пугался этих усилий. Помню, в переделкинский музей на экскурсию пришла женщина. Она рассказала мне, что в 30-е годы работала у Чуковского секретарем. Призналась ему, что родители арестованы. Корней Иванович откликнулся: «Давайте я запишу, кому позвонить, вдруг смогу помочь». Открыл записную книжку на букву «и». Женщина удивилась: «Почему на «и»?» — «Так ведь ироды же» (*смеется*).

К Корнею Ивановичу в семье относились с большим почетом и доверием. Сочувствовали. Он любил пожаловаться. В сущности, дед отличался завидным здоровьем, до последних дней читал без очков. Но вот я смотрю письма — лет с двадцати пяти мелькает: «болен», «не могу написать», «не в состоянии двух слов связать». Отчасти это объясняется нервностью, бессонницей, начавшейся уже в юности. Чем только его не лечили! У деда была любимая песенка: «Барбитураты не виноваты, что мы с тобою дегенераты».

Лишь с годами я осознала, что на людях неунывающий, мастерски актерствующий Корней Иванович — немолодой человек, которому следует облегчать его нелегкую жизнь. Читать вслух, печатать на машинке, помогать разбирать бумаги...

Дед был неожиданным человеком. Знал, что иной раз лучше помолчать, и вдруг ляпал что-то несусветное. Так получилось с нашим соседом — художником Васильевым. Тот зашел в гости и увидел на столе «Правду», напечатавшую его картину: Ленин в Разливе рядом со Сталиным. Корней Иванович сказал: «Откуда тут Сталин? Общеизвестно, что в Разливе Ленин скрывался с Зиновьевым». Причем Зиновьева дед ненавидел не меньше, чем Сталина. Вступился за факты. Васильев вышел и отправился прямым доносом к секретарю ЦК Шербакову. Через несколько дней в той же «Правде» разгромили сказку «Одолеем Бармалея», опубликовав статью Юдина «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского».

Однако сколько бы дед ни давал себе зарок «не встречать» — все равно срывался. После событий 1968 года в Чехословакии Чуковского попросили принять группу пражских журналистов из лояльного властям литературного журнала. Не знаю, о чем они часа два разговаривали в кабинете, но за ужином, на который хозяин уговорил гостей остаться, я присутство-

вала. Журналисты размякли и, по-видимому, уже считая Корнея Ивановича своим лучшим другом, пожаловались: «Знаете, многие коллеги называют нас штрейкбрехерами». И тут он спокойно сказал: «А вы и есть штрейкбрехеры».

В последние годы Чуковский стал отчасти ограждать себя от неприятностей. Когда начались гонения на Пастернака, которые Корней Иванович поначалу пытался остановить, он абсолютно перестал спать. Три недели был болен... Особенно в преклонном возрасте он избегал тяжелых разговоров на ночь. С той же Чехословакией в моей памяти связан такой эпизод. В августе 1968-го я отдыхала в Крыму и, вернувшись в Москву, решила выяснить мнение деда. Только открыла рот, он перебивает: «Я ничего не знаю». Вечером, едва Корней Иванович лег спать, взяла журнал «Нью-Йоркер», на который Чуковского подписывала знакомая американская журналистка. Номер был посвящен чешским событиям и весь исчеркан пометками деда. Получалось, он детально всё изучил, но даже со мной не захотел обсуждать эту тему. Почему? Не желал накручивать себя, «расчесывать» рану, ибо с горечью сознавал: бессилён что-нибудь изменить. Правильно писала Лидия Корнеевна, что он охотно кидался на помощь в самых трудных случаях. Но с поля проигранного сражения предпочитал дезертировать.

— Относительно недавно все Чуковские собрались вместе. Сколько вас сегодня?

— Я вам всех даже не смогу назвать поименно, потому что жизни как-то разошлись. Но, верно, года три назад сын младшего внука Корнея Ивановича Мити, тоже Митя, решил собрать у себя всех родственников. Ему не было года, когда умер Корней Иванович. Теперь он вырос, построил дачу и вместе с женой Катей устроил роскошный прием. Там я и увидела всех: 43 человека, включая праправнуков. Сейчас подобные собрания родственников в ходу в Европе и в мире.

— Вам и Лидии Корнеевне Чуковский передал права на все свои произведения, архив... Вы практически первой прочитали дневники деда. Что вас больше всего потрясло?

— Я знала, что Корней Иванович прожил трудную жизнь. Но количество невзгод, выпавших на его долю, меня ошеломило.

Сейчас «Дневники» изданы, многое стало известным. А сразу после смерти Корнея Ивановича нечего было и думать их напечатать. Один указатель запрещенных имен делал публикацию «антисоветской»: Гумилев, Набоков, Замятин, Лидия Корнеевна... Мать к тому времени была неупоминаемой. Больней всего ее задело не исключение из Союза писателей, а то, что не ввели в комиссию по литературному наследию отца. Мне пришлось включаться в дела, доселе незнакомые. Как необстрелянный боец, я пришла в «Литературную Россию» к главному редактору Константину Поздняеву. Дед не успел завершить статью, просил Лидию Корнеевну доделать работу и опубликовать после его смерти в этой газете. Мать исполнила волю, подписавшись как принято: «Подготовила к печати Лидия Чуковская». Поздняев сказал мне: «Лидия Корнеевна хочет на имени отца въехать в литературу?!» Я выскочила из кабинета, едва не разрыдавшись. У матери тогда уже вышло несколько книг...

— Какие легенды о Чуковском вы хотели бы опровергнуть?

— Легенды невозможно опровергнуть никакими фактами. Они страшно живучи. Чуковский считал себя критиком и историком литературы, всю жизнь пытался развеять миф, что он исключительно детский писатель. Сейчас найдено письмо, где он пишет: «Я утверждаю, что моя книга о Горьком лучше “Крокодила”, что моя книга о Некрасове лучше “Мойдодыра”. Но вот “Крокодил” разошелся тиражом три миллиона. А книга о Горьком — две тысячи». Мы старались исправить заблуждение, проводя экскурсии в музеи, издавая «взрослые» книги, критические статьи. Бесполезно. В массовом восприятии Корнею Ивановичу, очевидно, не отделаться от «Крокодила». Так же как невозможно вытеснить из сознания людей сложившийся в последние десятилетия облик благодушного «дедушки Корнея». Для тех, кто интересуется эпохой, литературой, существует другой Чуковский. А для остальных пусть всё остается как есть.

ОПРАВДАНИЕ МОЙДОДЫРА*

Мойдодыр не сдавал Крокодилу живых мальчиков



обирая два тома писем Чуковского для Собрания его сочинений, мы включили в состав пятнадцатого тома письмо К. И. Чуковского к И. В. Сталину от 17 апреля 1943 года, которое со ссылкой на Архив Президента РФ в 1997 году впервые было опубликовано в журнале «Источник». Публикация в «Источнике» имела достаточно броское заглавие «Произвести тщательную чистку каждой школы», а также не менее броский подзаголовок «В письме И. В. Сталину Корней Чуковский предложил “изъять всех социально-опасных детей”». Далее следовал такой текст:

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

После долгих колебаний я наконец-то решился написать Вам это письмо. Его тема — советские дети.

Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что в огромном своем большинстве они благородны и мужественны. Уже одно движение тимуровцев, подобного которому не существует нигде на земле, является великим триумфом всей нашей воспитательной системы.

Но именно потому, что я всей душой восхищаюсь невиданной в истории сплоченностью и нравственной силой наших детей, я считаю своим долгом советского писателя сказать Вам, что в условиях военного времени образовалась обширная группа детей, моральное разложение которых внушает мне большую тревогу.

Хуже всего то, что эти разложившиеся дети являются опасной заразой для своих товарищей по школе. Между тем школьные коллективы далеко не всегда имеют возможность избавиться от этих социально опасных детей.

* Совместно с Е. В. Ивановой. Книжное обозрение. 2012. № 7. С. 10.

Около месяца назад в Машковом переулке у меня на глазах был задержан карманный вор. Его привели в 66-е отделение милиции и там оказалось, что этот вор-профессионал, прошедший уголовную выучку, до сих пор как ни в чем не бывало учится в 613-й школе!

Он учится в школе, хотя милиции отлично известно, что он не только вор, но и насильник: еще недавно он ударил стулом по голове свою мать за то, что она не купила ему какой-то еды. Фамилия этого школьника Шагай. Я беседовал о нем с директором 613-й школы В. Н. Скрипченко, и она сообщила мне, что он уже четвертый год находится во втором классе, попрошайничает, ворует, не хочет учиться, но она бессильна исключить его, так как РайОНО возражает против его исключения.

Я не осмелился бы писать Вам об этом случае, если бы он был единичным. Но, к сожалению, мне известно большое количество школ, где имеются социально опасные дети, которых необходимо оттуда изъять, чтобы не губить остальных.

Вот, например, 135-я школа Советского района. Школа неплохая. Большинство ее учеников — нравственно здоровые дети. Но в классе 3 «В» есть четверка — Валя Царицын, Юра Хромов, Миша Шаковцев, Апрель, — представляющая резкий контраст со всем остальным коллективом. Самый безобидный из них Юра Хромов (с обманчивой наружностью тихони и паиньки) принес недавно в класс украденную им женскую сумочку.

В протоколах 83-го отделения милиции ученики этой школы фигурируют много раз. Сережа Королев, ученик 1-го класса «В», занимался карманными кражами в кинотеатре «Новости дня». Алеша Саликов, ученик 2-го класса «А», украл у кого-то продуктовые карточки. И т. д. и т. д.

Стоит провести один час в детской комнате любого отделения милиции, чтобы убедиться, как мало эффективны те меры, которые находятся в распоряжении милицейских сержантов — большей частью комсомолок 17-летнего возраста.

Комсомолки работают очень старательно, с большим педагогическим тактом, но вряд ли хоть один вор перестал воровать оттого, что ему в милиции прочитал наставление благородный и красноречивый сержант.

Особенно смущают меня проявления детской жестокости, которые я наблюдаю все чаще. В Ташкентском зоологическом саду я видел 10-летних мальчишек, которые бросали пригоршни пыли в глаза обезьянкам, чтобы обезьянки ослепли. И одна

из них действительно ослепла. Мне рассказывали достоверные люди о школьниках, которые во время детского спектакля, воспользовавшись темнотою зрительного зала, стали стрелять из рогаток в актеров, — так что спектакль пришлось отменить.

Но как бы я ни возмущался проступками этих детей, я никогда не забываю, что в основе своей большинство из них — *талантливые, смысленные, подлинно советские дети, которых нельзя не любить.*

Они временно сбились с пути, но еще не поздно вернуть их к полезной, созидательной работе.

Для них необходимо раньше всего основать возможно больше трудколоний с суровым военным режимом типа колонии Антона Макаренко.

Режим в этих колониях должен быть гораздо более строг, чем в ремесленных училищах. Основное занятие колоний — земледельческий труд.

Во главе каждой колонии нужно поставить военного. Для управления трудколониями должно быть создано особое ведомство, нечто вроде Наркомата безнадзорных детей. В качестве педагогов должны быть привлечены лучшие мастера этого дела, в том числе бывшие воспитанники колонии Макаренко.

При наличии этих колоний можно произвести тщательную чистку каждой школы: изъять оттуда всех социально опасных детей и тем спасти от заразы основные кадры учащихся. А хулиганов — в колонии, чтобы по прошествии определенного срока сделать из них добросовестных, дисциплинированных и трудолюбивых советских людей!

Может быть, мой проект непрактичен. Дело не в проекте, а в том, чтобы сигнализировать Вам об опасности морального загнивания, которая грозит нашим детям в тяжелых условиях войны.

Прежде чем я позволил себе обратиться к Вам с этим письмом, я обращался в разные инстанции, но решительно ничего не добился. Зная, как близко к сердцу принимаете Вы судьбы детей и подростков, я не сомневаюсь, что Вы, при всех Ваших титанически огромных трудах, незамедлительно примете мудрые меры для коренного разрешения этой грозной проблемы.

С глубоким почитанием

писатель *К. Чуковский* *

* *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра-Книжный клуб. 2009. Т. 15. С. 343–346.

Письмо производило двойственное впечатление: с одной стороны, было очевидно, что касалось оно реальной проблемы, и имя Макаренко возникло здесь совсем не случайно. Да и начало письма по содержанию вполне могло быть написано Чуковским. Тут обращает на себя внимание его дневниковая запись 5 марта 1943 года: «Вчера у Екатерины Павловны Пешковой... На улице столкновение с 11-летним бандитом*». Е. П. Пешкова, первая жена М. Горького, жила в Машковом переулке, упоминание в письме: «Около месяца назад в Машковом переулке у меня на глазах был задержан карманный вор» — вполне могло относиться к этому эпизоду. Затем упоминалось и 66-е отделение милиции, и 613-я школа, в которой мог побывать Чуковский, разбираясь в этом деле. Мог он узнать от директора В. Н. Скрипченко, что напавший на него школьник Шагай «не только вор, но и насильник: еще недавно он ударил стулом по голове свою мать за то, что она не купила ему какой-то еды», и что «он уже четвертый год находится во втором классе, попрошайничает, ворует, не хочет учиться, но она бессильна исключить его, так как РайОНО возражает против его исключения».

Вполне вероятно также, что Чуковский оставил заявление в милицию, чтобы помочь педагогам 613-й школы справиться с этим «вором-профессионалом, прошедшим уголовную вычку».

Со школой Чуковский постоянно соприкасался во время своих выступлений, 29 апреля в его дневнике записано: «Мне как и зимой 1941/1942 гг. приходится добывать себе пропитание ежедневными выступлениями перед детьми или взрослыми**», здесь же перечислены места двадцати девяти его выступлений.

Но с другой стороны, собрав в двух томах около тысячи писем Чуковского, трудно было представить себе, что ему могли принадлежать такие словесные перлы: «можно произвести тщательную чистку каждой школы», «изъять... социально опасных детей», «спасти от заразы основные кадры учащихся», «сигнализировать Вам об опасности морального загнивания, которая грозит нашим детям в тяжелых условиях войны» и т. д. Даже если бы это было коллективное письмо и подпись Чуковского была одной из нескольких, невозможно подумать, что он не попытался бы истребить этот канцелярит, борьбе с которым посвятил

* *Корней Чуковский*. Собр. соч.: В 15 т. М., 2007. Т.13. С. 66.

** Там же. С. 68.

жизнь, и эти людоедские призывы, идущие вразрез со всей, если можно так выразится, «педагогикой» Чуковского.

Очевидно был подготовлен текст, в котором начало письма написано Чуковским (или записано какое-то его выступление), а предлагаемые меры добавлены неизвестным автором. Весь текст вероятно собирались приписать Чуковскому как человеку, имеющему авторитет в этой области.

Неудивительно, что публикация письма Чуковского в журнале «Источник» сразу получила отклик: критик В. В. Кожин, в неоднократно переиздававшейся статье не без злорадства упоминал «послание Корнея Чуковского Сталину, настоятельно предлагавшее создать «трудколонию с суровым военным режимом» для “социально опасных” детей, начиная с семилетнего возраста...»*

В единственной рецензии на тома писем единственным подробно изложенным и даже процитированным текстом оказалось это злополучное письмо и высказывалось такое мнение: «Что же это такое? Невозможно же допустить... что Мойдодыр сдает Крокодилу живых мальчиков. А вы пробовали просуществовать этак с полстолетия... врытым в землю по пояс — чтобы, значит, не возвышался? Не то удивительно, что башню сносило, как шляпу, — а то, что он исхитрился ее ловить»**.

Это был второй после В. Кожина печатный отклик на письмо, и при всех оговорках позиция Чуковского получила здесь вполне определенную квалификацию: «Мойдодыр сдает Крокодилу живых мальчиков». Не менее остро прореагировал интернет, где сразу возникло весьма бурное и продолжающееся по сегодняшний день обсуждение письма, возмутительного для одних и объяснимого для других.

Все это заставило нас более тщательно вернуться к истории этого текста. Никаких подготовительных материалов и черновиков письма в архиве Чуковского не сохранилось, не упоминалось о письме и в дневнике. Письмо плохо согласовывалось с жизненной ситуацией Чуковского этого времени: он только 2 февраля 1943 г. вернулся из эвакуации в Ташкенте и едва начал входить в московскую жизнь. Вскоре он получил серьезный

* В. В. Кожин. Загадочные страницы истории XX века. Кн. 2: Сталин, Хрущев и госбезопасность. Гл. 7.

** С. Гедройц. Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма. СПб., 2011. С. 344.

удар: была запрещена сказка «Одолеем Бармалея», о чем он узнал 10 марта 1943 года. Начались хлопоты за спасение сказки, продолжавшиеся до марта 1944 года, когда в «Правде» появилась разгромная статья П. Юдина, поставившая крест на ее публикациях*.

Обращает на себя внимание и запись в дневнике от 2 июня 1943 г.: «О сказке еще никакого решения... Был сегодня у Толстого. У него такая же история с “Иоанном Грозным”. Никто не решается сказать, можно ли ставить пьесу или нет... В конце концов он сегодня написал письмо Иосифу Виссарионовичу**». Довольно странно, что, упомянув о том, что Алексей Толстой написал письмо Сталину, Чуковский ни словом не обмолвился в дневнике о том, что сам всего два с небольшим месяца назад писал Сталину по другому поводу.

Одним словом, попытка как-то вписать письмо в биографию Чуковского этого времени окончилась ничем, и потому в комментариях Е. В. Ивановой к письму в Т. 15 Собрания сочинений о нем достаточно осторожно было сказано: «Восстановить историю этого письма пока не удастся... В архиве Чуковского никаких подготовительных материалов не найдено. Содержание письма позволяет предположить, что оно было написано по просьбе каких-то педагогов***».

Ожесточенность споров и оценок в прессе и в Интернете только укрепляли убеждение, что с этим письмом что-то не так, что-то в судьбе этих трех страничек надо выяснить, тем более, что в спор о них вступило поколение, выросшее на сказках Чуковского. И это заставило углубиться в историю возникновения этого документа.

Публикация письма в журнале «Источник» была сделана со ссылкой на Архив Президента РФ, туда мы и решили обратиться за разрешением ознакомиться с оригиналом письма. Нам ответили, что соответствующий фонд из Архива Президента к этому моменту передан в РАСП, откуда нам и была выдана факсимильная копия документа, послужившего основой для публикации. Вот тут-то и содержалась по существу разгадка: это оказались

* П. Юдин. Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского // Правда. 1944. 1 марта. О причинах появления этой статьи подробнее см.: Корней Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. М., 2007. Т. 13. С. 550.

** Там же. С. 66.

*** Там же. М., 2009. Т. 15. С. 345.

три листа машинописного текста без какой-либо правки и БЕЗ ПОДПИСИ ЧУКОВСКОГО!!! Начальник департамента Архива Президента А. Степанов в ответ на новый запрос сообщил: «Сведений о способе поступления, регистрации и входящих номерах письма не имеется, как и каких-либо резолютивных надписей... Публикация 1997 года подготовлена ныне покойным сотрудником Архива Президента Российской Федерации» (ответ от 6 июля 2011 г.)

На просьбу сообщить его фамилию нам ответили отказом.

Прежние сомнения, касающиеся стиля письма и содержащихся в нем предложений превратились в уверенность, что никакого письма Сталину Чуковский не писал, и можно только удивляться легкомыслию архивистов-публикаторов, которые неавторизованную машинопись, не имеющую обычной для личных писем регистрации, опубликовали как достоверный документ!

Публикаторы журнала «Источник» не обратили внимания сами и, главное, не сообщили читателю, что какие-либо признаки того, что Чуковский видел этот документ, отсутствуют, они не упомянули, что публикуют неавторизованную машинописную копию неизвестного происхождения и подобные документы имеют в лучшем случае статус «дубиа».

Нам же, как публикаторам наследия Чуковского, остается только констатировать, что «Источник» нас подвел, оказался мутным, и приходится теперь ломать голову, как извлечь уже опубликованное лжеписьмо Чуковского к Сталину из тома 15 Собрания сочинений, и принести извинение нашим читателям, за то, что всю эту исследовательскую работу нам не пришлось в голову осуществить раньше.

Февраль 2012

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПУТЬ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО*



Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков), русский писатель, критик, поэт, историк литературы, лингвист, переводчик.

Родился 19 марта (1 апреля) 1882 г. в Петербурге; умер 28.X.1969 г. в Кунцево под Москвой; похоронен в Переделкине. Детские годы провел в Одессе, где жил вместе с матерью, Екатериной Осиповной Корнейчуковой (крестьянкой Херсонской губернии) и старшей сестрой Марией. Отец оставил семью, когда мальчику было года три. Чуковский рос в бедности — мать зарабатывала на жизнь стиркой. Учение Чуковского рано оборвалось: министерство просвещения приказало «очистить» гимназии от «кухаркиных детей», и Чуковский был исключен из 5-го класса. Дальше он учился сам. Подростком, для заработка, он перепробовал много профессий, а с 1901 года стал сотрудничать в газете «Одесские новости». Писал иногда стихи, но главным образом статьи о художественных выставках и о книгах. Самоучкой овладел английским языком.

В 1903 году газета послала его в качестве корреспондента в Лондон. В Англии Чуковский пробыл полтора года, целые дни проводя в Британском музее, с увлечением читая Броунинга,

* Статья была написана Лидией Корнеевной и мною для американской энциклопедии и опубликована впервые в переводе на английский за подписью «Лидия Чуковская», поскольку я опасалась печататься открыто за границей, нарушая правила, установленные для советских авторов. См.: *The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literatures*. Edited by Harry W. Weber. V. 4. USA: Academic International Press, 1981, p. 126—137. По-русски впервые с подписями обоих авторов — Книжное обозрение. 1989. 24 нояб. С. 8—10, а также в виде предисловия к кн.: *Д. А. Берман. Корней Иванович Чуковский. Биобиблиографический указатель*. М.: Изд-во Восточная литература РАН, 1999. С. 7—16.

Суинберна, Карлейля, Маколея, Гиббона, Шелли, Китса. В русской печати стали появляться статьи Чуковского об английской литературе. В 1904 году он вернулся в Россию и переехал в Петербург, где начал редактировать еженедельный сатирический журнал «Сигнал». После того как в четырех номерах были помещены антиправительственные карикатуры и стихи, власти конфисковали два последних номера и возбудили против Чуковского судебное дело. Известный адвокат О. Грузенберг добился его оправдания.

С 1904 г. Чуковский начал сотрудничать в «Весах», а потом и в других изданиях в качестве литературного критика. Статьи его появлялись в газетах и журналах («Речь», «Весы», «Русское слово», «Свобода и жизнь», «Русская мысль», «Нива» и др.). Первые статьи Чуковского были собраны в книге «От Чехова до наших дней» (1908), выдержавшей за год три издания.

Впоследствии появились книги: «Леонид Андреев большой и маленький» (1908), «Нат Пинкертон и современная литература» (1908), «Критические рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914), «Книга о современных писателях» (1914), «Футуристы» (1922), «Оскар Уайльд» (1922), «Книга об Александре Блоке» (1922), [2-е изд. под заглавием «Александр Блок как человек и поэт» (1924)], «Две души М. Горького» (1924). В своих книгах, в многочисленных газетных и журнальных статьях, в ежегодных «Обзорах литературы» (с 1907 по 1911 г.) Чуковский анализировал творчество современных писателей. Его книги и статьи посвящены Чехову, Льву Толстому, Бунину, Куприну, Короленко, Бальмонту, Сологубу, Арцыбашеву, И. Анненскому, Горькому, Сергею-Ценскому, Зайцеву, Андрееву, Мережковскому, Гиппиус, Брюсову, Ремизову, Розанову, Ал. Толстому, Анне Ахматовой, Маяковскому, Блоку. Ни одно явление литературы конца XIX и начала XX века он не оставил без отклика.

Свое критическое кредо Чуковский сформулировал в более позднем письме к Горькому: «Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека. Критика должна быть и научной, и эстетической, и философской, и публицистической». Лучшие статьи Чуковского вполне отвечают провозглашенным здесь требованиям: сочетать эмоциональность с научностью,

достоверность собранных наблюдений с художественным обобщением. Многие мысли Чуковского, а также и самый стиль и постройка его статей шли вразрез с общепринятыми. Это создало молодому критику шумную, порою даже скандальную популярность. Современники называли Чуковского «Пинкертоном русской литературы», «критиком-карикатуристом», «критиком атакующего стиля», «фейерверком». Как заметил впоследствии Е. Добин, для Чуковского характерно «сюжетное построение статьи. Неожиданности, которые пронизывают ткань его критических статей, — форма, в которую облакаются открытия». Критические статьи Чуковского имеют еще и ту особенность, что писались они в расчете на чтение вслух. Это в большой степени определяло их построение и стиль. Чуковский читал свои статьи-лекции в Петербурге, разъезжал с ними по другим городам России.

В 10–20-х годах Чуковский выступает не только как художественный критик, но и как публицист. После 1-й русской революции, осенью 1906 г. Чуковский поместил в газете «Свобода и жизнь» анкету под заглавием: «Революция и литература». Редакция опубликовала множество самых противоречивых ответов на эту анкету. «Революция есть бешенство человека, над которым издевались тысячу лет. Художник должен быть выше бешенства» (А. Каменский). «Настежь окна, художник, не пропусти своего счастья!» (А. Луначарский). «Писатели разделяются на талантливых и бездарных. Первые заслуживают внимания, вторые — нет. Талант писателя ни в каком отношении к его политическим убеждениям не стоит» (В. Брюсов). «Литература не может делать революцию, как и революция не может делать литературу, а тем паче быть в услужении одна у другой» (М. Альбов). Сам Чуковский утверждал, что «литература подчиняется своим отдельным законам, не считающимся с кодексом того или иного правительства». Полемика оказалась злободневной, и газета была закрыта.

В 1910 году Чуковский обратился к Короленко, Леониду Андрееву, Горькому, Репину, Льву Толстому с призывом выступить против смертной казни. Он предлагал опубликовать в газете «единовременный протест лучших людей России против неслыханного братоубийства... которое мы своим равнодушием и своим молчанием поощряем». На эту просьбу откликнулись и Короленко, и Андреев, и Репин, а Лев Толстой ответил статью

«Действительное средство», написанной им за несколько дней до смерти и опубликованной уже после похорон.

В 1912 году Чуковский переселился из Петербурга в финское местечко Куоккала, где подолгу жил и раньше. Здесь он сблизился с И. Е. Репиным, В. Г. Короленко, Л. Н. Андреевым, А. Н. Толстым, А. И. Куприным, А. Ф. Кони, В. В. Маяковским. Позднее Чуковский в своих мемуарах создал целую портретную галерею этих деятелей русской культуры [см.: «Репин, Горький, Маяковский, Брюсов. Воспоминания» (1940), «Из воспоминаний» (1959), «Современники» (1962)]. Здесь же, в Куоккале, накануне Первой мировой войны Чуковский начал вести свой рукописный альманах «Чукоккала». (Название возникло из соединения двух слов: Чуковский и Куоккала.) В альманахе сотрудничали многие знаменитые писатели, художники, актеры. Наиболее интересно представлены 10–20-е годы. Мы встречаем записи и рисунки Репина, Шаляпина, Анненкова, Блока, Горького, Замятина, Гумилева, Ахматовой, Ходасевича, Маяковского. Альманах этот обогащался на протяжении десятилетий.

В феврале 1916 года, во время Первой мировой войны, Чуковский вторично посетил Англию в составе делегации русских журналистов, приглашенных британским правительством. Делегация, встреченная очень гостеприимно, была принята королем Георгом V. Во время этой поездки Чуковский познакомился со многими английскими писателями — Конан Дойлом, Г. Уэллсом, Эдмундом Госсом.

После Февральской революции 1917 года Чуковский из Куоккалы переехал в Петроград. В 1918–1924 гг. он принял участие в работе созданных тогда многочисленных культурно-просветительных учреждений. Он руководил Литературным отделом «Дома Искусств» и вел там занятия со студистами; при его ближайшем участии выходили два толстых журнала: «Русский Современник» и «Современный Запад»; кроме того, как специалист по англо-американской словесности он работал в ученой коллегии издательства «Всемирная Литература». К середине 20-х годов оба журнала были закрыты, и остальным общественно-литературным организациям так или иначе был положен конец. Характер деятельности Чуковского изменился. Он отошел не только от издательской и организационной работы, но и от литературной критики. Всю жизнь Чуковский считал своим истинным призванием художественную критику; однако с середины 20-х годов, за редчайшими исключениями, со ста-

тъями о современных писателях он более не выступал. На первый план его деятельности вышли история литературы XIX века, литература для детей и переводы. Темы эти были близки ему и раньше; расставшись с художественной критикой, он занялся ими вплотную.

Еще в 1907 году в переводе Чуковского появилось первое на русском языке издание стихотворений Уолта Уитмена. Последующие исправленные и дополненные издания книги Уитмена выходили под заглавием «Поэзия грядущей демократии» (1914, 1918, 1919, 1923), «Листья травы» (1931, 1935), «Мой Уитмен» (1955, 1966, 1969). В 1909 году Чуковский перевел сказки Р. Киплинга, в 1911–1915 гг. по приглашению «Нивы» редактировал первое в России собрание сочинений Оскара Уайльда, сам перевел некоторые сказки и написал статью о жизненном и литературном пути английского автора. Работу над переводами Чуковский продолжил и позднее: перевел многие произведения У. Уитмена, М. Твена, Г. Честертона, О. Генри, А. Конан Дойла, О. Уайльда, У. Шекспира, Г. Филдинга и «пересказал» для детей лучшие книги мировой литературы: «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Барон Мюнхаузен» Э. Распе, «Маленький оборвыш» Дж. Гринвуда.

В 1919 году Чуковский (совместно с Н. Гумилевым) выпустил брошюру «Принципы художественного перевода», которая должна была служить пособием для переводчиков «Всемирной Литературы». Статья Чуковского посвящена переводам прозы, статья Гумилева — переводам стихов. Принципы эти Чуковский продолжил разрабатывать в книге «Искусство перевода» (1930, 1936), позднее вышедшей под названием «Высокое искусство» (1941, 1964, 1968, 1988).

Чуковский утверждал, что настоящий переводчик «не фотографирует подлинник, а воссоздает его творчески». В противовес «неточной точности» буквалистских переводов Чуковский выдвигал требование иной точности: «переводить вдохновение — вдохновением, а красоту — красотой». Чуковский требовал от переводчиков не ремесленничества, а искусства. Переводчик обязан владеть всеми богатыми ресурсами родного языка и, сохраняя национальные особенности подлинника, добиваться, чтобы текст звучал вполне по-русски. В книге «Высокое искусство» рассмотрены наиболее распространенные лексические и смысловые ошибки переводчиков; подчеркнута роль фонетики, синтаксиса, интонации, ритмики.

Большое место в литературной деятельности Чуковского занимала работа над изучением наследия Н. А. Некрасова, начатая им в 1912 году. Чуковскому принадлежало около 80 некрасоведческих публикаций. Он работал над установлением канонических текстов и по крупицам собирал факты для биографии поэта. Им разысканы многие подлинные рукописи Некрасова. Обширный фонд некрасовских рукописей подарен был Чуковскому еще в десятые годы академиком А. Ф. Кони. Уже в издание сочинений Некрасова 1920 года Чуковский включил свыше 70 стихотворений, отсутствовавших в предыдущих изданиях (в том числе «Белинский», «На смерть Шевченко», «Смолкли честные, доблестно павшие», «Бунт» и т. д.), а также восстановил отдельные строки и строфы, ранее вычеркнутые из некрасовских сочинений по требованию цензуры.

В 1931 году Чуковский отыскал рукопись некрасовской сатиры «Современники», содержащей наряду с известными строками 268 неизвестных. Интересовало его и отношение к Некрасову писателей нового века. В начале 20-х годов Чуковский составил особую «Анкету». На вопросы Чуковского о Некрасове ответили Ахматова, Блок, Гумилев, Волошин, Сологуб, Кузмин, Маяковский, Николай Тихонов, Горький, Замятин, Пильняк [теперь эти анкеты опубликованы (М., 1988)].

Чуковский редактировал большинство послереволюционных изданий сочинений Некрасова, в том числе Собр. соч. в 3-х томах (1927), том неизвестных прозаических произведений («Тонкий человек», 1928) и принимал участие в редактировании двенадцатитомного Полного собрания сочинений и писем (1948—1953). Им написан историко-литературный комментарий ко многим стихам, поэмам и прозаическим текстам Некрасова. Эта линия исследования Чуковского завершилась книгой «Мастерство Некрасова» (1952, 1955, 1959, 1962, 1971; Ленинская премия, 1962 г.). «Тексты Некрасова до того, как их стал изучать и издавать Чуковский, и после этого в историко-литературном отношении то же, что издания Пушкина до Анненкова и после него», — писал Юрий Тынянов. Занимаясь Некрасовым, Чуковский попутно создал несколько «социально-психологических этюдов» — «Поэт и палач» (1922), «Жена поэта» (1922), «Некрасов как художник» (1922) и др. Работы эти были собраны сначала в книге «Некрасов. Статьи и материалы» (1926) и затем «Рассказы о Некрасове» (1930). В этих книгах Чуковский полемизирует

с теми, кто ценил в поэзии Некрасова не поэзию, а всего лишь ее «гражданскую направленность», нападал на тех, кто «ретуширует подлинный облик Некрасова так, что в результате Некрасов похож уже не на себя, а на любого из них, туповатого и стоеросового радикала». Чуковский пытался восстановить «близкое, понятное, дисгармонически-прекрасное лицо — человека». Он написал также ряд историко-литературных этюдов, связанных с эпохой Некрасова; впоследствии они вошли в сборник «Люди и книги шестидесятых годов» (1934, позднее под названием «Люди и книги», 1958, 1960). С предисловием и комментариями Чуковского и под его редакцией вышли и «Воспоминания» Авдотьи Панаевой (1928), и «Записки» Екатерины Жуковской (1930), и «Сочинения» В. А. Слепцова (1933).

Однако наиболее громкую известность Чуковский приобрел как писатель для детей. В детской литературе деятельность его столь же многообразна и полна открытий, как в критике и литературоведении. Весь арсенал своих критических навыков Чуковский применил в борьбе с сусальной детской литературой начала века. В книге «Матерям о детских журналах» (1911) он выступил против назидательного мещанского утилитаризма, присущего тогдашним журналам, резко напал на казарменно-патриотические бульварные повести Чарской. Он сделал попытку привлечь к служению детям лучших писателей и художников; под его редакцией вышел альманах «Жар-птица» (1912), а в издательстве «Парус» — «Елка» (1918).

В 1917 году в приложении к журналу «Нива» вышла первая сказка Чуковского «Крокодил» с рисунками Ре-Ми. В 1919 году эта «поэма для малюток» была опубликована отдельным изданием. Она полемична насквозь: в ней нету ни длинных описаний природы, ни сентиментальной умиленности, присущей даже лучшим из тогдашних стихотворений для детей. Фабула развивается стремительно, сюжет фантастичен. В сказке для детей впервые вместо снежинок, цветочков и звездочек явились образы города: трамваи, автомобили, аэроплан. Самым большим новшеством «Крокодила» был его стих — передающий живые интонации русской разговорной речи, богатый аллитерациями и неожиданными рифмами. При ультрасовременном пейзаже и сюжете некоторые ритмы «Крокодила» демонстративно заимствованы из классической русской поэзии XIX века, вызывая в памяти то лермонтовского «Мцыри», то ершовского «Конька-Горбунка». «Первый, кто слил литературную линию с лубочной,

был Корней Иванович. Надо было быть человеком высокой культуры, чтобы уловить эту простодушную и плодотворную линию. «Крокодил», особенно начало, это первые русские Раймс»* — так через 40 лет отозвался о «Крокодиле» С. Маршак.

С 1923 по 1926 г. Чуковский написал еще несколько стихотворных сказок. Вышли они в издательстве «Радуга», основанном при его участии. Сказки эти иллюстрировали лучшие тогдашние художники: Ю. Анненков — «Мойдодыра» (1923); С. Чехонин — «Тараканище» (1923); В. Конашевич — «Муркину книгу» (1924); «Мухину свадьбу» (1924, позднее под названием «Муха-Цокотуха»); «Путаницу» (1926) и «Чудо-дерево» (1926); М. Добужинский — «Бармалей» (1925); К. Рудаков — «Телефон» (1926); В. Твардовский — «Федорино горе» (1926).

Для сказок Чуковского характерны резкие перемены ритма, изобилие внутренних рифм, насыщенность текста глаголами. Изучив психику, мышление, читательские требования малых детей, Чуковский утверждал, что детей занимает не качество предмета, а движение, действие, — вот почему в его сказках над эпитетами преобладают глаголы. Сказки Чуковского лишены сухой назидательности, но автор отнюдь не избегает прямого морального вывода: в каждой сказке, как бы она ни была причудлива, размашиста и фантастична, неизменно торжествуют справедливость и доброта. Сказки Чуковского (в особенности «Муха-Цокотуха») вобрали в себя элементы фольклора, русского и английского («Nursery Rhymes»). Недаром впоследствии В. Каверин сказал о них, что они «вошли в язык и сами стали фольклором». Но динамизм их сродни динамике современного города. Ю. Тынянов писал: «Детская поэзия открылась. Был найден путь для дальнейшего развития... Детская поэзия стала близка к искусству кино: главное действующее лицо одной сказки стало появляться в других сказках. Это задолго предсказало мировые фильмы-мультипликации с их забавными звериными персонажами... Книги открылись для изображения улиц, движения, приключений, характеров».

Сказки Чуковского мгновенно приобрели огромную популярность. Но эти полубившиеся читателю сказки вызывали неудовольствие прессы. К концу 20-х годов работа Чуковского в детской литературе подверглась разгрому. Рапповцы и педагоги выступили против Чуковского. Скоро к ним присоединились

* *Nursery Rhymes* (англ.) — знаменитые сборники народных стихов, потешек, прибауток для детей.

педологи, утверждавшие, что никакая сказка ребенку вообще не нужна, что сказка мешает ребенку правильно воспринимать реальность. В печати появились утверждения, будто «основной опасностью в нашей детской литературе является “чуковщина”, т. е. антропоморфизм, аполитичность и уход от вопросов сегодняшнего дня». Д. Кальм предостерегал читателей «против буржуазных течений в нашей литературе, возглавляемых Чуковским и Маршаком». «Мы призываем к борьбе с Чуковщиной» — такую резолюцию приняло общее собрание родителей Кремлевского детского сада. В «Правде» (1.2.1928) член коллегии Народного Комиссариата просвещения Н. К. Крупская в статье «О “Крокодиле” К. Чуковского» сообщила, что «вместо рассказа о жизни крокодила ребята услышат невероятную галиматью». Далее Крупская объявила Крокодила мещанином и заканчивала свою статью словами: «Я думаю, “Крокодил” ребятам нашим давать не надо... потому, что это буржуазная муть». В эти же годы начал свою деятельность Государственный ученый совет (ГУС). На первом же заседании организованная при ГУСе Комиссия по детской книге запретила издание «Крокодила», а затем и другие сказки Чуковского. «Красная печать» опубликовала статью заведующей детским отделом ОГИЗа К. Свердловой «О “Чуковщине”». В это трудное время Чуковский писал: «В каком унижении находится детский писатель, если имеет несчастье быть сказочником. Его трактуют как фальшивомонетчика, и в каждой его сказке выискивают тайный политический смысл. Учиться я буду не у педагогов, а у самих малышей. И пусть поможет мне “чуковщина”, т. е. любовное изучение детей и длительная работа над своим материалом». Плодом постоянного изучения детей — их интересов и вкусов, их игр и языка, их стихотворчества и речетворчества — стала книга «От двух до пяти» (впервые под названием «Маленькие дети» (1928). Чуковский звал писателей и педагогов «уйти в детвору», как некогда «ходили в народ». Сам он постоянно общался с детьми, посещал детские сады, школы, детские больницы. Еще в 1909 году Чуковский обратился к родителям с просьбой присылать ему самобытные детские слова и речения. Таким образом, книга его создавалась совместно с тысячами родителей. Каждый пример в этой книге строго документирован. Целые десятилетия Чуковский копил письма и родительские дневники. В книге «От двух до пяти» Чуковский показывает, в частности, что тяга ребенка к «небывальщине» и фантазированию не уводит его от познания реального мира,

но, наоборот, помогает понимать реальность, а тяга к «перевертышам» и словесная игра обучает постигать дух родного языка. Анализируя особенности детского речетворчества, Чуковский доказал, что оно смыкается с речетворчеством народа и что каждый ребенок в возрасте «от двух до пяти» — «гениальный лингвист». Изучение детских песенок, дразнилок, русского и английского фольклора позволило Чуковскому сформулировать в своей книге «заповеди для детских поэтов», то есть перечислить те специфические требования, которым должны удовлетворять стихотворения для малых детей. Но, по утверждению Чуковского, какими бы специфическими чертами ни отличалась поэзия для маленьких, она и для взрослых должна быть поэзией.

При жизни автора книга «От двух до пяти», постоянно пополняемая новым материалом, издавалась 21 раз. Без преувеличения можно сказать, что Чуковский трудился над нею всю жизнь, перерабатывая, углубляя, расширяя от издания к изданию. За несколько дней до смерти, уже в больнице, Чуковский продолжал писать статью «Признания старого сказочника», намереваясь в качестве приложения включить ее в «От двух до пяти». Книга выпущена на иностранных языках (английском, немецком, японском, шведском, польском, словацком, болгарском), хотя многие ее страницы безусловно непереводимы.

Большинство детских сказок Чуковского написаны в 20-х годах, еще до похода против «чуковщины». В 30-е годы появились всего две новые сказки: «Лимпопо» (1935) (печатались также под названием «Айболит») и «Краденое солнце» (1936). В это время Чуковский часто выступал со статьями о детской литературе, о недостатках преподавания русской литературы в школе, о необходимости воспитывать в детях любовь к родной поэзии. Статьи эти, разбросанные по газетам и журналам, за небольшим исключением не собраны и не переизданы.

В 1938 году Чуковский переехал из Ленинграда в Москву. Во время войны, осенью 1941 года, он отправился в эвакуацию в Ташкент, где сразу же принял участие в Комиссии помощи эвакуированным детям. В 1943 году вышла его антифашистская сказка «Одолеем Бармалея». Создание этой сказки было вызвано раздумьями о тех тяжелых душевных увечьях, которые наносит детям война: «грубость языка. Загрязненность души. Война для них только: бей! пиф-паф!

А во имя чего? Убить фашистов в самих себе. Цели войны. Есть на свете нежность, жалость».

Сказка, по причинам внелитературным, была ошельмована. «Пошлая и вредная стряпня К. Чуковского» — под таким заглавием в «Правде» (1.III.44) появилась статья П. Юдина. Автор статьи характеризовал сказку Чуковского как «шарлатанский бред». В 1946 году была подвергнута разгрому и последняя детская сказка Чуковского «Приключения Бибигона». Печатание ее в журнале «Мурзилка» было внезапно остановлено. «Одолеем Бармалея» так никогда и не переиздавалось, а «Бибигон» был опубликован полностью лишь спустя 17 лет, в 1963 году.

К середине 50-х годов положение всей советской литературы улучшилось, наступила недолгая хрущевская «оттепель». Перед Чуковским открылась возможность возобновить издания некоторых своих книг (например, после шестнадцатилетнего перерыва в 1955 году снова вышло «От двух до пяти», после двадцатитрехлетнего перерыва — в 1964 году — «Высокое искусство»). Большими тиражами стали переиздаваться стихи и сказки для детей. Однако новых сказок он уже не писал.

В конце 50-х годов Чуковский принял участие в дискуссии о русском языке. Результатом его лингвистических штудий явилась книга «Живой как жизнь» (1962). Проблемы языка всегда увлекали Чуковского. Смолоду он учился именно через разбор языка идти к пониманию сущности художественного произведения; разработка теории перевода тоже вызвала в нем повышенное чутье к языку; книга о детях «От двух до пяти» есть в то же время, безусловно, книга о русском языке. «Живой как жизнь» перекликается со всеми предыдущими работами. Здесь, как и всюду, Чуковский измеряет ценность языка прежде всего степенью его выразительности. Анализируя мнимые и подлинные болезни нашей современной речи, Чуковский приходит к выводу, что основная беда — засилье мертвящих канцелярских и бюрократических форм, безликость и стандарт. Эту болезнь он называет «канцеляритом» (по аналогии с менингитом, дифтеритом, аппендицитом). Истоки болезни Чуковский усматривает в чиновничьем равнодушии, в способности чиновников любое дело «утопить в пустословии». Словесные пустопорожние стереотипы явно проникают и в детскую, и в народную речь, лишая язык творческой мощи, — это вызывало особую тревогу Чуковского.

При многообразии задач, интересов, тем были у Чуковского темы, к которым он возвращался всю жизнь. Одна из них — Че-

хов. Чуковский с юности мечтал написать книгу о Чехове и много раз принимался за работу. Он полагал, что Чехов — один из самых сложных и, главное, скрытных художников. По мнению Чуковского, творчество Чехова критиками толковалось превратно. Применяя собственные приемы анализа, Чуковский по-новому расшифровал сдержанный стиль и глубоко запрятанный смысл чеховских произведений. Там, где другие видели безволие, уныние и вялость, Чуковский находил волю и мощь. Чехов был для Чуковского образцом человечности. Многим чертам его характера Чуковский пытался следовать, перевоспитывая себя. В 1958 году был опубликован первый вариант («Чехов»), а в 1967 году окончательный — «О Чехове».

В 1962 году Чуковский совершил третью поездку в Англию. В Оксфордском университете ему была присуждена степень доктора литературы (*honoris causa, lat.*). Вернувшись на родину, Чуковский начал готовить к печати собрание своих сочинений. Полнотой оно не отличается. В него не вошло множество статей Чуковского о детской литературе, дореволюционных критических статей и статей о Некрасове. Последние тома Собрания сочинений — 5-й и 6-й — выходили в свет в конце 60-х годов, когда цензурный пресс снова начал давить все сильнее и сильнее. Имя Чуковского к этому времени было окружено почетом и уважением, но и он вынужден был идти на уступки. Он испортил многие свои молодые статьи — в подлинном виде включить их в собрание сочинений не представлялось возможным (напр., статья «Поэт и палач», чье заглавие звучит слишком современно, напечатана в собрании сочинений в ухудшенном виде под названием «Неверный звук»). Из 6-го тома в последнюю минуту выброшены многие статьи (напр., «Вл. Короленко как художник», «Панаева», «Кнутом иссеченная муза» и др.), а для заполнения объема в этот том критических статей включены случайно надерганные переводы с английского, не имеющие никакого отношения к критике. Чуковский с горечью сознавал, что лучшие его критические работы искалечены, что собрание сочинений искажает его литературный путь. В 1969 году он составил оглавление будущего 7-го тома, до которого дожить не надеялся. Вот это оглавление: «Репин и Бенуа» (1911), «Вл. Короленко как художник» (1911), «Пфуль», «Дж. Лондон» (1914), «Шевченко» (1914), «Ахматова и Маяковский» (1921),

«О вреде догматизма» (1922), «Поэт и палач» (1922), «Панаева» (1922), «Кнутотом иссеченная муза» (1918), «Александр Блок как человек и поэт» (1924), «Алексей Толстой» (1924), «Две души М.Горького» (1924).

Чуковский — один из самых печатаемых авторов в Советском Союзе. Если вести счет до 1989 года, произведения Чуковского выходили в СССР отдельными изданиями 1272 раза общим тиражом свыше 259 млн экземпляров на 87 языках народов СССР и других стран. Но подавляющее число этих книг — сказки.

После смерти Чуковского переиздаются преимущественно его стихи для детей. Правда, в 1979 году вышло в свет факсимильное издание рукописного альманаха «Чукоккала». В середине 60-х годов Чуковский подготовил его к печати, снабдив рисунки и записи обширным комментарием: иногда это краткое эссе, иногда история того или иного наброска. Однако книга появилась в урезанном виде: по цензурным причинам из нее изъяты эссе Чуковского о Гумилеве и Замятине, комментарии к их записям и сами эти записи. Изъяты также некоторые автографы Горького, Блока, стихотворения Ахматовой, Ходасевича, Кузмина и т. д.

Судьба Чуковского гораздо благополучнее, чем судьбы многих его современников. Но и ей присущи черты трагические. В те годы, когда от каждого литератора требовалось, чтобы он был всего лишь популяризатором спущенных свыше идей, призвание Чуковского-критика не могло воплотиться. Работа в детской литературе из года в год подвергалась невежественным и грубым нападкам. Знал он и горе. Из четверых детей он потерял троих. Из ближайших друзей — сверстников, товарищей, учеников — многие были гонимы и загублены.

Чуковский никогда не вступал в прямую конфронтацию с властями, да и подлинные его интересы лежали не в общественной борьбе, а в литературе. Но жестокость, грубость, чиновничье пренебрежение к человеку были ненавистны ему. Кроме трудолюбия и таланта он в высокой степени был наделен свойством, которое точнее всего можно назвать деятельным состраданием. Люди, знакомые и незнакомые, обращались к нему с самыми разнообразными просьбами. Он хлопотал о койке в больничной палате, о приеме в вуз, приискивал работу для нуждающихся, никому не отказывал в денежной помощи и постоянно вступался за арестованных — даже в самые черные годы террора. Из его

укоризненных, просительных-заступнических писем, обращенных к власти имущим, можно было бы составить целый том. Особенно близки его сердцу были судьбы литераторов. Он давал советы молодым, собственноручно исправлял чужие рукописи, рекомендовал к изданию стихи и прозу, в которых чуял талант. Многим литераторам, лишенным возможности спокойно работать, оказывал гостеприимство у себя дома.

Архив Чуковского после его смерти частично передан в Рукописный отдел Библиотеки им. В. И. Ленина (см.: «Записки Отдела Рукописей»), частично хранится у наследников и в Стокгольмском университете. Архив содержит в себе дневники, которые Чуковский вел в течение семидесяти лет; переписку со многими знаменитыми деятелями русской культуры, а также тысячи читательских писем. Особую ценность представляют родительские письма о детях, интересные не только литературоведу, который станет изучать истоки книги «От двух до пяти», но любому историку, лингвисту и социологу. Архив служит подтверждением многообразия и прочности связей Чуковского с людьми разных поколений, разных профессий и национальностей. По замечанию одной из его корреспонденток, И. Петровой, быть может, «живое воздействие личности Корнея Ивановича на многих и многих людей окажется не менее важным, чем оставленные им статьи и книги».

Сочинения Корнея Чуковского: Собр. соч. в шести томах. М., 1965—1969. Не вошли в собр. соч. или переизданы лишь частично следующие книги и критические сборники: Леонид Андреев большой и маленький. СПб., 1908; От Чехова до наших дней. СПб., 1908; Критические рассказы. СПб., 1911; Книга о современных писателях. СПб., 1914; Лица и маски. СПб., 1914; Александр Блок как человек и поэт. Пг., 1924; Две души М. Горького, Л., 1924; Рассказы о Некрасове. М., 1930; Солнечная. М., 1933. (См. также Собр. соч.: В 15 т. М.: Терра-Книжный клуб, 2001—2009. — Примеч. 2012 г.)

Опубликовано посмертно:

а) книги: Несобранные статьи о Некрасове. Калининград, 1974; Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979; (1999, 2006. — Примеч. 2012 г.)

б) статьи: Как я стал писателем // Юность. 1970. № 1; Признания старого сказочника // Лит. Россия. 1970. 23 и 30 января; Неопубликованные страницы Чукоккалы (о Н. Гумилеве) // День поэзии. М., 1986; Онегин на чужбине // Дружба народов. 1988. № 4; Борьба за сказку // Детская литература. 1988. № 5; Русскими глазами. (Оксфордская речь) // Звезда. 1989. № 5;

в) подборки писем: Вопр. литературы. 1972. № 1; Звезда. 1972. № 8; Лит. обозрение. 1982. № 4; Иностранная литература. № 8;

г) публикации из Дневника: Вопросы литературы. 1980. № 10; Лит. наследство. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Т. 92. Кн. 2. 1981; Панорама искусств. М., 1981. Вып. 4; Юность. 1982. № 3; Неделя. 1982. 21, 28 марта; Огонек. 1986. № 42; Новый мир. 1987. № 3; Знамя. 1987. № 6; Наше наследие. 1988. № 2; Поиск. 1989. № 13; Кн. обозрение. 1989. № 18;

д) переизданы критические статьи: Толстой как художественный гений // Юность. 1971. № 9; Ахматова и Маяковский // Вопр. литературы. 1988. № 1; Шевченко // Радуга. № 3.

Литература о Корнее Чуковском:

а) книги: М. Петровский. Книга о Корнее Чуковском. М., 1966; сб.: Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1977 (переизд. в 1983); сб.: Жизнь и творчество Корнея Чуковского. М., 1978; Д. А. Берман. Корней Чуковский. Библиографический указатель. Л., 1984; Лидия Чуковская. Памяти детства. М., 1989;

б) статьи: *Аврелий* (псевдоним Валерия Брюсова). К. Чуковский. От Чехова до наших дней // Весы. 1908. № 11; *Лукьян Сильный*. Корней Чуковский как критик-карикатурист // Вестник литературы. 1910. № 1; *В. В. Розанов*. К. И. Чуковский о русской жизни и литературе // Журнал театра художественно-литературного общества». 2-я половина сезона 1908—1909. № 9. С. 9; *М. Горький*. Письмо в редакцию // Правда. 1928. 1 февр.; Дискуссия о детской литературе // Лит. газета, 1929. № 1, 12, 18, 24, 34, 36, 37; *Мирослав Дрозда*. К. Чуковский — литературный критик // Славика. Прагенсия. Филология. 2—4. Университет Карлова. Прага. 1970. С. 271; *Л. Пантелеев*. Седовласый мальчик // Звезда. 1973. № 6; *В. Н. Нечаев*. Библиотека К. И. Чуковского. В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник.

1974. М., 1975; Записки Отдела Рукописей. М., 1973. Вып. 34. С. 163; 1975. Вып. 36. С. 107; *Е. Добин*. Сюжетное мастерство критика. В кн.: Сюжет и действительность. Л., 1976. *Валентин Берестов*. Корней Чуковский. В сб.: Советская детская литература. М., 1978. *Мирон Петровский*. Крокодил в Петрограде. В кн.: Книги нашего детства. М., 1986.

1981, 1989

Архив Лидии Чуковской

ЗАВЕЩАНИЕ ЛЮШЕ*

Вспоминая Лидию Корнеевну Чуковскую



олжна сказать, что для меня полной неожиданностью стал сборник стихотворений Лидии Корнеевны, вышедший в 1992 году в издательстве «Горизонт». До тех пор поэт Чуковская мне не была известна. Я, как и многие, читала ее «Открытые письма», «Софью Петровну», «Записки об Анне Ахматовой». И вдруг стихи, лирика... Насколько важна была для нее эта грань творчества? Она ведь честно описала в «Записках...» не очень лестное мнение Анны Андреевны о ее стихах.

— Не совсем так. По ташкентским записям видно, что Ахматова как-то даже хвалила Лидию Корнеевну, говорила, что стихи нужно печатать. Но, в общем, вы правы, мнение было не очень лестным. Л. К. рассказывала, что порой Анна Андреевна, не желая обидеть поэта, ждущего ее отзыва, говорила: «Знаете, это очень ваше». Так вот, безо всякой обиды могу удостоверить: стихи Л. К. похожи на нее саму — очень цельные, очень грустные... Как-то в одном споре она с раздражением сказала: «А я вот больше всего дорожу тем читателем, который любит мои стихи».

— И все-таки главной ее книгой критики считают «Записки об Анне Ахматовой». Лидия Корнеевна придерживалась такого же мнения?

— Она считала своей главной книгой «Софью Петровну». Потому что тридцатые годы в Ленинграде (события в повести

* Из интервью Ирине Тосунян // Литературная газета. 1996. 19 июня. № 25.

происходят именно тогда), годы, когда была разгромлена редакция Маршака, в которой она работала, когда был арестован и расстрелян ее муж, а подруги отправлены в Большой Дом, когда весь ее привычный круг закачался, долгое время были для нее самыми важными. Она написала повесть в 1939-м, через год после расстрела мужа. Написала очень быстро, и потом толстую школьную тетрадь пришлось долго прятать, хранить ее дома было невозможно: уже были произведены три обыска и полная конфискация имущества.

Пока Лидию Корнеевну печатали на родине, главная работа была о Герцене. Это тоже, как и стихи, часть ее души. Она много занималась Герценом, часто его цитировала и считала, что он незаслуженно у нас забыт. Собрание сочинений Герцена сплошь испещрено ее заметками.

Но, конечно, «Записки об Анне Ахматовой» — труд всей ее жизни. Вы говорите о ее нелюбви давать интервью. Но парадокс в том, что Лидия Корнеевна вообще не любила печататься. Она была воспитанницей маршаковской редакции и всегда рассказывала, как трудно было вырвать у Маршака рукопись. У нее — еще труднее.

К тому же писание ее книг пришлось на то время, когда никто у нее никаких рукописей не вырывал, наоборот, непонятно было, как их вообще печатать. И сегодня на книжных полках в комнате Л. К. стоят папки с готовыми рукописями, которые она никогда не предлагала к изданию. Просто писала и ставила на полку. Даже «Записки...», которые в конце концов напечатали, оказались опубликованы потому, то Лидия Корнеевна подарила рукопись Корнею Ивановичу. А он давал читать одному, другому... Потом из рукописи кто-то стал переписывать целые куски и публиковать без всяких ссылок, что приводило автора в негодование. И я стала ее убеждать, что книгу надо напечатать, хотя бы для того, чтобы защитить. Так как здесь это было невозможно осуществить, Лидия Корнеевна переправила рукопись Ефиму Григорьевичу Эткинду в Париж, и в 1976 году появился первый том «Записок...» во Франции, в издательстве «ИМКА-Пресс».

— Но сначала во Франции была опубликована «Софья Петровна»...

— Эта вещь вышла без ведома автора, по рукописи, которая ходила в Самиздате. Издатели самовольно изменили название и имена некоторых персонажей.

— И чем это объяснялось?

— В Париже в то время был русский театр, где ведущая актриса носила то же имя, что и героиня повести. Были и другие изменения. Л. К. перемены в тексте крайне удручали, она считала имя своей героини нарицательным. Следующая книга «Спуск под воду» также вышла без ведома автора, «Записки об Анне Ахматовой» Л. К. передала издателю сама. Вы знаете, какая это сложная работа, со множеством сносок и примечаний. Нельзя было допустить, чтобы напечатали ее тоже кое-как.

Там же, в Париже, вышли стихи, книга «Процесс исключения», где Лидия Корнеевна рассказала о том, как ее исключали из Союза писателей, и о судьбе «Софьи Петровны», чуть было не напечатанной в «оттепель», и о музее в Переделкине, и о выигранном судебном процессе, и о том, уезжать или нет...

— Такой вопрос для нее существовал?

— Для нее — нет. Но вокруг нее — безусловно. Сама она была всегда противником эмиграции и горевала по поводу того, что многие дорогие ей люди оказались вынуждены уехать.

— Но она их не осуждала?

— По-разному. Иногда говорила: «Мне надоело, что выбирают не меня».

— В последний раз, когда я ей звонила, Лидия Корнеевна сказала, что очень занята, готовит к печати третью книгу об Ахматовой. Она успела эту работу закончить?

— Почти. Не успела дочитать 75 страниц. Сейчас мы с ее помощницей Ж. О. Хавкиной закончили эту книгу для журнала «Нева». Л. К. в последние годы пересматривала примечания к двум первым томам «Записок...», много нового внесла в раздел «За сценой». Эти два тома рассказывают о событиях до 1962 го-

да. Записи об Ахматовой Л. К. вела вплоть до смерти Анны Андреевны, то есть до 1966 года. Они и вошли в третий том, о котором Лидия Корнеевна вам сказала. Но некоторые примечания оказались недописанными. Осталась «копилка» Л. К., папка, по которой мы и восполнили недостающие куски, обозначив: «Примеч. ред.». Рукопись уже передана в «Неву» и появится в восьмой — десятой книжках журнала.

— Когда в журнале были напечатаны первые две книги, не последовало ли от знатоков каких-нибудь замечаний?

— Я не знаю. Дело в том, что после публикации книги во Франции ее прочитали многие специалисты и все, кто хотел или мог что-то сказать по существу, уже позвонили и написали. И Л. К. это учитывала. Она постоянно возвращалась к «Запискам...», дополняя их новыми примечаниями, ведь в последние годы шел огромный поток публикаций, связанных с событиями, описываемыми в книге. Скажем, дело Гумилева, дело Мандельштама, дело Бродского... В «Неве» была уже третья публикация этой вещи. Потом в 1989 году первый том «Записок...» вышел в издательстве «Книга». А сейчас он уже снова дополнен.

— Отношения с Ахматовой как-то повлияли на ее восприятие Гумилева?

— Думаю, отношения с Ахматовой тут ни при чем. Просто стихи Гумилева Л. К. любила меньше, чем стихи Блока или Ахматовой. А самого Гумилева она хорошо знала и даже вспоминала, как он приходил к ним домой (Гумилев жил по соседству, на Манежной) за детской ванночкой. Младшая дочь Корнея Ивановича и дочь Гумилева Леночка были одних лет.

А к Ахматовой у Лидии Корнеевны действительно отношение было особенное. Она участвовала в составлении многих ее книг: помогала готовить сборник стихотворений в Ташкенте, книжку 1958 года и последнюю — «Бег времени». Ахматовские тексты она знала наизусть все, могла цитировать их с любого места.

— Десять лет, с 1942 по 1952 год, как пишет сама Лидия Корнеевна, они с Ахматовой находились как бы в состоянии ссоры, хотя

самой ссоры не было. Что же тогда произошло? Почему Ахматова отвернулась от Чуковской? Оговор? Недоразумение?

— Все прояснится, когда будет напечатана та небольшая часть ташкентского дневника, которую Л. К. не включила в свои «Записки...».

— **Это будет тоже в третьем томе?**

— Куда этот кусок войдет, пока непонятно. Лидия Корнеевна сама колебалась, действительно думала сделать его приложением к третьему тому. Но мне кажется, прикладывать сороковые годы к шестьдесят шестому — огромная путаница для читателя, и без того перегруженного многочисленными примечаниями. Кроме того, «Записки...» — проза, созданная на основе дневника, а оставшийся ненапечатанным кусок — необработанные автором дневниковые записи. И это уже разные жанры. Не уверена, что они хорошо сойдутся под обложкой одной книги.

— **Сегодня мы уже знаем, что дом Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине не только остался жить, но и приобрел после реставрации весьма привлекательный вид. И вновь там открыт музей Чуковского. Я знаю, что для Лидии Корнеевны это было очень важно. Вам она не оставила никакого духовного завещания?**

— Целые две тетради под названием «Завещание Люше». Одна тетрадь полностью посвящена переделкинскому дому. Она им бесконечно занималась, это ее детище, ее замысел. Лидия Корнеевна была очень предана отцу, в ее жизни он занимал большое место.

— **Насколько мне известно, именно Корней Иванович приучил дочь к ведению дневника, который и стал впоследствии основой для многих ее произведений.**

— В последние дни болезни Л. К. нам позвонила одна французская студентка, которая собиралась писать дипломную работу о дневниках Корнея Ивановича. Ее интересовало, как Чуковский учил своих детей писать дневник. У меня этот вопрос прежде не возникал, но я успела задать его Лидии Корнеевне.

Она рассказала, что в 13 лет отец подарил ей толстую тетрадь, чтобы вести дневник, и сказал: «Не записывай чувства, записывай, что произошло на твоих глазах. Не рассчитывай на кого-то, кто будет читать, а пиши для себя». Затем периодически дарил такие же тетради. И они действительно стали для нее большим подспорьем в работе.

— **Записки об Ахматовой из того же дневника?**

— Отчасти, но об Ахматовой она вела и отдельный дневник.

— **А как вы считаете, Анна Андреевна об этом знала?**

— Не знала, но, думаю, догадывалась.

— **Дневник Лидия Корнеевна вела до последнего дня?**

— До последнего дня она читала стихи. Слушала радио. А дневник писала до тех пор, пока окончательно не слегла.

— **Она смирилась с мыслью, что ее записи будут опубликованы, или, может быть, распорядилась как-то иначе?**

— У нее, насколько я понимаю, не было окончательного решения на этот счет. Предоставила решать мне. Но поскольку какие-то страницы она, как и Корней Иванович, вырезала и уничтожила, то, следовательно, возможность публикации не исключала.

— **В своих «Записках...» Лидия Корнеевна часто фиксирует, как непрактична и даже беспомощна в обыденной жизни Ахматова, как не умела хозяйничать. Это предполагает, что сама Л. К. была другой?**

— Нет, конечно. Ну, если только на фоне Ахматовой... Но Л. К. была все-таки на 18 лет моложе. В ленинградские годы она ходила по магазинам, кипятила чай, мыла посуду... В 60-е — уже нет. У нее было очень плохое зрение, хронические заболевания. А кроме того, все свои силы она отдавала литературному труду.

— А что было во второй тетради «Завещания Люше»?

— Главным образом Лидия Корнеевна говорила о своих незаконченных книгах. И еще написала так: «Не старайся ничего проталкивать в печать». Считала: что могла, то издала. И я — что могу, издам. Но издатели пока в дом не ломятся.

— А не может ли у вас, как и у наследников других писателей, возникнуть желание закрыть какую-то часть архива, скажем, этак лет на пятьдесят?

— Не знаю. Надо еще почитать и решить.

— Судя по публицистике, кроме литературы, ее также весьма волновала политика. Учитывая предыдущие «Открытые письма», наделавшие столько шума, думаю, в наши дни нашлось бы немало желающих привлечь ее к подписанию какого-нибудь из многочисленных открытых писем, щедро пишущихся и обильно появляющихся в печати?

— Ну, собственное мнение у нее было всегда. И ее невозможно было ни во что втянуть. Она сама все решала.

После смерти Л. К. ее английская переводчица привезла из Лондона вырезки многочисленных некрологов, напечатанных за границей. Знаете, я даже расстроилась. Там ее представили этаким литературным борцом, интересующимся только политикой. Как это неверно применительно к Лидии Корнеевне! В ее цельном мироощущении ее интересовали вопросы добра и зла, справедливости и несправедливости, волновали судьбы окружающих людей, судьба культуры и языка. Именно в связи с этим она и сталкивалась с политикой. Но политическим деятелем она не была, не продумывала никаких ходов, не обладала государственным стратегическим мышлением и каждый раз бралась защищать конкретного человека, его судьбу. Очень любила и уважала Андрея Дмитриевича Сахарова, но это тоже имело отношение не к политике, а к ее представлениям о справедливости. Наоборот, когда Сахаров стал депутатом, они уже значительно реже виделись. Когда же началась перестройка и стало возможно и подписывать, и выступать, она это делать решительно перестала.

— Над чем, кроме «Записок об Ахматовой», Лидия Корнеевна работала в последнее время?

— Писала книгу под названием «Прочерк» о расстрелянном муже, моем отчиме... «Прочерк» — потому, что когда Л. К. выдали справку о смерти мужа, в графе «дата смерти» стоял прочерк. В 90-е годы родственникам репрессированных был открыт доступ к архивам КГБ. Нам тоже выдали почитать его «дело». И стало ясно, что расстрелян он был ровно через десять минут после вынесения приговора.

Июнь 1996

«ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ» ВПЕРВЫЕ ВЫХОДЯТ ПОЛНОСТЬЮ*



Первые два тома «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской стали первыми акциями издательства «Согласие» в новом году и вызвали брожение среди читающей публики... Накануне 90-летия Лидии Чуковской мы попросили рассказать об издании одну из участников проекта — дочь автора книги ЕЛЕНУ ЧУКОВСКУЮ.

— Постепенно я осознала, что эта книжка шла к сегодняшнему дню почти 60 лет — от первых записей Лидии Чуковской об Ахматовой в начале их знакомства в 1938 году — через 60-е годы, тогда Лидия Корнеевна дала перепечатать некоторые страницы своего дневника и подарила эту рукопись Корнею Ивановичу, который в это время писал статьи об Ахматовой: было сделано несколько машинописных экземпляров «Записок». Дальше сложилось так, что эти записи стали ходить по рукам и появляться в печати без имени автора. Это было в начале 70-х годов, когда на имя Чуковской был уже наложен запрет. И тогда она решила, чтобы отстоять свое авторство, издать книгу за рубежом. Первое издание первого тома «Записок об Анне Ахматовой» вышло в издательстве «ИМКА-Пресс» в 1976 году.

Однако это было только началом трудного пути этой книги, потому что первый том тогда еще был другим. В процессе многодесятилетней работы складывался новый раздел, который назывался «За сценой» (Люди, книги, факты, документы), и над которым Лидия Корнеевна работала до последних дней. Все, что было в литературе об Ахматовой (особенно много всего стало появляться в 80-е годы), все это, буквально день за днем, вклю-

* Из интервью Александру Щуплову // Книжное обозрение. 1997. 25 марта. № 12.

чалось в отдел «За сценой». Надо сказать, что сами «Записки...» не претерпевали никаких изменений: все, что было в записях, то и осталось. Отдел же «За сценой» постоянно расширялся и менялся. Однако новизна книги, вышедшей в «Согласии», совсем не в том, что в ней расширены или как-то изменены по сравнению с предыдущими изданиями комментарии. Эта новизна идет по нескольким направлениям: впервые «Записки...» выходят полностью — все три тома одновременно. Причем третий том впервые будет выходить отдельной книгой после журнальной публикации. Затем, в первом томе впервые помещаются — это примерно треть тома — «Ташкентские тетради». Этот отдел не только впервые печатается в этой книге, но вообще впервые появляется на свет в печатном виде. «Ташкентские тетради» хранились в архиве автора, с ними никто не знакомился, они даже не были перепечатаны на машинке и сейчас впервые выходят к читателю.

«Ташкентские тетради» были подготовлены к изданию мною совместно с многолетней помощницей Лидии Корнеевны — Жозефиной Оскаровна Хавкиной и Евгением Борисовичем Ефимовым*, который собрал для комментариев много интересных и редких данных. Таким образом, треть первого тома является совершенно новой. И наконец, последняя новизна в этом издании, которую мне хочется отметить, это то, что в книгу входят фактически все автографы Ахматовой, сохранившиеся в архиве Лидии Корнеевны. В первом томе факсимильно воспроизведен один из первых вариантов «Поэмы без героя» 1942 года, в последующих томах будут и автографы «Черепков», и потаенные строфы той же «Поэмы без героя» в ее последующей редакции, и стихотворения и надписи Анны Андреевны. Все это публикуется впервые. Таким образом, я надеюсь, что издание, выпускаемое «Согласием», в своем завершенном виде впервые полностью представит многолетний труд Лидии Корнеевны.

Март 1997

* *Ж.О.Хавкина (Фина)* — многолетняя помощница Лидии Чуковской. *Е.Б.Ефимов* — редактор книг Л. Чуковской, издававшихся в годы перестройки в издательстве «Московский рабочий».

«ТАК БЫВАЕТ В ЖИЗНИ...»*



охранились шесть «Ташкентских тетрадей» Лидии Чуковской за 1941–42 годы. Большая часть записей в этих тетрадях касается Анны Ахматовой, но есть и другие — стихи этого времени, написанные самой Л. К., случайные разговоры, услышанные на улице, домашние события. Одна из этих шести тетрадей подарена Анной Андреевной.

Первое время после разрыва с Ахматовой Л. К. возвращалась мысленно к его причинам.

Вот некоторые записи 1943 года:

«Целый день думаю, думаю об Анне Андреевне. Ищу свою ошибку, свою неправоту. Мне легче было бы быть неправой, чем видеть ее — недоброй, несправедливой, ошибающейся, непонимающей...».

«И у меня вдруг страшно сжалось сердце. За что они все предали и оскорбили меня. И А. А. — такая умница. Неужели она не видит, что во мне нет ничего кроме нежности к ней?»

«Глупый разговор об А. А. (с Н. С. Родичевой. — *Е. Ч.*)

— Я всегда чувствую себя с ней напряженно, нелегко.

— Это вполне естественно. Чувствовали бы вы себя легко и свободно с Лермонтовым, например?

— Что вы, что вы, Л. К.?.. Вы преувеличиваете.

Как безнадежно близоруки люди».

«...Гениальность стихов затмевает все». (Записано, когда Л. К. получила ташкентскую книжку Ахматовой в издательстве. — *Е. Ч.*)

* Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М.: Согласие, 1997. С. 516–521.

В 1965–68 годах Л. К. перечла свои ахматовские и общие дневники. Позже она много раз к ним возвращалась, работая над «Записками об Анне Ахматовой».

Судя по ее дневнику, она прочла «Ташкентские тетради» несколько раз. Но не успела приготовить их для печати. Сомневалась, колебалась, откладывала. Лучшее всего передают ее отношение к этим страницам ее собственные строки в дневнике, написанные в разные годы, на протяжении более четверти века:

«Я кинулась в холодную воду — читаю свои Дневники 1942 года. Свой мученический Ташкент. Боль — но уже не кровавая». (12 января 1968)

«Продолжаю читать свой Ташкентский Дневник. Еще не вижу, в каком размере надо это давать, в прежней ли форме, и в каком виде коснуться, и коснуться ли ссоры и дурных, некрасивых черт жизни АА». (13 января 1968)

«Перечла помаленьку Ташкентский Дневник. Как быть — еще не знаю, но бездна интереснейшего». (15 января 1968)

«Какая жизнь кидается на меня из них, когда я перечитываю эти старые, грязные, шершавые, сшитые тетради! Я все забыла — и вдруг сразу все мне навстречу». (9 апреля 1968)

«Перечитываю Ташкентский Дневник. Тяжело. Но очень манит писать». (21 сентября 73)

«...Кое-как конспектировала свои 40-е годы. Это нужно для предисловия ко второму тому. Но как же писать... как...» (11 июня 1979)

«Работали с Финой — конспектировали “красную тетрадь” 1941 года, оказавшуюся необычайно важной, важнее, чем я думала и помнила... — главное — Ташкент 1941 года, АА и “Поэма”, АА и мои стихи, “это ён на ону пошел или ёна на яво” — как я могла забыть это?.. Там и многие стихи мои, и слова о них АА, и ее поправки, и когда какие строфы возникали в “Поэме”. Но *когда* я напишу всё это? (Многое вспоминается важное не записанное, когда читаешь эти записи, и очень точно.)» (8 июля 1979)

«Вспоминать Ташкент мне вредно. Город предательств... После Ташкента я десять лет не видела АА; потом подружилась с нею снова и дружила до гроба, но не забывала о ее Ташкентских

поступках никогда. Простить можно, но *забыть* (то есть видеть человека прежним, до проступка) нельзя никак». (15 декабря 1979)

«... Читала ташкентский свой дневник. Пока совершенно не знаю, что мне с ним делать. Люша говорит: продолжить им первый том. Нет. По логике так, а по музыке нет. Ввести после конца третьего тома? Нет, после смерти АА уже ничего нельзя. Надо бы сделать отдельную книгу “Из ташкентских тетрадей” или “В зазеркалье”. Но дело в том, что я не в силах окунуться в Ташкентские ужасы — самый ужасный период моей жизни после 1937-го — измены, предательство, воровство... некрасивое, неблагородное поведение АА, нищета, торговля и покупка на рынке, страшные детские дома, недоедание, мой тиф... » (20 февраля 1982)

«Ах, придется мне, придется писать Ташкентский период, а я хотела обойтись без». (12 сентября 1985)

«... Совершенно не дают работать. А в ночные страшные часы так много мыслей! Написать бы, например, о проезде Пуниных через Ташкент, о встрече АА с НН [Пуниным], о вокзале, сборе хлеба и пр. — что и вызвало столь знаменитое покаянное письмо НН к АА... Но и думать нечего». (29 января 1990)

«Нет, надо, надо мне расшифровать свой Ташкент, умирать еще нельзя». (18 мая 1991)

«Фина привезла домой тетрадь 1967 года (об А. А. после смерти) и 1942–43. Ташкент. Как я боюсь их!» (2 сентября 1992)

«Да, еще — необходимо прочесть мою Ташкентскую тетрадь, ведь о 1942 году в Ташкенте никто ничего не написал. Да там и много лишнего, что надо было бы уничтожить». (1 апреля 1993)

«... Я с головой погрузилась в Ташкентские Записные книжки. Они такие страшные! Какой Двор Чудес с ними сравнится.

«Записная книжка» ташкентская ничуть не похожа на мои Ленинградские и Московские Дневники. Надо будет — если доживу — искать для них совсем новую форму. Скажем, выписки о ее литературных мнениях, может быть. Потому что там все мель-

ком, на ходу. Когда я переписывала свои Дневники — оказывалось, что я помню гораздо меньше, чем там написано; а когда читаю Записные Книжки — *помню* гораздо больше, полнее. Впрочем, впереди еще толстая тетрадь... Может быть, там полнее... Вообще, если займусь, трудно будет: обваливается на меня вся моя неумелая, жестокая и беспощадная жизнь. Я так была ошарашена Ташкентом, что читала Записные книжки даже ночью, не могла оторваться. Как там АА нуждалась во мне, как хвалила мои стихи! «Главное, чтобы вы не погибли!» Или «Что было бы со мною без вас». Если я два дня не приходила, она посылала за мной гонцов или являлась сама... Когда мне срочно надо было окончить работу — устраивала мне у себя рабочее место и никому не позволяла входить и мешать... Рассказывала о себе, об Ольге Афанасьевне, о своих романах... И всё это рухнуло — и как и что мне еще предстоит читать». (22 апреля 1993)

«Я решила заглянуть в Ташкентские записи. Боже мой! Боже мой! Сколько мучений, трудовых, сколько болезней, какая нищета, какая бездомность! Сколько предательств! Стыдно, конечно, жалеть себя, но каюсь: жалею». (28 апреля 1993)

«Вожусь — недостаточно с Ташкентскими тетрадями... оставить эти тетради без себя в таком виде нельзя». (7 мая 1993)

«Читала свои Ташкентские записки. АА выглядит там так постыдно, что многое вырезаваю... Так оставить нельзя. Я думаю, что если бы я перечла эти строки в 52-м — я не вернулась бы к ней». (9 мая 1993)

«Наступает на пятки 3-й том... И Ташкент. (Хочу дать его в обрывках)». (12 января 1994)

Это последняя запись в дневниках Л. К. о ташкентских тетрадях. Она успела уничтожить некоторые слова, строки, страницы, но не успела приготовить свои записи для печати. Ей явно не хотелось писать об этом времени.

В дневнике Л. К. сохранилось и одно суждение Ахматовой об их ссоре, записанное в 1943 году, по свежим следам:

«Волькенштейн мне сказал:

— У меня был о вас разговор с А. А. Я ей говорю: “Почему это вы не встречаетесь с Л. К.? Она так любит вас. И вы так дружили с ней. И она такая славная и пр.”. А. А.: “Так бывает в жизни...”

Бывает — но должно ли быть?»

К сказанному остается только добавить, что в отличие от всех трех томов «Записок...», подготовленных к печати автором, «Ташкентские тетради» представляют собой необработанный, беглый дневник для себя, не предназначенный для печати.

Многую были отобраны для публикации лишь записи, касающиеся Ахматовой, расшифрованы многие имена и фамилии, записанные сокращенно. Л. К. писала обычно лишь первую букву фамилии, а Ахматову называла — NN. В разгадывании имен помогли позднейшие заметки Л. К. на полях или вставки развернутого имени карандашом.

Помогли и некоторые подготовительные материалы, которые накопились за годы работы над «Записками...». В частности, в 1982 году Л. К. продиктовала своей помощнице Ж. Хавкиной и мне вопросы, которые она хотела бы затронуть в будущих пояснениях к «Ташкентским тетрадям». Краткие подстрочные примечания к «Ташкентским тетрадям» составлены на основе всех этих материалов Ж. О. Хавкиной, Е. Б. Ефимовым и мною.

Как видно по записям, сделанным почти сразу после ссоры, обида не помешала Лидии Чуковской восхищаться гениальностью ахматовской поэзии, сравнивать ее с Лермонтовым. Видно также, что с годами эта обида притупилась и подробности ташкентских неурядиц всплыли в памяти Л. К. лишь в конце шестидесятих годов, уже после смерти Ахматовой, когда Лидия Корнеевна начала перечитывать свои дневники.

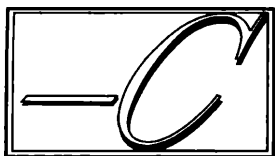
Как видно из второго и третьего тома этих «Записок...», дружба, драматично прерванная в Ташкенте, возобновилась в 1952-м году и продолжалась до самой смерти Ахматовой.

«Так бывает в жизни».

Июнь 1996

БЕЗУСЛОВНЫЕ ИМЕНА*

Вчера Лидии Корнеевне Чуковской исполнилось бы 90 лет



ейчас советская культура, да и вся общественная жизнь советской поры, воспринимается все больше как объект рефлексии или пародии. Скажем, сталинские здания или сталинская литература — это странно, почти смешно. И очень немного есть безусловных имен, фигур, текстов, которые остались. И среди них — сама Лидия Чуковская и ее книга «Записки об Анне Ахматовой».

— Лидия Корнеевна относилась к этой книге как к делу жизни, в особенности в последние годы: и из-за объема книги, и из-за значимости ее героини, и из-за того, что в книге, кроме Ахматовой, ее мнения о литературе, рассказов о биографии, отношения к писателям, присутствует и все то время, в которое происходят эти разговоры. Дневники Лидии Корнеевны интересны ведь не только в связи с Ахматовой — уже опубликованы ее записи о Пастернаке, о последних днях Цветаевой, и я надеюсь, что со временем будут опубликованы и другие эпизоды. Но, конечно, книга — это не дневник, книга — это уже постройка, это уже отдельное художественное произведение.

— Сейчас впервые вышло издание, где есть ташкентские дневники.

— Было подготовлено три тома с обширными комментариями. А Ташкент представлял собой несколько тетрадок, не отпечатанных на машинке, но Л. К. не хотела обращаться к этому

* Из интервью Михаилу Новикову // Коммерсантъ-Daily. 1997. 25 марта.

сюжету, его постоянно перечитывала и опять думала, что делать, как с этим быть, куда это помещать. Она все время колебалась: надо печатать, потому что это время освещено недостаточно, и там много литературных взглядов, или не надо печатать. И ведь ташкентская часть и стилистически выпадает: «Записки...» написаны на основании дневников, а это и есть те самые рабочие записи, по которым книга писалась. То есть другой тип литературы.

— Может быть, во времена тоталитарные и во времена либеральные взгляд на эти вещи разный?

— Записки эти Лидия Корнеевна подготовила впервые для Корнея Ивановича, потому что он в 1965 году писал об Ахматовой. Ее не останавливало, напечатают или не напечатают, этого вопроса не было никогда. Она не хотела писать о ташкентском периоде не потому, что книга создавалась во времена тоталитарного общества, а сейчас у нас либеральное. Это не мои слова, но вот, замечено, в общем, правильно: Лидия Корнеевна в своих книгах никогда не умнела, то есть не происходило то, что человек чего-то не понимал, а потом, с изменением эпохи, с открытием документов что-то понял. Нет. Вероятно, она не хотела менять тот облик Ахматовой, который она же в этих записках создала. Ей не хотелось вспоминать свои обиды. Бывают какие-то страницы в жизни, к которым не хочется возвращаться. А строй здесь абсолютно ни при чем.

— Лидия Корнеевна видела все, можно сказать, эпохи и периоды XX века. Как она относилась к изменившейся ситуации?

— Очень сложно и неодобрительно. Лидия Корнеевна говорила, что помнит нэп, и это было очень плохо. И много раз она говорила: я не хочу жить при капитализме. Нет, ей не нравилось это. Я думаю, что в нашей прессе, когда стали писать о Лидии Корнеевне, укоренился такой не очень симпатичный мне стереотип, что это старая, слепая, больная женщина, но мужественная. И вот она выступала в защиту Сахарова, и она знакома с Солженицыным. Это все, конечно, хорошо и отчасти правильно, потому что она действительно была старая, слепая и мужественная, но для писателя это совершенно не существен-

но. Конечно, то, что он пишет — это часть его личности, но все-таки для оценки труда писателя нужно исходить из его книг. И все-таки главное для писателя — это его язык. То, *как* он пишет. Дело не только в том, о чем пишет писатель. Как бы это ни было мужественно, к месту, спрятано в столе... Мне кажется, важно, как Лидия Корнеевна пишет. Она всегда пишет на основе пережитого, на основе запомненного, поэтому очень достоверно, очень естественно и хорошим языком.

Март 1997

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПУТЬ ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ*

Лидия Корнеевна Чуковская родилась в Петербурге 24 марта 1907 года.

Ее отец, Корней Чуковский — критик, историк литературы, детский писатель оказал большое влияние на ее интерес к литературе и склад ее личности. Детство Лидии Чуковской прошло в Финляндии, в дачной местности Куоккала, после Февральской революции семья переехала в Петербург. С 1928 года она начала работать редактором в Ленинградском отделении Детиздата, главою которого был в то время С. Я. Маршак — переводчик, редактор, поэт.

С тех пор Лидия Чуковская работала в литературе всю жизнь, работала в разных жанрах — была редактором, выступала с критическими статьями, издавала дневники Миклухо-Маклая. Ее перу принадлежат книги: «В лаборатории редактора», «“Былое и думы” Герцена», «Декабристы — исследователи Сибири».

Одновременно с этой работой для советских издательств она всегда писала в стол, без надежды и без расчета на печатание. Случилось так, что именно эти ее вещи, камерные и потаенные, со временем проложили дорогу к читателю.

В 1937 году был арестован муж Лидии Чуковской — М. П. Бронштейн, астрофизик, подававший большие надежды, а вскоре и почти все члены редакции Маршака. Лидия Чуковская была уволена с работы и случайно избежала ареста (за ней приходили, когда она уехала хлопотать о муже в Москву).

Зимой 1939–40 гг. по свежим следам событий под впечатлением массовых арестов Чуковская написала повесть «Софья Петровна». Позже она охарактеризовала эту вещь, как повесть об обществе, поврежденном в уме. Героиня повести — отнюдь не лирическая героиня. Это — обобщенный образ тех, кто всерьез верил в разумность и справедливость происходящего. Софья

* Елена Чуковская. От составителя // Лидия Чуковская. Соч.: В 2 т. Гудьял-Пресс, 2000. Т. 1. С. 5–9.

Петровна, приученная верить газетам и официальным лицам более, чем самой себе, делает попытку верить одновременно и прокурору, утверждающему, что сын ее сознался в преступлениях, и своему единственному сыну — молодому талантливому инженеру, преданному партии, родному заводу и лично товарищу Сталину. Внезапный арест сына, тюремные очереди, арест и гибель его друзей — всё это оглушает Софью Петровну, но не приводит к осмыслению и пониманию происходящего.

Рукопись повести чудом уцелела в блокадном Ленинграде. Ее сохранил друг Лидии Чуковской — И. М. Гликин. Незадолго до смерти он, уже обессиливший от голода, протасился через весь город, чтобы оставить тетрадь в надежном месте.

После XXII съезда партии, который усилил меры борьбы с культом личности Сталина, начатые XX съездом, в сентябре 1962 года повесть была предложена сперва журналу «Новый мир» (Твардовский повесть отклонил), а затем московскому издательству «Советский писатель». Книга была подготовлена к изданию. Однако, после выступлений Н. С. Хрущева против художников-абстракционистов и его встреч с интеллигенцией — издание книги было остановлено. Но путь рукописи к читателю остановить уже не удалось. Повесть была подхвачена Самиздатом и опубликована по-русски — через четверть века после написания — в «Новом журнале» (1966, № 83, 84, США) и в парижском издательстве «Пять континентов» под другим названием («Опустелый дом», 1965) и с переменной имен некоторых героев. После этого книга выходила в переводах на многие языки — английский, немецкий, французский, шведский, норвежский и др.

Возвращаясь к истории написания своей книги и к ее месту в ряду других произведений о страшных годах коммунистического террора в стране, Чуковская в одной из своих статей высказала надежду, что ее повесть будет «во имя грядущего помогать уяснению причин и следствий пережитой народом трагедии».

«При всех мыслимых достоинствах будущих повестей и рассказов, — продолжала Лидия Чуковская, — написаны они окажутся уже в иную эпоху, отделённую от 1937 года десятилетиями. Моя же повесть писалась по свежему следу только что происшедших событий. В этом ее отличие от произведений, которые

будут посвящены 1937–1938 годам когда бы то ни было. В этом я вижу ее право на внимание читателей»*.

Лидия Корнеевна дожила до издания своей повести в России в 1988 году — через пятьдесят (!) лет после написания.

До настоящего времени «Софья Петровна» так и осталась единственной уцелевшей книгой о том, что творилось «на воле» «в мрачные годы ежовщины», написанной по горячему следу. Больше не появилось ни повестей, ни романов, написанных *тогда, в конце тридцатых годов* с той же беспощадной простотой и глубиной понимания действительности. Это честное и убедительное свидетельство не может оставить равнодушным никого из своих читателей.

Вторая повесть «Спуск под воду» также писалась не для печати. В ней рассказано о кампании «борьбы с космополитизмом» в конце сороковых годов (то есть об организованной властью вспышке антисемитизма), о «повторниках», об удушающей общественной атмосфере в стране незадолго до смерти Сталина. Эта повесть, написанная в стол в 1949–57 годах, также была напечатана сперва за границей в 1972 году, а на родине автора — через тридцать два года после написания, — в 1989-м.

Воспоминания об отце «Памяти детства» писались именно для печати, с оглядкой на цензуру, и предназначались для публикации в сборнике «Жизнь и творчество Корнея Чуковского», подготовляемого в 1970-е годы издательством «Детская литература». Однако сборник вышел без этих воспоминаний. Повесть о детстве, написанная для детского издательства, не была напечатана из-за того, что к этому моменту Лидия Корнеевна была исключена из Союза писателей, и ее имя находилось под запретом. Между тем воспоминания дочери о куоккальском, дореволюционном, мало освещенном периоде жизни Корнея Чуковского, о том, как он воспитывал своих детей, как он читал им стихи, как писал свои критические статьи, как выступал с лекциями несомненно представляют интерес.

Другие воспоминания — очерк о Марине Цветаевой «Предсмертие» — были написаны после того, как в руки Лидии Чуковской попала последняя записка Марины Цветаевой — просьба принять ее на работу в качестве судомойки в столовую Литфонда. Записка написана во время войны, в эвакуации, в Чистопо-

* Лидия Чуковская. Софья Петровна. М.: Время, 2012. С. 343.

ле, в августе 1941 года. В это время Лидия Чуковская тоже была в Чистополе и за несколько дней до самоубийства Цветаевой познакомилась с ней. Об этом недолгом знакомстве и написан очерк.

Очерк «Памяти Фриды» — воспоминания о близком друге, журналистке, писательнице Фриде Абрамовне Вигдоровой, с которой Лидия Корнеевна познакомилась еще в Ташкенте, во время войны, но особенно сблизилась в начале 60-х годов во время процесса Иосифа Бродского и последней болезни Ф. Вигдоровой. Воспоминания при жизни автора так и не были напечатаны, опубликованы посмертно в ленинградском журнале «Звезда» в 1997 году.

Произведения другого жанра — публицистика, написанная уже не в стол, но для Самиздата. Таков очерк литературных нравов «Процесс исключения» и «Открытые письма», которые Лидия Корнеевна писала с середины 60-х годов. Это — известное письмо Михаилу Шолохову — в защиту Синявского и Даниэля, «Не казнь, но мысль. Но слово», «Гнев народа» — в защиту Сахарова и Солженицына, «Прорыв немоты» — один из первых публичных откликов в России на солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ».

Недаром Лидия Корнеевна постоянно читала, изучала Герцена, писала о нем. Недаром, надписывая ей свой перевод «Фауста», Борис Пастернак назвал ее «представительницей декабристов и Герцена в нашем веке». Влияние герценовской публицистики отчетливо ощущается в ее творчестве.

Лидия Чуковская всю жизнь постоянно и почти ежедневно вела дневник. Дневник этот очень обширен, сохранились ее записи за полвека. Страницы, связанные с ее недолгой работой в качестве заведующей отделом поэзии в симоновском «Новом мире» зимой 1946/47 года были в свое время изданы как отдельный очерк. Дневниковые записи о Борисе Пастернаке Лидия Корнеевна успела сама подготовить к печати и опубликовать в сборнике «Воспоминания о Борисе Пастернаке» (М., 1993), записи об Иосифе Бродском посмертно напечатаны в журнале «Знамя» (1999). Свой первый стихотворный сборник Лидия Чуковская назвала «Отрывки из дневника». Большинство этих стихов действительно писалось на страницах дневника. Это — лирический дневник автора на протяжении многих десятилетий.

Письма Лидии Чуковской и адресованные ей читательские отклики на ее рукописи и книги позволяют почувствовать, как воспринимали первые читатели, современники ее книги и дают новые штрихи к ее биографии.

2000

ПАМЯТИ ТАМАРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГАББЕ*



вою книгу «В лаборатории редактора» (1960) Лидия Чуковская посвятила «Замечательному редактору, редактору-художнику Тамаре Григорьевне Габбе».

Они познакомились в студенческие годы в ленинградском Институте истории искусств. В конце 20-х годов вместе работали редакторами в детском отделе Госиздата, которым руководил С. Я. Маршак. В 1937 году редакция ленинградского Детиздата была разгромлена и прекратила свое существование. Часть сотрудников была уволена (в том числе и Л. Чуковская), другие арестованы. Арестовали и Т. Г. Габбе. В 1938-м Т. Г. Габбе освободили. После войны и Лидия Корнеевна, и Тамара Григорьевна жили в Москве. Их дружба продолжалась от студенческих лет до последнего дня жизни Тамары Григорьевны.

После ее смерти Лидия Корнеевна почти сразу начала выбирать из своих многолетних дневников все, что касалось Тамары Григорьевны, стремясь сохранить ее портрет в слове. Эти свои «Записи» она показала нескольким общим друзьям и, разумеется, прежде всего С. Я. Маршаку, которого считала своим учителем. Он сказал:

— Это и есть ваш жанр, — вспоминала Лидия Корнеевна.

Его одобрение подвигло ее на продолжение работы в этом же жанре. Так появились через несколько лет ее «Записки об Анне Ахматовой», а позже «Отрывки из дневника» о Борисе Пастернаке. Теперь, когда все это уже опубликовано, «Отрывки из дневника» о Т. Г. Габбе занимают особое место — это первые шаги Лидии Чуковской в мемуаристике, первая работа в новом жанре.

* Знамя. 2001. № 5. С. 128–130.

Имя Тамары Григорьевны постоянно встречается и в более поздней книге Лидии Чуковской — в ее «Записках об Анне Ахматовой». Там же, в отделе «За сценой», Лидия Корнеевна дает краткую справку о ее литературном пути:

«*Тамара Григорьевна Габбе* (1903—1960), драматург и фольклористка. Наибольшую известность приобрели ее детские пьесы, выходявшие отдельными книжками; их не раз и с большим успехом ставили в московских и других театрах страны: “Город мастеров, или Сказка о двух горбунах”, “Хрустальный башмачок”, “Авдотья Рязаночка”.

Из ее фольклористских трудов самый значительный — книга “Быль и небыль. Русские народные сказки, легенды, притчи”. Книга вышла посмертно в 1966 году в Новосибирске, с двумя послесловиями — С. Маршака и В. Смирновой; до нее, но тоже посмертно вышел сборник “По дорогам сказки” (в соавторстве с А. Любарской. М., 1962). При жизни Тамары Григорьевны не раз издавались в ее переводах и пересказах французские народные сказки, сказки Перро, сказки Андерсена, братьев Гримм и др.

Всю жизнь, уже и после ухода из Государственного издательства, она оставалась редактором — наставником писателей. В литературе, к сожалению, не проявился ее главный талант: она была одним из самых тонких знатоков русской поэзии, какого мне случилось встретить за всю мою жизнь» (*Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М.: Согласие, 1997. С. 315*).

Современники высоко оценивали литературные и человеческие таланты Тамары Григорьевны. Вскоре после ее похорон 5 мая 1960 года Корней Чуковский писал С. Маршаку:

«Дорогой Самуил Яковлевич.

Мне чуточку полегчало, и я спешу написать хоть несколько слов. Из-за своей глупой застенчивости я никогда не мог сказать Тамаре Григорьевне во весь голос, как я, старая литературная крыса, повидавшая сотни талантов, полуталантов, знаменитостей всякого рода, восхищаюсь красотой ее личности, ее безошибочным вкусом, ее дарованием, ее юмором, ее эрудицией и — превыше всего — ее героическим благородством, ее гениальным умением любить. И сколько патентованных знаменитостей сразу же гаснут в моей памяти, отступают в задние ряды, едва только я вспомню ее образ — трагический образ Неудач-

ности, которая наперекор всему была счастлива именно своим умением любить жизнь, литературу, друзей».

На это письмо С. Маршак ответил:

«Мой дорогой Корней Иванович. Спасибо за доброе письмо, в котором я слышу то лучшее, что есть в Вашем голосе и сердце.

Все, что написано Тамарой Григорьевной (а она написала замечательные вещи), должно быть дополнено страницами, посвященными ей самой, ее личности, такой законченной и особенной.

Она прошла жизнь легкой поступью, сохраняя изящество до самых последних минут сознания. В ней не было и тени ханжества. Она была человеком светским и свободным, снисходительным к слабостям других, а сама подчинялась какому-то строгому и непреложному внутреннему уставу. А сколько терпения, стойкости, мужества в ней было, — это по-настоящему знают только те, кто был с ней в ее последние недели и дни. И, конечно, Вы правы: главным ее талантом, превосходящим все другие человеческие таланты, была любовь. Любовь добрая и строгая, безо всякой примеси корысти, ревности, зависимости от другого человека. Ей было чуждо преклонение перед громким именем или высоким положением в обществе. Да и сама она никогда не искала популярности и мало думала о своих материальных делах.

Ей были по душе и по характеру стихи Мильтона (сонет “О слепоте”):

Но, может быть, не меньше служит тот
Высокой воле, кто стоит и ждет.

Она была внешне неподвижна и внутренне деятельна. Я говорю о неподвижности только в том смысле, что ей стоили больших усилий хождения по редакциям или по театрам, где шел разговор о постановке ее пьес, но зато она могла целыми днями бродить по городу или за городом в полном одиночестве, вернее — наедине со своими мыслями. Она была зоркая — многое видела и знала в природе, очень любила архитектуру. На Аэропортовской ее маленькая квартира была обставлена с несравненно большим вкусом, чем все другие квартиры, на которые было потрачено столько денег. Если Шекспир говорит о своих стихах:

И кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово, —

то в ее комнатах каждая полочка, лампа или этажерка могли назвать по имени свою хозяйку. Во всем этом была ее легкость, ее приветливость, ее вкус и женское изящество. Грустно думать, что теперь эти светлые, уютные, не загроможденные мебелью и всегда открытые для друзей и учеников комнаты достанутся кому-то постороннему. Горько сознавать, что мы, знавшие ей цену, не можем убедить жилищный кооператив и Союз писателей, что следует сохранить в неприкосновенности эти несколько метров площади, где жила и умерла замечательная писательница, друг и советчик очень многих молодых и старых писателей».

А вот какой видит Тамару Григорьевну литературный критик Вера Смирнова:

«Это был человек одаренный, с большим обаянием, с абсолютным слухом в искусстве, с разнообразными способностями в литературе: кроме пьес для театра, она писала критические статьи и лирические стихи, которые по глубине чувства и музыкальности стиха сделали бы честь большому поэту. Мужество, стойкость в убеждениях и отношениях, незаурядный ум, удивительный такт, доброта, чуткость к людям — вот качества, которыми она всегда привлекала к себе сердца. Но самым большим ее человеческим талантом бы дар полной и безоглядной самоотдачи. “Красота отдачи себя понятна всем людям. Культивирование этой красоты и есть религия”, — сказала она однажды. “Религией” всей ее жизни и была полная отдача себя людям — всем, кому она была нужна.

У нее была нелегкая жизнь: ей пришлось много пережить в годы 1937—1939; во время Великой Отечественной войны она жила в блокадном Ленинграде, потеряла там дом, близких; семь тяжелых лет она была сиделкой у постели безнадежно больной матери. Последние годы она сама была больна неизлечимой болезнью — и знала это. И при всем том она всегда словно несла с собой свет и покой, любила жизнь и все живое, полна была удивительного терпения, выдержки, твердости — и обаятельной женственности.

Тридцать лет она была первым редактором С. Я. Маршака, редактором негласным, неофициальным, другом, чей слух и глаз нужны были поэту ежедневно, без чьей “санкции” он не выпу-

скал в свет ни строчки. Я не раз была свидетельницей этой их совместной работы. Сначала — ученица Самуила Яковлевича, один из самых близких единомышленников в знаменитой “ленинградской редакции” детской литературы, в 30-х годах Тамара Григорьевна стала самым требовательным редактором самого поэта» (*Вера Смирнова*. Об этой книге и ее авторе // В кн.: *Тамара Габбе*. Быль и небыль. [1967]. С. 295–296).

2001

НЕСБЫВШИЕСЯ ПЛАНЫ*

Знакомство с «делом» М. П. Бронштейна



втобиографическая повесть Лидии Чуковской «Прочерк» напечатана посмертно. В центре повести короткая жизнь мужа Лидии Чуковской, астрофизика Матвея Петровича Бронштейна, расстрелянного в годы «ежовщины». Первоначальное название было — «Прочерк». В дневниках Лидии Корнеевны присутствует и еще одно название — «Митина книга».

В основном книга была написана в 1981—1983 годах, когда и думать нельзя было об ее печатании.

В «Прочерке» — восемнадцать глав, в которых рассказано о юности автора, о ссылке в Саратов, о работе в редакции ленинградского Детиздата, руководимой С. Маршаком, о знакомстве с М. П. Бронштейном и их жизни до ареста. Названа повесть так потому, что в свидетельстве о смерти Матвея Петровича, выданном в 1957 году, спустя девятнадцать лет после его гибели, в графе для указания «причины смерти» и «места смерти» стоял прочерк.

Работа над повестью, начавшаяся в 1980 году, длилась в течение шестнадцати лет — до самой кончины Лидии Корнеевны в феврале 1996-го. И не была завершена.

Хлынувшая в 90-е годы лавина новых фактов, обнародование секретных документов из архивов ВЧК-НКВД-КГБ — от подавления Кронштадтского восстания и расстрела Гумилева до недавних лет — всё это побуждало автора возвращаться вновь и вновь к отработанным главам, перестраивать их, переписывать, дополнять. В те же годы Лидия Корнеевна получила возможность ознакомиться со следственным делом Матвея Петровича, нашлись сокамерники, рассказавшие ей о его последних днях.

* Елена Чуковская. От публикатора. Несбывшиеся планы — в кн.: Лидия Чуковская. Прочерк. М.: Время, 2009. С. 5—7, 489—532.

Однако дополнить «Прочерк» этими новыми фактами Лидия Корнеевна уже не успела.

Опубликован тот вариант, который был полностью завершен еще до перестройки, в 1986 году.

О новых фактах и документах, которые автор намеревался включить в «Прочерк» рассказано в моем послесловии «Несбывшиеся планы».

Впервые «Прочерк» был опубликован в составе двухтомника сочинений Л. К. Чуковской в 2001 году (М.: Арт-Флекс. 2001, Т. 1).

На это издание отозвался лауреат Нобелевской премии, академик Ж. И. Алферов. В письме ко мне он писал: «Среди потерь, понесенных Институтом и нашей наукой, убийство Матвея Петровича Бронштейна является одним из самых трагических и бесконечно тяжелых. Мы потеряли не просто замечательного ученого, писателя, человека, мы потеряли для страны будущее целой научной области.

Для меня М. П. Бронштейн открыл своей книгой «Солнечное вещество» новый мир. Я прочитал ее первый раз в 1940 г., когда мне было 10 лет. Мама работала на общественных началах в библиотеке, в небольшом городке Сясьстрой Ленинградской области и хорошие книги «врагов народа», которые ей приказывали уничтожать, приносила домой. Так у нас появилось «Солнечное вещество»...»

Приведу еще один отзыв о М. П. Бронштейне, принадлежащий другому лауреату Нобелевской премии по физике академику Л. Д. Ландау. 16 августа 1956 года, поддерживая хлопоты о реабилитации М. П. Бронштейна, он писал: «В его лице советская физика потеряла одного из наиболее талантливых своих представителей, а его научно-популярные книги принадлежат к лучшим, имеющимся в мировой литературе. Я уверен, что это мнение разделяется всеми нашими физиками».

Неоценимую помощь при написании «Прочерка» и подготовке книги к печати оказывали в разные годы историк *Дмитрий Юрасов* (помогавший автору в сборе материалов), историк физики *Г. Е. Горелик* и главный редактор Ленинградского мартиролога *А. Я. Разумов*. Пользуюсь возможностью выразить им свою благодарность.

Привожу выписки из дневниковых записей Лидии Чуковской о работе над этой рукописью.

4 августа 84. «Прочерк» — самая мне дорогая книга — никому не будет нравиться. Потому что она не от искусства.

И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба*.

26 апреля 87, воскресенье. Очень важные сведения получены мною за эти дни по радио — не то по Би-Би-Си, не то по Голосу! — прочли воспоминания Заболоцкого, подробнейшие, о том, как его истязали на следствии. Я непременно, непременно должна взять их в «Прочерк» — в Приложение или в текст — не знаю. Следователя, который истязал Заболоцкого, звали Лупандин...**

30/1 вторник. [1990]. Вчера читала в «Огоньке» о судьбе Королева. Он погибал и был избиваем и сломлен точно тогда же, когда и Митя, — его взяли в сентябре, Митю в августе 37-го. Его выпустили в 39-м, когда Митю уже убили. Нет, Королева не выпустили в 39-м, а перевели на шарашку. (Как и Митю бы.) Но не в этом дело. А там подробно описаны 1) пыточные инструменты в письменных столах у следователей; 2) деятельность Ульриха. Очень потянуло сделать из этого комментарий к «Прочерку»***.

6/VIII 91. Самая соленая соль — дело Олейникова****. Донской казак, здоровый мужчина во цвете лет, сдался на 18-й день... Чем же его добились? Конвейер, стойка? Похоронен он там же, где Митя, на Левашовском кладбище. И Сережа [Безбородов] — тоже сдавшийся богатырь, мощный полярник! И он там же... И оба они — по делу Жукова, хотя не имели к Жукову ни малейшего отношения... (Как и Шура, которая тоже шла по делу Жукова*****.)

Да, интересно, что на Маршака, которого он терпеть не мог, НМО [Николай Макарович Олейников] показаний не дал. Вот под каким предлогом: «Я с Маршаком в ссоре, не встречаюсь с

* Борис Пастернак. «О, знал бы я, что так бывает...».

** Речь идет об «Истории моего заключения» Николая Заболоцкого, которая была напечатана сперва в Англии, а потом и в России. В это время Л. К. еще не знала, что тот же Лупандин был следователем и у М. П. Бронштейна.

*** См.: Ярослав Голованов. Королев без ракет // Огонек. 1990. № 2. С. 22–24.

**** Е. Лунин. Дело Олейникова // Аврора. 1991. № 7. С. 142–144.

***** Дмитрий Петрович Жуков, японист, зав. сектором истории культур и искусств Востока в Эрмитаже. Расстрелян 24 ноября 1937 года.

ним и потому ничего о нем сказать не могу». Очень благородно. Разумеется, не это спасло С. Я. [Маршака] — с какого-то дня его из детиздатского дела изъяли (по слухам, он или кто-то мощный написал о нем Молотову, а Светлана Молотова любила его стихи). Но во всяком случае НМО проявил большое благородство.

9/XI 93. Не знаю, в силах ли я буду (даже если подготовлюсь) написать «Прочерк». Ведь это моя автобиография, а надо, чтобы была Митина...

План, композиция «Прочерка» внутри меня ворочается ежедневно и еженощно. С потоком новых сведений надо найти и новую форму, не подменяя при этом сознания 30-х годов сознанием 90-х.

9 октября 94. ...ночами читаю в «Вопросах истории» историю Кронштадтского восстания, которой интересуюсь всю жизнь, из интереса к которой, собственно, попала в тюрьму и ссылку. Во весь рост видны подлость большевиков и благородство кронштадтцев (основного ядра). И еще одна сущая мелочь. Из представленных документов видно, как грамотны были тогдашние писари и канцеляристы. Все ответы восставших — все их ответы на допросах — изложены вполне грамотно!

10/X 94. Читаю исторический журнал о Кронштадте. Море крови и океан лжи. Беспристрастное признание власти, что это бунтовал не генерал Козловский, не шпионы, не с. р. [эсеры] и анархисты, а матросы, побывавшие в деревне, — бунтовали против продотрядов и пр.

25 ноября 95. Мы с Финой эти дни работали: разбирали последнюю, и самую трудную, папку: «Трагедия Ленинградского Детиздата»... И я так вспомнила эту трагедию, как никогда еще не вспоминала... И какое там внезапно нашлось изумительное по богатству мысли и художественному исполнению письмо от Ал. Ив. Пантелеева о том, что такое для прозаика звуковая сторона прозы и каковы были тиски цензуры, в которых все мы тогда корчились. Так он весь мне вспомнился — со щедростью души, с юмором, с необычайным художественным даром...

* * *

Кроме потока публикаций в газетах и журналах начала 90-х годов, непосредственно касающихся судеб поколения автора

«Прочерка», друзей ее юности, произошло еще несколько событий. Главное из них — возможность для Лидии Корнеевны ознакомиться с делом М. П. Бронштейна. Суть «Дела М. П. Бронштейна» прекрасно изложена историком физики, одним из авторов монографии о М. П. Бронштейне Геннадием Ефимовичем Гореликом*, который также ознакомился с этими документами.

Привожу его конспект прочитанного:

«Архивная папка начинается ордером на арест, выданным в Ленинграде 1 августа 1937 года. Арестовали Матвея Петровича в Киеве, в доме его родителей. В тюрьме у него изъяли путевку в Кисловодск, мыльницу, зубную пасту, шнурки... И как *“особо опасного преступника”* направили *“особым конвоем в отдельном купе вагонзакла в г. Ленинград, в распоряжение УНКВД по Ленинградской области”*».

Согласно казенным листам, на первом допросе 2 октября он не признал предъявленные ему обвинения. Он еще не знал, что уже с 1930 года состоял в контрреволюционной организации за освобождение интеллигенции, целью которой было *“свержение Советской власти и установление такого политического строя, при котором интеллигенция участвовала бы в управлении государством наравне с другими слоями населения, по примеру стран Запада”*.

Для признания потребовалось семь дней и семь ночей. Семисуточного “конвейера” — непрерывного допроса стоя — хватало, как правило, на признание любой придуманной следователем вины.

Обвинительное заключение от 24 января 1938 года приписало его к *“фашистской террористической организации, возникшей в 1930–32 г. г. по инициативе германских разведывательных органов, ставившей своей целью свержение Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры”*, которая помимо прочего вредила еще и *“в области разведки недр и водного хозяйства СССР”*.

Военная коллегия Верховного Суда заседала 18 февраля 1938 года. Заседала двадцать минут — с 8.40 до 9 часов.

* G.E. Gorelic, V.Ya. Frenkel. Matvei Petrovich Bronstein and Soviet Theoretical Physics in the Thirties. Basel-Boston-Berlin: Birkhauser Verlag, 1994.

Приговор — “расстрел, с конфискацией всего, лично ему принадлежащего, имущества” — подлежал немедленному исполнению. К делу подшита справка о приведении приговора в исполнение»*.

В дневнике Лидии Корнеевны сохранилось описание ее поездки в приемную КГБ для знакомства с «делом»:

19 июля 1990, четверг. Вячеслав Васильевич Черкинский, как обещал, позвонил ровно в 3 часа в понедельник минута в минуту: могу ли я приехать? Я отвечала: «Могу».

Назначены мы были к четырем.

С Люшей мы еще дома условились, какие вопросы станем задавать, если нам не дадут дело в руки, если Вяч. Вас. будет держать папку в руках сам, а нам позволит только задавать вопросы.

Подъехали наконец. Красивая вывеска «Приемная КГБ. Работает круглосуточно».

Я забыла написать, что Вяч. Вас. нас предупредил: никакие документы не нужны; если спросят, куда идем — назвать его фамилию.

Вахтер — молодой — спросил. Мы назвали и вошли. Помещение с низкими креслами. Сели — народу немного. И сразу нам навстречу пришел он. Мы его узнали в один миг. Когда здоровались, я протянула ему руку (машинально), Люша — нет. Военная выправка под модным, серым, с топорщимися плечами, костюмом. Костюм сшит плохо. Поступь начальника. Он повел нас какими-то коридорами — узкие, красная дорожка, частые повороты. Отворил перед нами дверь.

Крошечный кабинет. Стол — не письменный. Вокруг стола четыре стула, одно кресло. В углу круглая небольшая вешалка. Свету очень много — две большие лампы дневного света на потолке. Окно — или одна стенка? — плотно занавешены. Воздуха никакого.

Он протянул мне папку. Мы с Люшей сблизили стулья, стали читать вместе. Он сидел напротив (стол довольно узок) и не спускал глаз с нас обеих, особенно с меня. Отвечал на мои вопросы, глядя на меня, а на Люшины — на нее не глядя.

И вот передо мною — Митино дело. Картонная, исчирканная по переплету папка средней набитости.

* Геннадий Горелик. Gloria Mundi // Знание — сила. 2001. № 7.

Как описать то, что мы обе прочли?

Убийство с заранее обдуманном намерением.

Бумаги (начиная с ордера на арест и кончая актом о приведении приговора в исполнение). «Предварительной разработкой» — то есть до следствия — нет. Спрашиваю: почему? (Люша раскрыла блокнот и пишет номера листов, даты, подписи следователей.) Он: «В Ленинграде, перед войной, многое жгли. А “предварительные разработки” всегда».

Многое жгли и вообще — это плохо приведенный в порядок хаос. Бумажки об обыске в Ленинграде и аресте в Киеве подшиты с перепутанными датами. Беспорядок — то киевская бумажка, то еще ленинградская, опять киевская, потом ленинградская — при обыске, т. е. более ранняя.

Бумажки все говорят об аресте «особо опасного преступника». Из Киева в Ленинград «конвоировать в особом купе». В Киеве расписки при аресте, затем особо о принятии куда-то, потом расписка об отправке. Подписи бандитов всюду неразборчивы или без инициалов. Карпов, Лупандин, Шапиро (я знаю от Специалиста*, что Шапиро-Дайховский — расстрелян, Лупандин же дожил до 1977 года в качестве «пенсионера союзного значения» и с наградами).

Что изъято при обыске? У нас на Загородном, где все кидали и рвали, оказывается, был изъят — профсоюзный билет Иваненко (?) и еще что-то, а в Киеве — аккредитив на 1000 р. И какие-то 270 наличными. В Киеве Митя взял с собой в тюрьму из дому мыло, зубную щетку и какой-то флакон. Этот документ о вещах как и о деньгах почему-то не подписан... Затем расписка Ленинградской тюрьмы, что он в тюрьму зачислен. Затем вшит конверт, на котором надпись: «Фотографии».

Начальник: «Вот, Л. К., засуньте руку — убедитесь он пустой». Засовываю — пустой.

Затем Митиной рукою заполненная анкета: где работал и перечислены все члены семьи. (Я, жена, обозначена как домо-

* «Специалистом» Лидия Корнеевна называет Дмитрия Геннадиевича Юрасова, историка, от которого она впервые узнала о документах по «делу Бронштейна». Он же постоянно сообщал ей многие сведения о следователях тех лет и знакомил ее с печатными материалами о судьбах ее друзей, о делах тридцать седьмого года, которые тогда во множестве появлялись в печати. Подробнее о Д.Г. Юрасове см.: *Виктория Чаликова*. Архивный юноша // Нева. 1988. № 10. С. 152–162.

хозяйка — потому что уже выгнана из редакции. Митя, наверно, думал, что это для меня самое безопасное.) Написано все Митиным обыкновенным почерком. Затем подшиты три допроса на специальных бланках... (Неужели их было всего три за семь месяцев?) Первый — из подшитых — только через полтора месяца после ареста... Там Митя заявляет, что виновным себя не признает... Изложение рукою следователя — и подпись Митина.

Далее идут еще два допроса и чудовищное обвинительное заключение. С каждым допросом — и особенно в заключении — вина растет. Начинается (на основе показаний Круткова) — что-то вроде контрреволюционной пропаганды — кончается — в обвинительном заключении — уже подготовкой террористических актов против деятелей партии и правительства, и, конечно, вредительскими действиями (почему-то в водном хозяйстве), и связью с фашистской разведкой.

Затем — заседание выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда — 18 февраля 1938 года. Длится оно 20 минут. Митя признается во всех своих преступлениях, не отказывается от своих показаний и просит о снисхождении.

Последняя бумажка — очень маленькая — о приведении приговора в исполнение. Тут подпись расстрельщика неразборчива, и, когда Люша стала переписывать «акт», начальник на нее гаркнул: «Вам разрешили ознакомиться с делом, а вы его всего переписали».

Арестован был Митя на основе показаний Круткова и Козырева. В показаниях Козырева звучит подлинный Митин голос. В 1966 году Козырев где-то каялся, что оговорил многих.

Да, еще: некоторые места внизу срезаны ножницами. Все листы пронумерованы заново...

С той минуты, как человек попадает к этим изысканным и грубым палачам — его поведение непредсказуемо. Побои. Бессонницы... Что мы знаем? *Возникает своя тактика...* Думает, что если назвать Френкеля — его! такого знаменитого! — все равно не возьмут?.. Думает, что если назвать меня домохозяйкой, а не литератором, — это защита?.. Мы, с воли, *не знаем ничего*. Я знаю, что Митя до конца был благороден и чист.

Вот какие события. Вот какая встреча моя с Митей через 53 года разлуки. Я виновата кругом (не успела предупредить; не так, не там хлопотала), поделом мне и мука.

* * *

Привожу и свою запись, сделанную после визита в приемную КГБ.

17 июля 90, утро. Были на Кузнецком 16 июля с 16.00 по 19.00. Приехали за 7 минут. В приемной разные люди.

Вдруг как нож в масло с военной выправкой входит явный военный в штатском. «Славные ребята из железных ворот ГПУ», «Молодчики каленые». Пока он прошел от двери к вахтеру, у меня мелькнуло: это он, главное — не подать руки (как жандарму). Действительно, он устремился к маме, улыбка, любезность. Мать встала навстречу, пожала руку. Я сделала вид, что гляжу вбок. Он, по-моему, все понял и дальше все любезности и обращения адресовал только к Л. К., которая тоже с ним говорила приветливо.

Начал с того, что ей протянул папку «вот — знакомьтесь». Я все смотрела и писала полустоя из-за плеча. Со мною был корректен, но насторожен. На вопросы отвечал. Я возмущалась, что не могу разобрать фамилии, почему неразборчивы подписи сотрудников НКВД на документах, почему нигде нет их инициалов. Он иногда фамилии мне называл или говорил, что они дальше есть в «деле». Но пристально смотрел за всем, что я писала, поэтому я предупреждала: «Этот абзац я спишу, это важно для истории». И писала под его пристально-вежливым взглядом. Писала, в общем-то, долго. Мать в это время ему рассказывала, как шел обыск, зачем-то назвала одного из начальников НКВД — Шапиро-Дайховского (о котором уже знала от Димы Юрасова).

Когда я дошла до листа 50 — Акт об убийстве (приведение приговора в исполнение) В. В. — вдруг взъярился. До этого терпел.

— Вам нужно ознакомиться, а вы переписываете дело. — Рывкнул.

Я тут же струсила, напряжение, скорость и внимание нужны, впереди еще 40 листов. И я не глядя перевернула этот акт, белую небольшую типографскую бумажку (единственную не прочла во всем деле). За этим шла реабилитация. Тут у меня уже внимание и собранность как-то переломились. Многие документы —

письма физиков в защиту Матвея Петровича — есть в архиве Л. К. Показания Козырева о недозволенных методах следствия я побоялась списывать, т. к. одновременно читала все вслух маме (она не могла читать слепую густую машинку), а я не могла читать ей одно, а писать в это же время другое, не осилила, сегодня записала этот абзац по памяти.

(Козырев говорит, что Готлиб применял к нему недозволенные методы следствия, не давал спать, заставлял стоять сутками, избивал, и он оговорил неповинных людей.)

В конце был разговор с В. В.:

— Вы понимаете, что я буду писать отчет об этой встрече. Какие у вас вопросы.

Я сказала, что в деле нет никаких документов о судьбе следственной группы, и я бы хотела о них узнать.

Он (корректно-враждебно): Для этого надо послать новый запрос в Ленинград, это дело ленинградское. Если вы настаиваете на том, чтоб такой запрос оформить, пусть Л. К. напишет заявление.

Л. К.: У меня нет времени и сил на это, много другой работы.

Я: Вы понимаете, как важно выяснить судьбы этих людей, ведь они и определяли десятилетиями судьбы нашего общества. Их расстрелы без суда ничего не дают. Их надо назвать и осудить публично (тема его не увлекла). Он начал говорить, как сейчас трудно в КГБ, им не доверяют, сказал две фразы, потом: ну, это отдельный разговор, и не продолжил.

Еще из бесед с ним. Язык суконный, «новояз», несколько дежурных фраз, из них наиболее часто: «поймите меня правильно» и «на скидку».

«Поймите меня правильно, знакомство с делом не должно превращаться в изготовление дубликата».

«Поймите меня правильно, это наш порядок» (когда я спросила про какую-то печать 39-го года).

«Поймите меня правильно, я не могу вам запретить рассказывать о деле, но...» (что «но», я не запомнила). Впрочем, надо отдать ему должное, он не призывал ни к «неразглашению», ни к лояльности.

Я несколько раз, будучи все же в ярости — от читаемого, когда читала про то, что Матвей Петрович был идеологом террора, а В. В. примирительно сказал, что он понимает, что террора не было, — не сдержалась:

— Почему не было? Начался с 17-го года.

И еще что-то такое у меня вырвалось, так что тема о перестройке и улучшении работы нашего гестапо, которую он, было, начал, развития не получила.

Дружелюбно проводил нас до дверей по мерзкому казенному коридору с коврами, дверьми, столами. Пока мы сидели в комнатухе, за стеной шла жизнь, чихали. Не то подслушивали (вряд ли), не то выслушивали чьи-нибудь доносы или терпеливо утирали чьи-нибудь поздние слезы. Но людей не видно в этом кошечьем царстве, и кабинет, где мы были, совершенно пуст — без следа даже казенной жизни. Стол, стулья, шкаф — всё! Папку с делом он принес с собой под мышкой в кожаном бьюаре.

Уже дома я подумала, что своей стальной походкой, с папкой, он пришел из соседнего здания, с Лубянки, где, может быть, кого-нибудь допрашивал. Да и бьют там наверняка как раньше, хоть и не тех!

Да, на прощанье, уже как бы познакомясь, я все же подала ему руку, так как изобразить незнакомство было трудно. Интеллигентская мягкотелость, «потому что не волк я по крови своей»*.

Хотя у нас надо быть волком.

Впервые в жизни по пути домой я сказала маме: понимаю тех, кто сломя голову бежит из страны. «Быть пусту месту сему». Никого и ничего тут уже не спасти. Все прогнило, заражено, разложено. «Все высвистано, прособачено»**.

И еще я сказала: «Вот и хорошо, что Матвея Петровича расстреляли. А то продолжали бы мучить в лагере или заставили бы на шарашке изобретать что-нибудь для военных надобностей».

* * *

Еще вспомнила: допроса в «деле» всего три, два напечатаны на машинке, под последним подпись явно не Матвея Петровича. Неузнаваема и не похожа на предыдущие. Я спросила В.В. — а проводили ли при реабилитации экспертизу подписи?

* Строка из стихотворения О. Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков...»

** Строка из стихотворения В. Ходасевича «Нет, не найду сегодня пищи я для утешительной мечты...»

Он (*невозмутимо*): Зачем, ведь очевидно, что дело фальсифицировано.

Однако узнаваемая подпись только на первом допросе, где он виновным себя не признал.

А дальше. Это как? Было всего два допроса, никаких очных ставок, и он все это сам на себя наговорил и подписался? Похоже, что было по Твардовскому:

Это вроде как машина
Скорой помощи идет,
Сама режет, сама колет,
Сама помощь подает.

То есть сперва четко написали показания, позволяющие дать расстрельную статью (которые, кстати, стоят уже в порядке на арест, предъявленном на Украине), потом сами подписали свою версию*, сработанную для расстрела, потом расстреляли.

Остался один неясный вопрос: кто, почему и зачем решил расстрелять именно его? То ли он на самом деле уперся на следствии и это месть за тюремное поведение, то ли это чья-то месть за *дотюремное* поведение.

И еще впечатление. Дело, которое мы видели, было подготовлено для показа Л. К.

В правом углу страницы были аккуратно пронумерованы свежим цветным карандашом.

Часть листов обстрижена. Очевидно, срезаны резолюции инстанций на письмах физиков в защиту Матвея Петровича.

Фотография, сделанная в тюрьме, вынута.

Допросов всего три (вряд ли).

Листы перепутаны начиная с декабря 1937 года, есть и другие перестановки.

Сегодня я сказала маме: рабская психология из нас не вытравлена. Почему мы поддались этому поднадзорному сидению? Почему не заявили просьбы встретиться еще раз и скопировать

* По моему настоянию, неохотно, Лидия Корнеевна подала заявление с просьбой провести экспертизу подлинности неузнаваемой подписи Бронштейна под протоколами последних допросов. Через месяц ленинградская лаборатория судебной экспертизы подтвердила подлинность подписи.

дословно все три протокола допроса, обвинительное заключение и показания Козырева? Дали навязать себе их покрикивания и их правила игры.

Но мама говорит — мне достаточно, больше ничего не нужно.

Я еще спрашивала В. В. Черкинского, было ли дело агентурной разработки?

— Понимаете, во время войны жгли бумаги, но в этом деле поводом послужили показания Круткова и Козырева.

По тому, что я видела (возможно, что это даже и не 1/8 часть айсберга) показания Круткова безлики и безвредны, а вот Козырева — очень скверные: сразу и Ленин, и Сталин, и Троцкий (якобы Матвей Петрович контрреволюционно настроен: «Он говорил, что Ленин не любил рабочий класс; он рассказывал антисоветские анекдоты с гнусными выпадами против Сталина; он заявил, что, если Троцкий придет к власти, он назовется его племянником; профессор М. П. Бронштейн активно выступает против материалистического мировоззрения в науке... и т. п.»). То есть у истоков дела Бронштейна — палач Готлиб, избивающий Козырева.

А у нынешних молодчиков раскаяния не видно, а лишь досада на несправедливую агрессивность сограждан и пружинистая поступь вперед.

После начала перестройки и снятия запрета с упоминания имени Лидии Чуковской в печати, а главное, после издания ее книг в России, неожиданно нашлись два свидетеля, сидевшие с Матвеем Петровичем в одной камере.

Оба свидетельства сохранились в архиве Лидии Корнеевны. Вот они:

Рассказ Б. А. Великина*

Привезли меня туда в декабре 1937 года.

А начальник 13-го отделения НКВД, Соловьев Александр Димитрич, по тем временам редкий человек. Почему? Он не бил

* 29 января и 7 марта 1991 года Геннадий Ефимович Горелик встретился с Борисом Аркадьевичем Великиным и записал на магнитофон беседы с ним. Свою запись он тогда же подарил Л. К. Чуковской. Приводятся части рассказа, касающиеся М. П. Бронштейна.

сам. Интеллигент. Он кому-то поручал. В общем, меня особенно не били. Но очень тяжелый способ... так называемый конвейер. Вас вызывают... «Сутки стой!»... Сутки стоишь, двое суток, третьи, четвертые, пятые, шестые и седьмые — стоишь. Рядом сидит курсант пограничного училища, его дело маленькое. У него бумага, он к тебе подходит, ну ты подпишешь, такой-сякой? «Не буду». А ты стоишь, и так шесть суток, ноги уже опухли. Правда, тебя приводят в камеру, чтобы ты поел, и здесь сразу ребята снимают штаны и массируют ноги, чтобы ты мог стоять. Седьмые сутки я стою. Я уже ученый. Ну, молод, потом, энергичный. Я родился в деревне, с девяти лет я работал — пастушкой и на воздухе. Энергичный человек. Чувствую, что я дохожу, придется подписывать...

Обвинение в шпионаже.

А срок у меня вообще был 5 лет — потому что я все же ничего не подписал...

Возвращаюсь к Матвею Петровичу. Камера... три вот таких комнаты, а может быть, чуть побольше, может, чуть поменьше. Смотрю, такие топчаны. Это не койки, а алюминиевый каркас. Просто брезент — и они на день закрываются. Поднимают, закрывают на замок. И их шестнадцать — на шестнадцать человек, семнадцатому там спать-то негде. А нас 150, 130, 140! Все понимали, что из 150 человек 20 или специально подсаживают, или напуганные. Вы не человек. С вами по-человечески никто не разговаривает, внутри камеры все друг друга боятся. Вот так.

Я понимаю, брали крупных людей, а сколько таких, как я, брали? Надо сказать прямо, рабочих было меньше.

И вот рядом со мной оказался Матвей Петрович.

Что я могу о нем сказать. Он с нами говорил на любую тему. А там такие разговоры: когда тебя вызывали на допрос? сколько тебя спрашивали? как тебя били? Вот такой разговор — всё вокруг посадки. Что меня в нем удивило — он никогда не жаловался. А я знал, что его били.

Рядом со мной лежал Матвей Петрович, и с другой стороны... был такой известный режиссер, актер... Дикий... Алексей Денисович. Вы знаете? В истории искусств это бывший худрук 2-го МХАТа. Потом, когда 2-й МХАТ ликвидировали, его послали в Ленинград главным режиссером Большого драматического театра... Это отдельный разговор, как он попал... Ну вот, все разговоры на эту тему — правда, его, видимо, избивали смертным боем.

Я помню, как однажды его буквально приволокли. И он говорит: «Ну вот, знаешь, сынок, я подписал». — «Как же вы, Алексей Денисович?!» — «А мне сказали, что мне дадут 10 лет. Больше не дадут». И, действительно, ему дали 10 лет... Он написал письмо В. И. Немировичу-Данченко, и тот ему помог. Рассказывали, что Владимир Иванович позвонил: «Иосиф Виссарионович, я ручаюсь, что Дикий — один из лучших актеров и режиссеров нашей страны, я никому не поверю, что он враг». Дикий поселился в Александрове. Когда подбирали в «Третьем ударе» актера на роль Сталина, было много проб, пригласили Дикого. Дикий — актер гениальный. Потом ему в Москве дали квартиру, он женился на молоденькой женщине, правда, он недолго прожил после этого*.

А Матвей Петрович... что еще удивляло — это умение слушать. И не менее удивительная способность рассказывать. Я приведу два таких примера: интеллигенция, избитая, пораженная, и надо как-то отвлечься, это все понимают... Устраивали такие викторины и лекции. Вот викторина литературная.

Вспоминаю я вопрос. Вопрос этот врезался мне в память. Потому что редкий случай. Будьте добры, кто может ответить, прочитать нам вслух диалог... что Онегин написал Татьяне — дословно. Кто может? А там же были литераторы. Крепс — он же литератор. Крепс нам много помогал. Он прекрасно рассказывал, он был директором ленинградского Дома ученых. И все: «Крепс! Ваше слово!» — «Содержание я знаю, а процитировать не могу». Матвей Петрович! Гениально, все точно. Все плачут. Вот. Мне запомнилось, понимаете? И почти на любой вопрос, который задавали на викторине, вопрос, на который не может ответить сто человек, — отвечает Матвей Петрович. И это мне врезалось. Я же знаю, что он — физик-теоретик, это я знаю, мы же с ним разговариваем. На ученые эти темы разговариваем. Но почему, откуда? В общем, он нас всех изумлял, мы все знали, что он физик-теоретик, — это вся камера знала.

Потом что мне еще запомнилось. В те годы теорию относительности мы считали... мистикой. Возьмите кибернетику. Мы считали так: это все буржуазные идеалистические теории. А меня это интересовало. Я очень интересовался теорией относительности. Как-то мы готовимся к очередной викторине, и я говорю: «Знаете что, товарищи, давайте попросим Матвея

* А. Д. Дикий был освобожден в 1941 году, а умер в 1955-м.

Петровича нам прочитать лекцию по теории относительности». Вы себе представьте, он прочитал лекцию по теории относительности... аплодисменты не смолкали. Настолько уметь доходчиво рассказать... После семи или восьми бесед с Матвеем Петровичем я стал себе реально представлять, что такое теория относительности. Я слушал его лекции — очень интересные, он прекрасно рассказывал. Я сомневаюсь, что кто-то другой из физиков мог бы так доходчиво это сделать. То, что я понимаю сейчас, я понимаю с его слов. Потом, когда я уже освободился, старался, что можно, читать. Но всегда я помнил то, что говорил Матвей Петрович.

И дальше. Очень он... переживал — он как-то о себе не говорил почти — о жене. Кстати, она ему приносила передачи.

Он делился с нами. Вот тоже характер человека. Мы втроем: я, он и Дикий. А там был такой порядок, ну, назывался так... «комбед» — комитет бедноты. Я же не получал передачи. И если, допустим, полагалось из трех пачек папирос отдать одну пачку — он отдавал две. Себе — одну. Или, допустим, килограмм сахара (сколько там положено) — он всегда отдавал половину пакета. Никто столько не давал. Никто. Хотя сам-то он тщедушный... небольшого роста, худой такой... Это тоже черта его. Или, скажем, пришел с допроса. Тщательный опрос. Ну как, били, не били? как били? в чем вы обвиняетесь?..

Я не мог понять почему, но он не любил говорить на эту тему. Он мне только одно рассказал, что обвиняют его в шпионаже. Я не стал расспрашивать. А в чем я обвиняюсь — я ему рассказал. Я ему говорю: будем друзьями, меня тоже обвиняют в шпионаже.

Очень много он мне рассказывал про свою кафедру. Я ему рассказывал про металлургию, его интересовали вопросы динамной трансформаторной стали. Я работал начальником отдела на заводе, производящем эту сталь, я уже прошел курс в институте стали, он службу этой стали в трансформаторе понимал лучше меня. Почему нужна именно такая сталь... Я удивлялся, откуда он химию так знает.

Уже было известно, что на любой вопрос, на который не может ответить камера, Матвей Петрович отвечает. И так спокойно, без зазнайства. Я не встречал больше таких людей, как Матвей Петрович, по уму и по степени познания любого предмета. О чем бы вы с ним ни говорили, вы чувствовали, что он

знает вопрос гораздо лучше вас. Я с ним говорю о металлургии, а он — физик. Первая идея о том, что можно не ломать всю мартеновскую печь, а постараться прикрыть каркас, — это его идея. Сама идея.

Я очень сожалею, что когда его взяли из камеры, я был на допросе. Потом я спрашивал Дикого: а где же Матвей Петрович? «Его забрали».

При этом вы знаете что? Из разговора у меня никак не складывалось впечатление, что его взяли на расстрел. Он сам не думал, что кончает свою жизнь. Он расстрела даже в мыслях не имел. Я ему говорил, Матвей Петрович, у вас ведь все-таки друзья высокие, ученые...

Да, почему-то Фока он называл, Мандельштама называл. Он особо выделял Тамма... И почему-то называл еще Петра Леонидовича Капицу. «Я, — говорит, — на них надеюсь».

Почему-то он особенно надеялся на Тамма. Из его слов я не видел, чтоб он чувствовал себя в чем-то виновным. Мол, где-то не то говорил. «Матвей Петрович, а все-таки... ну почему именно вот... к вам?» — «Знаете, я даже сам не знаю почему».

Да, Матвей Петрович, между прочим, спал неплохо, мы удивлялись, в этих условиях он спал очень неплохо.

Вот еще очень интересный был человек, с которым Матвей Петрович общался так же, как со мной... Инженер, который изобрел еще в царское время какое-то приспособление к пушке (головка, кажется, называется, ну, я не артиллерист). Очень важное приспособление, без которого нет пушки. Помню, такой грузный, высокого роста, совсем уже пожилой человек... вот этот самый артиллерист говорил, что, когда он Матвею Петровичу рассказывал об этом приспособлении... «он мне объяснил то, что я не понимал, тонкости этого дела. Хотя я являюсь автором. А Матвей Петрович понимал все это лучше меня». Вот такой это был человек.

Поэтому после того, как он прочитал нам одну лекцию, после того, как он прочитал нам вторую лекцию... ему даже староста предложил переехать на койку, а очередь еще до него не дошла.

Был у нас какой-то турок в камере — не рабочий, не инженер, а ученый. И он с ним часто прогуливался. Как-то они гуляют, а я был в стороне, и подхожу — они по-турецки разговаривают. Потом я спросил Матвея Петровича: откуда же вы, собственно,

знаете турецкий язык? «Я его знал немного раньше, до посадки. Мне достаточно поговорить с человеком на его языке две-три недели, и я уже разговорный язык понимаю».

Да... он был человек редкий, и я уверен, что наука наша очень много потеряла. Очень много...

Телефонный звонок

Из дневника Лидии Чуковской

18 февраля 94... Так вот, 10/II я проснулась и протянула руку за часами. Они упали на пол. Нагибаться мне нельзя. А возле меня — телефонная трубка. Я хочу узнать — который час? Набираю: 1-00, 1-00, 1-00 — занято. И вдруг в промежутке — звонок к нам. Обычно я не беру трубку, потому что в девяноста процентов случаев — звонят Люше, звонят не мне. Но тут машинально откликнулась. И...

«Я получала вести с того света»... (М. С. Петровых). Вот и я получила.

— Можно узнать, здесь ли живет Лидия Корнеевна Чуковская?

Я, с досадой:

— Это я.

— С вами говорит Николай Николаевич Никитин.

Тут у меня заваруха в уме. Ник. Ник. Никитин*, писатель, прозаик, член Серапионова братства, одно время — муж Зои Александровны, которая вышла за Никитина и оставила себе его фамилию, хотя позднее стала женой Казакова...

— Я сидел одно время в одной камере с Матвеем Петровичем Бронштейном. Мне был тогда 21 год, я был студент... (Не слышала: биолог или геолог) — и в камере подружился с Матвеем Петровичем.

Голос и говор интеллигентный.

Далее расскажу без реплик. Сначала Митя был бодр и уверен, что его выпустят, — потому что за него будут хлопотать друзья-физики... и, вероятно, говорил он, жена и отец жены, известный

* Из дальнейшего разговора ясно, что звонил однофамилец писателя Н. Никитина.

писатель. (На прямой вопрос — кто — ответил: Корней Иванович Чуковский... И ведь все так и было... он угадал — хлопотали...) С первого допроса вернулся в синяках, которых стеснялся и которые прикрывал своими лохмотьями. Сначала он спал на полу, потом на нарах. Читал по просьбе «интеллигентных заключенных» лекции. Прочел о Галилее, потом об Эйнштейне, потом об одном французском писателе. («Я забыл, о котором, я ведь далек от литературы».) Допросов было, кажется, мало. Синяки росли. Ник. Ник. Никитин сошелся с Митей на решении кроссвордов: когда в камере никто не мог решить — все ждали решения от Мити. Ну вот, они решали вместе.

У Мити было полотенце — единственная вещь из дому. (Это я знаю от Михалины, и Изи, и Фанни Моисеевны.) Оно стало грязным. Он неумело стирал его. Один раз вернулся с допроса весь скрюченный, перевязался этим полотенцем, лег на нары и, как уверяет мой собеседник, — заплакал. Тихонько рыдал... (Я никогда не видела Митю плачущим...) Сволочь — нет — мерзавцы — нет — негодяи, фашисты — нет, имени для них нет — не-людь, недолюдки — изувечили его, он скрючился и подписал... Боль. Почки? Ребра?

Потом, несколько дней, Митя ни с кем не говорил, сидел, скрюченный, молча. Потом ночью подполз к Ник. Ник. И прошептал в ухо: я негодяй. Я подписал... Я оклеветал друзей и себя... Когда состоится суд — если состоится, — я возьму свои показания обратно... Скажу, что они даны под пыткой!

Негодяем я жить не хочу.

Потом один раз его вдруг вызвали: «Бронштейн с вещами». Он стал развязывать узел полотенца, запутался. Надзиратель торопил. Бронштейн чуть выпрямился, повесил полотенце на плечи и сказал: «Я готов»...

Больше мы его не видели. Это было либо на этап, либо на суд.

Я спросила Ник. Ник. Никитина, почему он так долго не звонил и не может ли он прийти? Я подготовлюсь с расспросами. Нет, прийти не может — утром летит в Норвегию, и потом в Штаты. «Надолго?» — «Не знаю...»

— Но почему же вы не звонили мне раньше?.. Ведь 50 лет прошло!..

— Я был в лагере. Потом в ссылке. На Севере. Потом вернулся в Ленинград, но забыл — называл ли Матвей Петрович жену свою дочерью Чуковского или Маршака? Потом вспомнил: называл «дочь Корнея Ивановича Чуковского». Но, по слухам, вы были в Москве... Я не стал искать... А на днях увидел вашу фотографию в «Огоньке», вспомнил Матвея Петровича — и вот решил...

* * *

Дня четыре я молча носила эти новости в себе. Никому не говорила, то есть ни Фине, ни Люше. Не могла выговорить про полтенце. Кроме того — у Люши телефонный звон непрерывный, она, сидя у меня в комнате, срывается ежеминутно на полуслове к телефону. Я так не могу о Мите... Наконец у нее нашлось 20 минут покоя, и я ей рассказала. Я спросила: думает ли она, что Митя сказал на суде, на выездной сессии Военной коллегии под председательством Матулевича, — взял ли назад свои показания? Успел ли? На такие отказы Ульрих обычно отвечал: «Не усугубляйте свою вину клеветой на органы»... Мне это важно, потому что — если он сделал такое заявление — ему легче было умирать.

Люша ответила так: никакого суда не было. Он еще до ареста был приговорен к расстрелу как террорист... Таких не судила никакая коллегия. Их просто из камеры смертников вызывали и расстреливали... Если ж и был военный суд — то по 9 минут на человека, и ничего ему не давали сказать.

Люша думает, на основе дела, что Митя только подписывал под пыткой изготовленные заранее приговоры...

После всех этих известий Лидия Корнеевна сочла, что «Митину книгу» надо переделывать, а в сущности, писать заново:

10 декабря 94 ...не назвать ли «Из Архива памяти» или «Концы и начала» Митину книгу. «Прочерк» не годится, потому что все прочерки заполнены.

За эти годы накопились папки с материалами, появились планы новых глав. Сохранились и планы, и папки с материалами, но написать книгу заново Лидия Корнеевна уже не успела.

**Краткая опись сохранившихся папок
с материалами для «Прочерка»**

№ 1. Кронштадт.

Борис Краевский. «Дело Таганцева»: кем и как оно было сделано. Сценарий «сталинских процессов» сочиняли еще при Ленине // *Общая газета.* 7–13 декабря 1995. № 49. С. 12.

Кронштадтская трагедия 1921 года / Вступ. ст. В. П. Наумова и А. А. Косаковского // *Вопросы истории.* 1994. № 4, 5, 6, 7.

Владислав Ходасевич. Статьи о литературе. 1917–1927 // *Звезда.* 1995. № 2.

№ 2. Мои письма к родителям.

№ 3. Государственный институт истории искусств.

№ 4. Саратов.

№ 5а и 5б. Работа и принципы работы ленинградской редакции:

5а. Воспоминания о Маршаке; Маршак о работе над сказкой; о научно-художественной книге; примеры из популярных статей Бронштейна; о разном понимании чистоты языка.

5б. Примеры редакторского разбоя.

№ 6. Показательные процессы. Убийство Кирова.

[Письмо Сталина о пытках. Приведено в докладе Хрущева] // *Мемориал-аспект,* [б/д].

Марина Рубанцева. Человек, заглянувший в бездну [О Диме Юрасове] // *Российская газета,* [б/д].

А. Мильчаков. «Вам выделен лимит на расстрел» // *Вечерняя Москва.* 1991. 17 мая. С. 6.

Анатолий Разумов. Август тридцать седьмого. Ленинградский вариант // *Вечерний Санкт-Петербург.* 24. 8. 92 (Пометка Л. К. «Чрезвычайно важно»).

Беседа с О. Сувенировым. Пытки по закону // *Аргументы и факты.* 1995. № 41. С. 8.

Конец карьеры Ежова // *Исторический архив.* 1992. № 1. С. 123.

№ 7. Трагедия ленинградского Детиздата.

№ 8. Подготовка к разгрому «группы Ландау – Бронштейн – Иваненко».

Кора Дробанцева. Ландау, каким его знала только я // Вечерний клуб. 1992. № 203, 204, а также 16. 10. 92.

И. Владимиров, Н. Ерофеев. «Дело» Ландау // Курьер для вас. 1991. № 9. С. 6.

Чекистам повезло. Они «слушали» самого Ландау // Комсомольская правда. 1992. 8 августа.

«Через агентуру и технику» / Публ. С. С. Илизарова // Литературная газета. 1993. 3 ноября. № 44.

Из досье КГБ на академика Л. Д. Ландау / Публ. А. С. Гроссман // Вопросы истории. 1993. № 8. С. 112–118.

Майя Бессараб. Страницы жизни Ландау. М.: Моск. рабочий, 1971.

Выписки из статей Львова 1936–37 гг.

№ 9. Хлопоты о Мите. Письма в защиту.

№ 10. Следователи и судьи. Методы следствия. Ульрих — хозяин расстрельного дома.

Николай Заблоцкий. История моего заключения // Б-ка «Огонек». № 18. М., 1991.

Никита Заблоцкий. Об отце // Даугава. 1988. № 3.

Евгений Лунин. Улица Чайковского, кабинет Домбровского: Об одном литературном мифе // Литературная Россия. 1991. 1 ноября. № 41.

Б. А. Викторов. Без грифа «секретно»: Записки военного прокурора. М.: Юридическая литература. 1990. С. 270, 271.

Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов. М. Изд-во полит. лит. 1991. С. 72–73, 80–81.

Расправа. Прокурорские судьбы. М.: Юрид. лит. 1990. С. 62–63.

Эдуард Белтов. Дмитрий Юрасов. 1937. Только факты. Только имена // Страна и мир [Мюнхен]. 1991. № 4, а также: Российская газета. 12 декабря [б/г].

Есть лишь несколько набросков для будущих глав «Прочерка»:

Эпиграфы

Взять эпиграфом для всей книги:

Медленно оттаивают звуки,
Шепотом шевелится струна,
Медленно отчаянные руки
Пробуют раздвинуть времена...*

40-е—93
Лидия Чуковская

* * *

Мы любим себе представлять несчастье чем-то сосредоточенным, фактом совершившимся, тогда как несчастье никогда не бывает событие, а несчастье есть жизнь, длинная жизнь, несчастная, такая жизнь, из которой осталась обстановка счастья, а смысл жизни — потеряян.

Лев Толстой из черновиков к «Анне Карениной»

* * *

Как одной фразой описать всю русскую историю? Страна задушенных возможностей.

Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

* * *

Смерти не надо бояться. В жизни есть много такого, что гораздо страшнее, чем смерть.

Анна Ахматова

Палачи**

И. О. Матулевич (1895—1965), член Военной коллегии Верховного Суда СССР, заместитель В. В. Ульриха — председателя. Дожившие до XX съезда КПСС члены Военной коллегии

* Из стихотворения, начинающегося строкой: «Вырваться на вольный воздух мира» (черновой набросок, стихотворение не закончено).

** Лидия Корнеевна собирала сведения в печати о следователях, фамилии которых она увидела в «деле» М. Бронштейна.

Матулевич, Детисов, Суслов и другие, причастные к вынесению многочисленных неправосудных приговоров, были наказаны — исключены из партии и лишены воинских званий. — *Б. А. Викторов*. Без грифа «Секретно». Записки военного прокурора. М.: Юридич. лит., 1990. С. 271.

Г. Г. Карпов.

Комитет партийного контроля проверил заявление... о нарушениях социалистической законности бывшим начальником Псковского окротдела НКВД т. Карповым Г. Г., ныне работающим председателем Совета по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР*.

Проверкой было установлено, что т. Карпов, работая в 1937—1938 гг. в Ленинградском управлении и Псковском окружном отделе НКВД, грубо нарушал социалистическую законность, производил массовые аресты ни в чем не повинных граждан, применял извращенные методы ведения следствия, а также фальсифицировал протоколы допросов арестованных**. За такие незаконные действия большая группа следственных работников Псковского окружного отдела НКВД еще в 1941 году была осуждена, а т. Карпов в то время был отозван в Москву в центральный аппарат НКВД. В связи с этим Военная коллегия войск НКВД Ленинградского военного округа вынесла опреде-

* Начальник 4-го отдела 3-го управления НКВД СССР по борьбе с церковно-сектантской контрреволюцией полковник ГБ Карпов был в 1943 году назначен Сталиным председателем Совета по делам Русской православной церкви. И оставался в этой должности до увольнения 21 февраля 1960 года (протоирей *В. Цыпин*. История Русской Церкви. Т. 9: 1917—1997. М., 1997. С. 293, 302, 386.

** Наиболее изуверский способ допроса применял капитан госбезопасности Карпов. «Я допрашивал арестованного, — продолжал давать показания суду Ребров [сотрудник НКВД], — в это время вошли Карпов и Степанов (зам. Карпова). Они спросили у меня: “Арестованный дает показания?” Я им ответил, что он не сознался в своей деятельности. После этого Карпов позвонил коменданту окротдела Морозову и приказал в кабинет принести бутылку нашатырного спирта и полотенце. Карпов намочил полотенце нашатырным спиртом и завязал им рот арестованного, а сами начали избивать его, при этом приговаривали: “Такой метод хорошо помогает делу и безопасен для здоровья”. И вот этот мастер пыток и избиений подследственных не только не был осужден, но и получил... повышение по службе!» (*П. А. Николаев*. Правда истории нужна живущим ныне // Не предать забвению: Книга памяти жертв политических репрессий. Т. 1. Псков, 1996. С. 49—50.)

ление о возбуждении уголовного преследования в отношении Карпова Г. Г., но это определение Министерством госбезопасности было положено в архив.

В 1956–1957 гг. к делу Карпова, работавшего тогда председателем Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР, вернулись. Рассмотрев имеющийся материал на него, в КПК при ЦК КПСС записали такое решение: «За допущенные нарушения социалистической законности в 1937–1938 гг. т. Карпов Г. Г. заслуживает исключения из КПСС, но, учитывая давность совершенных им проступков и положительную работу в последующие годы, Комитет партийного контроля ограничился в отношении Карпова Г. Г. объявлением ему строгого выговора с занесением в учетную карточку». (Реабилитация: Политические процессы 30–50-х годов. М.: Изд-во полит. лит., 1991. С. 80).

Вот как описывает следственные приемы Карпова арестованный в 1937 г. в Ленинграде А. К. Тамми, которому запомнились, по его выражению, только «садисты из садистов»: «Карпов сначала молотил табуреткой, а затем душил кожаным ремнем, медленно его закручивая...» (Звенья. Вып. 1. М., 1991. С. 436.)

Н. Н. Лупандин.

В своем заявлении, в отделе «О методах следствия», Н. Заболоцкий пишет: «Сразу же после ареста я был подвергнут почти четырехсуточному непрерывному допросу (с 19 по 23 марта 1938 г.). Допрос сопровождался моральным и физическим издевательством, угрозами, побоями и закончился отправкой меня в больницу Судебной психиатрии — в состоянии полной психической невменяемости». (Цит. по: *Николай Заболоцкий*. «Я нашел в себе силу остаться в живых» / Публ. и коммент. Е. Лунина // Аврора. 1990. № 8. С. 129).

В течение 100 часов Заболоцкого избивал и допрашивал Лупандин, «не шибко грамотный следователь». Тот же Лупандин был следователем и мучителем поэта Бориса Корнилова.

Оперуполномоченный Н. Н. Лупандин* соответственно «низшему» (так в анкете) образованию, в августе 1938 г. переведен на хозяйственную работу. Из органов ГБ уволен в 1949 году.

* Одного из палачей — Лупандина — звали Николай Николаевич, имя другого изувера, Карпова, — Георгий Григорьевич. И еще следователи М. П. Бронштейна — Яков Васильевич Фитиалов и Антон Францевич Божичко. Их фамилии я видела под протоколами допросов Бронштейна, но они уже тогда скрывали свои имена. Теперь эти имена и отчества мне сообщил А. Я. Разумов, главный редактор Ленинградского мартиролога. Приношу ему свою благодарность.

Умер в Ленинграде в 1977 году пенсионером союзного значения (как Никита Сергеевич Хрущев!). см.: *Е. Лукин. Великая душа. Ленинградская панорама. 1989. № 5. С. 24, 36–38.*

Пытки

Д. Самойлов о пытках.

Самый худой суд — ничто перед всемогущим сапогом, отбивающим внутренности, бьющим не до смерти, а до потери человеческого облика. Не жизнь себе зарабатывали подсудимые страшных процессов, а право поскорей умереть. Они-то знали, искушенные политики, что дело их — хана.

И разыгрывали свои роли потому, что сапог сильнее человека, что геройство перед сапогом возможно один раз — смерть принять, а ежедневная жизнь под сапогом невозможна, есть предел боли, есть тот предел, когда вопиющее человеческое мясо молит только об одном — о смерти — и готово на любое унижение, лишь бы смерть принять (*Давид Самойлов. Памятные записки. М., 1995. С. 443*).

* * *

В 1938 году был у меня один спор с Гешей*: ощущает ли человек, когда его бьют в кабинете следователя, оскорбленность или одну только боль? Я говорила — да, ощущает оскорбление. Геша говорил — нет.

Он ошибался. Следователи были людьми. Гнусными, но людьми. Они не просто истязали — им доставляло удовольствие, истязая, взять верх. Им нравилось выдумывать новые и новые пытки. Вот как Мите нравилось делать свои открытия.

Ученый, писатель, поэт стоял униженный не против собаки, а против человека, которому нравилось его унижать.

Рассказывается о следователе, который вырывал волосы и, обнажив место, втыкал иглу. Не знаю, табуреткой или иглой выбивали из головы Бронштейна его «чарующий ум». Уверена, что этот процесс доставлял большое удовольствие выбивающему. Удовольствие сладострастное. Удовольствие в том же роде, которое испытывал следователь, таскавший за бороду Выгод-

* Упомянут Герш Исаакович Егудин, профессор-математик, друг М. П. Бронштейна.

ского, испаниста, знавшего несколько десятков языков. Такое удовольствие: он, безграмотное ничтожество, с трехклассным образованием, доводит до умопомрачения, побеждает интеллигента, профессора! Унижает его! К чему тебе твоя ученость, если я, я, неуч, могу сделать с тобой, что захочу! Давида Выгодского, «честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следовательно таскал за бороду и плевал ему в лицо», — записал Заболоцкий. (См.: *Н. Заболоцкий. История моего заключения // Серебряный век. М., 1990. С. 667*).

Выгодский был феномен, знавший около тридцати языков, в особенности испанскую литературу — его следовательно знал один язык: мат. А мы — почему мы не знаем фамилию следователя?

Почему мы не знаем фабрики, где всех этих людей делали — всех этих Лупандиных... Шапиро... всех, кто мог, зная, что перед ним человек неповинный, таскать его за бороду и плевать в лицо?

М. К. Поливанов (внук философа Г. Шпета) сообщает о закорючке вместо подписи Шпета. «И никакого сходства, кроме краткости» (см.: *М. К. Поливанов. Очерк биографии Г. Г. Шпета // Лица: Биографический альманах. 1. М.; СПб: Феникс, 1992. С. 37*). Насчет подписи Матвея Петровича Люша усомнилась. Экспертиза подтвердила: да, это он подписал, его подпись.

Он? Может быть, он, то есть его рука. Но был ли он тогда — он... «Это был не я», — как написал Самойлов.

Карпов, Лупандин, Готлиб умели производить только одно: «врагов народа». Выброси их из Большого Дома, и ни серп, ни молот не удостоится их рук.

Это были винтики осатанелой бюрократической машины. Вооруженные против невиноватых и невооруженных. Отчего и для чего осатанела машина? Этого мне не дано понять до сих пор. Да, были и до 37-го года Соловки, угрозы, расстрелы, а иногда и битье. Но «ежовщина» была машиной — мертвой и притом осатанелой. Думаю, если арестованный сопротивлялся долго — следовательно приходил в искреннее, не по приказу, осатанение. И применял новый прием: «конвейер» или «стойку». Распухшие ноги, лопающиеся вены, вываливающийся язык.

Сопротивлялись ли? Да. И даже иногда победоносно. Так, например, Н. А. Заболоцкий. Закрывал изнутри камеру кроватю:

«Как только я очнулся... первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям или, по

крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее полотенцем... За этим занятием я был застигнут своими мучителями... Чтобы справиться со мною, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой...» (*Н. Заболоцкий. История моего заключения // Серебряный век. М., 1990. С. 663*).

Заболоцкий попал на десять дней в тюремную больницу для умалишенных, вернулся и продолжил сопротивление. Но и у него мелькает: «не помню», «галлюцинации», «я впал в забытье» и пр.

М. П. Бронштейн дал свою подпись. В какой момент забытья или галлюцинации? Судя по дате ареста и дате, когда он подписал смертную казнь себе, он сопротивлялся — долго. Она не совсем похожа на его подпись, но даже если это он, то это уже все равно не совсем он или даже совсем не он.

Смутный, но важный набросок заключительной главы всей книги

Какая же это фантастика? Без полета, безо всякой выдумки, без новизны, без всякой пищи для воображения? Фантастикой не назовешь. Убогий набор одних и тех же преступлений — шпионаж, вредительство, участие в террористической организации. Повторяется, как узор на обоях, в миллионах обвинительных актов.

Машинопись с опечатками, переписанная руками безграмотных машинисток, сочинение — чье? Даже попросту ахинеей не назовешь, потому что ахинеея похожа на бред, а бредают люди разнообразно. Скорее штампованная ахинеея. Самое мучительное в ней для обвиняемого — конечно, список друзей и знакомых, а иногда и не друзей и не знакомых, которых последственный подписью своею подвергал той же муке. «Друзей с собой на плаху весть, / Над гробом слышать их проклятья». Где ему было знать, чье имя выбивают из него, чтобы арестовать, а чье —

впрок. Так, например, от Мити потребовали насчет Френкеля, который был будто бы главным в организации, но Френкеля не арестовали, а Бронштейна убили. Ахинея! Но тоже штампованная, потому что, например, поэт С.Д. Спасский арестован по делу поэта Н. Тихонова, а Н. Тихонов, к счастью, арестован не был.

Я не знаю, в каком состоянии был его мозг, когда он подписал штампованную ахинею, ведущую одних на свободу, других в лагерь, а его самого — единственного в этой организации — на расстрел.

Матвей Петрович Бронштейн был убит 18 февраля 1938 года, в подвале Большого Дома. Погребен — насколько я могу судить на основе сопоставления дат — под Ленинградом, близ станции Левашово, на пустыре, где в 1989 году обнаружены были останки тех, кого убивали от июля 1937 до самого «ленинградского дела» 1953-го.

* * *

В рабочих тетрадях Лидии Чуковской есть такой набросок:

12/III 95. Левашово (От Димы). 2 км от ст. Левашово

Забор — тот же.

Похоронены 42 тысячи человек. Одних привозили мертвыми, других живыми — и стреляли там. Называлось это место «Полигон для учебных стрельбищ», поэтому никто не удивлялся стрельбе.

Стоит крест. Стоит католическая часовня... Есть дорожки, и живут сторожа.

Родные прикалывают к деревьям записки с именами и датами жизни расстрелянных... Вход открытый.

Время — сталинский террор. 1937–38 и 49.

2009

ПРО КНИГУ «ДОМ ПОЭТА»*



ом Поэта» Лидия Чуковская начала писать в 1972-м и работала над книгой до середины 1976 года. К сожалению, эти годы были отмечены в ее жизни разнообразными общественными и личными трудностями.

Главное, что заставило ее, отложив другие работы, взяться за полемику с Н. Мандельштам, было желание защитить память Анны Ахматовой. В декабре 1970 года, впервые услышав о «Второй книге» Лидия Корнеевна пишет в дневнике: «Ходят тревожнейшие слухи о новом томе мемуаров Надежды Яковлевны. Т. читала сама и отзыв такой: “Первый клеветон в Самиздате”».

Все это для Анны Андреевны, для ее памяти, чрезвычайно опасно, потому что Надежда Яковлевна — большой авторитет. Где, как и кто будет ее опровергать? Наверное, там много лжей и неправд и обо всех, и обо мне, но это уж пусть. А вот как с Анной Андреевной быть? не знаю. Но ведь это — наша обязанность. Потом некому будет».

Большое место (несколько глав) в «Доме Поэта» и занимает судьба Анны Ахматовой, спор по поводу восприятия ее стихов, посмертная судьба ее рукописей и ее изданий.

Одновременно с работой над «Домом Поэта» (первоначальное название «Несчастье») Лидия Чуковская готовила к печати свои «Записки об Анне Ахматовой». Препятствием для завершения «Дома Поэта» стала нарастающая болезнь глаз. В январе 1973 года Лидия Корнеевна отмечает в своем дневнике: «Надо каждый день работать часов восемь над Н. Я., а я слепну, слепну, слепну...» И 14 ноября 1975: «Вчера весь день, приехав сюда писать “Несчастье”, в ужасе разгребала груды накопленного,

* Елена Чуковская. Про эту книгу // Лидия Чуковская. Дом Поэта. М.: Время, 2012. С. 7–13.

забытого, перепутанного. Как писать, если все, что тщательно подготовлено, рассортировано, я теряю и начинаю искать заново — по 4–6 часов в день?» И в 1976 году: «“Несчастье” я написала бы давно и легко, если бы не нужно было столько рыться в фактах, датах, текстах».

Эти обстоятельства не позволили Лидии Корнеевне закончить работу над книгой. Она сочла более существенным дописать «Записки об Анне Ахматовой». «Дом Поэта» в 1976 году пришлось отложить. В архиве от этой работы осталось пять толстых папок. В одной — перепечатанные и исправленные после замечаний первых читателей главы, в других — заготовки, выписки, материалы для продолжения.

Всего в перепечатанном виде сохранилось семь глав книги. Но «Седьмая глава» перепечатана и исправлена автором лишь наполовину. Конец этой главы (главки от пятой до восьмой) уцелели лишь в виде первого рукописного наброска, даже не перепечатанного на машинке.

Эпилог сохранился в нескольких рукописных неокончательных вариантах.

В архиве хранится также несколько вариантов главы, в которой Лидия Корнеевна полемизирует с утверждением Н. Мандельштам о том, что у Ахматовой была «самоуспокоенная старость». В этой главе предполагалось напомнить о судьбе прижизненных сборников Анны Ахматовой: от тоненькой книжки 1958 года (первой после постановления 1946 года), наполовину состоящей из переводов, — до «Бега времени», куда автору не дали включить «Реквием», две части «Поэмы без героя» и стихи 1930-х годов. Если к этому прибавить тревоги и хлопоты о друзьях, кочевой образ жизни, бездомность, болезнь, то станет ясно, что утверждение мемуаристки неверно. Эта глава существует лишь в виде отрывочных рукописных набросков и не включена в настоящее издание.

И все же мы решаемся предложить не вполне завершённый «Дом Поэта» вниманию читателя.

Для этого есть несколько причин.

Во-первых, свои основные мысли по поводу «Второй книги» Л. Чуковская успела высказать в завершённых главах. Работа «почти закончена», как отмечает автор в своем дневнике в 1983 году.

Во-вторых, «Дом Поэта» постепенно из полемики с Н. Мандельштам превращается в глубокий и интересный анализ творчества Анны Ахматовой и, в особенности, — «Поэмы без героя».

В-третьих, за 40 лет, прошедших со времени выхода «Второй книги» Н. Мандельштам, в печати появилось множество указаний на разнообразные фактические неточности у автора этой книги.

Первым выступил В. Каверин в защиту Ю. Тынянова*.

С конца 80-х годов опубликован ряд интересных свидетельств о реальных отношениях с людьми, упоминаемыми Н. Мандельштам. Можно назвать такие книги и статьи:

Э. Г. Герштейн. Новое о Мандельштаме: Главы из воспоминаний**.

О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935—1936)***.

Э. Г. Герштейн. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998;

Надежда Мандельштам. 192 письма к Б. С. Кузину****.

Лариса Глазунова. Не хочу вспоминать*****.

Е. В. Алексеева. Кто резал «Ватиканский список» архива О. М.*****

Лидия Корнеевна прочла статью по рукописи, любезно присланной автором.

Авторы всех перечисленных работ свидетельствуют о тех или иных неточностях, скоропалительных выводах или ложных обвинениях во «Второй книге». Так, например, Е. В. Алексеева (США), работавшая с архивом О. Э. Мандельштама в Принстоне, в своей статье убедительно доказала, что Н. Я. Мандельштам напрасно обвинила Н. И. Харджиева, друга поэта, публикатора

* Вестник русского студенческого христианского движения. 1973. № 108/109/110. С. 187—192). Там же ответ Н. Струве.

** О. Э. Мандельштам в воронежской ссылке (по письмам С. Б. Рудакова). Париж: Atheneum, 1986.

*** Вступ. ст. А. Г. Меца и Е. А. Тоддеса // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1993 год: СПб.: Академический проект, 1997. С. 7—183.

**** Н. И. Крайнева, Е. А. Пережогина [Предисловие] // Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999.

***** Эдуард Бабаев. Воспоминания. СПб.: ИНАПРЕСС, 2000. С. 321—328.

***** Рукопись, 1995 год, архив Л. Чуковской.

и комментатора его стихов, в уничтожении или краже автографов из его архива. «Мало помалу были обнаружены... пропажи, приписанные Н. И. Харджиеву», — замечает Е. В. Алексеева.

Ее вывод: «Вторая книга — публицистика <...>, где имена принесены в жертву идее — сведению счетов со временем. Осведомленный читатель уже не может не заметить искажения фактов, неточности и недостоверности, из-за которых пострадали живые люди».

И еще: «Размноженные ложные обвинения многочисленностью своей обретают статус клеветы, и в этом повинны издатели».

Лидия Чуковская, как увидит читатель, на страницах «Дома Поэта» также опровергает множество ложных фактов, неточных цитат и неверных дат.

Современному читателю нужно напомнить, как обстояли дела с изданиями Анны Ахматовой, когда была впервые опубликована «Вторая книга» Н. Мандельштам и когда Л. Чуковская писала «Дом Поэта», а ее «Записки об Анне Ахматовой» не были еще завершены и напечатаны.

Конец 1960 — начало 1970-х годов были временем окончательных заморозков после оттепели 1956 года. В январе 1974 года Лидию Чуковскую исключили из Союза писателей, в феврале — выслан из страны А. Солженицын. Это были годы реставрации сталинизма, гонений на писателей, процессов против инакомыслящих. Самиздат конца 1960-х начинал превращаться в Тамиздат 1970-х. Последним прижизненным изданием Анны Ахматовой был «Бег времени» (1965), а за границей — первый том «Сочинений» (Нью-Йорк: Междунар. лит. содружество, 1965). Многие ее стихи хранились лишь в памяти друзей и были недоступны читателям.

В «Доме Поэта» Лидия Корнеевна, цитируя ахматовские строки, постоянно ссылалась на «Бег времени» (который она помогала составлять), на «Сочинения» (второй том «Сочинений» вышел в 1968 году), на первые посмертные публикации стихотворений Анны Ахматовой в журналах. Однако, готовя «Дом Поэта» к изданию тридцать лет спустя, мы сочли, что такие ссылки будут неудобны современному читателю. С тех пор, особенно с середины 1980-х годов, стихотворения Анны Ахматовой многократно издавались и переиздавались в России. Те-

перь опубликован и «Реквием» и все другие ранее запрещенные строки и строфы. Поэтому все авторские ссылки на прижизненные издания Анны Ахматовой и посмертные публикации в труднодоступных журналах дополнены ссылками на названия цитируемых стихотворений или их первые строки, что позволит читателю пользоваться современными изданиями Анны Ахматовой.

Лидия Корнеевна часто цитирует в «Доме Поэта» и свои «Записки об Анне Ахматовой», тогда еще неопубликованные*. И наконец, надо сказать, какова была судьба «Второй книги» Н. Мандельштам. Книга переведена на многие иностранные языки и в 1990-е годы дважды издана в России. Первый раз — в «Московском рабочем» (1990, подготовка текста, предисловие, примечания М. К. Поливанова). Второй раз — в издательстве «Согласие» (1999, предисловие и примечания Александра Морозова, подготовка текста Сергея Василенко). В издании 1990 года повторено большинство ошибок в цитатах и датах, которые отмечает Л. Чуковская в первом парижском издании «Второй книги». Напротив, в издании 1999 года заметная часть этих ляпсусов устранена. Ради удобства современного читателя мы рядом со страницей «Второй книги», которую указывает Л. Чуковская по первому парижскому изданию, во всех случаях ставим еще и страницу этой книги по русскому изданию 1999 года, отмечая при этом те случаи, когда ошибка автора исправлена.

Возвращаясь к дневниковым записям Л. Чуковской по поводу книги Н. Мандельштам, приведем и такие: «Было слово (у Маяковского) “мужиковствующие”. Теперь появилась целая свора “хулиганствующие”»: Н. Я. Мандельштам, Синявский, Зиновьев, Марамзин...» (июль 1982).

И еще: «Я занялась Н. Я. Мандельштам потому, что меня пугает уровень общества, в котором такие люди имеют успех».

«Уровень общества» за прошедшие десятилетия изменился. В каком направлении — покажет восприятие «Дома Поэта», предлагаемого вниманию читателя.

2001

* Поскольку теперь «Записки...» напечатаны полностью (в 3-х т.), мы дополнили рукопись также и ссылками на «Записки...» по последнему изданию 2007 года.

«ПОСЛЕ КОНЦА»*

Из «ахматовского» дневника



ногие годы Лидия Чуковская вела отдельный «ахматовский» дневник. Эти записи за 1938–1941 и 1952–1966 годы легли в основу ее трехтомных «Записок об Анне Ахматовой» (М.: Согласие, 1997).

Ахматова скончалась 5 марта 1966 года. В эти дни Лидия Корнеевна была прикована к постели из-за тяжелой болезни сердца. Но она продолжала делать записи об Ахматовой в отдельных тетрадях, которые назвала «После конца». Сохранились две такие тетради — с 8 марта по 17 октября 1966 года. Одновременно с отдельными «ахматовскими» тетрадями Лидия Корнеевна вела еще и «Общий дневник». После 17 октября 1966 года все записи о судьбе ахматовского наследия делались уже в «Общем дневнике».

Предметом публикации и стали две тетради «После конца». Включены также несколько дат из «Общего дневника», причем эти даты отмечены знаком «*».

В первые месяцы после смерти Ахматовой завязались все узлы и сложились все противостояния, которые получили свое развитие в дальнейшем десятилетии. Это, прежде всего, разногласия по поводу судьбы рукописей Ахматовой. Десятки ее стихотворений никогда не появлялись в печати, причем некоторые даже не были записаны и хранились только в памяти близких друзей. Именно тревогой за судьбу неподцензурной и неопубликованной Ахматовой и продиктованы многие страницы в записях Лидии Корнеевны.

Сын и наследник Анны Ахматовой Лев Николаевич Гумилев подарил весь архив матери Пушкинскому Дому. Однако факти-

* Знамя. 2003. № 1. С. 154.

чески бумаги оставались в квартире, где Ахматова жила вместе с дочерью и внучкой своего третьего мужа — Н. Н. Пунина. Спор из-за рукописей дошел до суда, который состоялся в феврале 1969 года.

В первые же месяцы после смерти Анны Ахматовой была начата подготовка тома ее стихотворений для Большой серии «Библиотеки поэта». Редактором тома был академик Жирмунский.

И наконец, Лениздат (издательство Ленинградского горкома партии) начал готовить том стихотворений Анны Ахматовой, причем Лидии Корнеевне поручили подготовить и прокомментировать сначала окончательный текст «Поэмы без героя», а потом и весь отдел «Стихотворений».

Все эти начинания завершились лишь в семидесятые годы. Том в «Библиотеке поэта» вышел только в 1976 году, через пять лет после смерти академика Жирмунского. Жирмунский, разумеется, ссылался на источник многих сведений о датах, посвящениях и текстах, которые предоставила ему Лидия Корнеевна по своим тогда еще неопубликованным «Запискам...» и своему обширному архиву автографов Анны Ахматовой. Но имя ее было в СССР под запретом, и все ссылки на источник были сняты редакцией.

Ее работа для Лениздата — подготовленные тексты и примечания вышли под именем редактора книги. Ее вклад в подготовку к печати многих ахматовских текстов был полностью затушеван.

Однако сохранились десятки писем Лидии Чуковской к В. М. Жирмунскому с ответами на все возникающие у него текстологические вопросы, сохранилась и переписка с Лениздатом, и верстка подготовленной ею книги. Как принято надеяться: «Время все расставит по своим местам».

Январь 2003

«СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ! — И ВСЕ ЖИВЫЕ!»*

*Отзывы читателей о «Записках об Анне Ахматовой»
Лидии Чуковской*



авно известно, что книги имеют свою судьбу. Была своя судьба и у трехтомных «Записок об Анне Ахматовой», написанных Лидией Чуковской. Расскажу о том, как создавалась эта книга, и о том, как она была воспринята современниками.

В архиве Лидии Корнеевны сохранилась папка «Отзывы читателей», куда на протяжении многих лет она складывала письма о «Записках...». Эта папка пополнялась с 1967 по 1994 год (накопилось около шестидесяти писем), а ее содержимое отразило и этапы написания книги, и ее восприятие в разные эпохи жизни нашего общества.

Случилось так, что наиболее серьезные и многосторонние отзывы автор получил именно от читателей. До перестройки все письма приходили не по почте, а с оказией, из рук в руки, поскольку речь шла сперва о потаенной рукописи, а потом о заграничном издании книги.

Многие авторы писем рассказывали о своих впечатлениях от знакомства с Ахматовой или с ее стихами и дополняли «Записки...» своими свидетельствами.

Работа над «Записками...», начатая в 1966 году, вскоре после кончины Ахматовой, продолжалась десятилетия, причем третий том (не вполне заверченный автором) и «Ташкентские тетради» были напечатаны лишь посмертно — в 1997-м.

Последовательность работы видна из переписки Лидии Корнеевны с отцом, чьим мнением она всю жизнь дорожила и чьему строгому вкусу абсолютно доверяла.

В письме, датированном апрелем 1967 года, Корней Иванович — первый читатель рукописи — писал дочери о первых

* Знамя. 2005. № 8. С. 144—147. В заглавии — цитата из письма Л. Пантелева — Л. Чуковской от 29.03.81.

страницах «Записок...»: «...Их историческая ценность огромна. Я читаю и перечитываю эти с виду такие простые, но такие художественные — и в своей совокупности — такие драгоценные строки».

Этот первый отзыв относится к самому началу работы. Отвечая отцу, Лидия Корнеевна писала: «Скоро получу у машинистки и пришлю тебе продолжение. До конца первого тома еще далеко. Он будет кончатся нашим с нею приездом в Ташкент».

И еще через год (в марте 1968): «Ты спрашиваешь, над чем я работаю. Я почти кончила “Ключи” *ко всему* ахматовскому Дневнику. Прежде чем создавать новые части этой книги — 1941–1942 — Ташкент; 1952–1966 — Москва — Комарово — Москва, — необходимо было обозреть и как-то систематизировать весь материал, чтобы отдать себе отчет в том, что у меня есть. Я и сделала “Ключи” — нечто вроде конспекта — *всех* тетрадей, выписав кратко даты, варианты и пр. Дней через 10 “Ключи” будут кончены, и я пойму, что делать дальше. За какую часть братья. Может быть, начну писать историю текста “Поэмы” — материал огромный. Может быть, — для сборника Герштейн — “Ахматова о литературе”; может быть, просто подряд с 1952 г. Еще не знаю. Подскажут “Ключи”».

Из этого письма следует, что дальнейшая судьба «Записок...», направление работы над ахматовскими материалами еще не окончательно прояснились для автора.

«Обозревая весь материал», Лидия Корнеевна перечитывала не только свои «ахматовские дневники», но и «общий дневник», который называла «всякая всячина». «Записки...» создавались на основе обоих источников, причем записи об Ахматовой дополнялись картинками окружающей жизни тех лет.

Собрав свои записи за 1938–1941 годы, Лидия Корнеевна начала давать эту рукопись узкому и тесному кругу ближайших друзей Анны Андреевны.

Сохранились отзывы Марии Сергеевны Петровых, Нины Антоновны Ольшевской, Владимира Адмони и Тамары Сильман, Юлиана Григорьевича Оксмана и его жены Антонины Петровны. Всё это люди, на протяжении многих десятилетий наблюдавшие трудную жизнь Ахматовой с близкого расстояния.

«Я и представить себе не могла, что это возможно — передать на бумаге облик и речь Ахматовой с такой достоверностью и точностью в мельчайших деталях, — пишет Нина Антоновна

Ольшевская. — На Ваших страницах Ахматова явится будущим читателям такой, какой она была — умная, гениально одаренная и совершенно трагической судьбы...»

А вот мнение Марии Сергеевны Петровых: «Чтение их [“Записок...”] было для меня мучительным счастьем, ошеломляющим счастьем встречи. Вам, конечно, не думалось, что эти записи когда-то станут чудом, — не воскрешения, но оставления в живых навсегда».

«Порою я воспринимал страницы Ваших записей, как счастливо найденную Вами новую форму исторической хроники, — замечал историк литературы Ю. Г. Оксман, — еще далеко не изжитой до конца, хроники “страшных лет” России».

Академик В. М. Жирмунский в это время готовил к изданию первое посмертное собрание стихотворений Анны Ахматовой для Большой серии «Библиотеки поэта». «Для меня, конечно, — писал он, — особенно важно все, что касается истории текста “Поэмы”. Здесь Вы были в буквальном смысле “наперсницей” поэта».

Эти и другие отзывы первых читателей «Записок...» определили дальнейшее направление работы Лидии Корнеевны. Она продолжила расшифровку своих ахматовских записей за последующие годы.

Конец 60-х — начало 70-х годов были трудным периодом в ее жизни. В октябре 1969 года умер Корней Иванович, вскоре вступил в силу запрет упоминать ее имя в печати — в отместку за общественную позицию и «Открытые письма» в поддержку преследуемых по политическим мотивам. В 1974 году она была исключена из Союза писателей СССР. Это сделало невозможным какое бы то ни было печатание в России, и в том числе участие в посмертных изданиях стихотворений Анны Ахматовой.

Ее огромная работа по подготовке ахматовского сборника для Лениздата — текстологическая и комментаторская — была загублена и вышла под другим именем. После смерти академика Жирмунского все ссылки на полученные от нее сведения о датах, посвящениях и вариантах были устранены из ахматовского тома в Большой серии «Библиотеки поэта».

В результате первая публикация отрывков из «Записок...» была сделана в Париже, в издательстве ИМКА-Пресс, столько сделавшем для сохранения нашей преследуемой литературы. В 1974 году издательство выпустило сборник «Памяти Анны Ахматовой». В сборнике был большой отдел ахматовских стихот-

ворений, печатаемых впервые и сохранившихся лишь в памяти ее друзей. Один из отделов этого сборника включал страницы «Записок...» за 1952—1956 годы. Книга небольшими партиями просачивалась в СССР, и следующие отзывы читателей были уже на это издание.

Интересны письма двух критиков — Е. Доби́на, автора книги «Поэзия Анны Ахматовой», и пушкиниста Валентина Непомнящего. Добин благодарит за «...Ваши собственные мысли об А. А. и ее поэзии, поразившие меня своим магическим проникновением в “зазеркалье” ахматовской поэзии, тайное-тайных ее непостижимого обаяния. — И продолжает: — Думаю, что это — лучшее, наиболее близкое сокровенной сути ее поэзии, из всего, что написано об А. А.».

В. Непомнящий так воспринял прочитанное: «Меня почти ни на минуту не покидало ощущение, что я вижу все собственными глазами, слышу своими ушами, знаю давным-давно то, чего никогда не знал, и знаком лично с людьми, о которых знал только понаслышке. В этом смысле передо мною настоящая драма, но не разыгрываемая в театре, даже самом удивительном, а происходящая в жизни, “сегодня, здесь, сейчас”, — да, пожалуй, и со мною самим. Вы не просто записываете, Вы *возобновляете жизнь*, и я снова и снова понимаю — точнее, не понимаю, а чувствую — чудо слова, мистику слова. Тот образ А. А., который встает передо мною, по живости, осязаемости, объемности, глубине, драматизму я могу смело сравнивать (в литературном отношении) с лучшими достижениями русской литературы».

Первый том «Записок...» (1938—1941) был опубликован отдельным изданием в 1976 году в Париже в том же издательстве ИМКА-Пресс. Второй том (1952—1962) вышел там же в 1980-м. Сама структура книги складывалась не сразу и утвердилась четко лишь ко времени выхода второго тома. Первый том был переработан автором по образцу второго и переиздан в ИМКА-Пресс в 1984 году.

Конечно, писем об этих изданиях гораздо больше, чем откликов на потаенную рукопись.

В письмах зазвучали голоса иностранных читателей, среди которых — Нина Берберова и Исайя Берлин. Нина Берберова пишет: «Читала день и ночь, ни о чем другом не могла думать. А. А. — как живая, и Вы тоже — как живая, и от каждой страницы идет на меня боль. Да, я обнимала ее и целовала на Северном

вокзале в Париже, когда она уезжала домой. И чувствовала ее большое, тяжелое тело, и видела ее страшное лицо».

А Исайя Берлин вспоминает: «Вы знаете, я сыграл — нечаянно — символическую роль в ее “Поэме без Героя” — и факт, что я самым обыкновенным, обывательским образом взял да женился, ее обидел, в Оксфорде она отнеслась к моей жене очень и очень холодно: в ее присутствии она гордо молчала: говорила со мной только наедине. Я понимаю, что я не понял ту честь, которая в “Поэме” на меня была возложена — А.А. была глубоко разочарована, даже, может быть, почувствовала известное негодование — иначе я не могу себе этого объяснить»*.

Так письма первых читателей «Записок...», современников Ахматовой, дополняли ее облик, сохранившийся на страницах книги.

Распространение рукописи «Записок...» в Самиздате и их последующее парижское издание поставило Лидию Корнеевну перед неожиданной проблемой. Ее имя в России оставалось запрещенным, а некоторые профессиональные литераторы начали использовать «Записки...» без ссылок на автора, выдавая авторские мысли о творчестве Ахматовой или суждения Ахматовой в записи Чуковской — за свои мысли или свои воспоминания.

В архиве Лидии Чуковской уцелело несколько ее протестов против присвоения ее труда. Один из таких протестов помещен в первом томе «Записок...»: «То в одной, то в другой статье об Анне Ахматовой читаю я присвоенные автором слова Анны Андреевны безо всякой ссылки на “Записки...”...Под фотографиями Анны Андреевны стоит обычно имя того, кто снимал. Уважен труд. Почему же мой труд — писательский — лишен уважения и защиты?» О послесловии Н. Банникова к «Избранному» Анны Ахматовой (М., 1974) Лидия Корнеевна пишет, что автор «...не постеснялся использовать мой труд без моего ведома, вопреки моей воле, твердо ведая только одно: имя автора “Записок” на родине — запрещенное имя и возможности протестовать автор лишен»**.

Среди других, более поздних возражений — письмо в газету «Советская Татария», которая 17 января 1988 года напечатала

* «Если бы вдруг позвонил Евгений Онегин или Тарас Бульба». Переписка сэра Исайи Берлина с Лидией Чуковской / Подг. текста, вступл. и примеч. Е.П. Чуковской // Новый мир. 2009. № 12. С. 162—163 (Письмо к Л. Чуковской от 16/17 июня 1981 г.).

** Без заглавия // Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М.: Согласие, 1997. С. 339—340.

статью Т. Карловой «Возвращаясь к Ахматовой». В статье приведена большая цитата из «Записок...» без ссылки на автора. На эту же тему и письмо к В. Лукницкой об ее книге «Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких».

Как заключает Лидия Корнеевна, «...выход в свет моих “Записок” за рубежом нисколько не помешал желающим обворовать меня дома. Напротив, хищников оказалось множество, и им было раздолье».

В июне 1989 года первый том «Записок...» был начат печатанием в журнале «Нева» (№ 6 и № 7). В 1993-м журнал напечатал второй том (№ 4–9), а затем выдвинул «Записки...» на Государственную премию за 1994 год, которую Лидия Чуковская и получила летом 1995 года за полгода до смерти.

Журнальная публикация сделала книгу широко доступной российскому читателю. Хотя запрет на имя автора «Записок...» был снят, слова Ахматовой, записанные Чуковской, продолжали кочевать по страницам печати безо всяких ссылок на первоисточник.

Это заставило Лидию Корнеевну обратиться в газету «Известия» с письмом, которое она озаглавила «Я — не микрофон»*. Письмо кончалось таким выводом: «Большое значение придаю я устной ахматовской речи — пронзительной, глубокой, пророческой, всегда исполненной юмора, часто неистовой и всегда — афористичной. На мой взгляд, устное творчество Анны Ахматовой подлежит сопоставлению с ее стихами и прозой. А цитирование — охране. В частности: указанием на первоисточник».

Отдельной книжкой в России при жизни автора вышел только первый том «Записок...» (М.: Книга, 1989). Два других издания в России (Харьков: Фолио, 1996. Т. 1 и Т. 2 и М.: Согласие, 1997. Т. 1–3) напечатаны лишь посмертно.

Август 2005

* Известия. 1993. 2 окт. С. 8. № 188.

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ. КАК ЗАЩИТИТЬ ГЕНИЕВ ОТ МАССКУЛЬТА*



сть имена, ставшие культурной и гражданской сенсацией века. Появившаяся недавно книга Тамары Катаевой «Анти-Ахматова» — попытка неллицеприятной биографии поэтессы... Об этой ревизии блистательной литературной репутации — наш разговор с Еленой Чуковской, дочкой автора «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской.

Российская газета: Елена Цезаревна, вы читали книгу Тамары Катаевой? Какое впечатление она оставила?

— Я ее просмотрела, но не дочитала до конца. Очень невежественная книга. «Кто это право дал кретину совать звезду под гильотину», — цитирует Катаева Анну Ахматову и дальше жирным шрифтом Тамара Катаева пишет от себя: «Так она разошлась в период оттепели. Гражданский пафос был ярок...» Все бы ничего, да вот только цитирует она строчку из стихотворения поэтессы Юнны Мориз, посвященного памяти Тициана Табидзе. И таких ляпсусов в книге много. К своему изумлению, я обнаружила, что из 560 страниц 61 страницу занимают надерганные цитаты из книги моей матери Лидии Корнеевны Чуковской «Записки об Анне Ахматовой».

Я бы хотела подчеркнуть, что Лидия Корнеевна никогда не разрешала печатать отрывки из своих «Записок», сколько ее ни уговаривали. Потому что всегда считала, что никакая часть не передаст целиком облика ее героини — Анны Ахматовой. А тут автор позволяет себе выдергивать клочки — иногда три слова,

* Интервью Наталье Лебедевой // Российская газета. Федеральный выпуск. 2007. 22 авг. № 4446.

иногда пять, иногда абзац, ставить точку, где ей захочется, — и продолжать фразу своими репликами, выделенными жирным шрифтом. Что это за отношение к авторскому тексту? Я хочу заметить, что никто не отменял у нас авторского права, и я веду консультации со своими юристами на предмет защиты принадлежащих мне прав на произведения моей матери. Такой обработке подвергаются и другие мемуаристы. Анатолий Найман, например. Если же говорить о книге в целом, то она в силу своей лоскутности и того, что автор пишет о поэте, которого не любит и не знает, получилась поспешной, безграмотной и сплетенной кое-как. Не имеет смысла говорить о Булгакове, Толстом, Ахматовой или менее крупных писателях вне их творчества. Бессмысленно культивировать и поддерживать интерес к биографии писателя без интереса к его произведениям.

РГ: Исследователь, литературовед, всерьез занимаясь писателем или поэтом, собирает огромное количество сведений о его жизни. Нужно ли всем этим делиться с читателем? Может, стоит ввести табу на определенные темы или даже цензуру?

— Никакой цензуры быть не должно. Но исследователь должен знать, любить и понимать своего героя. А если он хочет показать свою развязность и умение делать «надписи на заборе», пусть это остается на его совести. Сумел же Владислав Ходасевич написать великолепную биографию Державина и решить проблемы связи творчества, биографии и частной жизни так, чтобы это стало литературным событием. Все зависит от таланта исследователя. Мне вот не очень понятно, почему Катаева взялась за биографию Ахматовой. Стихов Ахматовой она не читала и не любит, свои соображения высказывает крайне невнятно. Но о жизни Ахматовой, видимо, что-то прочитала.

РГ: Каковы, на ваш взгляд, критерии, которые делают человека с литературным талантом личностью и свидетельствуют о его авторитетности? И зачем вообще нужны авторитеты?

— Наша страна сейчас страдает не от избытка авторитетов, а от их отсутствия. Нам нужны личности с большой буквы. Которые как раз и существуют в нашей литературе. Не знаю, насколько сейчас актуально сбрасывать с парохода современности

очередного Пушкина. Хотя этим упорно занимается определенная часть людей. Надеюсь, что книгу Катаевой ждет героостратова известность, потому что это попытка негодными средствами низвергнуть авторитет. Авторитет Толстого, Тургенева, любого другого писателя стоит на интересе к нему читателя. Писатель существует, пока живет интерес к его творчеству. Мне кажется, что произведения вроде «Анти-Ахматовой» — попытка массовой культуры освоить то, что она, видимо, не понимает и не чувствует. Мне вспомнилась статья моего деда Корнея Ивановича Чуковского «Глухонемые в опере». Если глухонемые не слышат оперы, то тут уже ничего не сделаешь. Вся надежда издателя и автора только на скандальную известность.

РГ: Людям интересно знать подробности личной жизни великих, и массовая литература удовлетворяет эту потребность, не забываясь о том, насколько это соответствует настоящей культуре. Ушедшие гении защитить себя уже не могут, а кто может?

— Защитить могут люди, которые думают иначе, понимают и любят поэзию, литературу. Они не будут гоняться за такой книгой, и никакого влияния на них она оказать не сможет. В этом я уверена. У нас выходят книги Ахматовой, на ее стихи поют песни, ее читают по радио — все это и есть противостояние таким, как Катаева. Сам писатель себя защищает тем, что его помнят и читают настоящие читатели. А разговорами его не защитит. Что бы ни писали о Толстом и что бы он сам ни писал — с чем-то я согласна, с чем-то нет — все равно буду читать «Анну Каренину». Либо вы слышите голос писателя, и он вам дорог, либо нет, как в случае с Катаевой.

РГ: Литература — сфера наших достижений. У нас не очень сильная экономика, слабая политическая культура, но литература блистательная. И она всегда занимала ведущее место в жизни общества — люди читали и читают книги. Как вы думаете, что надо делать, чтобы позиция литературы не менялась? Можно ли научить детей правильно читать?

— Все взаимосвязано: насколько будут образованы учителя, смогут ли они увлечь детей литературой или привьют им на всю жизнь неприязнь к тому, что они проходили в школе. А это, в

свою очередь, зависит от того, кто и как учит самих учителей в университетах, от состояния архивов и библиотек, от пропаганды книги, которая в последнее время практически отсутствует на радио и телевидении. Все это вместе составляет важную часть жизни общества, а вернее, общей культуры народа. В этой области не все обстоит благополучно. Впрочем, не только у нас, во всем мире.

Август 2007

«...ЕСЛИ БЫ ВДРУГ ПОЗВОНИЛ ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ИЛИ ТАРАС БУЛЬБА»*

Переписка сэра Исайи Берлина с Лидией Чуковской



ля Лидии Чуковской оксфордский профессор, философ, дипломат, сэр Исайя Берлин (1909–1997) был персонажем из ахматовской «Поэмы без героя», легендарным «Гостем из будущего», адресатом многих ахматовских стихотворений.

Недаром накануне предстоящей встречи с Берлиным (в марте 1988 года), Л. К. пишет в дневнике: «В субботу 19/III он позвонил в 6 ч. Чистый русский язык. Твердый голос. Я попросила приехать в 9 ч., совершенно без ума от удивления. Это как если бы вдруг позвонил Евгений Онегин или Тарас Бульба. — Странно до остановки дыхания.

Он здесь в качестве гостя британского посла. В 7 ч. позвонил шофер, переспросил адрес (хотя я подробно продиктовала его сэру Исайе). Затем так: — Г-жа Чуковская, вам известно, что у вас в 9 ч. будет гость? — Да. — Это гость такого высокого ранга, что я должен буду сделать пробный рейс. (В центре города — пробный рейс!) Ну что ж, говорю, делайте пробный рейс...».

Их переписка началась задолго до личного знакомства. Сэр Исайя был еще с 1945 года знаком с Корнеем Чуковским, принимал его в Оксфорде в мае 1962 года, когда Чуковскому присудили там докторскую степень *honoris causa*** . После смерти Корнея Ивановича (28 октября 1969) Лидия Корнеевна послала И. Берлину первые журнальные публикации из его архива. Отзыв Берлина о прочитанном и послужил началом переписки.

В последующие годы Лидия Корнеевна очень ждала мнения И. Берлина о своих «Записках об Анне Ахматовой». Поскольку на родине имя Л. К. было под запретом в почтовых письмах на-

* Новый мир. 2009. № 12. С. 148–149.

** Во внимание к заслугам (*лат.*).

до было соблюдать осторожность. 20 ноября 1975 г. Берлин пишет: «Я прочел также кое-что Вами написанное об А. А. и это так глубоко меня задело и напомнило мне столько “пережитого и передуманного”, что я не знал (и не знаю), как суметь сказать Вам чего-то не слишком недостойного». И в другом письме: «Это произвело на меня невероятное впечатление: ничего лучшего не существует — так мне кажется — со времен Герцена и писем Байрона, как evocation* не только личности А. А., но и жизни и быта и внутреннего мира целого общества в обществе — по абсолютной правдивости, бесконечной моральной чуткости, полноте и — позвольте мне сказать — благородству (если можно так выразиться) — и, конечно, художественности...» (16/17 июня 1981).

В дневнике Лидии Корнеевны сохранилась запись о встрече с И. Берлиным в марте 1988 года:

«Гость высокого ранга явился минута в минуту. Тяжелая шуба. Трость на руке. Что-то не совсем ладное с глазом (кажется). Но легок, быстр и свободен в движениях. От всякой еды отказался, согласился только на боржом.

Разговор был пустой, потому что я за все 2½ часа не могла оправиться от удивления.

Когда он ушел, я кое-как записала некоторые реплики.

Об АА: — Она была трудная. Я не виноват, что она сочинила миф.

— Пастернак изо всех сил не хотел быть евреем, он хотел быть белокурым, голубоглазым новгородцем...

— Бродский плох здоровьем. Он не будет жить долго.

— Когда К. И. был у нас в Оксфорде, он, я заметил, очень хотел приобрести английский костюм. Я повел его к хорошему портному. Тот сказал, что для джентльмена такого высокого роста и с такими длинными руками у него костюма нет. Я предложил сшить. “Могу, но это займет 7 месяцев”, — был ответ. Я подумал, что после такого ответа и таких сроков К. И. навсегда разлюбит Англию».

Потом пересказал свою встречу с АА (ленинградскую). Очень смешно изобразил, как Черчилль (сын) орал под окном “Исайя! Исайя!”

* Воскрешение в памяти (англ.).

— Это было ужасно, он был пьян.

О себе: — Я тогда был *persona non grata*, а теперь *non non grata*.

Я его вначале разговора спросила, как мне называть его:

— Исай Менделевич.

Конечно, для романа с АА, для выслушивания неистовых речей* он недостаточно тяжел, он легкий, а не тяжел.

Я его направила к Толе**, соединясь с ним по телефону — Толя ахнул! — и на следующий день они встретились».

Еще через год, в апреле 1989 года я приезжала в Лондон и гостила у своей давней подруги Сильвы Рубашовой. Мы подружались с Сильвой еще в 1962 году в Ялте, потом она уехала в Израиль, оттуда переехала с мужем в Лондон, работала на Би-би-си, написала автобиографическую повесть «Воробей на снегу» (М.: Слово, 1992). По моей просьбе сэр Исайя согласился дать интервью советскому телевидению, и мы ездили к нему в Оксфорд вместе с Сильвой и тогдашним лондонским корреспондентом Гостелерадио Всеволодом Шишковским. Было записано большое интервью, которое показали в России, а Берлин надолго подружился с Сильвой, и его последние письма к Лидии Корнеевне написаны ее почерком под его диктовку. Сильва была переводчицей первого тома «Записок...», вышедшего по-английски в Лондоне и США, после 1989 года она часто упоминается на страницах этой переписки.

В 2009 году в России широко отмечалось 100-летие со дня рождения И. Берлина. К этому времени переведены и изданы по-русски многие его статьи и книги***

* Скрытая цитата из стихотворения Анны Ахматовой «Чугунная ограда...»: «Теперь твой слух не ранит / Неистовая речь...»

** Анатолий Генрихович Найман (р. 1936), поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист. Последние годы жизни Анны Ахматовой исполнял обязанности ее секретаря. Автор «Рассказов о Анне Ахматовой» (М.: Худож. лит., 1989) и романа об Исайте Берлине «Сэр» (М.: Эксмо, 2001).

*** И. Берлин. История свободы. Россия // Новое литературное обозрение, 2001; Философия свободы. Европа: Там же.

В архиве Л. К. Чуковской сохранилось 7 писем И. Берлина. Одно из этих писем (от 20.11.75) теперь находится в ОР РНБ (Ф. 1414). Остальные в начале 2009 г. переданы мною в РГАЛИ. 13 писем Лидии Чуковской хранятся в Оксфорде, в Bodleian Library. The Isaiah Berlin Literary Trust*.

Декабрь 2009

* Библиотека «Бодлеана» в Оксфорде. Фонд литературного наследия Исаяи Берлина (*англ.*). Указан № полки/ № папки: 197/ 254; 198/ 140; 201/ 61; 203/ 93–8; 205/150–1; 210/ 137–40; 212/ 45; 216/ 43–4, 193; 217/ 40–3; 224/ 138–9, 159–62; 227/ 194–7; 229/ 263–4.

ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ*



УКОВСКАЯ *Лидия Корнеевна*, прозаик, критик (24.3. [11.3.] 1907 С.-Петербург — 7.2.1996 Москва). Мать — Мария Борисовна Чуковская, отец — писатель Корней Иванович Чуковский. Детство прошло в финском поселке Куоккала (ныне Репино).

До 1917 года семья жила там постоянно зимой и летом. В Куоккале жил и знаменитый художник И. Е. Репин, который сблизился с К. И. Чуковским. К Репину по средам, а к Чуковскому по воскресеньям приезжали из Петербурга художники, писатели, актеры, поэты. Девочкой Ч. встречала в доме Шаляпина, Маяковского, Леонида Андреева, Владимира Короленко.

В 1917 году семья переехала в Петербург. Ч. отдали учиться в частную женскую гимназию Таганцевой; позднее, когда в советских школах началось совместное обучение, — в 15-ю единую трудовую школу, то есть в бывшее (мужское) Тенишевское училище. В эти годы К. И. Чуковский работал в издательстве «Всемирная литература», преподавал в студии «Дома искусств», поэтому Ч. посчастливилось постоянно встречаться со знаменитыми людьми: в отрочестве и в юности — видеть и слышать Александра Блока, Н. Гумилева, Анну Ахматову, О. Мандельштама, Владислава Ходасевича, Ю. Н. Тынянова, М. Горького, а также молодых «Серапионовых братьев»: М. Зощенко, В. Каверина, М. Слонимского, Льва Лунца.

В 1924 году Ч. поступила на Словесное Отделение Государственных Курсов при Институте истории искусств и одновременно — на Курсы стенографии. Летом 1926 года, студенткой второго курса, Ч. была арестована. Ей вменялось в вину состав-

* Московская энциклопедия. Лица Москвы / Гл. ред. С. О. Шмидт. — М.: Фонд «Московские энциклопедии». Мультимедийная версия в 4-х дисках. Диск 4.

ление одной антисоветской листовки, хотя на самом деле никакого касательства к этой листовке она не имела. Приговор: три года административной ссылки в Саратов, однако благодаря заступничеству отца Ч. пробыла в Саратове всего одиннадцать месяцев. Подробнее об аресте и ссылке см. «*Прочерк*» (1986).

По возвращении в Ленинград в 1928 году Ч. поступила на работу редактором в Ленинградское отделение Детиздата, главою которого был С. Я. Маршак. В 1928 г. она напечатала под псевдонимом А. Углов свой первый рассказ «*Ленинград—Одесса*», позже под этим же псевдонимом «*Повесть о Тарасе Шевченко*» (1930) и «*На Волге*» (1931).

В 1929-м Ч. вышла замуж за историка литературы Ц. С. Вольпе, в 1931-м родила дочь Елену, в 1933-м разошлась с мужем и через некоторое время вышла замуж за М. П. Бронштейна — физика-теоретика, сотрудника Физико-технического института, доцента Ленинградского университета. Кроме чисто научной деятельности М. П. Бронштейн занимался и популяризацией науки.

В 1937 году книжная редакция ленинградского Детиздата подверглась жесточайшему разгрому: половина ее состава была арестована, а некоторые авторы расстреляны (среди них поэт Николай Олейников и муж Ч., Матвей Бронштейн, блестящий молодой физик, чьи работы и сегодня высоко ценятся в мире). После ареста мужа пришли арестовывать и Ч. как жену врага народа, но она была в отъезде и вернулась в Ленинград лишь год спустя. В пору, когда в стране царил леденящий душу страх, Ч. написала повесть «*Софья Петровна*» (1939—1940), пытаясь рассказать, что сделал с людьми сталинский террор. Единственный экземпляр рукописи сохранили, с риском для жизни, друзья. В 1965 году повесть с большими искажениями вышла в свет в Париже, в 1966-м (почти без искажений) — в США. Она переведена на многие языки мира, в России впервые напечатана в 1988 году.

Осенью 1938 года Ч. начала часто встречаться с Анной Ахматовой. Колеблясь между страхом обыска и необходимостью записывать каждое ее слово, она начала вести дневник этих встреч.

В 1940 г. вышла «*История одного восстания*». В книге речь идет о восстании украинского крестьянства против Речи Посполитой, получившего название «колиивщины» (1768).

Перед самой войной в мае 1941 года Ч. приехала в Москву, чтобы сделать операцию. Война застала ее еще не оправившейся от болезни, в июле она была эвакуирована вместе с дочерью и племянником в Чистополь. В Чистополе Ч. познакомилась с М. Цветаевой и позже написала о ней воспоминания «*Предсмертие*» (1981). В октябре 1941 г. к Ч. приехала эвакуированная из блокадного Ленинграда Ахматова, и они вместе проехали через всю страну — в Ташкент. В Ташкенте Ч. поступила на службу во Дворец пионеров (вела литературный кружок и занималась редактированием) и работала на общественных началах в Комиссии помощи эвакуированным детям. Она записала рассказы детей о пережитом и эти записи вошли в книгу «*Слово представляется детям*» (1942).

В ноябре 1943 года Ч. вернулась из эвакуации в Москву и поселилась в квартире отца на Тверской, 6. Получить обратно свою ленинградскую квартиру ей не удалось, и она прожила в Москве, в отцовской квартире до конца жизни.

После войны Ч. дважды поступала на работу: зимой 1946/47 г. зав. отделом поэзии в «Новом мире» (см. «Из дневника: Полгода в «Новом мире») и редактором в «Пионерскую правду» (1948—1949). Кроме того, она периодически редактировала статьи для «Литературного наследства». Жила трудно, на случайные заработки: ни на одной штатной работе из-за неблагоприятной биографии, а также из-за непреклонности характера ее долго не держали. В эти же годы она работала над биографией Миклухо-Маклая и редактировала его дневники, которые вышли с ее примечаниями и предисловием (*Н. Н. Миклухо-Маклай. Путешествия*, 1947). Была написана повесть «*Спуск под воду*» (1949—1957) — об арестах конца 40-х гг., о кампании «борьбы с космополитами» и нравственном падении советского общества. Повесть была опубликована через 15 лет на Западе (1972) и напечатана в России лишь в 1988-м.

Тогда же, в конце 1940-х годов Ч. начала работу над биографией Герцена, готовила по договору с Детгизом комментированное издание «Былого и дум». Однако по цензурным причинам книга не вышла. Была напечатана лишь небольшая часть задуманного — «*“Былое и думы” Герцена*» (1966). В 1950-е гг. печатаются книги Ч. о «*Декабристах — исследователях Сибири*» (1950, 1951), выходят небольшие монографии о творчестве Б. Житкова и С. Георгиевской (1955). В альманахе «Лит.

Москва» (1956. Сб. 2) был напечатан «Рабочий разговор», где Ч. анализирует суть редактирования худож. лит-ры и пишет о злоупотреблениях в этой работе; позже статья была развита в книгу «В лаборатории редактора» (1960). В главе «Маршак редактор» Ч. удалось рассказать о судьбе книг и авторов разгромленной маршакховской редакции.

Одну зиму, в конце пятидесятых, Ч. преподавала на Высших литературных курсах при Союзе писателей. (В Союз она была принята в 1947 году.) Конец «оттепели» прошел для Ч. в хлопотах по освобождению Иосифа Бродского, в ту пору осужденного за тунеядство. Многочисленные письма в защиту молодого поэта открыли в писательнице дар публициста. Ее мужественные и страстные письма и статьи — «Михаилу Шолохову, автору "Тихого Дона"» (1966), «Гнев народа» (1973), «Не казнь, но мысль. Но слово» (1968) распространялись в Самиздате, их передавали зарубежные радиостанции. Написанные в традиции герценовской публицистики (недаром писательница столько лет отдала изучению жизни и деятельности А. Герцена), они знаменовали собой новый этап отечественного правозащитного движения и свидетельствовали о высоком чувстве ответственности за страну и историю. С начала шестидесятых и в семидесятые годы вместе с другими представителями интеллигенции, писателями и учеными Ч. постоянно выступала против беззаконий, творимых властью. Этот период отражен в сборнике «Открытое слово» (1976, 1991).

В 1972 году в журнале «Семья и школа» было оборвано печатание воспоминаний Ч. об отце, скончавшемся в 1969-м. 9 января 1974 года Ч. исключили из Союза писателей: ей ставили в вину публикацию книг и статей за границей, передачи зарубежных радиостанций, а главное — статью «Гнев народа» — ту, в которой Ч. открыто возмущалась организованной травлей Пастернака, Солженицына и Сахарова. Эти обстоятельства нашли отражение в книге Ч. «Процесс исключения» (1979, 1990).

С момента исключения имя Ч. не упоминалось в России тринадцать лет и после запрета было впервые упомянуто в «Литературной газете» 3 июня 1987 года.

В 1964 году Анна Андреевна Ахматова поручила Ч. составить (под своим непосредственным руководством) сборник ее стихов и поэм. В 1965-м, с большими цензурными изъятиями, сборник «Бег времени» вышел в свет и оказался последним прижизнен-

ным изданием Ахматовой. В 1966-м, после кончины Анны Ахматовой, Ч. начала приводить в порядок свои давние дневниковые записи. Напечатать их на родине надежды не было. «*Записки...*» вышли на Западе (Т. 1, 1976, 1984; Т. 2, 1980). С начала 1980-х годов Ч. вела активную защиту музея Корнея Чуковского, стихийно сложившегося в переделкинском доме, где он прожил много лет. Она выступала в суде, начатом Союзом писателей, и ей удалось затормозить процесс и этим спасти музей.

Ч. написала воспоминания об отце «*Памяти детства*» (1972), работала над воспоминаниями о расстрелянном муже М. П. Бронштейне («*Прочерк*»), но не успела их завершить. Всю жизнь Ч. писала стихи. Один сборник вышел за границей (1978), а другой — в Москве («*Стихотворения*», 1992).

В годы перестройки Ч. была восстановлена в Союзе писателей, в России вышли ее книги, находившиеся под запретом. В 1990 году она стала первым лауреатом премии им. А. Д. Сахарова, а в 1994 году была удостоена Государственной премии за «Записки об Анне Ахматовой».

Многие ее книги были опубликованы лишь посмертно: «*Памяти Фриды*» — рассказ о близкой подруге, писательнице и журналистке Ф. Вигдоровой (Звезда. 1997. № 1), «*Прочерк*» (2001), «*Дом поэта*» (2001, полемика со «Второй книгой» Надежды Мандельштам), «*Мои чужие мысли*» (2001). Напечатаны ее переписки с *Корнеем Чуковским* (М.: Новое лит. обозр., 2003), *Давидом Самойловым* (М.: Новое лит. обозр., 2004; Нов. мир. 2006. № 6. С. 158—176), *В. М. Жирмунским* (Сб.: Я всем прощение дарую. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. С. 349—456 и Знамя. 2007. № 1. С. 166—187), *Л. Пантелеевым* (Звезда. 2007. № 3. С. 126—151), *Ю. Г. Оксманом* (Знамя. 2009. № 6. С. 134—176.) и *Исайей Берлиным* (Новый мир. 2009. № 12. С. 148—172). Большой интерес представляют «*Отрывки из дневника*» (о Т. Габбе, К. Симонове, Б. Пастернаке, И. Бродском, А. Солженицыне). Архив Ч. передан в РГАЛИ (Ф. 3390) и Российскую национальную библиотеку (С.-Петербург. Ф. 1414).

Соч.: Собр соч.: [В 11 нумерованных т.]. М.: Время, 2007—2012. Под псевд. А. Углов: Ленинград—Одесса, 1929; Повесть о Тарасе Шевченко, 1930; На Волге, 1931; под наст, фам.: История одного восстания. 1940; Слово, предоставляется детям [совм. с Л. Жуковой]. Ташкент, 1942; Н. Н. Миклухо-Маклай. М., 1948,

1950, 1952, 1954; Декабрист Николай Бестужев, исследователь Бурятии. М., 1950; Декабристы — исследователи Сибири. М., 1951; Борис Житков. М., 1955, 1957; С. Георгиевская. М., 1955; Рабочий разговор, альм. «Лит. Москва». Сб. 2. 1956; В лаборатории редактора, 1960, 2-е изд. — 1963, 3-е изд. 2005; Опустелый дом. Paris, 1965; под назв. Софья Петровна // Новый журнал, New-York. 1966. № 83, 84 и ж. «Нева». 1988. № 2; «Былое и думы» Герцена. М., 1966; Ответственность писателя и безответственность «Лит. газеты» // Новый журнал. № 93. 1968; Спуск под воду. Нью-Йорк, 1972; Открытое слово. N.Y., 1976; Записки об Анне Ахматовой. 1938—41. Т. 1. Paris, 1976, 2-е изд. — 1984. М., 1989, Нева, 1989. № 6—7; 1996, 1997, 2007; Т. 2. 1952—1962. Paris, 1980, Нева, 1993, № 4—9. М., 1996, 1997, 2007; Т. 3. 1963—1966. Нева, 1996, № 8—10. М., 1997, 2007; Памяти детства, N.Y., 1983 и М., 1989, 2000, 2007; По эту сторону смерти. Стихи. Paris, 1978; Стихотворения. М., 1992; Процесс исключения. Paris, 1979, М., 1990; Предсмертие // Время и мы. № 66, 1982 и Горизонт, 1988. № 3; Софья Петровна. Спуск под воду, М., 1988; Открытое слово. М., 1991; Сверстнику. М., 1991; Соч.: В 2 т. М.: Гудьял пресс, 2000; Соч.: В 2 т. М.: Арт-Флекс. 2001; Герой «Поэмы без героя» // Знамя. 2004. № 9.

Лит.: Тарле Е. Исторические книги для детей // Известия. 1940. 27 дек. С. 4; *Азадовский М.* Декабристы — исследователи Сибири // Сиб. огни. 1951. № 5. С. 105—106; *Брегова Д.* Живой образ писателя // Новый мир. 1955. № 10. С. 270—272; *Муравьев В.* Именем литературы // Ред. и книга. Сб. статей. Вып. 3. М.: Искусство. 1962. С. 288—298; *Белкин А.* Книга о Герцене // Новый мир. 1966, № 12; *Виноградов И.* Судьбы скрещения // Моск. новости. 1989. 9 июля. № 28; *Орлова Р., Копелев Л.* Портрет: «Души высокая свобода» // Лит. обзор. 1989. № 11. С. 73; *Ильина Н., Карякин Ю., Гинзбург Л. Я.* // Там же. С. 74—75; *Латынина А.* Писать — это было спасение... // Моск. новости. 1988. 24 апр.; *Разумов Анатолий.* Памяти юности Лидии Чуковской // Звезда. 1999. № 9. С. 117—136; *Корнилов Владимир.* «...Вы, как целая эпоха...» // Кн. обзор. 1990. 21 сент. С. 3; *Крышук Н.* В том доме было очень страшно жить // С.-Петербургские ведомости. 1994. 22 июня; *Julius Annette.* Lidija Cukovskaya. Leben und Werk. München: Sagner, 1995; *Кублановский Ю.* При свете совести // Новый мир. 2000. № 9. С. 224—226; *Мильчин А.* «В лаборатории редактора» Лидии Чуковской // Октябрь. 2001. № 8. С. 173—191; *Щегло-*

ва Е. Здесь «дышат почва и судьба» // *Континент*. 2002. № 114. С. 429–437; *Давыдов Данила*. Памятник ответственности // *Кн. обзор*. 2005. № 11–12. 23 марта; «Сколько людей – и все живые» (отзывы читателей о «Записках об Анне Ахматовой») // *Знамя*. 2005. № 8. С. 144–176; *Лойченко Светлана*. Это такой огонь под пеплом // *Северный комсомолец (Архангельск)*. 2006, 10 февр; *Крючков Павел*. Звучащая литература. II. Лидия Чуковская // *Новый мир*. 2006. № 4. С. 186–195; *Казак Вольфганг*. Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК «Культура», 1996. С. 459; *Авдеева Д., Сычева Ю.* Руководители Интернет-сайта «Отдав искусству жизнь без сдачи». <http://www.chukfamily.ru>.

2009

*В*споминая
А. И. Солженицына

ВЕРНУТЬ СОЛЖЕНИЦЫНУ ГРАЖДАНСТВО СССР*



В феврале 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР лауреат Нобелевской премии писатель А. И. Солженицын лишен гражданства СССР по статье 64 Уголовного кодекса «за измену Родине». А. И. Солженицын был арестован у себя на квартире, отправлен в Лефортовскую тюрьму, там ему были объявлены статья и приговор. Специальным самолетом он был вывезен за пределы своей страны. К этому моменту ему шел 56-й год.

Жизнь в России вместила учение в двух институтах, войну (о чем речь пойдет ниже), 8 лет лагерей, ссылку, работу учителем математики в деревенской, а потом и в рязанской школе, литературное признание и каждодневный увлеченный и одухотворенный труд безо всяких скидок на угрожающие условия жизни, травлю, клевету, болезнь.

Несмотря на все выпавшее на его долю, Солженицын прошел свой путь на нашей земле как человек счастливый, глубоко убежденный в нужности, неотвратимости перемен, за которые он и бился со всей мощью своего писательского дара и общественного темперамента.

Кстати, нашей сегодняшней гласности он добивался еще в 1969 году. Вот его слова в письме от 12 ноября 1969 г. Секретариату СП СССР: «Гласность, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству».

Чаша терпения руководства тех лет переполнилась, когда в декабре 1973 г. на Западе вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ».

* Книжное обозрение. 1988. 5 авг. № 32.

Надо сказать, что Солженицын не вполне добровольно пошел на выпуск за границей этого своего заветного, скрываемого до времени произведения, о котором знали лишь несколько его ближайших друзей. Обстоятельства вынудили его совершить этот шаг. Дело в том, что в августе 1973 года был конфискован один из первоначальных вариантов книги. Затем при невыясненных обстоятельствах погибла Елизавета Денисовна Воронянская, пожилая, одинокая ленинградка, которая много лет помогала Солженицыну как машинистка.

Публикация «Архипелага» на Западе была ответом Солженицына на конфискацию его рукописи и гибель его помощницы.

Выход «Архипелага» всколыхнул нашу печать. Два месяца обличающие автора подвалы, грозные передовицы, возмущенные письма непрочитавших книгу граждан, профессиональные карикатуры Бор. Ефимова не сходили со столбцов газет. Потом последовали Указ о лишении гражданства и принудительная высылка автора крамольной книги. Недели через две после высылки А. И. Солженицына все его книги, изданные в нашей стране, и журнальные публикации рассказов были изъяты из всех библиотек и сожжены.

А издано у нас к этому времени было немало. Читатели запомнили «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор (Не стоит село без праведника)», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела» и, наконец, «Захара-Калиту». Все эти вещи печатались в «Новом мире» при А. Т. Твардовском («Иван Денисович» еще и в «Роман-газете», и в издательстве «Советский писатель»), большинство, в особенности «Иван Денисович», было восторженно принято прессой, однако...

История с конфискацией рукописи «Архипелага» была не первой в цепи насилий над архивом писателя.

11 сентября 1965 года на квартире лиц, которым А. И. Солженицын доверил хранение своих рукописей, был конфискован его роман «В круге первом», а также стихи («Сердце под бушлатом») и пьесы, написанные еще в лагере. Эта первая конфискация архива послужила началом травли Солженицына, привела к его исключению из Союза писателей СССР (октябрь 1969 г.), выставила его под шквал непрерывной клеветы, угроз и оскорблений. И главное — выдвинула заслон публикации его произведений на родной земле. Ни одна из книг, которые он написал в России после 1965 года — «Раковый корпус», «Бодался теленок

с дубом», «Август четырнадцатого» (не говоря уже о сценариях и рассказах), не была допущена на страницы советской печати.

Может возникнуть вопрос: зачем вспоминать все это сейчас, когда имя Солженицына без бранных эпитетов начало появляться в нашей печати, когда, как мне говорили, «Новый мир» хочет напечатать «Раковый корпус»?

Мы же признали, что Солженицын написал нечто ценное, мы даже согласны эти культурные ценности взять себе. Так и быть, мы воспользуемся результатами его труда, плодами его растоптанной жизни. А он пусть будет нам за это благодарен, пусть будет счастлив, что Родина вспомнила о своем сыне.

«Искусство принадлежит народу» — вот лозунг, который мы видим с детства, и он отпечатался у нас на сетчатке глаз. Судьбы лучших наших писателей, артистов, ученых настоятельно требуют внедрить в сознание поколений еще один лозунг: «Творцы подлинного искусства (и науки) — это великая ценность любого цивилизованного народа».

А мы топчем ногами свои великие ценности, оплеываем их, даже уничтожаем, а потом удивляемся — куда девалась доброта, милосердие, чувство собственного достоинства, нравственность, уважение к труду, а значит, и умение трудиться.

Поэтому вместо просьбы о разрешении на публикацию «Ракового корпуса» Солженицыну надо прежде всего сообщить об отмене несправедливого приговора, обвиняющего его в измене Родине. Ему нужно вернуть гражданство СССР. Только после этого станут уместны публикации его книг и их критическое осмысление на страницах наших газет и журналов.

В подтверждение неотъемлемого права А. И. Солженицына на гражданство СССР (если вообще нужны такие подтверждения человеку, родившемуся в этой стране и прошедшему вместе с народом все нелегкие перипетии судьбы своего поколения) приведу строки из его реабилитационного дела (Определение № 4 н-083/57 Верховного Суда Союза ССР от 6 февраля 1957 года):

«...Солженицын Александр Исаевич рождения 1918 года, уроженец г. Кисловодска, с высшим образованием, до ареста являлся командиром батареи, участвовал в боях против немецко-фашистских войск и был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды...

Из материалов дела видно, что Солженицын в своем дневнике и в письмах к своему товарищу... высказывался против культа личности Сталина...

Из боевой характеристики на Солженицына... видно, что Солженицын с 1942 года до дня ареста, т. е. до февраля 1945 года, находился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сражался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым командовал. Подразделение Солженицына было лучшим в части по дисциплине и боевым действиям... Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 7-го июля 1945 года в отношении Солженицына Александра Исаевича отменить и дело о нем за отсутствием состава преступления... прекратить».

Итак, Солженицын храбро защищал свою страну, когда на нее напал Гитлер, в 30-е годы он задумал роман «Люби революцию», в 40-е осудил сталинизм, в 60-е потребовал гласности. На протяжении жизни менялись его взгляды, накапливался горький жизненный опыт, окреп писательский талант.

Пора прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном России, офицером Советской Армии, кавалером боевых орденов, узником сталинских лагерей, рязанским учителем, всемирно знаменитым русским писателем Александром Солженицыным и задуматься над примером его поучительной жизни и над его книгами.

Август 1988

* * *

В виде исключения привожу дискуссию, вспыхнувшую в «Книжном обозрении» после публикации этой статьи. Она характерна для времени и отражает первые шаги нарождающейся гласности, разнообразие суждений на затронутую тему.

Учиться терпимости к живущим*

Отклики на статью Елены Чуковской

Отклики на любую задевающую социальный нерв публикацию центральных газет приходят в первую очередь от москвичей. По-

* Книжное обозрение. 1988. 12 авг. № 33. С. 6–7.

нятно: жители столицы в более выгодном отношении к редакциям с точки зрения времени и расстояния. Вот и на статью Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР» в прошлом номере «КО» отклики начали поступать прямо с утра в день выхода газеты. Читатели звонили, приходили сами, присылали телеграммы и письма...

В числе первых приехал в редакцию с откликом кандидат медицинских наук и литератор М. Буянов. Горячо поддерживая предложение о полной прижизненной реабилитации А. Солженицына, он вспоминает о своем письме писателю в 1969 году в Рязань и его ответном письме. «Я горжусь этим письмом больше, чем всеми письмами, которые мне приходилось получать, вместе взятыми», — пишет М. Буянов.

Бывший осужденный по 58-й статье и реабилитированный в 1957 г., сын бывшего «врага народа» Б. Файнерман написал: «Могу свидетельствовать со ссылкой на личный опыт: в описании лагерного и тюремного быта “врагов народа” у Солженицына — святая правда». И далее: «Если уж кого обвинять в антисоветчине, то не А. И. Солженицына, а тех, кто поливал грязью всемирно известного земляка, причем независимо от того, делали ли они это по заказу идеологов типа Жданова — Суслова или добровольно».

Много можно приводить взволнованных, искренних, идущих от души слов, скажем, из писем М. Москвина-Тарханова, В. Светлова, телеграммы А. Оснача из Серпухова, Е. Литвин, М. Лебедева, В. Гопмана, В. Самусенко, А. Миллера из Москвы... Ограничимся лишь двумя выдержками.

Кандидат исторических наук К. ДУШЕНКО:

«Наша история знает много, слишком много примеров отлучения художника от своего народа за высказывания и взгляды, не совпадающие с официальными. И рано или поздно за это приходится каяться — обычно после смерти художника. Надо учиться терпимости к живущим. Чтобы потомки не сказали про нас: “Они любить умели только мертвых”».

Читательница Л. ВОРОБЬЕВА:

«При обращении в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой об отмене Указа о лишении писателя Солженицына А. И. гражданства СССР (надеюсь, ваша редакция оформит такое официальное обращение) поставьте и мою подпись».

Мы много потеряли и теряем до сих пор людей, чей талант несомненен и необходим Отечеству. Недавно Виктор Астафьев

в своем выступлении в Иркутске на встрече редколлегии журнала «Наш современник» с общественностью города сказал, какую вину чувствовал он, посетив могилу И. Бунина на кладбище Сент-Женевьев в Париже, вину не только свою, но и всех русских людей. Сказал он, что такую же вину будет ощущать его внук, посетив и другую могилу еще одного великого русского писателя, изгнанного из страны. Но у нас есть возможность вернуть в Россию этого писателя... Я говорю об Александре Исаевиче Солженицыне, лишенном советского гражданства в тот период нашего времени, который мы называем сейчас застойным, от которого сейчас отказываемся, потому что характеризовался он не только застоєм в экономике, но и извращением всех нравственных понятий, коррупцией, взяточничеством, всемогуществом административного аппарата, нарушавшего беззастенчиво неотъемлемые права граждан. И было бы естественным, чтобы мы отказались от всех незаконных действий, совершенных в ту пору, и мы сделали это в отношении так называемых диссидентов, инакомыслящих, которых освободили из тюрем и лагерей, но, чтобы быть последовательными в этой справедливой политике, мы должны вернуть России имя русского писателя А. И. Солженицына, появление которого в 1962 году с повестью «Один день Ивана Денисовича» всколыхнуло всю читающую Россию, так как эта повесть была возвращением в нашу жизнь непреходящих ценностей нашей классической русской литературы, вся деятельность которой соответствовала великим пушкинским словам: «...Что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

Эта повесть оказалась первым художественным словом, разоблачающим культ Сталина, и только сейчас стали появляться произведения на эту тему: роман А. Рыбакова, рассказы Л. Разгона и повесть «Черные камни» А. Жигулина... Но А. Солженицын был первым. Думается мне, что, не будь рассказа «Матренин двор», быть может, не появилась бы у нас та прекрасная и чистая деревенская проза, воздухом которой мы все дышали много лет.

Недавно в одном интервью на вопрос писателю, возможно ли возвращение его на Родину, Александр Исаевич ответил, что писатель возвращается на Родину сперва своими книгами. В другом интервью, более давнем, еще до перестройки, Солженицын сказал, что он все же предчувствует возможность побывать

в России, а «мои предчувствия всегда сбываются», добавил он. Дай бог, чтобы это было так. Но одно его предчувствие как будто сбылось. В те годы, когда он жил в Рязани, я привез ему свою пьесу о 56-м годе, в которой война была лишь в воспоминаниях персонажей. Около часа мне довелось поговорить с Александром Исаевичем. В частности, он сразу же спросил меня, что было в моей жизни. Я ответил, что лагерей не было, была война. «О, это уже много», — сказал Александр Исаевич и попросил рассказать о том, где и кем я воевал. Я рассказал. Пьесу он обещал быстро прочесть и написать свое мнение о ней.

Я очень скоро получил ответ, в котором Александр Исаевич высказал много критических замечаний о пьесе, но в заключение написал: «А вот, что я предчувствую: ваша “ржевская проза” будет хороша и нужна. Займитесь ею серьезно». Какую веру и прилив сил я почувствовал, нечего и говорить. Я действительно всерьез стал заниматься «ржевской прозой», но «Сашку» написал уже тогда, когда Солженицына выдворили из страны. Не успел я показать «Сашку» и Виктору Некрасову — он тоже вскоре уехал. Я не знаю, дошел ли до Александра Исаевича мой «Сашка», но, если дошел, то хочется надеяться, это, быть может, в какой-то мере подтвердило его веру в свои предчувствия.

А. Солженицын нужен России и всем нам не только как писатель огромного таланта, но и как личность. Стоит только представить, какую силу, мужество надо было иметь писателю, чтобы в одиночку вступить в противоборство с могучей и жестокой административной системой, которая могла раздавить человека одним мановением. Кстати, тогда у него были уже маленькие дети, судьбу которых, а также и жены, он вполне представлял, если с ним случилось бы непоправимое, а такое случиться могло.

В его письме «Правительству Советского Союза» выражена была огромная боль за происходящее в стране. И он верил, что к его словам прислушаются, иначе бы не писал. Верил, потому что просил он как раз о том, что мы сейчас осуществляем, — о гласности, о демократизации, о соблюдении прав человека...

На протяжении всей нашей истории мы слишком часто превращали союзников во врагов. А я убежден, что А. Солженицын сейчас наш союзник, он должен радоваться всем тем преобразованиям, которые происходят в стране, не может не радоваться, потому что в его патриотизме и любви к России сомневаться не приходится.

Нам сейчас необходимы и произведения А. Солженицына, и он сам. Потому что с такой силой, с такой мерой художественности о нашем прошлом не скажет никто. Нет сейчас у нас в России писателя такого уровня. Александр Исаевич должен быть с нами...

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

Полностью поддерживаю предложение литературоведа Елены Чуковской о возвращении выдающемуся русскому писателю современности Александру Исаевичу Солженицыну гражданства СССР. Он был лишен его за свою борьбу против сталинизма, за права человека и гласность, демократические перемены в нашей стране. Сегодня особенно ясно, что все творчество А. И. Солженицына развивалось под благотворным воздействием XX съезда, осудившего культ личности Сталина. «Один день Ивана Денисовича» мог появиться лишь в результате исторического поворота в 1956 г. Это было первое опубликованное в нашей стране высокохудожественное литературное произведение о сталинских лагерях.

Но писатель не остановился на этой книге, создав свой бессмертный труд «Архипелаг ГУЛАГ», в котором собрал и обобщил гигантский материал о чудовищных репрессиях Сталина и его клики. «Архипелаг ГУЛАГ» написан рукой не только талантливого писателя, но и блестящего историка-исследователя, мужественного гражданина своей страны. Книга, стиравшая одно из самых больших «белых пятен» в нашей истории, стала не только данью памяти миллионам людей, погибших в годы сталинского террора. Она явилась своего рода первым камнем в тот памятник жертвам беззакония и репрессий, решение о сооружении которого приняло недавно Политбюро ЦК КПСС в связи с высказанными на XIX партийной конференции предложениями. В 70-е годы писатель А. И. Солженицын и выдающийся ученый-гуманист академик А. Д. Сахаров олицетворяли дух сопротивления здоровых и демократических сил советского общества сталинизму и брежневизму. Ныне А. Д. Сахаров возвращен в Москву, он в числе тех, кто наиболее активно борется за новое политическое мышление во внутренних и международных делах, за демократизацию и гласность, успех перестройки и ее необратимость.

Настало время исправить несправедливость и в отношении А. И. Солженицына. Во всем цивилизованном мире он давно уже справедливо считается одним из крупнейших русских писателей XX столетия. Можно соглашаться или не соглашаться с идейно-философскими взглядами писателя, но он принадлежит России, горячим патриотом которой является всю свою сложную и трагическую жизнь.

Сейчас, когда стране возвращаются многие ее политические деятели и военачальники, ученые, писатели и художники, необходимо, как пишет Елена Чуковская, «прекратить затянувшуюся распрю с замечательным сыном России, офицером Советской Армии, кавалером боевых орденов, узником сталинских лагерей, всемирно знаменитым русским писателем Александром Солженицыным...». Необходимо его вернуть стране, судьба которой всегда была и его личной судьбой. Не приходится сомневаться, что возвращение А. Солженицыну гражданства СССР с глубоким удовлетворением будет воспринято не только на его Родине, но и во всем мире. Такой шаг еще выше поднимет в глазах мировой общественности авторитет процесса перестройки и гласности в Советском Союзе.

Я. ЭТИНГЕР,
доктор исторических наук, член оргкомитета
добровольного Всесоюзного историко-просветительного общества
«Мемориал»

«Кто просит слова?»

Я прошу!

Ибо разделяю позицию Елены Чуковской, ясно и четко заявленную названием ее статьи: «Вернуть Солженицыну гражданство СССР».

Так как одобряю честное и мужественное решение редакции «Книжного обозрения» не просто поставить назревший вопрос, но и вынести на открытое обсуждение.

Потому что считаю так же убежденно, как считал тогда, в 1974 году, что лишение Александра Солженицына советского гражданства и насильственное выдворение писателя за пределы страны было противозаконным, антиконституционным деянием, позорным для брежневского режима и его главного идеолога М. А. Суслова. (Последний, к слову заметить, знакомясь с А. Солженицыным на встрече с представителями творческой

интеллигенции в декабре 1962 года и лицедейски подлаживаясь под благожелательное отношение Н. С. Хрущева к повести «Один день Ивана Денисовича», представился писателю как «поклонник Вашего таланта».)

Нынешние поколения молодежи если и знают А. Солженицына, то лишь понаслышке и не столько по имени, сколько по сопровождающим это имя бранным и лживым эпитетам. Приходится поэтому, дополняя Е. Чуковскую, хотя бы вкратце напомнить, что значило оно для людей старших поколений, начиная с тех, кому сегодня перевалило за полвека, как много связывалось с ним в литературе 60-х годов.

Итак, повесть «Один день Ивана Денисовича» — памятно ошеломляющий дебют писателя, о котором вскоре и помыслить стало невозможно, будто было время, когда литература обходилась без него. На признании никому дотоле неведомого рязанского учителя, недавнего зека, художником крупного, яркого, самобытного таланта сходились едва ли не все, зачастую включая и тех немногих, кто, подобно Б. Дьякову (как открылось недавно, осведомителю-доброхоту и только по совместительству писателю), яростно не принимал повесть. То был воистину триумф Главной Книги не одного 1962 года, всего «оттепельного» десятилетия, начавшего свой отсчет с XX съезда партии. (О другой Главной Книге тех лет — романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» знали лишь близкие и «посвященные», главным образом те, кто спровоцировал и произвел арест рукописи.) Обнаженная, жестокая правда сталинских лагерей, бесправной жертвой которых выступал, как принято говорить, «простой человек из народа» — русский крестьянин, советский солдат, впервые получала в литературе права гражданства, потрясала как народная трагедия. Примечательно, что на защите ее от догматических интерпретаций в закамуфлированном сталинистском духе нередко сходились даже такие критики крайних (тогда) воззрений, как покойный А. Дымшиц и здравствующий Ф. Кузнецов, позднее, правда, отрекшийся от «заблуждений молодости» печатным осуждением А. Солженицына в «Литературной газете». «Иван Денисович, его друзья и недруги» — так назвал одну из лучших своих статей В. Лакшин. Стоило бы перепечатать ее сейчас вместе с повестью...

Литературным да и общественным событием становилась каждая последующая публикация А. Солженицына. Воскрешая

тогдашнее впечатление, не страшусь и сегодня назвать «Матренин двор» рассказом художественно совершенным, достойным стоять в ряду высших образцов отечественной и мировой классики. К лучшим современным относил рассказ «Для пользы дела» Даниил Гранин в «литгазетовской» статье, целиком посвященной разбору этого шедевра.

С романами «Раковый корпус» и «В круге первом» вышло иначе: тоже принятые в «Новом мире» А. Твардовским, они так и остались неопубликованными. Неудивительно: недолгая «оттепель» сменялась устойчивыми заморозками, время снова клонило к духовному застою, в охранительской атмосфере которого преступления сталинизма становились темой сначала нежелательной, затем вовсе запретной. Но, зная оба романа тогда и хорошо помня поныне, не могу заглушить в себе мысль, которая не дает покоя вот уже два десятка лет: если б удалось «Новому миру» напечатать их, то, как знать, — не по-другому ли сложилась бы судьба не только писателя, но и самой нашей литературы?

Наконец «Архипелаг ГУЛАГ». К тому, что сказано о нем Е. Чуковской, добавлю одно: при всем нынешнем обилии документальных публикаций о преступлениях сталинизма впечатляющие свидетельства, собранные и обобщенные А. Солженицыным, по-прежнему удерживают за собой значение самого фундаментального исследования.

К роману «Август 1914» лично мое отношение более сдержанно: читая его, не мог подавить редакторского искушения «отжать» несколько торопливый текст, подсократить, сделать лаконичнее и тем придать ему большую динамичность. О последовавших за ним романах того же цикла судить не могу — не читал. Как не читал и многого другого, написанного и изданного за границей. Допускаю, что когда (если) прочту, то приму не все. Но это будет уже особая статья, другая сфера — моего, критика, профессионального спора с писателем, а никак не его гражданства.

О том, что предшествовало постыдному по существу и разбойному по исполнению изгнанию А. Солженицына из СССР, лишению его Родины, где он, как участник Великой Отечественной войны, удостоен боевых орденов, а как писатель был выдвинут на соискание Ленинской премии, рассказано в мемуарной книге «Бодался теленок с дубом». Не все в ней настраива-

ет на согласие, и В. Твардовская, В. Лакшин, выступившие соответственно в итальянской «Унита» и французской «Юманите», оспорили кое в чем мемуариста, указав на субъективность некоторых суждений о «Новом мире», А. Твардовском, ряде конкретных фактов из литературного бытия 60-х — начала 70-х годов. Однако субъективность субъективностью, а развязанная и развязная кампания незаконных преследований инакомыслящего писателя, циничного нарушения его гражданских свобод и творческих прав, «методология» явных и тайных провокаций, клеветнических слухов, рассчитанных на моральную компрометацию, воспроизведены куда как объективно — до поименной и портретной узнаваемости вдохновителей и исполнителей разных чинов и рангов.

В канун четвертого съезда писателей СССР, на который А. Солженицын, конечно же, не был избран, он обратился к ряду делегатов с письмом, где открыто излагал программные требования демократизации и гласности, откровенно высказывал резко критическое отношение к застою в обществе и литературе, и с надеждой на писательскую солидарность обращал внимание на свою личную участь: конфискацию архивов, травлю, клевету. Было с чего взывать о помощи! В ту, недоброй памяти, пору собственными, как говорится, ушами не раз доводилось выслушивать с разных ответственных трибун: и родом-то А. Солженицын не то из помещиков, не то фабрикантов и в плен добровольно сдался, и с немцами в оккупации сотрудничал, и во власовской армии служил, и репрессировали его правильно, и не реабилитировали «за отсутствием состава преступления», а на беду себе поспешили великодушно амнистировать.

Как восприняли писатели обращение к ним А. Солженицына? По-разному. Непосредственно на съезде в его защиту сказала несколько слов В. Кетлинская. Неизменную поддержку находил он у К. Чуковского, Л. Чуковской, В. Каверина. Помню неофициальное — о нем даже оповещений не было — обсуждение романа «Раковый корпус» московскими писателями, взволнованные, заинтересованные, страстные выступления многих ораторов. Но они, к сожалению, Союзом писателей не руководили, в составе его секретариатов не значились. Когда же дошло до того, что «дело Солженицына» оказалось вынесенным на секретариат правления СП СССР, то заседание свелось преимущественно к авторитарному требованию покаянных самоот-

речений, которое и обратило к писателю, согласно указаниям, спущенным сверху. Правда, и среди тогдашних секретарей нашлось все же несколько человек — среди них, немногих, К. Симонов, — которые вели себя в меру благородно, не разменивая своего профессионального достоинства на политиканство. Увы, не они решали спустя время вопрос о членстве А. Солженицына в Союзе писателей. Решение о его исключении секретариат правления СП РСФСР принял с келейным единогласием при одном строптиво воздержавшемся (Д. Гранине). Эта противоуставная и, значит, тоже противозаконная акция, как и последующее лишение советского гражданства, — взаимосвязанные звенья одной цепи, последовательные акты одной драмы. Предполагая ее финал, А. Солженицын отказался от поездки в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии, резонно опасаясь, что в возвращении домой будет тут же отказано. Однако, ожидая чего угодно, вплоть до ареста, судебного фарса, тюремного заключения, сумасшедшего дома и т. п., при всей своей пронизательности он, похоже, не подозревал, что гражданина СССР возможно выдворить из страны и без его согласия, насильно.

Когда А. Солженицына лишили советского гражданства, ничьих мнений, в том числе писательских, не запрашивали. Тем, стало быть, полезней обменяться ими сейчас, когда пришло время отменить противозаконный акт. А в том, что поступить так необходимо, сомневаться не приходится. Как иначе снять с человека клеветническое обвинение в измене Родине, которой он не изменял? Вернуть ей писателя, талант которого — ее национальное достояние? Подтвердить это переизданием «Одного дня Ивана Денисовича», рассказов и публикациями «Ракового корпуса», «В кругу первом», «Архипелага»?

Все вместе нужно раньше и прежде всего нам самим. Не для дремотного успокоения, а очищения нашей гражданской совести. Для утоления нравственного чувства справедливости. Для самоосвобождения от жгучего чувства стыда за позор противоправных действий, безгласными очевидцами которых нас сделали вопреки нашей воле. Так пусть же краснеют те, кому пристало краснеть как соучастникам. Назвать бы их, показать в лицо со всеми титулами да регалиями. Тех, кто, не зная запретных произведений «крамольного» писателя, угодливо бичевал их, послушно подписывал всевозможные индивидуальные и коллективные протесты. Кто лишал его сначала писательского

билета, а затем гражданского паспорта. Кто дирижировал всем этим из своих престижных кабинетов. Неужто не потупят, не отведут очей, смиряясь с оглаской?

Впрочем, не о них печаль, а о судьбе ошельмованного ими, отторгнутого большого русского писателя. О том, чтобы дать ему наконец возможность поступить с возвращенным гражданством так, как сам сочтет нужным. И не позволить сбиться горьким словам, которые он приводил в письме, разосланном делегатам IV писательского съезда:

— Они любить умеют только мертвых...

Валентин ОСКОЦКИЙ

Александр Герцен так и не увидел России. И не перестал от этого быть Герценом. Но русскому обществу разрыв с ним славы не прибавил.

Место Александра Солженицына в советской литературе не зависит от членства в Союзе писателей и даже от гражданства. Возврат ему официального доброго имени на Родине (неофициально оно всегда было добрым) нужен более всего нашему обществу для очистки совести и выпрямления литературного процесса.

Права Елена Чуковская: прежде чем вступать с Александром Исаевичем в переговоры о его публикациях, нужно, по-моему, извиниться и все поставить на свои места.

Лариса ВАСИЛЬЕВА

«Книжное обозрение» сделало благое дело, опубликовав замечательную статью Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». При всей своей сжатости статья эта написана основательно. Ее аргументы убеждают.

Как известно, Александр Исаевич Солженицын никогда не изъявлял желания покинуть наше Отечество. Напротив, ратуя за «гласность, честную и полную гласность» (тогда само это слово было как бы вне закона), за правду не отступающую — в пору, когда многие, может быть, большинство членов Союза писателей в лучшем случае помалкивали, а в худшем — лакействовали перед сильными мира сего, Солженицын, следуя традициям Льва Толстого и Федора Достоевского, готов был принять любые страдания за правду, нести свой крест до конца, оставаясь в родных пределах. И тогда-то его «за измену Родине» (сказать

правду, значит, изменить Родине, так что ли? — В.Л.) лишают гражданства СССР и насильственно выдворяют из нашей страны. Какой в этом официальном решении сказался изощренный опыт, наработанный за годы репрессий теми, кто привык осознавать и ощущать себя рычагами волюнтаризма. Формы репрессий бывают разными. Клевета, угрозы, наращивание психоза ненависти вокруг имени неугодного писателя и гражданина и, наконец, отторжение его от Родины людьми, возомнившими, что именно они обладают чувством патриотизма во всей его полноте, — все это, увы, имело место в истории Советского государства и до случая с Солженицыным. И потому требует глубокого осмысления и переосмысления. Между прочим, реабилитационное дело А. И. Солженицына, строки из которого приводит Е. Чуковская, было запрошено в Верховном Суде СССР в связи с тем, что А. Т. Твардовскому пришлось бороться на заседаниях комитета по Ленинским премиям с фальшивкой, зачитанной высокопоставленным официальным лицом о якобы сотрудничестве Солженицына во время войны с оккупантами.

Пора положить конец всем этим жестоким играм, направленным против лучших и достойнейших деятелей нашей культуры, а значит, и против духовного здоровья всего народа. Чуковская справедливо пишет о циничном пользовании «плодами растоптанной жизни». Александр Солженицын все-таки выдюжил. Бориса Пастернака, как мы знаем, стубила травля. А сколько других мучеников было! Сейчас возвращаются к нам фильмы Андрея Тарковского. Надо бы вернуть отечественному читателю «Бабий Яр» Анатолия Васильевича Кузнецова и книги Виктора Платоновича Некрасова... И, разумеется, опубликовать сочинения Солженицына. Наша литературная критика еще не сказала своего слова о том большом, на мой взгляд, хотя и незазванном влиянии, которое оказал этот большой писатель на развитие отечественной правдоискательской прозы последнего двадцатилетия. Конечно, Солженицын никакого отношения к социалистическому реализму не имеет. Но мы хотим прочитать его, осмыслить, оспорить то, с чем не согласимся... Безусловно, поддерживаю предложение об отмене Указа 1974 года о лишении А. И. Солженицына гражданства СССР.

Писатель, художник, любой человек имеет право на страшную мысль. Мы это выстрадали всем народом.

Владимир ЛАЗАРЕВ,
писатель

Поскольку в редакционном послесловии к статье Е. Чуковской задан вопрос: «Кто просит слова?», позволю себе такое слово сказать. В том же послесловии вы пишете: «Мы не знаем, что он (Солженицын. — С. Б.) такого написал в изгнании, чтобы о нем не говорить на Родине». В рамках своей информации попробую на это ответить.

Александр Исаевич долгие годы работает над большим циклом произведений об Октябрьской революции и событиях, ей предшествовавших. Да, в этих произведениях, в частности в повести «Ленин в Цюрихе», автор высказывает своеобразный, непривычный нам взгляд на революцию, на личность и деятельность Ленина, взгляд отнюдь не «очернительский», а просто непредвзятый. Но, позвольте, ведь сам Ленин с неизменным уважением относился к своим политическим оппонентам, видел в них, так сказать, и негатив, и позитив. Троцкого, скажем, он называл и «иудушкой», и «самым способным человеком в настоящем ЦК» (в конце 1922 г.), хотя наши ученые мужи предпочитают помнить только первое. И уж во всяком случае Ленин никогда не уничтожал своих оппонентов, не вышвыривал их за пределы Отечества. Что же получается: 70 лет назад, когда все висело на волоске, такой подход к оппонентам не считался опасным, а теперь, худо-бедно став могущественной державой, на которую «косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства», мы боимся человека, чьи мысли не во всем совпадают со старыми газетными передовицами? И готовы по-прежнему отказываться от него, держать его произведения, признанные и читаемые во всем мире, вне отечественной литературы, философии, истории? Нелепо. Неумно. И во вред себе же самим, потомкам нашим.

При всем несовпадении тех или иных позиций Солженицына с господствующими в нашей стране сейчас, нельзя не признать, что в главном творчество Солженицына, его нравственно-этические, философские воззрения продолжают лучшие традиции передовой русской интеллигенции, мировой культуры в целом. Мы в свое время поспешили дружно заклеить «Архипелаг ГУЛАГ», которого никто в глаза не видел, но все твердо знали, что это «антисоветчина» и «клевета на Сталина». Приведу цитату из 1-й книги «Архипелага», который мне довелось прочесть вскоре после его выхода на Западе: «Самое главное в жизни, все загадки ее — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гони-

тись за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды, и не томитесь по счастью, все равно ведь: и горького не довеку и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам еще завидовать? Зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердце — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не браните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре: ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок перед арестом, и таким вы останетесь в их памяти!..». Какой порядочный, честный человек не подпишется под этой «клеветой»? Не могу забыть и того, как в разгар «застойных» лет (если не путаю, в 1973 г.) по рукам ходило обращение Солженицына «Жить не по лжи!». Характеризуя ту славную эпоху примерно так же, как о ней открыто пишут сейчас, Солженицын призывал не лгать, не принимать никакого участия в творимых повсюду лжи и несправедливости. «Жить не по лжи!» я держал в руках ровно столько времени, сколько понадобилось на его быстрое чтение, и выписок сделать не успел. Там были примерно такие слова: «Пусть кругом вершится ложь, пусть я не могу ей помешать, но пусть она вершится не через меня, не с моим участием!». Если бы тогда хоть сколько-либо значительная часть общества последовала этому мужественному призыву! Но и это обращение Солженицына под наше молчание было объявлено «враждебным», «антисоветским» теми, кто едва ли не открыто воровал, давал и брал взятки, строил себе загородные дворцы и виллы...

Сознаюсь: я никогда не был особенно горячим поклонником именно творчества Солженицына, порой непререкаемость его суждений отталкивала меня, находил я у него и исторические неточности (в частности, в том же «Архипелаге»), но его гражданскую позицию я глубоко уважал и уважаю. Неловко выставить себя в качестве примера, но, думается, именно так и надо подходить к необычным, непривычным явлениям: их можно не во всем принимать (или совсем не принимать), но всегда помнить при этом, что такое неприятие — лишь твое собственное мнение, и ничего больше. Вершители наших судеб времен за-

стоя решили иначе: не понимаем, не согласны — значит, нет места этому человеку на «нашей» земле. История быстро поставила все на свои места: земля эта не их, и правду мы о них узнали и сказали всему миру гораздо раньше, чем надеялись даже самые рьяные оптимисты.

Так чего же мы боимся сейчас в творчестве Солженицына? «Архипелага»? Но те мемуары, исторические факты и произведения литературы, которые сейчас открыто публикуются, по силе разоблачения не уступают этой многотомной книге, а в чем-то даже идут дальше нее. Смысл же их по сути дела, тот же, что и у Солженицына, только он высказал все это первым и в беспощадных масштабах, с пугающими (но отнюдь не «очернительскими», не «клеветническими») обобщениями. Боимся образа Сталина-палача из «Круга первого»? Но «рыбаковский» Сталин, на мой взгляд, получился куда страшнее (он, впрочем, создавался примерно в одно время с «солженицынским» — в середине 60-х годов), однако же общество наше его выдержало. Или боимся последних произведений Александра Исаевича? Но в конце концов никто нас не заставляет немедленно издавать «всего Солженицына». Что-то мы уже в состоянии принять сейчас, что-то — позже, с чем-то, возможно, и позже не согласимся, но разве это причина для сохранения нынешнего унижительного положения? Унижительного не для великого писателя, а для всех нас, для нашей культуры. «Пора прекратить “затянувшуюся распрю с замечательным сыном России” — к этим словам Елены Чуковской я полностью присоединяюсь.

В наш век информация распространяется мгновенно. Если мое письмо будет опубликовано, Александр Исаевич, наверное, узнает о нем, как уже узнал о статье Е. Чуковской. Не дожидаясь той печальной возможности, о которой упомянул Астафьев, я хочу от имени множества своих единомышленников сказать: простите нас, дорогой Александр Исаевич, за то, что в свое время мы не вступились за Вас, смирились как с неизбежностью с теми мерзостями, которые о Вас писали, с Вашей высылкой из пределов Отечества. Мы Вас помним и любим. И ждем домой. Я верю, что москвичи придут однажды в аэропорт Шереметьево-2. Вы сойдете с трапа самолета, мы протянем друг другу руки и скажем:

— Здравствуйте!

А с произведениями Александра Исаевича Солженицына подлинная интеллигенция никогда и не прощалась, они всегда были с ней.

Сергей БУРИН,
кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории АН СССР

Читатель и газета*

Вяч. Вс. ИВАНОВ, доктор филологических наук, профессор, лауреат Ленинской премии;
Игорь Р. ШАФАРЕВИЧ, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии

Мы полностью солидаризуемся с предложениями, содержащимися в статье Е. Ц. Чуковской, и хотим дополнить ее несколькими соображениями. Конечно, давно пора отменить неоправданные и противозаконные административные меры, принятые в свое время против Солженицына. Кроме лишения его советского гражданства и высылки за границу, таким действием представляется нам исключение Солженицына — крупнейшего современного писателя — из Союза писателей СССР. И мы просили бы Союз писателей СССР объяснить, почему, скажем, Галич и Пастернак могут быть восстановлены в этом Союзе, а Солженицын — нет?

Но судьбу писателя невозможно отделить от судьбы его книг, и мы призываем, не ограничиваясь отменой всех административных мер, жертвой которых был Солженицын, немедленно приступить к изданию и переизданию его сочинений. Произведения Солженицына относятся к высшим достижениям русской литературы XX века. Искусственное изъятие их из литературного обихода болезненно отражается на развитии литературы. Сопоставление с ними давало бы новые, более высокие критерии оценок текущей прозы. Их появление в свое время оказало влияние на творчество многих из лучших современных писателей. Возвращение их в литературу окажет такое же влияние и в будущем.

* Книжное обозрение. 1988. 2 сент. № 36.

Когда появились произведения Солженицына, они стали одним из основных факторов духовного подъема, который в тот недолгий период переживало наше общество. Тогда на них воспиталось целое поколение мыслящих людей. Более молодые, однако, были полностью лишены их благотворного влияния. Задуманный, вероятно, как наказание для автора, запрет его произведений в гораздо большей степени явился наказанием для всех нас.

Первым и совершенно бесспорным шагом представляется немедленное издание всего уже напечатанного у нас или принятого к печати, включая такие шедевры, как «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», впервые опубликованные в «Новом мире». Романы «Раковый корпус» и «В круге первом» были приняты к печати «Новым миром» («Раковый корпус» после широкого обсуждения на секции прозы Союза писателей СССР, сопровождавшегося восторженными отзывами ряда писателей, был рекомендован к опубликованию).

Солженицын — глубокий и блестящий публицист. В свое время на общественное развитие нашей страны оказала влияние его публицистика и документальная проза. Необходимо ознакомить широкий круг читателей с этими документами 20-летней давности, далеко не потерявшими актуальности. В «Письме съезду писателей» (весна 1967 г.) предложена программа, в значительной степени выполняющаяся в наши дни: отмена цензуры, возвращение в литературу изъятых из нее писателей — Мандельштама, Волошина, Гумилева, Клюева, Замятина, Ремизова. В «Письме вождям Советского Союза» поднимались вопросы, фундаментальное значение которых раскрывается только сейчас: преодоление экологического кризиса, всестороннее развитие Северо-Востока страны, правовое преобразование власти. Необходимо издать и «Архипелаг ГУЛАГ», который не только содержит громадное количество свидетельств об «архипелаге» лагерей и системе бесправия, которая его питала, но и дает пронизательный социальный и психологический анализ его корней.

Солженицын шел далеко впереди своего времени. Когда появилось первое его опубликованное произведение «Один день Ивана Денисовича», то это было прорывом к запретной до того теме лагерей. Но в этой же вещи автор поднимал и тему коллективизации, которая во всей остроте стала осознаваться только в

самое последнее время. Нет сомнения, что произведения Солженицына и в будущем окажут неоценимую помощь при изживании наших исторических бед.

г. Москва

Н. ЛЕВЧЕНКОВ

...Пора вернуть выдающемуся (гениальному за «Матренин двор» — это ясно почти всем, живущим в деревне) писателю А. И. Солженицыну советское гражданство, пора издать его произведения...

д. Корохоткино Смоленской обл.

В. ЗОЛОТОВ

Недоумение вызывает статья Е. Чуковской, напечатанная в «КО», «Вернуть Солженицыну гражданство СССР».

А нужно ли это?

После того, что он написал о русской нации, его на выстрел нельзя допускать к СССР. Цитирую по книге профессора Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР», (Минск, издательство «Университетское», 1986 г.): «Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чуждой и ненужной, чем русская». Одного этого достаточно.

Е. Чуковская приводит строки из реабилитационного дела Солженицына. Может быть, он и воевал хорошо, показно хорошо, а в душе была гниль. Я больше верю Н. Н. Яковлеву. «В час великой опасности для Родины, в годы войны, он поносит действия Верховного Главнокомандования. За это по законам военного времени устраняется из армии и подвергается наказанию. По отношению к тем, кто с оружием в руках приходил завоевывать наш народ, неся смерть и разрушения, он остался неискоренимым пособником в самом его гнусном смысле». Правильно сказано. Когда мир тонул в крови, не время «высказываться против культа личности Сталина».

Последующая деятельность Солженицына, враждебная Родине, полностью показала, каков он есть. Я еще раз сошлюсь на Н. Н. Яковлева: «Солженицын прочно держит эстафету идеологов фашизма».

Е. Чуковская, перечисляя заслуги, называет — «лауреат Нобелевской премии». Но сколько русских и советских писателей, хороших и великих, не были лауреатами Нобелевской премии.

Вы не хуже меня это знаете. А Солженицын получил за то, что плевал в лицо своей Родине.

Не торопитесь причислять меня к сталинистам. Сейчас это модно. Я рядовой читатель, по социальному положению колхозник и желаю, чтобы на страницах «КО» было выступление Н. Н. Яковлева.

Ростовская область, Константиновский р-н,
ст. Мариинская.

***Натан ЭЙДЕЛЬМАН, член Союза писателей СССР,
кандидат исторических наук***

У меня нет ни малейшего сомнения, весь мой опыт историка позволяет уверенно ручаться, что через несколько десятилетий, а может быть, и раньше будут в нашей стране улицы, площади, заводы, библиотеки имени Солженицына — точно так же, как 100 лет назад можно было ручаться, и многие ручались, что будут улицы Герцена, Чернышевского.

Те, кто сейчас вернет гражданство СССР Солженицыну, или те, кто этому помешает. — все благодаря писателю останутся в истории, останутся в памяти детей и внуков именно в тех ролях, которые они предпочитают, — прогрессивных радетелей или мерзких гонителей.

г. Москва

А. ИВАНЧЕНКО, юрист

Из произведений А. И. Солженицына я читал только рассказ «Матренин двор». Но и этого было достаточно, чтобы понять, почему писателей называют совестью народа. Листая в книжных магазинах журналы учета читательского спроса «Что издать?», я не раз видел предложения издать романы Солженицына. Надо вернуть нашей литературе это имя.

Во времена брежневщины были две наиболее одиозные фигуры — писатель Солженицын и академик Сахаров. А сейчас выясняется, что это два поистине героических человека, которые открыто говорили то, о чем мы отваживались лишь шептаться «в кулуарах». Приблизительно тогда же, когда учинили расправу с великим писателем, обесчестили и великого ученого, которого лишили, вернее, пытались лишить доброго имени и отобрали у него звание трижды Героя Социалистического Труда. Пора поставить вопрос о возвращении А. Д. Сахарову награды, они были им действительно заслужены — и не

в пример всевозможным кормчим и зодчим застоя. Об этом я писал в «Московские новости», прочитав там статью об этом ученом. Но сейчас подумал: а почему поднять этот вопрос — не по «профилю» «КО»? Ведь акад. Сахаров — автор научных трудов, книг, а «Книжное обозрение» касается не только художественной литературы.

г. Минск

И. КРЮКОВ

...Я офицер-фронтовик, дважды ранен, награжден боевыми наградами, войну закончил командиром стрелковой роты, не знаю случаев, чтобы в конце войны, когда на фронте и в тылу все были охвачены триумфом предстоящей победы, производились аресты в армии. А Солженицын был арестован, по всей вероятности, за свои противозаконные действия. Это красноречиво подтверждает последующая его антисоветская деятельность. Это мнение не только мое, но и других участников войны — читателей «КО».

Требования издать у нас в Союзе произведения Солженицына и тем более возвращения ему гражданства СССР являются оскорблением участников войны и осквернением памяти тех, кто отдал свои жизни в боях за Родину.

Пусть он остается там, где ему щедро платят покровители из ЦРУ.

г. Клинцы Брянской обл.

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ

Я полностью поддерживаю основной тезис выступления Елены Чуковской: Александру Солженицыну должно быть возвращено советское гражданство, с него должны быть сняты обвинения, на основании которых он был лишен звания гражданина СССР и изгнан из родной страны. Соответствующий Указ необходимо отменить, причем независимо от того, где Александр Солженицын живет и собирается жить. Выдающийся русский писатель нашего времени должен снова обрести права гражданина СССР.

Мы все помним и сознаем, что целенаправленная кампания против Александра Солженицына была в свое время одним из характерных и наиболее тягостных явлений брежневско-сусловского идеологического режима, одним из вопиющих знамений эпохи застоя и нравственного гниения общества. Позор-

ная высылка честнейшего писателя и гражданина из страны была не только актом грубого произвола, откровенного беззакония, но и ударом по гласности, по силам добра в обществе, в стране, в народе. И сразу же, как мы помним, упал духовный тонус литературы, всей общественности, резко изменилась к худшему вся нравственная атмосфера в стране. А силы зла, коррупции, обмана почувствовали себя еще более безнаказанно. Нельзя считать по-настоящему свободным, нравственно здоровым общество, в котором не может жить, работать и высказываться русский писатель такого масштаба, как Александр Солженицын. Каждый из нас вправе, если есть на то основание, по-своему относиться к тем или иным взглядам, концепциям писателя, но для нас жизненно необходимо услышать, прочитать, узнать, что именно думает Александр Солженицын. Так нельзя не знать, что говорили о русской жизни, о вечных и злободневных вопросах человеческого существования, о русской и мировой истории Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин. А ведь сколько мы спорим о них! И прав Виктор Астафьев, поставивший имя Александра Солженицына в ряд имен первостепенного значения для отечественной культуры, для национального самосознания, для общественной совести. Мы должны издать в нашей стране и прочитать все книги, все труды Александра Солженицына. Я полагаю, что вслед за восстановлением писателя в правах гражданина СССР наш Союз писателей должен отменить все принятые когда-то в отношении Александра Солженицына оскорбительные и несправедливые решения. Пришла пора создать и выпустить в нашей стране серьезную критику — биографическую монографию о творце «Одного дня Ивана Денисовича», «Матрениного двора» и других прекрасных произведений. Пора вернуть имя и творчество Александра Солженицына советскому народу, советской культуре. Это было бы полностью в духе нашего времени обновления, очищения, оздоровления жизни общества.

г. Москва

А. АРЖАННИКОВ, работник социального обеспечения

...Зачем понадобилось из отщепенца, пусть и наделенного литературными способностями, лепить «творца подлинного искусства»?

г. Свердловск

В. ТОКАРЕВ, член Союза писателей СССР

Фактически А. И. Солженицын все эти годы оставался и остается Гражданином СССР, и дело только за формальностями. Необходимо срочно напечатать его произведения, восстановить в Союзе писателей СССР. Более того, по-моему, просто необходимо его рассказ «Матренин двор» ввести в школьную программу. Этот рассказ на порядок выше многого из того, что изучается сейчас в десятом классе.

В 1969 году я работал учителем в Покрово-Березовской средней школе Пензенской области. Однажды на обзорном уроке по современной литературе я почувствовал, что ребятам материал неинтересен. Когда стали выяснять, в чем дело, встал Володя Ковылков и сказал: «Да нет сейчас, Валерий Максимович, настоящих писателей!» И тогда я принес (благо жил рядом) в класс журнал «Новый мир» с этим рассказом и прочитал его. На чтение потребовалось всего два урока, комментарии были излишни. Судя по тому, как ребята слушали, думаю, что этот спаренный урок не забыт и, если бы они были рядом, подписались бы под моим письмом.

Подписались бы под моим письмом и многие другие «простые» советские люди из провинции: и пензенские друзья моей юности, и калининский шофер, который привозил мне мебель и неожиданно разговорился о Солженицыне, и рабочий вагоностроительного завода, во время всеобщей газетной травли писателя восхитившийся: «Надо же, против какой махины пошел! Это пострашней, чем против танка, пожалуй!...»

г. Калинин

Л. СТЕПАНОВА

Прошу пролить свет на действительную позицию Солженицына. Конечно, лучше было бы взять у него интервью. Что за него говорить, если нам бы хотелось узнать, что он сам бы сказал по этому поводу. Каких на самом деле придерживается Солженицын взглядов? Ведь для нас безразлично и это сейчас.

г. Днепропетровск

В. САМУСЕНКО

Я достаточно хорошо знаком с творчеством Солженицына, читал многие его вещи, в том числе и такие, как «Архипелаг ГУЛАГ» и «Ленин в Цюрихе». Не во всем можно с ним согласиться, можно не разделять его нынешнее мировоззрение, но

разве это обязательно? Во всем ли мы согласны с Ф. М. Достоевским или Л. Н. Толстым? Это не меняет дела, они все равно остаются для нас великими писателями.

Достаточно хорошо мне известна и история его жизни. Приходилось читать книгу Н. Решетовской «В споре со временем», изданную АПН почему-то исключительно для зарубежного читателя. Книга эта написана с единственной целью — опорочить Александра Исаевича, но поскольку для заграницы не годился метод тогдашней «Литературной газеты» — простое и бездоказательное обливание помоями, то поневоле пришлось соблюдать хотя бы видимость объективности. В результате перед нами предстает личность весьма и весьма незаурядная, человек огромного таланта, воли и целеустремленности.

А. И. Солженицыну 70 лет. Нам нельзя продлевать список посмертных реабилитаций, в который уже попали Тарковский, Галич, Некрасов и который будет позором нашего поколения перед поколениями будущими.

г. Москва

В. ТРЕТЬЯКОВ

...У меня к вам горькая и страшная просьба. Как радуюсь я тому, что А. И. Солженицыну возвращается доброе имя на нашей земле, так горюю о другом писателе, запятнавшем себя страшным преступлением — доносами на своих товарищеско-писателей. Я говорю о Борисе Дьякове. Будьте милосердны, выслушайте! Человек сидел, страдал, одним из первых после Солженицына своей книгой «Пережитое» затронул наши сердца. Все это было. И наверное, непросто ему было обо всем этом рассказать в то время.

В чем просьба? Он старый, наверное, больной человек. И недолог уже век его. Надо как-то призывать его к покаянию. Нельзя это так оставить. Вы знаете, ранее в таких случаях уходили в монастырь и замаливали свои грехи. Атеисту монастырь не поможет. Но раскаяние, чистосердечное раскаяние в содеянном помогло бы человеку, если не уважение, то хотя бы место найти среди людей.

И может, ваш еженедельник напечатает эти несколько его строк... С таким камнем тяжело жить и как оставить этот мир, не объяснившись?..

г. Ленинград

Л. КОРДОНСКИЙ

...Меня разбирает любопытство. Я о Солженицыне ничего не знаю, только то, что пишут в газетах. В 1974 или 1975 году в Москве в метро я видел у одного из пассажиров книгу, которая называлась «Спираль предательства» (о Солженицыне), страниц в 150–200. Откуда люди могли собирать материал на такой фолиант?

г. Киев

А. МЕНЬ, протоиерей

Мне представляется, что публикация в вашей газете статьи Елены Чуковской «Вернуть Солженицыну гражданство СССР» — один из мощных аргументов против тех, кто сомневается в реальности перестройки, кто не принимает всерьез подлинно революционных преобразований, которые начались в нашей стране. Почти все, знакомые с творчеством писателя, ждали этого шага. Солженицын не только одна из крупнейших фигур русской и мировой литературы, но и знаменательное уникальное явление истории. Социально-нравственный пафос его произведений, дело его жизни сравнимы разве что с критикой общества у Льва Толстого. Следуя этическим традициям русской классики, он выступал в роли обличителя, и не только у себя дома, но и на Западе, который услышал от него немало горьких слов. Пусть не все могут разделять его идеи, но ведь в этом он также сходен с Чаадаевым и Гоголем, Толстым и Достоевским. К людям такого масштаба должен быть и соответственный подход. В статье Е. Чуковской справедливо указано, что Солженицын предвосхитил многое из того, что сегодня живительным ветром проносится по нашему Отечеству. Правда о прошлом и настоящем, гласность, восстановление справедливости — без всего этого не только нельзя исправлять ошибки и преступления, без этого нет здорового и нормального общественного развития. Безумием было называть такого человека «изменником Родины». Он служил ей больше, чем все его хулители, объявлявшие себя патриотами. Напомню, что многих русских классиков, боровшихся за правду, обвиняли в антипатриотизме.

Произведения Солженицына бесспорно должны вернуться в культуру, которая его взрастила. Уверен, что и восстановление советского гражданства Солженицына стало бы исключительно важным событием, которое с особой убедительностью про-

демонстрирует всему миру радикальность происходящих у нас перемен.

г. Загорск

А. МЕТЕЛКИН

...Если говорить честно, с трудом верится в то, что Солженицыну вернут гражданство СССР.

г. Шарья

***В. МОРОКО, доцент кафедры истории КПСС
Запорожского университета***

Пишу в связи с вашими публикациями в поддержку идеи возвращения Солженицыну гражданства СССР (№№ 32, 33). И статья Е. Чуковской, и подборка писем, авторы которых солидаризуются с ней, показались мне довольно убедительными. Но в свое время убедительными представлялись мне и оценки личности Солженицына прямо противоположного толка.

Взял с полки книгу Н. Н. Яковлева «ЦРУ против СССР» (М.: Правда, 1983), в которой Солженицыну посвящено более 30 страниц. Автор, отгалкиваясь от анализа работ Солженицына и его выступлений на Западе, настаивает на том, что последний — агент ЦРУ-НТС и идеолог фашизма.

Не исключаю вольной трактовки Н. Н. Яковлевым позиции диссидента. Но смущает то обстоятельство, что свои выводы Н. Н. Яковлев в ряде случаев подкрепляет прямым цитированием конкретных выступлений Солженицына.

А в них признание за США исторической миссии руководства миром, укор им за безнравственные сделки с коммунизмом (отказ поддержать царя, признание СССР в 1933 г., сотрудничество в войне против фашизма), заявления о том, что в 1941 г. советский народ ждал освобождения от большевизма, а в 50-е гг. молился на Запад как на солнце свободы, с помощью которого удастся восстать из рабства, и т. п. (с. 208, 209, 210 и др.).

Если все это не фальсификация и действительно говорилось и писалось Солженицыным, замалчивание этой стороны его деятельности при возбуждении вопроса о восстановлении гражданства СССР было бы признаком явной тенденциозности.

г. Запорожье

Алексей МИЛЛЕР, историк

Уважаемая редакция «Книжного обозрения»!

Статья Елены Чуковской об Александре Солженицыне делает честь еженедельнику. Она совершенно справедлива по существу и, что не менее важно, верна по тону, чувству. Уверен, что писем в поддержку статьи Е. Чуковской редакция получит немало, и надеюсь, что они окажутся бесполезными, когда вам придется держать за эту публикацию ответ.

г. Москва

В. ГРЕЧАНИНОВА, библиотекарь

...Мы узнаем о своем прошлом и собираем его чаще всего по периодике тех лет. Сталинская цензура периодику, за небольшим исключением, не кромсала, ее просто не выдавали читателю или выдавали очень ограниченно. В брежневские времена эти порядки в ряде случаев даже ужесточились.

Читатель не имеет сейчас возможности прочесть те произведения Солженицына, которые были напечатаны в советской периодике и выдвигались на соискание Государственной премии. Я прошу редакцию перепечатать в «Антологии» рассказы: «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Захар-Калита», то, что найдете возможным, чтобы дать сегодняшнему читателю познакомиться с современным выдающимся писателем.

Перепечатка ранее напечатанного будет уже восстановлением А. И. Солженицына в его законных авторских правах русского писателя перед его советскими читателями.

г. Москва

В. ГОЛОВАЧ

Я думаю, что у наших высших инстанций хватит смелости, мужества и чести реабилитировать во второй раз А. И. Солженицына. Я свое мнение никому не навязываю, но уверен, что не ошибаюсь.

г. Бобруйск

Петр ИЛЬИНСКИЙ, 23 года

Считаю себя обязанным присоединить свой несколько запоздавший голос к хору (первый раз в жизни мне хочется присоединиться к хору), требующему возвращения нам произведений Александра Солженицына.

Хотел бы, кстати, поведать одну небольшую историю — на мой взгляд, весьма показательную. Ее можно было бы назвать: «Как я узнал, кто такой Солженицын». Дело в том, что я родился в 1965 г., и поэтому к тому моменту, когда я начал знакомиться с нашей общественной жизнью, Солженицына в ней уже не было. Однако все повернул случай. В шестом классе я занимался в кружке юных искусствоведов при Эрмитаже. Было в нашей группе человек двадцать. И как-то на одном из занятий речь зашла о Данте — а учили нас, несмышленицей, в Эрмитаже отлично — не то, что в школе. Так вот, говоря о Данте (и почитав нам немного «Ад»), преподавательница рассказала нам также, что он был из Флоренции по политическим соображениям изгнан, объяснила нам, что флорентийцы в данном случае поступили дурно (мы были с ней вполне согласны), а потом (никто ее за язык не тянул) закончила: «И вообще, дети, всегда, когда страна изгоняет художника, то виновата страна, а не художник», — и это бы могло сойти, если бы среди двадцати ленинградских вундеркиндов не оказался бы один, образованный для своего возраста чрезмерно. «А как же с Солженицыным, Людмила Александровна?» — спросил он из заднего ряда. На дворе стоял 77-й год, жизнь наших родителей была, мягко говоря, не особо светлой. Последовавшие за этим двадцать секунд я запомнил на всю жизнь. Преподавательница покраснела (побледнела? пошла пятнами?), несколько мгновений боролась с собой, а потом твердо выговорила: «И в случае с Солженицыным — то же самое», — и быстро ушла. Занятие прервалось, потом возобновилось, не помню уж каким именно образом. Преподавательница продолжала работать, по крайней мере, в течение нескольких лет, что в некотором роде тоже было удивительно, ибо, я уверен, что остальные восемнадцать детей, придя в этот день домой, сделали то же, что сделал я; я спросил: «Мама, а кто такой Солженицын?» Мама тяжело вздохнула. По-видимому, мои родители рассчитывали, что этот вопрос я задам им тремя годами позже.

Вот такая история. Я надеюсь, что когда-нибудь на уроках в школе детям будут говорить: «Когда страна изгоняет художника, то виновата только страна, и никогда — художник», — и, может быть, приводить Солженицына в качестве примера.

г. Москва

Б. КАГАРЛИЦКИЙ,

член Советской социологической ассоциации

Со смешанным чувством прочитал я статью Елены Чуковской об Александре Солженицыне в № 32 «Книжного обозрения» за этот год. Еще больше насторожило меня всеобщее единообразие читательских мнений, опубликованных в следующем номере. Нынешнее «единодушие хвалы» зеркально повторяет недавнее «единодушие хулы». А это само по себе должно наводить на определенные размышления.

Замечательно, что в официальной прессе можно вновь видеть имя выдающегося русского писателя без бранных эпитетов и лживых обвинений. Но уж если говорить правду, так всю правду.

У читателя, который будет судить о Солженицыне по статье Чуковской и последующим письмам, должен создаться образ почти идеального героя, борца за свободу и прогресс, человека, отстаивавшего в тяжелые времена брежневизма идеалы, восторжествовавшие ныне, в эпоху перестройки.

В отличие от читателя из Одессы, задавшего газете вопрос о том, кто же такой Солженицын, мне удалось прочитать его книги — в том числе и вышедшие за границей — и «Бодался теленок с дубом», и «Август 14-го», и «Ленин в Цюрихе», и его публицистику, включая тактично не упомянутый Чуковской сборник «Из-под глыб», вышедший на Западе под редакцией Нобелевского лауреата, но подготовленный им еще во время жизни в СССР. Поэтому, полагаю, у меня есть некоторое право на собственное мнение. И, увы, мнение это разительно отличается от мнения Елены Чуковской.

Наиболее несимпатичное мне в Солженицыне, пожалуй, — его последовательная и неоднократно декларированная неприязнь к демократии. Надо признать, что этим он нажил себе немало врагов не только у нас в стране, но и на Западе. Нобелевскому лауреату нельзя отказать в последовательности. Логика его рассуждений проста до чрезвычайности: Сталин со всеми его преступлениями — продолжение Ленина, Ленин — продолжение Маркса, Маркс — порождение западной демократии, а следовательно, ничего хорошего в демократии нет. Солженицын — решительный противник марксизма и социализма в любых видах, для него даже западные социал-демократы опасно красные. Солженицын безусловно

искренне верит в свой патриотизм — история страны, особенно последние десятилетия, по его мнению, представляют собой борьбу русского и инородного начал. Нельзя, конечно, ставить знак равенства между выдающимся писателем и черносотенцами из «Памяти», но во многом их воззрения, увы, совпадают.

Самое грустное, что многие исторические выводы Солженицына удручающе напоминают формулировки сталинского «Краткого курса», только с «переменной знаков». Там, где у Сталина «плюс», у Солженицына «минус». Но суть позиции та же. Сталинизм это и есть «истинный ленинизм», демократический социализм невозможен, власть должна быть твердой и авторитарной, Троцкий — в обеих версиях злодей, а Запад — загнивает. Кстати, Солженицын всегда весьма обильно цитирует Сталина как последнюю инстанцию для подтверждения своих тезисов. Неудивительно, что даже такой правоконсервативный американский журнал, как «Комментари», назвал Нобелевского лауреата «сталинистом наизнанку».

Все это не умаляет писательского таланта Солженицына — в конце концов и Достоевский отнюдь не был сторонником революции и тем не менее остается величайшим классиком мировой литературы. Хотя, по-моему, Солженицыну в его публицистике талант явно изменяет, равно как и чувство меры. Но об этом пусть судят читатели, когда (и если) все работы Солженицына будут у нас открыто опубликованы.

Реальный трагизм ситуации, на мой взгляд, состоит в том, что Солженицын при всей его ненависти к сталинизму, при всей своей бесспорной искренности сам остается порождением политической культуры сталинизма. Неудивительно и то, что многолетние преследования и репрессии тоже сыграли свою роль. Одной догме противопоставлялась другая. Нетерпимость власти породила фанатичную нетерпимость писателя.

Совершенно естественно, что каждый имеет право на свое мнение. Мне, например, неприятно постоянно читать на страницах газет местоимение «мы». Раньше было: «мы осуждаем», «мы глубоко удовлетворены». Теперь: «мы сожалеем», «мы признаем». Откуда это совершенно замятинское «мы» даже в статье Елены Чуковской, не говоря уже о читательских

откликах? Почему-то считается, что «мы» все вместе всегда обязательно должны придерживаться одного общего мнения. Раньше должны были непрочитанного «Исаича» проклинать, теперь всенародно каяться. Нет, спасибо, народное покаяние порой бывает не лучше «всенародного осуждения»: тот же тоталитарный привкус.

Я, скажем, Солженицына не преследовал, книг не сжигал, из страны писателя не высылал и каяться перед ним мне не в чем. Кстати, и Чуковской тоже. Пусть каются те, кто виноват. Лучше назовем их поименно.

Наконец, последнее. Если уж возвращать запрещенные имена, то должно быть какое-то историческое равноправие. Почему наши прогрессивные газеты, добиваясь реабилитации Солженицына, не делают того же, например, для одного из лидеров Октябрьской революции Льва Троцкого? Почему журнал «Москва», отнимая возможность печататься у современных столичных прозаиков, публикует на своих страницах многотомную «Историю государства Российского» Карамзина, но никому не приходит в голову вернуть нам труды выдающегося марксистского историка 20-х годов М. Покровского? Вероятно, книги Покровского во многом устарели и заслуживают критики, но разве нельзя то же самое сказать и о Карамзине? Почему читатель не может получить книги западных марксистов Маркузе и Дейчера, многие произведения Сартра и т. д.? Спрос на эти книги есть, даже самиздатовские переводы имеются.

Гласность должна быть полной. Восстановление исторической правды недопустимо сводить к сумме выборочных реабилитаций. Необходимо, чтобы народ мог узнать все про всех и каждый гражданин имел возможность самостоятельно сформулировать собственное, вполне независимое суждение. Тогда мы увидим и Солженицына в полном масштабе — и его литературный талант, и его антисоциалистическую политическую философию. Увидим Троцкого с его прозрениями и ошибками. Увидим Бухарина и Преображенского в их интереснейшей полемике (пока же в прессе идеализированный Бухарин противостоит... Сталину, с которым он никогда не спорил по теоретическим вопросам). Возможно, значительная часть читателей «КО» со мной не согласится. На то и свобода, чтобы были разные точки зрения. Каждый

имеет право на собственные выводы. Важно только, чтобы различные точки зрения были равноправно представлены в печати.

г. Москва

Завершаем обсуждение статьи Е. Чуковской. «КО» №№ 32, 33

ОТ РЕДАКЦИИ

«В № 33 “КО” опубликованы отклики на статью Е. Чуковской “Вернуть Солженицыну гражданство СССР”. Обратил внимание: все они в защиту Солженицына, ни одного нет против. Почему редакция опубликовала только эти “за”, а ни одного “против”? Не сомневаюсь, что были и такие отклики», — написал наш читатель Ю. Ковалев из Краснодара. Согласитесь, что в этих словах — упрек газете в одностороннем подходе, в фальсификации читательского мнения. Упрек незаслуженный. На день выхода № 33 «Книжного обозрения» (12 августа) в редакцию не поступило ни одного «против».

К сегодняшнему дню в редакцию пришло более двухсот писем — откликов на статью Е. Чуковской. 15 из них (включая и письмо Ю. Ковалева) — с отрицательной реакцией на поставленные автором статьи вопросы, касающиеся судьбы и творчества А. Солженицына. В сегодняшней подборке эта точка зрения тоже представлена.

Мы не удивились полярности взглядов в письмах. Люди хотят не с чьих-то слов, а сами, самостоятельно разобраться во всем, что есть и что было. На ролях, которые мы сейчас себе выбираем, конечно же, сказываются выводы из печальных уроков, во множестве преподанных нам историй.

И тут, думается, следует упомянуть еще об одном письме. От Евгения Алексеевича Солдатова, 59 лет, из г. Донецка. Он пишет: «Догадаться, почему “компетентные органы” избрали “Книжное обозрение” для напечатания вопроса об А. Солженицыне и других изгнанных писателях, в общем-то, нетрудно. Для пробного шара понадобился нейтральный орган, такой, как “Книжное обозрение”».

Увы, догадка и этого читателя не подтвердилась. Не играет «Книжное обозрение» роли «пробного шара» для зондажа общественного мнения по заготовленному или готовяще-

муся решению. Что же касается противоречивости мнений, высказываемых в публикуемых сегодня письмах, то, как пишет читатель Б. Кагарлицкий: «На то и свобода, чтобы были разные точки зрения. Каждый имеет право на собственные выводы».

Редакция сердечно благодарит всех своих читателей, приславших отклики на статью Е. Чуковской.

«ОГНЯ ПОД ПОЛОЙ НЕ УНЕСЕШЬ»*

По поводу одной публикации в «Огоньке»



юньские номера «Огонька» порадовали публикацией рассказа А. Солженицына «Матренин двор». Читатели журнала восприняли это как начало возвращения к нам произведений этого большого писателя.

Вполне разделяя радость и надежды широкого читателя, хочу остановиться на некоторых правовых и моральных оттенках этой первой публикации.

Дело в том, что автор рассказа — Александр Солженицын — жив и располагает своими авторскими правами в полном объеме. Это означает, в частности, что его произведения не могут печататься без его согласия. Вполне осознавая эту самоочевидную истину, несколько редакций наших журналов обратились к А. Солженицыну, легко и быстро получили от него необходимое разрешение, а также тексты произведений и сейчас готовят их публикацию.

Что до редакции «Огонька», то она сочла для себя такой порядок излишним. Редакция стала на точку зрения «правоведов», которые по-иному истолковали общепринятые положения авторского права. СССР подписал международную Конвенцию по авторскому праву лишь в 1973 году. Поэтому произведения А. Солженицына, опубликованные в СССР в 1960-е годы («Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и др.), не подпадают под современные законы об авторском праве.

Так-то оно так, но есть тут свои сложности. Первые публикации «Одного дня...» и «Матрениного двора» были сделаны с некоторыми цензурными купюрами. А на Западе все эти вещи давно опубликованы в окончательной редакции. Понятно, что

* Книжное обозрение. 1989. 23 июня.

автор не может согласиться на переиздание своих книг в СССР в виде промежуточных, усеченных вариантов.

«Огонек» обошел и эту трудность — взял и напечатал рассказ в этой окончательной редакции. Плохо только то, что эта «окончательная редакция» печаталась после высылки автора в 1974 году, а значит, уже подпадает под Конвенцию об авторском праве.

Может быть, и не стоило бы все это высказывать, если бы в своей переписке с советскими издателями А. Солженицын не выразил бы четко свою авторскую волю: сначала напечатать «Архипелаг ГУЛАГ» и лишь после этого все остальные художественные произведения. Это свое решение он мотивировал тем, что сам он был оклеветан и выслан именно за эту книгу. Именно из-за «Архипелага...» пострадали многие люди, предоставившие автору свои свидетельства, а также те, кто хранил рукопись.

Таким образом, публикация «Матрениного двора» в «Огоньке» представляет собой грубое нарушение авторской воли и авторского права. Как мне кажется, А. Солженицыну пришлось пережить достаточно много недоброжелательных правовых актов (арест, ссылка, лишение гражданства), и не стоило бы их продолжать.

У «огоньковской» публикации «Матрениного двора» есть и другие изъяны. Придется и о них упомянуть, раз уж мы вступили на нелегкий путь создания правового государства. На основании статьи 480 ГК РСФСР «Воспрещается также без согласия автора снабжать произведение при его издании иллюстрациями, *предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями*» (выделено мною. — Е. Ч.).

«Огонек» нарушил и этот пункт, поместив предисловие Б. Сарнова, который полагает, что «... травля (а не художественная значимость произведений. — Е. Ч.) ...привела к тому, что фигура Солженицына разрослась до гигантских размеров, заглотив собою весь горизонт». Б. Сарнов опасается также возникновения «культа Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого культа». Трудно понять, чем вызваны эти опасения применительно к автору, чьи произведения не печатались у нас более двадцати лет. И еще труднее видеть подобные тенденциозные и бездоказательные строки, отражающие групповые взгляды, в качестве предисловия к первой после долгого запрета многотиражной публикации А. Солженицына в родной стране. Весь этот круг идей лучше было бы развернуть в виде предисловия к роману В. Войновича «Москва, 2042» (пока у нас не напечатанному), а не к рассказу А. Солженицына.

Кроме предисловия Б. Сарнова, даны также выдержки из газетных статей января—февраля 1974 года, напечатанных в разгар травли Солженицына накануне его высылки. Однако и тут, цитируя документы тех далеких лет, редакция «Огонька» проявляет тенденциозность: из многочисленных тогдашних выступлений произвольно отобраны примелькавшиеся фамилии Ю. Бондарева, М. Алексеева, П. Проскурина — «закадычных врагов» «Огонька». Можно с уверенностью сказать, что А. Солженицын никогда не согласился бы на то, чтобы его имя использовалось для сведения чьих бы то ни было литературных счетов. Недаром он писал в одном из недавних писем на родину: «...роль писателя и есть: не разъединять народ, — а помогать найти общее понимание».

Но хватит, пожалуй, о том, какие удивительные тексты предшествовали публикации «Матрениного двора». Несколько слов о том, чем она завершилась. На обороте портрета А. Солженицына («Огонек», № 23 с. г.), грустно понурившегося на фоне церкви (рисунок Г. Новожилова), красуется фотография улыбающегося В. Е. Семичастного (руководителя КГБ в 60-е годы) и помещено пространное интервью с ним под названием «Я бы справился с любой работой». В этом интервью В. Е. Семичастный, снискавший себе всемирную известность своим грубым выступлением о Б. Пастернаке, получил от редакции «Огонька» возможность вновь высказаться по вопросам культуры. В. Е. Семичастный воспользовался ею и рассказал, как в КГБ попала рукопись Солженицына «Пир победителей», «когда наши работники делали обыск... по валютным делам»... «...потом у меня в КГБ — была профилактика: никаких мер — репрессий, осуждений и прочее. И сколько раз с Солженицыным беседовали — два или три раза!»

Мне как-то не хочется полемизировать с В. Е. Семичастным ни по поводу «валютных дел», ни по другим поводам. Тем более что я вполне разделяю его уверенность: он справится с любой работой, которую ему поручат.

После всего сказанного о предисловии Б. Сарнова и «послесловии» В. Е. Семичастного, после всего этого плюрализма без берегов нельзя не подосадовать, что «Огонек», пользующийся авторитетом и любовью массового читателя, публикуя после четверть векового перерыва рассказ А. Солженицына, совершил столько фактических, моральных и правовых промахов.

Июнь 1989



1991 году журнал «Новый мир» собрал более двух миллионов подписчиков. Это объяснялось тем, что на страницах журнала печатались многие ранее запрещенные произведения, в том числе главы из солженицынского «Архипелага ГУЛАГ». Подписчикам было обещано право подписаться на Собрание сочинений Солженицына, выпускаемое издательством ИНКОМ. Подписались миллионы читателей. Общее разочарование качеством этого издания приостановило печатание «Архипелага» в России на несколько лет.

БЛАГОДАРИЮ...*



ользуюсь возможностью поблагодарить издательство ИНКОМ за внимание к подписчикам малого собрания сочинений Александра Солженицына.

Печатание собрания начато прямо с 5-го тома (в него входит «Архипелаг ГУЛАГ», ч.ч. 1 и 2). Эта неожиданная последовательность выпуска томов открывает череду новшеств, примененных издательством.

Следующая новинка: не приходится, как это было принято раньше, ходить в магазин и выкупать книги. В виде приятного сюрприза, никого ни о чем не спрашивая и не оповещая, заботливый ИНКОМ рассылает свое издание ценными бандеролями. При этом цена каждого тома возрастает всего на 6 рублей.

Вообще-то нам повезло. Издательство могло бы отправить книжку и с курьером. В Москве, в Ленинграде и в других крупных городах — развезти на такси, в отдаленные районы страны — курьера отослать самолетом. А с подписчиков вот так же, сюрпризом, взыскать стоимость такси, авиабилета для курьера, командировочных и проч.

Но самое сильное впечатление производит качество издания. Дизайнеры и художники ИНКОМа выбрали (видимо, тщательно обдумав последствия) модель «Pocket Book», модель, которую до них никто не догадывался применить для собраний сочинений, предназначенных для библиотек, для семейного чтения нескольких поколений. Специфика этой модели — переплетенная, клеевая книга в бумажной обложке. Пролистал в метро, книга разваливается, прочли один-два человека — можно ее выкидывать в корзину. И не вздумайте переплестать книгу

* Литературная газета. 1991. 14 авг. № 32.

сами — на этот случай поля среза сделаны такими маленькими, чтобы текст уходил в корешок.

Своеобразно и находчиво решена проблема набора. Набрано все плотно, без всяких этих «шпон», почти без полей, чуть ли не петитом. А в тех случаях, когда у автора петит, у ИНКОМа — нонпарель. Как говаривал Брежнев: «Экономика должна быть экономной». Поместилось на 432 страницах то, что растяпы из «ИМКА-Пресс», «Книги», «Советского писателя» (да и другие неопытные издатели) разогнали аж на 588 страниц почти такого же формата.

Ну и, конечно же, бумага... Эта новая королева нашей породившейся гласности. Подобрана в масть — цвет серо-зелено-грязный. В сочетании с петитом, нонпарелью, мрачным мятым черным бумажным переплетом книга выглядит как надо — отталкивающей и трудночитаемой.

Теперь немного арифметики. На каждом экземпляре сэкономлено $588 - 432 = 156$ страниц. Если их умножить на число экземпляров, то есть на тираж 3 000 000, то получится 468 000 000 страниц (четыреста шестьдесят восемь миллионов!). Но это еще не конец экономии. Такой же том — на 432 страницах — выпустил издательский центр «Новый мир» совместно с ассоциацией «Благовест». Они выбрали надлежащий шрифт и формат, и читатели получили прекрасно изданную книгу. ИНКОМ не стал утруждать себя шрифтами и форматами. Его издательская деятельность свелась к тому, что они взяли готовые, приспособленные для определенного формата диапозитивы «Благовеста», уменьшили их, а значит, и размеры букв (еще экономия бумаги!), взяли серую краску поразбавленнее, а бумагу похуже, не стали шивать листы — одним словом, испортили готовую и хорошо сделанную работу как могли, после чего повысили цену и предложили свою продукцию заждавшимся подписчикам.

Опять же рубли, хоть и деревянные. За пересылку каждого тома — 6 рублей (еще есть же и цена тома, по нашим временам ерунда — 12 рублей). Томов — 7, тираж — 3 000 000. Итого 126 млн рублей только за одну доставку. Такая доставка — ценной бандеролью в запечатанном пакете, вложенном еще в запечатанный капроновый пакет, — огромная психологическая находка ИНКОМа. Ну просто патент надо дать безо всякой экспертизы за такое блестящее изобретение! В магазине покупатель может повертеть книгу в руках и не купить. А в упакованном виде — да за такое долгожданное и дефицитное издание — запла-

тит, как миленький. Откуда ему знать, что там внутри? Заплатит и в получении распишется. А потом — попробуй верни книгу и получи деньги назад. Не каждый найдет время и решимость для такой канители.

Одним словом, издатели сделали все возможное и невозможное (если принять во внимание судьбу книги — ее тему, судьбу ее персонажей и автора), чтобы раз и навсегда отбить у читателя охоту покупать и читать подобные книги. Здесь проявились особенности «нашего» перехода к рынку. Во всем мире книги прославленных авторов издают хорошо, но стоят они дорого. Выпускаются также массовые издания, которые по качеству хуже, зато стоят дешево. ИНКОМ из мирового опыта позаимствовал только «дорого», а о том, чтобы взамен издать «хорошо», не может быть и речи.

Разумеется, нельзя не признать, что фирма ИНКОМ, ее организаторы и вдохновители разработали новые, современные, взвешенные и результативные методы борьбы с «ажитоажным спросом» у читателей. Но коль скоро издательство решило бороться с читателем, в частности со мной, и начало эту борьбу внезапно, без предупреждения и «без правил», я в порядке необходимой самообороны отказываюсь от подписки и возвращаю присланный мне ценной бандеролью том 5.

Прошу ИНКОМ возместить все мои затраты. Прошу также тех подписчиков, которые согласны с моей характеристикой качества издания, вернуть издательству том 5-й (Москва, Остоженка, д. 7, к. 44) как абсолютно непригодный и не достойный имени автора книги. Если эти строки попадутся на глаза представителям «Общества защиты интересов потребителей», прошу это «Общество» воспрепятствовать распространению т. 5 в свободной продаже.

Может быть, эти шаги вынудят бессовестное издательство выпустить малое собрание сочинений Александра Солженицына в надлежащем виде и прекратить издевательство над читателями?*

Август 1991

* Эту статью долго не печатали, и я послала рукопись Александру Исаевичу. Он писал мне 16 мая 1991 года: «Нахожу Ваше письмо об Инкомовском издании «Архипелага» очень своевременным и правильным — и поддерживаю Ваше желание напечатать его в «Литературной газете» или какой другой. Горько видеть, в каком изуродованном и к тому передорожённом виде “Архипелагу” суждено придти на родину».

РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА*



фильму «Избранник» предшествовал газетный шум. «Олеся Фокина в зоне Солженицына», — волновался «Вечерний клуб», это — «Евангелие от Олеси», — возгласила «Новая газета». А вот и сама Олеся Фокина, продюсер, дает интервью на радиостанции «Эхо Москвы» 9 декабря 1998 года.

«Что нового в вашем фильме», — спрашивают у нее.

«Он [Солженицын] не написал в “Невидимках”, каков был конец Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. — Она покончила собой. Об этом писатель нигде никогда не говорит, *это открытие сделано впервые на экране в этом фильме*».

Одним словом, не то избранник, не то обманщик.

Я решила дожидаться фильма.

Фильм, показанный по РТР 8 февраля, преподнес несколько сюрпризов. Один из них прямо касается меня. Мне высказана благодарность в титрах всех трех серий. На это сообщаю, что кроме одного разговора с продюсером фильма, в ходе которого я отказалась от участия в работе, я не имела отношения к каким-либо стадиям его подготовки. Поэтому теперь я твердо отключаю эту честь.

Другой неожиданностью оказалось содержание интервью Зои Борисовны Томашевской.

Сперва Зоя Борисовна рассказала новеллу о знакомстве Ахматовой и Солженицына: Звонок в дверь. Обычно Анна Андреевна незнакомых людей на порог не пускала. Тут вдруг пустила. Пришел некто, даже шапки не снял. Чуть ли не в коридоре стал читать стихи — ужасные. Оказался — Солженицын. Сообщил ей, что уже есть сигнал «Одного дня...» в «Новом мире». Через

* Литературная газета. 1999. 24 февр. С. 1, 9.

неделю обещал рукопись принести, дать прочитать. Так они и познакомились.

Увлекательный рассказ, но только всё было совершенно не так, и со слов Ахматовой давно опубликовано, по крайней мере, у нескольких мемуаристов. Солженицынскую повесть Ахматова прочла еще до знакомства с автором и мнение свое о ней высказала: «Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть — каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза» (так записано у Лидии Чуковской 19 сентября 1962 года). А через полтора месяца, 30 октября 1962 года, Чуковская встречается с Ахматовой у Марии Сергеевны Петровых. Анна Андреевна «сразу заговорила о Солженицыне, с которым познакомилась накануне (через Л. З. Копелева)».

То же и в воспоминаниях Л. З. Копелева и его жены Р. Д. Орловой: «“Один день Ивана Денисовича” готовился к печати. Анна Андреевна прочитала рукопись. Всем друзьям и знакомым она повторяла: “Это должны прочесть двести миллионов человек”». Встретились они с Ахматовой осенью того же года. Анна Андреевна рассказывала: «Вошел викинг. И что совсем неожиданно, и молод, и хорош собой. Поразительные глаза».

То есть на самом деле — сперва Ахматова прочла повесть, а потом познакомилась с Солженицыным. И не внезапным набегом незваного гостя, а — через общих друзей.

Сохранилась и запись самой Ахматовой:

«Вчера (28-ого) у меня (у Маруси в Москве) был Рязанский (рукопись рассказа ходила по рукам именно под этим псевдонимом. — Е. Ч.). Впечатление ясности, простоты, большого человеческого достоинства. С ним легко с первой минуты».

Как-то не совпадает этот облик с невежей, изображенным З. Б. Томашевской: вломился в чужой дом с улицы и даже шапку в помещении не снял.

Получается, что от всего рассказа З. Б. Томашевской о знакомстве Ахматовой и Солженицына не остается *ни одного факта*, который был бы изложен верно, а не перепутан, переставлен, искажен и потому опровергается всеми опубликованными свидетельствами тех, кто был тогда рядом с Ахматовой.

Это важно заметить себе прежде, чем мы перейдем к главному сенсационному сообщению З. Б. Томашевской. Зоя Борисовна рассказывает нам, что ее мать — Ирина Николаевна Томашевская в октябре 1973 года покончила собой на своей даче в

Гурзуфе. Эта оглушительная новость объявлена многомиллионной аудитории впервые через четверть века после смерти Ирины Николаевны, объявлена дочерью, которая не появилась в доме матери во все два месяца ее последней тяжелой болезни — и до самой смерти.

По нынешнему рассказу Зои Борисовны Ирина Николаевна узнала о гибели своей студенческой подруги Елизаветы Денисовны Воронянской, которая повесилась после допросов в КГБ. Получив это известие, Ирина Николаевна два месяца ждала ареста, закопала под кактусом письма Солженицына, а потом, не выдержав ожидания, в страхе покончила с собой. Через два года Зоя Борисовна разыскала и выкопала на участке часть ее архива.

— А как же книга «Стремя “Тихого Дона”», напечатанная в Париже? Откуда рукопись? — спрашивают ее.

— А это Солженицын послал Екатерину Васильевну Заблоцкую, она и привезла.

Хочу рассказать, что мне известно об этой новелле.

Ирина Николаевна Томашевская, многолетняя сотрудница Пушкинского Дома, автор нескольких книг, в том числе «Тавриды» — обладала необыкновенно твердым и решительным характером. Проблема авторства «Тихого Дона» заинтересовала еще ее мужа Бориса Викторовича Томашевского, а в середине 60-х годов к этой проблеме ее вернула статья В. Моложавенко на эту тему. Вскоре она узнала, что в Ленинграде у М. А. Асеевой сохранился архив Ф. Д. Крюкова. В конце 60-х годов И. Н. Томашевская начала свое исследование по «отслоению подлинного текста» «Тихого Дона».

А. Солженицын всегда живо интересовался этим ее замыслом, их связывала дружба и взаимное уважение. Однако Ирина Николаевна никогда не была его помощницей, не занималась судьбами его произведений, напротив — он всегда помогал ей в ее работе, доставая для нее книги и архивные материалы.

В августе 1973 года И. Н. Томашевской исполнилось 70 лет. На юбилей съехались в Гурзуф ее дети и внуки.

Дальше начинается странное. В конце августа у Ирины Николаевны случился инфаркт (поразительно, что Зоя Борисовна об этом в телерассказе вообще не упоминает!). Несмотря на это все родные уехали, и она, тяжелобольная, осталась в гурзуфском доме совершенно одна.

Известие о ее болезни пришло ко мне (я знала Ирину Николаевну с детства, она дружила еще с моим отцом) одновременно с вестью о самоубийстве Воронянской. По несчастному стечению обстоятельств я тоже в это время была тяжело больна после автокатастрофы. Однако я рассказала о болезни Ирины Николаевны — Николаю Веняминовичу Каверину. От него это известие дошло до Екатерины Васильевны Заболоцкой (он женат на дочери Заболоцких — Наталье).

Заболоцких и Томашевских связывала многолетняя дружба. После возвращения из лагеря Заболоцкий жил в Гурзуфе, писал там стихи, гостил с семьей в доме Томашевских. В тот же день, что пришла тревожная весть о тяжелой болезни Ирины Николаевны, 1-го или 2-го сентября вечером, Екатерина Васильевна Заболоцкая, человек поразительного благородства и спокойно-некрикливого мужества, бросив в Москве детей, внуков и все свои дела вылетела в Крым. Надо сказать, что с Солженицыным она не была знакома, и по одной этой причине, не говоря уже о ее возрасте и положении, он не мог бы ее туда «послать», как утверждает теперь Зоя Борисовна.

Екатерина Васильевна провела у постели больной Ирины Николаевны чуть больше месяца. Когда она уезжала из Москвы, считалось, что ее вскоре сменит кто-нибудь из близких. Но никто так и не приехал.

Когда Екатерина Васильевна в начале октября возвращалась в Москву, Ирина Николаевна отослала с ней все книги (первые издания «Тихого Дона»), материалы, главы из «Стремени...» и письма к друзьям. Отрывок из ее последнего письма, написанного за три недели до смерти, Солженицын привел в своем вступлении к публикации «Стремени...».

«Верю, что к весне завершу задуманное, — писала Ирина Николаевна в октябре 1973 года, — и, как никогда раньше, понимаю важность именно этой первой части моей работы. Дело ведь не в разоблачении одной личности и даже не в справедливом увенчании другой, а в раскрытии исторической правды, представленной поистине великим документом, каким является изучаемое сочинение. Это дело я уже не могу не довести до конца. Верю, что доведу». И дальше: «Вдруг мой век продлится, и эта книга окажется написанной?»

И еще одно письмо, привезенное Екатериной Васильевной.

«Что касается меня, — писала мне Ирина Николаевна, — то выяснилась полная никчемность стенок, клапанов и прочих деталей моего сердца, так что я вроде совсем уж бессердечна и всячески демонстрирую эти качества своей Корделии, уже месяц меня пестующей. 5-го она (т. е. Екатерина Васильевна) отбывает. Ей пора. И нечего меня баловать: и одна управлюсь, хотя пока еще едва пошевеливаюсь. Живется мне хорошо: синицы прилетели, дятел постукивает, пьяницы гурзуфские не оставляют своими милостями (а без них ведь совсем пропадешь, и гроба сколотить будет некому. Я, впрочем, о нем и не думаю, а так, по склонности к толковому хозяйству, расспрашиваю о сухой щепочке)».

Звучит в этих письмах и тревога, что болезнь не даст закончить, исполнить задуманное. Но при этом общая интонация: воля и надежда — успеть и завершить.

Через три недели после отъезда Екатерины Васильевны, 26 октября 1973 года, Ирина Николаевна скончалась в своем одиноком доме. Никто из родных и близких при ее кончине не присутствовал, все съехались уже только на похороны.

В 1973 году, после похорон И. Н. Томашевской я не слышала ни от Екатерины Васильевны, ни от Зои Борисовны, ни от общих друзей никаких разговоров и догадок о самоубийстве.

Непонятно, как мог бы Солженицын в Вермонте написать о самоубийстве И. Н. Томашевской, если после ее кончины такие предположения никто не выдвигал и не обсуждал.

«Обстоятельства смерти Ирины Николаевны остались загадочны для нас», — пишет он в «Телёнке». «Загадочны» — поскольку никого из близких не было при этом.

З. Б. Томашевская в своем послесловии к публикации «Стремени...» в России (1991) и в своих воспоминаниях, опубликованных в 1994 году, писала о смерти матери почти теми же словами: «Обстоятельства смерти Ирины Николаевны не очень ясны» (Звезда. 1994. № 6. С. 81).

Получается, что и в 1991 и в 1994 году Зоя Борисовна в своих интересных и содержательных воспоминаниях о событиях осени 1973 года не утверждала, что ее мать покончила собой. А теперь наконец пришло время — вдруг сообщила убежденно и уверенно. Что же произошло за это время такого, что позволило ей это сделать? Поскольку в этой истории высказано много догадок, я тоже позволю себе одну: за это время скончалась Екатерина

Васильевна Заболоцкая — одна из последних свидетельниц последней болезни Ирины Николаевны.

Когда человек умирает при таких обстоятельствах, как И. Н. Томашевская — в полном одиночестве, — очень трудно выяснять что бы то ни было четверть века спустя.

В своей статье, опубликованной в «Звезде», З. Б. Томашевская упоминает о «прощальных письмах», лежавших на столе в кабинете умершей.

Кому они были адресованы? И что в них написано? Может быть, разгадка случившегося как раз там и заключена?

Но тогда об этом пора уже рассказать просто и строго — безо всяких «новелл». Ирина Николаевна Томашевская, ее жизнь, ее труд и ее смерть заслуживают правдивой памяти.

Февраль 1999

«ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ВАНДАЛИЗМА...»*

*Главная наша беда — не кумиротворение,
а неуважение к личности*



важаемая редакция «Нового времени»! Я уже несколько месяцев наблюдаю попытки устроить большой, средний или хотя бы «заметный» (как пишет Илья Мильштейн) скандал по случаю выпуска книги «Портрет на фоне мифа». Для себя я решила в этот хор не вступать, так как высказалась на затронутую тему еще лет 15 тому назад. Но последнее (ой ли?) интервью Войновича в № 32 вашего журнала заставило меня все же сесть за компьютер.

Два культурных события этим летом потрясли умы читающей публики: утопление в бутафорском унитазе бутафорски-новаторских произведений писателя Владимира Сорокина и активные попытки писателя Войновича развеять миф о Солженицыне на фоне портрета. Сразу же мнения ученых сильно разошлись. Одни поняли дело так, что портрет — это Войнович, а миф — это Солженицын. Другие восприняли заголовок как раз наоборот.

Пока «Идущие вместе» боролись с Сорокиным, «идуший врозь» писатель Войнович счел наиболее актуальной задачей текущего момента развенчание писателя Солженицына.

Задача не самая легкая. Автор подошел к ее решению с неожиданной стороны. Он не стал в своей книге «Портрет на фоне мифа» анализировать многотомные произведения писателя, только заметил мимоходом, что «Иван Денисович» в свое время произвел на него сильное впечатление, а про «Архипелаг» выразился так: «Что бы ни говорили о художественных достоинствах “Архипелага”, сила его не в них». И дальше, говоря о читательском восприятии книги: «Произошел перепол-

* Новое время. 2002. 25 авг. № 2961. С. 36–37.

лох в умах вроде контузии». И еще интереснее: «Художественных открытий, о которых читатели книги говорили на каждом шагу, я в ней не нашел. По моему представлению, большое художественное открытие может быть сделано только силой художественного воображения. Документальное сочинение может быть очень умным, страстным и талантливым в своем жанре, но художественность достигается исключительно через вымысел».

Не мне спорить о таких высотах литературной теории, я оставляю эту возможность специалистам. От себя замечу только, что умение влезть в шкуру своего персонажа, перевоплотиться в него, увидеть мир его глазами тоже содержит в себе «силу художественного воображения». «Архипелаг» — это как раз поразительный сплав лично пережитого и пережитого за других; это пропущенное через собственное сердце, исполненное состраданием проникновение в судьбы и чувства сотен людей. Эта книга — железная конструкция, построенная мастером и увиденная глазами чуткого и проницательного художника. Впрочем, об «Архипелаге» надо писать по-другому, более развернуто. А еще важнее, чем писать, надо стараться, чтобы дети в школах изучали его поразительные страницы. Не сомневаюсь, что так оно и будет в конце концов. И еще: в стране, где после всего пережитого, прочитанного и услышанного продолжают праздновать «день чекиста», нападки на «Архипелаг» особенно неуместны.

Я убеждена, что Войновичу не удастся запихнуть «Архипелаг ГУЛАГ» в разряд устаревших и навязших в зубах документов, снабженных, как он пишет, «фактической и эмоциональной информацией» (?!). Но попытку такую он делает. «Что же до «Архипелага ГУЛАГ», — пишет Войнович, — то в безусловности его художественных достоинств я сомневаюсь, а как исторический источник он тоже ценность свою потерял. Открылись архивы, опубликованы документы, факты, цифры, которых автор просто не мог знать. Конечно, историкам будут интереснее документально подтвержденные данные, чем даже добросовестные эмпирические догадки». Вот такая новость, теперь вместо «Архипелага» Войнович предлагает историкам «документы, факты и цифры». Он не чувствует разницы между фактом и художественным словом, между документом и рассказом очевидца, между цифрой и раздумьями обитателей «Архипелага» о «душе и колючей проволоке». Странная глухота для непредвзятого писа-

тельского слуха. Не говоря уже о том, что «Архипелаг» адресован не только и не столько историкам, сколько читающей публике во всех концах земли.

Есть в «Портрете...» и другие несуразности.

До сих пор считалось, что «культ личности» — это термин, введенный Хрущевым для обозначения преступлений Сталина. Термин вошел в обиход после XX съезда партии, где Хрущев в закрытом докладе разоблачил «культ личности». За этим «культом» стояли миллионы погубленных жизней, войны и страдания нескольких поколений. Потом это словосочетание, аналогичное другим партийным клише типа «примкнувший к ним» или «чистые руки, холодное сердце», перенесли и на других диктаторов.

Теперь Войнович борется с «культом личности» Солженицына. Не дико ли наклеивать партийный ярлык одному из самых заметных и успешных борцов с этим самым культом. Это та самая принятая сейчас намеренная путаница всех понятий, которая так характерна для нашего смутного времени.

Главную опасность Войнович усматривает в «кумиротворении» — об этом мы узнали из бесчисленных газетных статей и не менее бесчисленных телевизионных интервью. (Газеты, пресс-конференции, презентации в разных городах, телевизионные ток-шоу чуть не каждый день постоянно возвращали нас к актуальной, волнующей теме...) В чем же суть тревоги, которая заставила Войновича забить в набат с такой громкостью и частотой? А дело, оказывается, в том, что мы пропадаем не от воровства, невежества, жестокости, стихийных бедствий и износа технического оборудования электростанций (не говоря уже об износе душ), а от изобретенного Войновичем «кумиротворения». Гибнем от излишнего восторга перед талантом Солженицына, Башмета или Мэрилин Монро, слишком превозносим Шопена и чересчур много букетов бросаем на сцену Ростроповичу. Но сколько бы ни боролся Войнович с этим злом, люди все равно всегда будут восхищаться и удивляться талантам писателей и ученых, певцов и композиторов, художников и артистов. А когда перестанут удивляться — опустятся на четыре ноги, потому что в душе человека нет ничего более прекрасного, чем способность восхищаться искусством, воспринимать его достижения и уважать за это их создателей. И бороться с этим в наши жесткие и прагматичные дни особенно нелепо и даже, риску предположить, вредно.

В своем интервью «Новому времени» Войнович описывает трудности с изданием своего сочинения: два журнала отказались печатать его книгу, да еще ему приходилось слушать «визг и вой» части читателей и «дикие крики» сторонников Солженицына.

Однако в своем «Портрете...» Войнович приводит только два образца «визга и воя» — это отрывки из моего письма и отрывки из письма моей матери Лидии Чуковской. Вероятно, мне принадлежит визг, а Лидии Корнеевне вой. А может, дело обстоит как раз наоборот.

Но войдите и в наше положение, нельзя не взвыть, читая такие пассажи: «Утверждение, что он в одиночку противостоял и победил, это и есть самое главное, лежащее в основе мифа, преувеличение». Интересно бы узнать у Войновича, чье же это утверждение? Во всяком случае не самого «мифа» (не путать с маркой стирального порошка), то есть Солженицына, который посвятил треть своей книги «Бодался теленок с дубом» рассказам о своих помощниках, благодаря которым он мог «в воздухе держаться без подпорки».

В отличие от Войновича я убеждена, что наши беды не в выдуманном «кумиротворении», а совсем в противоположном направлении. Наше общество — это «общество взаимного неуважения». Главная наша беда не «кумиротворение», а, наоборот, неуважение к личности — к любой личности, выдающейся или ничем не примечательной.

В 1911 году мой дед, Корней Чуковский, писал Репину, возмущаясь нападками на художника со стороны «мирискусников»: «Разве не первый признак вандализма — и даже хуже: хулиганства — неуважение к родным великим людям, хихикание над своими гениями, улюлюкание во след тому, кто осчастливил Россию, прославил Россию — кто всю жизнь жил среди грандиозных образов, титанических задач — разве это не полное вандальство!»

Боюсь, что эти слова вполне приложимы и к сегодняшнему автору «Мифа на фоне портрета».

Август 2002

ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЦЕНЗУРЫ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ*



апреле 1962 года Корней Чуковский отдыхал в Барвихе одновременно с Александром Трифоновичем Твардовским, который дал ему прочесть рассказ «Щ-852», написанный А. Рязанским, не известным никому автором.

Корней Иванович пришел в восторг от прочитанного и написал рецензию, которую Твардовский, хлопоча о публикации, передал Хрущеву вместе с рассказом. Свою рецензию Чуковский назвал «Литературное чудо». Он писал:

«Шухов — обобщенный характер русского простого человека: жизнестойкий, выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый... весь рассказ написан ЕГО языком, полным юмора, колоритным и метким... Великолепная народная речь с примесью лагерного жаргона... Только владея таким языком и можно было прикоснуться к той теме, которая поднята в этом рассказе. Тема эта — злое мучительство, ставшее нормой людских отношений, многолетние страдания ни в чем не повинных людей, оказавшихся во власти организованных и вооруженных мерзавцев...

Словом: с этим рассказом в литературу вошел очень сильный, оригинальный и зрелый писатель... Мне даже страшно подумать, что такой чудесный рассказ может остаться под спудом. Ничего нецензурного в нем нет. Он осуждает прошлое, которого, к счастью, уже нет. И весь написан во славу русского человека».

После того, как «Один день...» был опубликован в «Новом мире», Чуковский посвятил главу в своей книге «Высокое ис-

* Доклад на Международной научной конференции «Александр Солженицын: проблемы художественного творчества. К 85-летию писателя» (Москва. 17–19 декабря 2003 года) // Между двумя юбилеями. М.: Русский путь. 2005. С. 352–370.

кусство», анализу переводов «Одного дня...», которых сразу появилось великое множество. Он проанализировал пять американских переводов и на примере таких фраз автора, как «Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укыва, ни грева» или «И сразу шу-шу-шу по бригаде» или «Фетюков... подсосался» показал, что в переводе «...всюду свежие, сверкающие народные краски подменяются банальными и тусклыми».

Эта глава из книги Чуковского читалась по радио, Александр Исаевич услышал передачу во время своей поездки по России и приехал в Переделкино познакомиться с Корнеем Ивановичем. Однако вначале виделись они нечасто.

Первое впечатление

11 сентября 1965 года у Александра Исаевича конфисковали архив на квартире его московского знакомого Вениамина Львовича Теуша, и он приехал в Москву с чемоданчиком, в котором были его уцелевшие рукописи. С этим чемоданчиком в руках он пришел к Корнею Ивановичу, которого потрясло его положение. Александр Исаевич ждал ареста, был в очень плохом настроении, и Корней Иванович пригласил его к себе в Переделкино, считая, что там меньше шансов арестовать его в какой-то неразберихе, что там он будет лучше защищен.

Александр Исаевич принял это приглашение и в сентябре 1965 года жил в Переделкине. Я ожидала увидеть человека измученного, несчастного, нервного, капризного, больного и была крайне изумлена, увидев молодого, с военной выправкой, веселого Александра Исаевича, который старался развлечь Корнея Ивановича какими-то шуточными разговорами. Держался Александр Исаевич очень бодро. Несмотря на то, что в это время на душе у него было тяжело.

Вот запись моей матери, Лидии Корнеевны из ее дневника:

«Первое впечатление: молодой, не более 35 лет, белозубый, быстрый, легкий, сильный, очень русский.

Главное ощущение от него: воля, сила. Чувствуется, что у человека этого есть сила жить по-своему.

Когда он смеется или сильно движется, он похож на пламя; иногда он — князь Мышкин; иногда Тиль; иногда — когда молжав и красив — похож на Дубровского.

Смотрю на этого человека, слушаю, размышляю.

Быстро, точно, летуче, как-то даже элегантно движется. Красота его именно в движениях, в быстрых переменах лица: то сосредоточенность, сжатый рот, глаза сверкнули, шрам на лбу виднее — то вдруг совсем распустил лицо в пленительной, открытой улыбке, глаза исчезли, сощурившись, одни зубы сверкают, молодой хохот».

Приведу запись из дневника Корнея Ивановича этого времени от 30 сентября 1965:

«Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал Александр Исаевич — и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь, — огромная мощь таланта»*.

Своей квартиры в Москве у Александра Исаевича не было. В Рязани он жил, по его рассказам, в старом, развалившемся деревянном доме рядом с шумной базой или складом, где бывали 40–50 грузовиков в день.

Он часто наезжал в Москву по разным делам, и с осени 1965 года иногда на день-другой останавливался на нашей московской квартире, которая находилась в самом центре, неподалеку от журнала «Новый мир», с которым в те годы Солженицын был связан.

Конспирация

В первый же раз осенью 1965 года, когда Александр Исаевич приехал к нам в Москву, он дал мне неожиданное поручение — позвонить какой-то женщине из телефона-автомата, назваться не своим именем и передать ей какие-то определенные слова. Так начиналась для меня солженицынская школа конспирации, которая была многосторонней и отработанной. Прежде всего, он исходил из того, что под любым потолком, где он находится, — его прослушивают. Как он был прав в своих предположениях, стало очевидным, когда

* *Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М.: Советский писатель, 1994. С. 379.*

в годы перестройки опубликовали «оперативные материалы» наблюдений за Солженицыным, о которых я скажу ниже. Поэтому в доме он никогда не называл никаких имен, не упоминал никаких своих планов и встреч, не звонил из квартиры по телефону, а только из телефона-автомата. Позже он учил меня выскакивать из вагона метро в последнюю секунду с тем, чтобы избавляться от «хвостов». Показывал, как выскакивать из троллейбуса. В нашу квартиру к нему часто приходили многочисленные друзья и помощники, но никого он не называл под потолком своим именем, все были переименованы.

Вот образец одной из его записок:

«18.6. 1968. Тот экз. “Архипа” отдайте Смехачу, он сам будет читать и даст сердитой бабушке».

В те годы Александра Исаевича окружало множество людей разных поколений из разных пластов его жизни — от друзей студенческих лет до учеников из рязанской школы, в которой он преподавал в начале 1960-х годов. Был еще большой круг его ровесников, тоже прошедших войну и лагеря. Приходили писатели и читатели, Солженицын получал сотни писем.

На зиму для работы он исчезал из Москвы в какое-нибудь «укровище», как он говорил.

В ту зиму, после конфискации архива, Корней Иванович затеял хлопоты о том, чтоб Солженицыну в Москве дали квартиру. Написал письмо, которое кроме него подписали Паустовский, Капица и Сергей Сергеевич Смирнов — влиятельный секретарь Союза писателей, писавший о Брестской крепости. К Смирнову ходила я, он колебался, ставить ли ему свою подпись. Я ему сказала:

— Сергей Сергеевич, ведь Солженицын до сих пор с войны не вернулся — сперва лагерь, потом ссылка, потом неустроенная жизнь в Рязани, надо ему помочь.

Смирнов подписал письмо. Но хлопоты эти успехом не увенчались. До самой своей высылки Солженицын так и не получил в Москве ни квартиры, ни прописки. После этого письма ему сразу дали другую, чуть лучшую квартиру в Рязани.

Жил он очень скромно. В эти годы его уже совсем не печатали.

Я как-то спросила его: знаете, что значит имя Александр?

Он ответил: «Знаю — защитник людей, мы с Александром Ивановичем Герценом выполнили свой долг перед человечеством».

Общественный резонанс

Конечно, главное воздействие Солженицына на современников шло через его книги, начавшись с публикации «Одного дня...». Но в 1965 году, после конфискации архива, его перестали издавать, а потом начали потихоньку изымать его книги из библиотек. В 1974 году после высылки сразу был издан приказ Главлита об изъятии из библиотек и уничтожении всех его книг, изданных в Советском Союзе.

Но, несмотря на все запреты, воздействие на современников личности Солженицына, его позиции, его поведения, его слова было огромным.

Я здесь вспомню два эпизода.

В ноябре 1966 года Александр Исаевич выступил в Курчатовском институте (Институт атомной энергии) с чтением глав из неопубликованного «Ракового корпуса» и недавно конфискованного романа «В круге первом». Это была дерзость неслыханная, и слух об этом выступлении сразу разошелся по всей Москве. Я там не была, но слышала от очевидцев. Они были потрясены его свободной, смелой и артистической манерой поведения на этой встрече. Были вопросы в записках, и на них он отвечал, не уклоняясь, говорил о конфискации своего архива, в том числе и романа «В круге первом», о тех препонах, которые чинились его работе и его общению с читающей публикой, возражал против цензуры.

Поскольку в это время уже началась «клевета с трибун», о которой я скажу ниже, он решил не отказываться от возможности ее публично опровергать и принимать все приглашения на выступления, которые к нему поступают.

От этого времени у меня сохранилась его записка:

«19/X 66. Совершенно чудовищно, но: хотя до выступления в Карповском институте (научный институт, куда его тоже при-

гласили. — *Е. Ч.*) осталось 2 часа — оно еще не отменено. Если не отменят — в 14.30 уезжаю туда, а оттуда — прямо на поезд — 14.20. Выхожу. Если не вернусь, значит состоялось. Говорят, позавчера Семичастный объявил, что я читаю “роман, запрещенный цензурой”. Придется публично опровергнуть, рассказать, кто распространяет роман» (конфискованный роман распространял тогда «для своих» без ведома автора Комитет государственной безопасности. — *Е. Ч.*).

И еще одна:

«30/11 66. Сейчас отправляюсь на n-ную попытку встречи в Институт востоковедения (в день отъезда в Карповском тоже не состоялось)».

Встреча в Институте востоковедения после многочисленных отмен все же состоялась, но больше ни одного раза ему не разрешили выступить. Ему перекрывали любые возможности общения со своими читателями.

Что касается его записок, то чаще всего он ставил по бокам косые крестики, и это означало, что записку следовало немедленно сжечь, не хранить, т. к. там упомянуто какое-нибудь конкретное обстоятельство или названо лицо, которое не должно стать известным. В те годы мы помнили слова Анны Зегерс: «Они знают о нас только то, что мы сами о себе рассказываем».

Весной 1967 года был назначен IV съезд писателей. Допускали туда, и в особенности на трибуну, только делегатов съезда. Солженицын не был избран делегатом. Но к съезду он начал готовиться сильно заранее. Он написал свое теперь знаменитое «Письмо IV съезду писателей», и я тоже заранее напечатала его в большом количестве экземпляров. Этих экземпляров было заготовлено больше двухсот. Экземпляры были разложены в конверты с адресами тех писателей, на поддержку которых можно было рассчитывать, а также тех журнальных редакций, которые он хотел осведомить, и накануне съезда разосланы по этому множеству адресов.

В разных концах Москвы их опускали в разные почтовые ящики разные люди. Помню в этой роли Георгия Тэнно, близкого друга Александра Исаевича, «убежденного беглеца», мор-

ского офицера, которому посвящены многие страницы «Архипелага».

Александр Исаевич старался все предусмотреть заранее.

Еще 21 апреля 1967 он писал мне:

«Если со мной что-нибудь случится, Веронька принесет 16-го все конверты, вы за меня надпишете каждое письмо и отправите без “рописи”. Но этого не будет».

И позже, за несколько дней до рассылки:

«16 мая 67. В субботу намереваюсь ехать в Переделкино, днем посетить Каверина, еще туда приедет ко мне Борщаговский.

С 19-го же (пятница) отдаем письмо в Самиздат. Можно утром уже забирать и давать людям, кого за день увидите».

Таким поступком Солженицын демонстрировал обществу, что вместо мертвого и формального сидения на съезде с заготовленными казенными речами и резолюциями — надо обсуждать и решать насущные вопросы текущей жизни, которые волнуют и задевают всех писателей. Он впервые во весь голос, громко и поставил вопрос о цензуре, которая душила литературу, заговорил об обязанностях Союза писателей по отношению к своим членам, помянул писателей, погибших в лагерях или расстрелянных.

Его образ действий, его нежелание принимать вьевшиеся за годы советской власти правила игры учили современников свободе, независимости и человеческому достоинству. И это был урок не менее важный, чем тот, который люди получали из его книг.

Такое невиданное обращение к съезду недопущенного туда Солженицына, было беспрецедентным в истории советской писательской организации и встретило столь же беспрецедентную поддержку писателей.

Около ста членов Союза писателей высказались в поддержку этого письма. Среди них были Паустовский, Каверин, Тендряков, Можаев, Аксенов, Тарковский, Василь Быков и многие другие.

В своей «Речи, не произнесенной на IV съезде» Каверин как главное качество Солженицына подчеркнул общую черту, сое-

дияющую его произведения — «Могучее стремление к правде, опирающееся на чувство внутренней свободы»*.

Известно, что внешним толчком для «Пражской весны» послужило это письмо Солженицына, которое обсуждалось также и чешскими писателями.

Клевета с трибун

Поскольку общественный авторитет Солженицына и интерес к нему был очень высок, власти применили к нему кроме конфискации бумаг, запрета на печатание, постоянной слежки еще и испытанный советский метод — клевету с трибун. На разных закрытых партийных собраниях ораторы сообщали всяческие домыслы и небылицы публике, которая не имела возможности их проверить и им возразить.

Один из читателей Солженицына записал выступление главного редактора газеты «Правда» М.В. Зимянина 5 октября 1967 года в Ленинграде на одном из таких собраний. Зимянин сказал:

«Это психически ненормальный человек, шизофреник. Он был в плену (никогда в плену не был. — *Е. Ч.*), а затем за дело или без дела (для редактора «Правды» это несущественно. — *Е. Ч.*) был репрессирован. Свою обиду на власть он выражает в своих произведениях. Лагерная тема — единственная в его творчестве, и он не может выйти за ее пределы. Она, эта тема, его навязчивая идея... я читал пьесу Солженицына «Пир победителей»... За такое в прежние времена сажали. Понятно, что мы не можем его печатать... Солженицын — преподаватель физики, вот и пусть себе преподает»**.

Хранение архива

Работа Александра Исаевича уже в те годы была связана с большим архивом. Как сам он пишет, хранение архива задавало

* *В. Каверин*. Речь, не произнесенная на IV съезде писателей // Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962–1974. М.: Русский путь, 1998. С. 232.

** Слово пробивает себе дорогу: Сборник. С. 207–208.

ему не меньше задач, чем само писание. По лагерной привычке и навыку он придавал большое значение объему рукописи.

Солженицына трудно было заставить врасплох, он многое продумывал заранее, и поэтому когда он начинал писать, то сразу думал: как он будет хранить рукопись, где она будет лежать, в скольких экземплярах, какой объем будет занимать, кто будет приносить ее.

В большинстве его записок мне — поручение передать или взять какую-нибудь из его рукописей. Вот такие поручения:

«30/XI 66. Оставляю РК — часть II (кроме гл. 30, где последнюю страничку дописываю). Можно уносить, можно и оставить».

«Апрель 67. Веронька на днях придет взять мой 1 экземпляр РК-1 для правки.

Роман в малиновой папке можно дать только в бережные руки и не для перепечатки. Остальные экземпляры устроены, и в том числе печатать возьмут. Он понадобится мне только в середине мая.

Если успеете до отъезда — подбросьте один экземпляр “Пасхального хода” Еве».

После напечатания «Одного дня Ивана Денисовича» к нему хлынул поток писем читателей, рассказывающих о своем лагерном прошлом, о своей жизни. Эти важнейшие свидетельства современников легли в основу многого, рассказанного на страницах «Архипелага». Читатели обращались к автору с огромным доверием, с просьбами о защите и помощи. В недолгую пору своего признания в СССР Александр Исаевич успел вмешаться в судьбы некоторых своих корреспондентов и помочь им. Когда Зошенко опубликовал книгу «Письма к писателю». Я уверена, что если когда-нибудь опубликовать сотую часть писем к писателю Солженицыну, мы получим историю нашего общества в 60-е и последующие годы, рассказанную голосами свидетелей из всех слоев общества. Своими книгами Солженицын всегда умел затронуть самые болевые точки русской истории, поэтому взгляды его корреспондентов часто сталкивались, но тем более они интересны и существенны.

Вернусь к судьбе архива. После провала 1965 года все было поставлено так, что он сам переставал бывать в тех домах, где

хранился его архив, чтобы не навести на след. Рукописи передавались по цепочке, с тем чтобы тот, кто стоял в ее начале, не знал конкретного места хранения и не мог его выдать. Как я уже говорила, архив хранился на разных квартирах. Но так как работа автора все время продолжалась, то постоянной заботой была необходимость связаться с хранителями, передать по цепочке для хранения или, напротив, получить оттуда какую-нибудь понадобившуюся папку.

Распространение Самиздата

Важной стороной общественной деятельности Солженицына было распространение Самиздата. Его фигура, как магнитом, притягивала к себе все произведения авторов, не попадавших на страницы советских изданий. Всеми возможными путями они передавали ему через знакомых или непосредственно свои труды, и у Александра Исаевича накапливался большой фонд таких работ. К нему часто попадали книги, опубликованные зарубежными русскими издательствами, — издательством им. Чехова или ИМКА-Пресс, последние номера «Нового журнала», книги Набокова. Он прикладывал немалые усилия, чтобы сделать их достоянием общественности, отдавал эти рукописи и книги своим многочисленным помощникам и болельщикам для перепечатки и распространения, раздавал вместе со своими произведениями, передаваемыми в Самиздат, и тем самым тоже будоражил и вносил живую струю в общественную жизнь. Около него, вокруг него всегда было множество интересного чтения.

Привожу несколько примеров из записок того времени:

«2/III 67. “Багровый остров” привезу завтра.

16/5 67. Оставляю почитать воспоминания Шалапина.

Весна 1968 г. Надо бы перекинуть НН эту записку с речью Карякина.

12.2.68. Якировское обращение слишком расплывчато. Речь Галанскова — хороша! А Григоренко — это потрясающе! (Собираюсь дать Александру Трифоновичу, мне ее сейчас перепечатают).

22/XI 68. Прочтите маме эту дословную запись вчерашней передачи ВВС (диктофон).

5.8.69. Кладу “Лолиту”, которая мне решительно не понравилась (тяжело, длинно, талант ущербнулся).

22/Х. Оставляю “Бабий яр”.

Март 1970. Если у вас сохранился лишний Грибачев и эта последняя статья Бжезинского — отложите их для меня».

Работа над «Архипелагом ГУЛАГ»

Но вернусь к началу нашего знакомства. Как-то Александр Исаевич сказал мне, что сам печатает на машинке все свои книги. А в это время были уже написаны такие большие произведения, как «В круге первом» и 5 частей «Архипелага ГУЛАГ». Я предложила, если понадобится, помочь ему в перепечатке.

И вот, в мае 1966 года я получила открытку:

«4.5.66. Кажется не в силах буду отказаться от щедрого подарка, который вы мне предлагаете — двух недель жизни. Поэтому, если у вас есть в запасе выходные, как вы говорили — поберегите их на вторую половину мая».

В конце мая он привез мне тетрадочку с первым вариантом первой части «Ракового корпуса». Это была аккуратная толстая школьная тетрадка с полями. На полях цветными карандашами были размечены места, которые автор хотел выделить для себя. Почерк очень особенный и четкий. Последующие два года внешне были заняты завершением «Ракового корпуса» и борьбой за его напечатание в Советском Союзе, которая сопровождалась многими событиями — шли разговоры, обсуждения, письма в защиту. Речь шла и о печатании «В круге первом». Под завесой этих хлопот Солженицын и вернулся к своей потаенной работе над «Архипелагом».

Александр Исаевич все построил таким образом, чтобы внешне выглядело так, будто он поглощен работой над другими книгами. Работа над новой третьей редакцией «Архипелага» сошла с годами борьбы за публикацию «Ракового корпуса».

Я записала некоторые его мысли о прозе:

«Мне надо писать большие вещи, я люблю архитектурно строить, а рассказы не выгодно. Растрачивание сил».

«Как чудно сказал Замятин, что в стихе ритм арифметический, а в прозе — интегральный, и что прозу писать труднее».

«До сих пор свои рассказы все знаю наизусть. Ритмическая проза».

Я здесь много говорю о конспирации, об усилиях, прикладываемых автором для сохранения своих вещей. Эти волнения и тревоги были совсем не на пустом месте. Можно сослаться, например, на книгу «Кремлевский самосуд», документально подтвердившую атмосферу непрерывной слежки и сыска, в которой он жил. Книгу открывает «Меморандум по оперативным материалам о настроениях писателя А. Солженицына»: в 1965 году под каким-то потолком был подслушан и записан рассказ Солженицына о том, что он пишет новую книгу. Вот некоторые строки из этой записи, где выражено настроение автора:

«Я сейчас должен выиграть время, чтобы написать “Архипелаг”. Я сейчас бешено пишу, запоем, решил сейчас пожертвовать всем остальным... Я использую свой опыт только в самых ударных местах, в ярких сценках, в которых я сам был свидетелем. Полная картина “Архипелага”, прямо лава течет, когда я пишу “Архипелаг”, нельзя остановить»*.

Сейчас трудно себе представить, в каких условиях работал Солженицын, в каком темпе велась эта работа. Надо напомнить, что свои показания о пребывании в лагерях дали ему 227 свидетелей, чьи имена в свое время приходилось тщательно скрывать и зашифровывать, чтоб не подвергать их преследованиям, а теперь все они будут названы автором в ближайшем переиздании книги. Для того чтобы найти и записать этих свидетелей, тоже пришлось поколесить по стране. Материал приходилось собирать от очевидцев, допуск в архивы был ему закрыт. Вся рукопись «Архипелага» никогда не лежала перед автором на столе, а была только та глава, с которой он работал. И когда он узнавал какой-то новый факт, который нужно было поправить, он должен был ехать — иногда на другую улицу, а иногда в другой город — и вносить исправление в рукопись. Или приглашать человека, хранящего эту страницу, к себе.

* По оперативным материалам о настроениях писателя А. Солженицына // Кремлевский самосуд: Секретные документы Политбюро о писателе А. Солженицыне. М.: Родина, 1994. С. 12, 13.

Та редакция «Архипелага», которой я была свидетелем, делалась в марте—мае 1968 года. Книга была задумана и начата еще в 1958 году, следующая, вторая редакция была сделана на основе потока писем после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Работа над новой, третьей редакцией шла с фантастической быстротой. В марте—апреле был переделан и сильно дополнен весь первый том. По моей записи: «Почти нет страниц без правки — причем она в сторону ужесточения против Ленина и Горького». Первый том он правил в Рязани и присылал мне главы, которые я печатала. Рукописи мне привозили его бывшие школьные ученики.

В мае месяце Елизавета Денисовна Воронянская и я поехали на дачу Солженицына в Рождество-на-Истье. Это был маленький деревянный дом, не отапливаемый, куда невозможно было проникнуть до тех пор, пока не закончится разлив рек. Была там комнатка внизу, где жили мы с Елизаветой Денисовной, и комнатка наверху, где жили Александр Исаевич и Наталья Алексеевна (его первая жена), и еще была терраска, на которой мы собирались. Работали с раннего утра и до ночи. Александр Исаевич правил главы из «Архипелага» одновременно и из второго и из третьего тома для переписки, и мы с Елизаветой Денисовной их печатали на двух машинках. Я — второй том, а Елизавета Денисовна — 3-й. Потом он внимательно читал и правил напечатанное. К июню вся эта работа была закончена.

И во всё время работы никогда весь «Архипелаг» не находился на даче. Все время приезжал кто-нибудь из друзей, увозил и прятал заново перепечатанные главы. Запомнилось, как Александр Исаевич нашел несколько ошибок в главах, копии которых были уже увезены, и назвал список обнаруженных опечаток «Поздние слезы». Шестая и седьмая части книги хранились в рукописи, одна из глав — под названием «Мужичья чума» — была закопана на огороде, существовала в единственном экземпляре, и Александр Исаевич при нас ее выкапывал.

После возвращения в Москву я встречалась с Георгием Павловичем Тэнно, «убежденным беглецом», уже упомянутым выше, который успел прочитать и проредактировать главы о своем побеге с каторги. Эта работа шла во время тяжелой последней болезни Георгия Павловича. Он скончался осенью 1968 года.

Когда была закончена третья редакция «Архипелага», а пленка отправлена за границу на хранение, Александр Исаевич об-

ратился к прежним своим хранителям и помощникам с просьбой уничтожить все предыдущие редакции. Все хранители ему написали, что уничтожили промежуточные экземпляры. То же самое написала Елизавета Денисовна. Но она (как выяснилось позже) не уничтожила свой экземпляр...

После окончания «Архипелага» в 1968 году Солженицын перешел к работе над новым вариантом романа «В круге первом», потом к работе над «Августом Четырнадцатого», вскоре он был исключен из Союза писателей, потом получил Нобелевскую премию... Происходило много событий. «Архипелаг» лежал. Был момент, когда Александр Исаевич хотел дать его прочесть Твардовскому, но как-то не получилось. Твардовский ничего не знал об «Архипелаге», как ничего не знал и Корней Иванович. Мало кто о нем тогда знал. Не знал и комитет по Нобелевским премиям, присудивший Солженицыну премию за 4 года до публикации «Архипелага».

Но в августе 1973 года произошел этот ужасный провал... Летом 1973 года велась травля Сахарова и Солженицына в печати, выступали академики, писатели... Тем летом Елизавета Денисовна Вороньянская вместе со своей приятельницей Ниной Пахтусовой отдыхала в Крыму. А я попала в тяжелую автоаварию и была в больнице. Елизавета Денисовна часто писала мне из Крыма.

Она была человеком восторженным, экзальтированным, очень немолодым, ей было уже за 70. Она тяжело болела, с трудом ходила, жила одна, в коммунальной квартире в Ленинграде, на Лиговке в каком-то достоевском темном доме. Там у нее была комнатка рядом с кухней.

По возвращении из Крыма она сразу была арестована и увезена на допрос. Пять дней подряд ее допрашивали. Она назвала место, где хранится не сожженная ею рукопись «Архипелага». Вернулась домой и повесилась. Я узнала об этом 30 августа 1973 года. Профессор Эткинд, который был на ее очень странных похоронах, прилетел на следующий день с печальным известием в Москву. А за день до этого о конфискации «Архипелага» узнал по цепочке Лев Копелев, находившийся тогда в Ленинграде, и сообщил об этом мне через своих родных. С этим известием я поехала на дачу к Солженицыну.

Для него случившееся было потрясением. В ближайшие дни, после того как он обо всем узнал, он сделал распоряжение в за-

падное хранение опубликовать «Архипелаг». Фотопленка давно лежала у надежных людей за границей. Через 3 месяца, в конце декабря 1973 года в Париже, в издательстве «ИМКА-Пресс» вышел первый том книги, и начался чудовищный скандал.

Ведь что такое было в 1973 году печатать «Архипелаг» от своего имени, ни за кого не прячься?! И не отговариваясь тем, что «без ведома автора». Здесь опять современников поражало не только то, ЧТО писал Солженицын, — поражала совершенно небывалая и несвойственная советскому человеку модель поведения. КАК он отстаивал и утверждал свои взгляды в обстановке травли и угроз. Солженицын реагировал на все совершенно по-своему и безо всяких колебаний. Несмотря на то что у него были крошечные дети, что в Москве его не прописали, что он увлеченно работал над «Красным колесом», да еще в это время писал «Письмо вождям» — он сразу все это отодвинул, решил издавать «Архипелаг», понимая, что его ждет. Еще в 1965 году он говорил, что «Архипелаг» будет печатать в 1972–73 годах. А по его судьбе, закрученной в эти годы, получилось, что он все откладывал. Он знал, что это будет обрыв в его жизни, перелом. Но когда все случилось — он абсолютно не колебался.

Готовность идти до конца

Иногда можно было услышать — Солженицын защищен своею известностью. Но эта известность складывалась из многих поступков, совершенных буквально на краю пропасти.

Я уже приводила выше его записку накануне рассылки письма съезду. Тогда же на первых главах рукописи «Теленка» появилась надпись:

«Если не буду жив».

В сентябре 1967 года, когда шла борьба за печатанье «Ракового корпуса» такая записка:

«Настроение у меня — не уступать ни одного сантиметра, просто не хочется... Я приеду прямо 22-го на бой, свеженьким».

И в ноябре 1969, после исключения из Союза писателей:

«Я настроен боево! Конечно, хотелось бы еще годик — но не дают, так не дают. Что я не сам начинаю, а они напали — в этом есть моральное облегчение большое, освобождаюсь от самоупреков».

Высылка из СССР

Многим памятни советские газеты января—февраля 1974 года, улюлюканье и свист по поводу первого тома «Архипелага».

12 февраля 1974 года Солженицын был арестован, лишен гражданства и вывезен на самолете из СССР. Его книги были изъяты из библиотек, имя запрещено и не упоминалось в нашей стране десятилетиями.

На следующий день после высылки Солженицына писатель Юрий Нагибин пишет о нем:

«История — да еще какая! — библейского величия и накала творится на наших глазах. Последние дни значительны и нетленны, как дни Голгофы... возблагодарим Господа Бога, что он наградил нас зрелищем такого величия, бесстрашия, бескорыстия, такого головокружительного взлета. Вот, оказывается, какими Ты создал нас, Господи, почему Ты дал нам так упасть, так умалиться и почему лишь одному вернул изначальный образ?... Он, которого Ты дал отнять у нас, подымал нас над нашей малостью, с ним мы хоть могли приблизиться к высокому образу. Но Ты осиротил нас, и мы пали во прах. Теперь нам уже не подняться. Пуста и нища стала наша большая страна, и некому искупить ее грехи. Храни его, Господи, а в должный срок дай место подле себя, по другую руку от Сына»*.

Восприятие «Архипелага ГУЛАГ» современниками

Вернусь в август 1973 года, к трагедии Елизаветы Воронянской. На обыске у нее были конфискованы ее воспоминания, а у ее подруги Н. Пахтусовой — ее дневник. Теперь и то, и другое напечатано среди казенных протоколов заседаний Политбюро ЦК и бесчисленных Информаций Комитета государственной безопасности в упомянутом сборнике «Кремлевский самосуд»:

* *Юрий Нагибин. Дневник. М.: Олимп. Астрель, 2001. С. 319–320.*

Вот что пишет Елизавета Воронянская об «Архипелаге»:

«Ни один мыслящий и думающий человек не пройдет мимо этого Эвереста русской литературы, охватившего непостижимое народное страдание, показавшее потаенную, скрытую каторжную жизнь доброй половины русского народа за полвека правления коммунистов... Эта книга поведала самую страшную, самую кровавую трагедию двухсотмиллионного народа за всю его вековую историю... В «Архипелаге» он рассказал о пламени, в котором сгорела наша страна»*.

Пахтусова в своем дневнике так характеризует «Архипелаг»:

«Такой книги еще не было ни разу во всей истории человечества. И по содержанию, и по жанру, который не поддается определению. Это не литературный жанр и не литературное произведение, а сама жизнь человеческая, сжатая в кровавый сгусток страдания, отчаяния, смирения и бунта... Это Евангелие XX века! И создал его Прометей, а в политическом смысле это бомба, и случись такое чудо, что свободно прочел бы ее весь народ — да это повело бы к восстанию и баррикадам...

[Но] выйди она при его жизни, она убьет его сразу же. Суд. Лагеря, расстрел, яд, подстроенная гибель под колесами машины — вот что его ждет после издания этой книги. А он идет на это»**.

Солженицын сделал то, что считал своим долгом: сохранил память об этой эпохе, сохранил голоса людей, погибших друзей. Он выжил и поэтому должен был рассказать об их судьбе... Он мне говорил: «Я не отличаюсь и не выделяю себя из тех, с кем сидел. Разница только в том, что мне надо многое сказать»... «Надо печататься, надо же как-то воздействовать на окружающих»...

После высылки Солженицына «Архипелаг» начал просачиваться в Россию постепенно, годами, маленькими книжечками «ИМКА-Пресс», фотокопиями с этих книжечек, главы из книги звучали по западным радиостанциям.

* Фрагменты из «Воспоминаний» Е. Д. Воронянской // Кремлевский самосуд. С. 233–234.

** Информация Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. 10 августа 1973 // Там же. С. 235–236.

Когда наступила перестройка, Солженицын поставил условием разрешения на публикацию своих книг в России — печатание «Архипелага ГУЛАГ» раньше всех остальных его произведений. Это условие не без сопротивления властей было выполнено, и с августа по декабрь 1989 года (через 16 лет после парижского издания) большие отрывки из книги напечатал московский журнал «Новый мир» в нескольких номерах, а потом большие куски из книги вышли в других журналах: «Литературная Киргизия», «Даугава», «Семья» и др. Полностью книга в 1990 году была опубликована сразу в шести издательствах.

На публикацию в «Новом мире» читатели отозвались сотнями писем. Со времени появления на страницах журнала «Одного дня Ивана Денисовича» ни одна журнальная публикация не вызывала такой мощной и бурной читательской реакции. В редакцию сплошным потоком шли письма — потрясенные, возмущенные, скорбные, иногда негодующие.

В декабре 1998 года, когда исполнилось 25 лет со времени выхода в Париже в ИМКА-Пресс первого тома «Архипелага», в московском «Мемориале» был проведен вечер, посвященный этому событию.

Приведу отрывки из выступлений двух бывших заключенных — писателей Феликса Светова и Льва Тимофеева.

Феликс Светов: Мне не забыть это невероятное ошеломление от прочитанного. Вся наша жизнь изменилась после выхода «Архипелага». Не будет преувеличением сказать, что удар, нанесенный «Архипелагом ГУЛАГ» по этому чудовищному режиму, был таким сильным, что он не очнулся уже от него, вся эта кошмарная бетонная стена пошла трещинами, и их не смогли залатать в течение последующих лет.

Конечно, это наша история, недавняя, но история. Но эта книга необычайно современна, она злободневна, она вся повернута и обращена в наше время. Если нацизм существовал всего лишь 12 лет, да и то оказалось много для Германии и для человечества, то мы жили в этом режиме 3/4 века. 3 поколения людей жили на Архипелаге или рядом с ним... Я убежден, что все безобразия, которые мы видим, связаны именно с дыханием Архипелага. Если мы хотим понять, что происходит сегодня, мы там найдем все корни.

Книга поразительна еще тем, что она не оставляет ощущения ужаса. Речь идет о страшных преступлениях. В XX веке были три огненные точки: Освенцим, Хиросима и ГУЛАГ. На самом деле конечно ГУЛАГ. Мы и здесь впереди планеты всей.

Лев Тимофеев: Я должен поблагодарить Александра Исаевича Солженицына за судьбу, за умение думать, за ту внутреннюю свободу, которой у меня не было бы, если бы Бог не дал взять в руки книги Солженицына.

Само появление Солженицына для нас было, как вы помните, фактом освобождения. Художник дает язык. Мы корчились всю нашу жизнь, пока не получили язык. Мы поняли, КАК об этом можно говорить. Солженицын научил нас говорить, он научил нас быть свободными, он научил нас не бояться.

Конечно, были и совсем другие мнения. В публикации А. Петрова «Как травили Солженицына» приводятся секретные документы января–февраля 1974 из архива ЦК КПСС и Агентства печати «Новости» (АПН).

Так, председатель правления АПН И. Удальцов докладывает в ЦК о достигнутом: на нескольких языках выпущена брошюра «Ответ Солженицыну: Архипелаг лжи», подготовленная в АПН. В оглавлении брошюры Е. Долматовский «Солженицын — враг мира», Г. Серебрякова «Банкротство», Б. Дьяков «Ползком на чужой берег», Г. Боровик «Читал ли Джон Смит книги советских писателей», А. Рекемчук «Катехизис провокатора», Ю. Бондарев «Ненависть пожирает истину», С. Михалков «Саморазоблачение клеветника», Р. Гамзатов «Логика падения», О. Гончар «Кощунство»...

И еще. «Агентство выпустило два телефильма: «Солженицын был моим мужем» и «Свидетель с “Архипелага ГУЛАГ”»... Подготовлено три книги: «В круге последнем», Н. Яковлев «Архипелаг лжи» (130 тыс. экз. на 11 языках) и Н. Решетовская «В споре со временем»*.

* Как травили Солженицына: Из секретных архивов / Публ. А. Петрова (Центр хранения современной документации), Н. Надеждина («Труд») // Труд. 1992. 2 июля. С. 4.

Эпилог

Я всегда верила и сейчас думаю, что «Архипелаг» — это то, что останется от большого и страшного периода в истории нашей страны. «Архипелаг ГУЛАГ» прослеживает историю нашего общества на протяжении почти сорока лет — с 1917-го по 1956 год, рассказывает о множестве конкретных судеб, обладает невероятной плотностью изложения. Например, глава о строительстве Беломоро-Балтийского канала занимает всего восемь страниц, но история этого сооружения и судьбы людей, участвовавших в строительстве, просто врезаются в память, как будто прочел толстую книгу... Насколько меньше мы знали бы, если бы у нас не было этой книги.

Так случилось, что именно «Архипелаг» выполнил важнейшую миссию: книга была сразу прочитана. На Западе начали распадаться Коммунистические партии — Франции, Италии, возникло движение «Дети Солженицына»... Это был могучий удар по мировому коммунистическому движению, представляющему огромную угрозу для жизни человечества. До сих пор у нас в стране не прошел суд над преступлениями коммунизма. Реакция, вызванная «Архипелагом ГУЛАГ», была и остается таким единственным судом. Когда я прочитала «Архипелаг», у меня было такое чувство, что я открыла книгу одним человеком, а закрыла ее — другим. Я была потрясена каждой страницей, не только тем, ЧТО я читала, но и тем, КАК это написано. Это слово, сказанное поразительным художником, поэтому книга берет за душу и заставляет себя услышать и пережить.

Когда писался «Архипелаг», а потом хранился для будущего, казалось, что как только люди его прочтут, потрясенный мир изменится. Оказалось, мы все-таки либо переоценили веру в силу слова, либо недооценили желание людей не знать. Мне кажется, что, несмотря на все сказанное выше, осмысление «Архипелага» — его издание, прочтение, обдумывание, обсуждение, — в нашем обществе пока не заняли того места, которое должны были бы занять. И это не вопрос литературного вкуса, это вопрос нашего отношения к своей истории. Эту книгу должны были бы изучать в школе, по крупицам восстанавливать судьбы людей, иногда лишь бегло упомянутых на ее страницах, собирать читательские конференции.

«Архипелаг» продолжает оставаться современным, он не устаревает, он написан с поразительной лирической силой. Я уверена, путь нашей страны был бы другим, если бы «Архипелаг» люди как следует прочли и обдумали.

И еще. Как известно, все гонорары за «Архипелаг» Солженицын передал учрежденному им «Русскому общественному фонду». Его фонд с середины семидесятых годов помогает по всей стране тысячам людей — сперва политзаключенным и их семьям, теперь — старикам-репрессированным. Это — огромное общественное дело, совершаемое безо всякого шума, общественное дело, оказывающее не только материальную, но и моральную поддержку людям.

Декабрь 2003

«КАЖДЫЙ ШАГ СВОЕГО ПРОСТРАНСТВА Я ОТВОЕВЫВАЛ»*

Александр Солженицын — от издания к изгнанию



ы познакомились в августе 1965 года, когда после конфискации архива у Теушей Солженицын по приглашению моего деда, писателя Корнея Чуковского, жил на его даче в писательском поселке Переделкино.

Он написал письмо в правительство, требуя, чтоб ему вернули конфискованный архив, и ожидал ответа. Тогда он жил в Рязани, но все дела были в Москве, и он приезжал в Москву на несколько дней.

Этой же осенью, по приглашению моей матери, он впервые остановился на нашей квартире в Москве, где была крошечная восьмиметровая свободная комната.

В первый же приезд в Москву он простудился и заболел. Поэтому попросил меня позвонить по указанному телефону, назваться не своим именем и сказать какую-то предписанную фразу.

В этот его первый приезд в Москву мы неожиданно разговорились, Александр Исаевич много рассказывал о себе. Тогда еще я ничего не знала о «Раковом корпусе», не читала «В круге первом», и эти рассказы произвели на меня ошеломляющее впечатление. Я тогда же отрывочно их записала. Сейчас все это хорошо известно по произведениям самого Солженицына, и все же я приведу несколько своих беглых записей осени 1965 года:

* Доклад построен на адресованных мне деловых записках Солженицына и на моих беглых записях 1966–1973 гг. Записи велись нерегулярно, по условиям времени они были сжатыми, не содержали имен, часто лишь намеком можно было упомянуть обстоятельства, о которых шла речь. Доклад прочитан на Международной конференции о Солженицыне, состоявшейся в Париже в марте 2009 года. См.: Вестник РХД. Париж–Нью-Йорк–Москва. № 197. II–2010. С. 215–235.

Жил в райцентре, где нет даже анализа крови. У него опухоль, давит на желудок. Отпустили в Ташкент, когда считали, что до смерти осталось 3—4 месяца. Пошел в гостиницу со ссыльным удостоверением, его выгнали. В милицию не взяли. Посоветовали в чайхану к закрытию. Он пошел в больницу и лёг поперек двери главврача. Через 2 дня после начала лечения он начал есть и поправляться.

В лагере он писал две недели, а потом повторял на память написанное (и до сих пор свои рассказы все знает наизусть). Ритмическая проза.

Стал писать стихи потому, что их легче запоминать, чем прозу.

Конфискация архива — это его третий провал. Вспоминал предыдущие. Лежал за зоной и писал. Конвой повел. Он бумажку скомкал и кинул, чтоб потом поднять, а начался ветер. Всю ночь искал под ветром, хотя почти все слова были пропущены. Под утро по направлению ветра догадался, что листок под досками. И нашел там.

Если бы утром нашли, то узнали бы, что он, так как в бригаде все были неграмотные, только он один умел писать.

Жил на краю пустыни, преподавал, писал. Не хотел реабилитации, привык. Чувство своего избранничества. «Пишу с 5 лет. Надо еще 10.

Сейчас стал хуже, чем после ссылки».

«Мне надо писать большие вещи, я люблю архитектурно строить, а рассказы невыгодно. Растрачивание сил».

Тогда же он прочитал несколько стихотворений из своего сборника, который назывался «Сердце под бушлатом». У меня записаны запомнившиеся строки:

Но как спокойно я тебя встречаю,
Моя холодная, моя седьмая, тюремная весна...

...что в мире нет виноватых
хотел доказать как Толстой.

Ал. Ис. рассказал, что сам печатает на машинке все свои вещи. Меня это удивило не меньше остальных рассказов. В нашей писательской семье ни Корней Иванович, ни Лидия Корнеевна никогда ничего не печатали сами, это считалось тратой времени, которое они берегли для своей работы. Я же с детства умела напечатать несколько страниц. Мне стало жалко, что Ал. Ис. тратит свое время на машинку, и я сказала: «Давайте я Вам помогу, я могу Вам что-нибудь напечатать».

На всю зиму Ал. Ис. уехал работать в Эстонию. А в это время Корней Иванович начал хлопоты по добыванию ему квартиры в Москве. В нашем архиве сохранилось письмо в Моссовет, где было сказано и подчеркивалось, что Солженицыну необходимо бывать в московских архивах для работы над историей 17-го и 18-го веков. Это была дымовая завеса, чтоб успокоить власти, внушить им, что Солженицын не собирается писать о современности. Письмо подписали Капица, Шостакович, Паустовский, Чуковский и Сергей Смирнов. К Паустовскому ходила я вместе с Корнеем Ивановичем. Он уже был очень болен, лежал в больнице, с трудом держал в руках ручку, но охотно подписал письмо. К Смирнову ходила я одна, он колебался и подписываться не хотел. Но когда я ему сказала: «Сергей Сергеевич, ведь Александр Исаевич еще с войны не вернулся, сперва лагерь, потом ссылка и возвращаться ему некуда» (а Смирнов написал книгу о защитниках Брестской крепости), то Смирнов письмо подписал. Это было существенно, так как он был тогда секретарем Союза писателей.

Невзирая на все эти громкие имена и все маневры, квартиры в Москве Солженицыну не дали, а вызвали его в Рязань под Новый год и срочно предоставили новую квартиру в Рязани. После этого Корней Иванович написал еще одно письмо, которое тоже сохранилось. Вопрос о квартире в марте 1966 года снова рассматривал Моссовет и снова отказал. Квартиры в Москве Солженицыну так и не дали.

В мае 1966 года я получила открытку из Рязани. Ал. Ис. писал, что «не в силах отказаться от щедрого подарка — двух недель жизни», и в середине мая приехал с тетрадкой первой части «Ракового корпуса». Это была обычная школьная тетрадь с аккуратно проведенными полями, исписанная характерным мелким, очень особенным и ни на кого не похожим солженицынским почерком. Ал. Ис. рассказал, что последние три-четыре

главы дописал за месяц. Последняя глава построена на цитатах из речей Серова, Бубеннова и других — звучат они очень органично. Дальше задумано еще глав двенадцать.

Я тогда каждый день ходила на работу, печатала вечерами или в свободные дни. Напечатала все недели за две. Очень старалась, но Ал. Ис. требовал, чтоб не было никаких ошибок, и даже, казалось, не понимал, как это можно работать, делая ошибки. Сам он свою вещь помнил наизусть и печатал совсем без ошибок.

Из беглых записей разговоров этого времени:

«Я за полифонию, за то, чтобы звучали все голоса».

О пьесе «Свеча на ветру»: «Я считаю эту пьесу выпадающей из числа моих пьес, художественно слабой, но там дорогие для меня идеи, мысли о роли науки. Но на материале Запада — это я в последний раз, т. к. этот материал мне чужд».

О Шелесте:* «Случай, как приезжает большой начальник и в строю эзков узнает своего друга, вызывает — проси, что хочешь. Тот просит одежду, усиленную еду и 6 томов Ленина. Он сидит на особом положении за счет работяг, а по вечерам читает Ленина — это не годится. Вот если бы он махал киркой 14 часов, а потом читал, вот это было бы дело».

Мой Иван Денисович с точки зрения пехотинца в передовом окопе, а они пишут с точки зрения писаря 3-го эшелона».

Об актере Ливанове: «Такое чувство, что это Ноздрев играет народного артиста. Всё время, когда я это понял, внутренне смеялся».

Мало того, что на письмо с требованием вернуть архив Солженицыну не ответили и квартиры в Москве не дали, — до него стали доходить рассказы, что его конфискованные рукописи издаются небольшим тиражом, и власти дают их по своему выбору читать.

Александр Исаевич предпринял несколько невиданных и неслыханных шагов в свою защиту. Он выступил в нескольких академических институтах, собрав большую аудиторию (слух

* Георгий Иванович Шелест (1903–1965), автор рассказа «Самородок», напечатанного в «Известиях» 5 ноября 1962 года. Аджубей пытался первым напечатать что-нибудь о лагерях, уже зная, что на днях выходит солженицынский «Один день Ивана Денисовича» в «Новом мире». Журнал вышел 16 ноября 1962 года.

об этих выступлениях мгновенно разнесся по Москве). На выступлениях он совершенно открыто рассказывал, что у него конфисковали архив, возмущался, что его работы читают и распространяют без его разрешения, и сам прочитал «Улыбку Будды» — главу из конфискованного «Круга».

Власти быстро спохватились, и после первых же выступлений он приезжал и читал объявление, что из-за его болезни встреча отменяется.

Тогда он дал первое несогласованное и никем не разрешенное интервью японскому журналисту (что по тем временам было беспрецедентно). Причем не как-нибудь по секрету, а пригласил журналиста в Союз писателей. Там незадолго до этого прошло обсуждение 1-й части «Ракового корпуса», служащие видели его в центре событий и не удивились, что он вальяжно принимает иностранного корреспондента в самом центре своих гонителей.

Можно сказать, что 1966 год оказался поворотным, точнее бесповоротным переходом к совершенно невиданной до этого в Советском Союзе модели поведения.

Зиму 1966/67 г. Солженицын работал над «Архипелагом». В Москве появился из Эстонии 28 февраля. У меня запись:

А. И. веселый, весь светящийся, быстрый, похудевший. Говорит, что провел время замечательно и очень доволен. Позвал меня гулять. Гуляя, развернул свои планы. На всех парах в тартарары. Конкретизировал, как он провел замечательно время. Бешено работал с $t^{\circ} 39$. С этой температурой написал самую юмористическую главу. Из-за отсутствия горчичников лечился от кашля, прикладываясь к печке. По-моему, загнал себя почти совсем.

«На всех парах в тартарары» — это Ал. Ис. рассказал мне свой план обращения к готовящемуся в середине мая 1967 года съезду писателей. План состоял в том, что он пошлет на съезд открытое письмо. Мне поручено было приготовить около двухсот экземпляров этого теперь знаменитого «Письма IV съезду». У меня была машинка с большой кареткой, которая пробивала семь копий. Письмо помещалось на четырех страницах. В марте—апреле Александр Исаевич внимательно наметил список писателей, сам надписывал в углу каждый экземпляр, подписы-

вался, выяснял адреса. Как это видно из записки мне, 15 мая он приехал в Москву, и это письмо в разных районах Москвы бросали в разные почтовые ящики разные его друзья, среди которых мне запомнился Георгий Павлович Тэнно — «убежденный беглец», герой одной из глав «Архипелага».

Сейчас уже всем известно, как гроыхнуло это солженицынское письмо, его поддержали около ста писателей, письмо прозвучало на весь мир. Союз писателей вынужден был отозваться.

Привожу опять свою запись:

12–20 июня 67 г. В эту среду должно было появиться постановление секретариата против письма. Твардовский оттянул и попросил А. И. о встрече.

А. И.: «Иван Денисович» совпал с кубинским кризисом, а письмо с Востоком*. Такие звёзды (полуиронически, полусерьёзно). Теперь я обеспечил себе несколько лет спокойной работы».

Часов в 9 вечера прихожу домой. Через несколько минут сбегает Ал. Ис.: «Я их нокаутировал». Спускаемся в садик (в квартире никогда ничего не говорилось о планах и нельзя было называть никакие имена), где рассказывает: С Твардовским из «Нового мира» поехали в Союз писателей. Там сказали, что не согласны с методом. Зачем столько экземпляров? Ал. Ис. объяснил — еще со времени выступления Павлова на Комитете по Ленинским премиям началась кампания клеветы. Привел факты. Затем перечислил инстанции, в которые обращался без ответа, и сказал, что опасался в случае обращения только в Президиум съезда такого же эффекта.

Те — знаете, что передают по радио: Ближний Восток и письмо. Что делать? Телеграмма от Вигорелли о трудном положении с Европейским Сообществом. Конгресс о защите прав печати в Греции.

Твардовский сказал: «Его можем легко потопить, но сами тоже потонем». — Предлагает напечатать главу из «Ракового корпуса» с шапкой, что полностью появится в «Новом мире».

* Подразумевается шестидневная война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром — с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года.

— Вы на нас не обидитесь, если в своём постановлении мы отметим, что не согласны с резкостью и методом, но защитим от клеветы и напечатаем «Раковый корпус».

Если хоть одну реплику забывал, то морщился и по лицу — отчаяние. Хотел всё запомнить и вспомнить. Да, перед поездкой сказал Твардовскому: «Я ничего менять и отказываться не буду, ведь это письмо войдет в собрание моих сочинений».

Слухи такие — ему всё равно терять нечего: так болен, что скоро помрёт.

Через день я отвезла в «Новый мир» к А. С. Берзер выправленный экземпляр части первой «Ракового корпуса».

Началась череда заседаний в Союзе писателей и надежд на публикацию «Ракового корпуса».

17 сентября 1967. ...настроение у меня — не уступать ни одного сантиметра, просто не хочется.

Откуда эти чёртовы слухи? Как мне их развеять? По телевидению показаться?.. Я приеду прямо 22-го на бой, свеженьким».

О распространяемых слухах (со слов очевидца): «В Таврическом дворце читали выдержки из “последней вещи”: “Пир победителей”, были крики “предатель” и “лишить гражданства”».

В военно-воздушной академии его называли публично шизофреником, больным манией величия и вообще он смертельно болен и пр. и др.

Вот моя запись после этого заседания:

26 сентября. Переделкино. Пришел Кома, и Ал. Ис. стал за завтраком очень оживленно и весело рассказывать о вчерашнем заседании. Своими выступлениями явно доволен, хотя общая ситуация очень неблагоприятна — от него требовали выступления в печати, которое бы утихомирило Запад, и не приняли решения об опубликовании «Ракового корпуса». Но он зато выложил многое из того, что накипело. «Я чувствую себя свистящим бичом. Я утром просыпаюсь и уже знаю, что надо сделать так-то, делаю и выходит правильно». Большое внутреннее равновесие при внешней возбудимости и безграничная уверенность в своей правоте.

Заканчивая рассказ о реакции на «Письмо съезду», приведу свою последнюю запись на этот счет от 20 декабря 1967 г.:

Ал. Ис. в лицах рассказывал и показывал заседание. Итог — «Раковый корпус» в печать и издать сборник его произведений. От него хотят все же письма, заявления или хотя бы интервью. Он требует сперва напечатать «Раковый корпус», а потом даст интервью. После этого пришли с Твардовским в «Новый мир» и сразу сдали в печать первые 8 глав.

После этого заседания я даже собрала все рукописи для этого обещанного сборника. Про «Правую кисть» Ал. Ис. решил посоветоваться с Твардовским, так как он пишет предисловие. Я говорила ему, что многие вещи неприемлемы и не могут пройти цензуру.

Он: «Я всегда должен быть неприемлем. Всегда на краю. Я и не хочу быть приемлемым».

Замысел сборника — как сажают («Случай на станции.....»), как сидят («Иван Денисович»), как выходят и живут на воле («Матрена», «Правая кисть»). Порядок — сперва «Крохотки», потом «Иван Денисович», потом «Матрена».

Чуть позже, когда прошел слух, что «Раковый корпус» в наборе, в «Новый мир» потянулись авторы, услышав, что берут такие рукописи.

18 января 1968 г. у меня записано:

Рассказал про заход в «Новый мир». Что его вёрстка заперта под ключом, так же как и набор. В типографию позвонили и сказали, что там поторопились набрать, и всё остановлено.

Так кончились надежды на издание «Ракового корпуса» в России.

* * *

Следующим огромным событием для меня было чтение, перепечатка, участие в отправке на Запад «Архипелага» в апреле—июне 1968 г. Я уже рассказывала об этом в дни предыдущего

юбилея и сейчас пропускаю*. Привожу только одно письмо Ал. Ис. ко мне из Рязани от 26 марта 1968 года:

«Если я всё-таки успеваю послать намеченное, то только благодаря Вашему ожерелью (упомянут японский браслет для сбрасывания давления. — *Е. Ч.*): едва я его надел, как отененность и сдавленность головы стала проходить, и два дня было вообще идеально, лишь сегодня опять поджимает, но потому что очень напряженно гоню. Сегодня, когда давление уже сброшено ожерельем, померил — 150 на 100. Темп для меня трудноватый, но и главы были сумасшедше трудные».

Тогда было решено разбить книгу на три тома с новой нумерацией в каждом томе. Всю огромную правку первого тома Ал. Ис. провел в Рязани за два месяца. А я за это же время в Москве напечатала весь первый том, который мне привозили из Рязани разные гонцы.

Второй и третий том «Архипелага» я и Елизавета Денисовна Воронянская печатали на даче Солженицына в Рождестве-на-Истье.

Из разговоров этого времени у меня записано:

Рассказал, что не верил до 36-го года, а в институте и армии с 36-го по 44-й верил. Мать не влияла и не интересовалась этой стороной его воспитания, а дружил с семьей инженеров, там был мальчик его лет (потом умер от менингита) и дочь старше на 6 лет.

Потом говорили о том, что больше всех любит Пушкина и что чудно сказал Замятин, что в стихе ритм арифметический, а в прозе — интегральный, и что прозу писать труднее.

Сказал, что мать его сделала ошибку, что они поехали в Ростов, а не в Москву — это затормозило его развитие, создало не ту среду. Что он не умеет ничем заниматься кроме работы — не любит ни читать, ни встречаться с людьми (помногу) и не знает, как ему менять ритм жизни, а такой ритм ему труден.

Несмотря на такие слова, Ал. Ис. без какого бы то ни было перерыва и отдыха перешел к переработке ходившего по рукам варианта романа «В круге первом», написал для него новые

* См. с. 310–311 наст. изд.

главы, кардинально изменил завязку сюжета (Володин звонит теперь об атомном секрете). Глав вместо 87-ми стало 96. Автор придавал значение цифрам, тому, что 96 — золотое сечение. Во время этой работы у него прорывалось недовольство предыдущим вариантом, называл его *kinder variant* и говорил, что уже его не любит.

Мне вспоминается, что он написал совсем новую главу — 44-ю. Она называлась «На просторе». И там Иннокентий Володин и его жена поехали на прогулку под Москву прямо в те места, где стоял дачный домик самого Солженицына. И он с большой любовью и точностью описал и дорогу туда на поезде и прогулку его персонажей по хорошо известным ему местам.

Ал. Ис. дал прочесть новую редакцию романа нескольким своим друзьям. Ал. Ал. Угримов сказал, что жарили цыпленка на одном вертеле, потом вынули вертел и вставили совсем другой. Цыпленок вроде тот же, да не тот. Всё и знакомо, и другое.

Я говорила, что прежняя платформа приемлема для разных сторон, а здесь — на первых же шагах такое противодействие.

Солженицын: «Что же, там я всё обкатал, взял готовый сюжет из их кинофильма (дело врачей), а я должен будоражить, всё время по краю лезвия (это говорится уже не первый раз), пусть и неприемлемо. Для меня другого нет, то — не мое. Пусть спорят и думают»*.

Из разговоров этого времени:

«Шопенгауэр — не нравится, т. к. не любит людей, а я — люблю и верю в них».

«Мои вещи распяли на международных перекрестках».

Говорил, что в одной заметке он обратил внимание на то, что его назвали писателем XIX века и что он, пожалуй, согласен, но

* Как это видно из доклада М. Николсона, первые редакции «В круге первом» были написаны еще в 1955–1958 гг. Об этом же напомнила Н. Д. Солженицына в своем выступлении на конференции. В моих записях речь идет о последней редакции «Круга», которая в августе 1969 года делалась по машинописному экземпляру романа, содержащему 87 глав.

считает, что это показывает, что методы XIX века еще себя не исчерпали и в этом стиле еще можно много хорошего написать.

За окном нашей квартиры рокотала «марсианская техника» — шла репетиция военного парада. Ал. Ис. сказал, что действительно она непреодолимая и другая, чем в то время, как он воевал, и что силой ее не взять, а только изнутри.

Кто-то рассказал Солженицыну, что Демичев где-то выступал с угрозами ему. Ал. Ис. уверен, что Демичева уберут, так как он стоит на его пути, а у него фатальная вера, что всех с его пути Бог убирает.

Еще разговор зимой 1969 г.: Собрал тяжеленный рюкзак и сказал, что повезёт с собой консервы, так как в Рязани нет никакого мяса уже месяц, а ему надо обеспечить едой свою зимнюю нору. Я удивилась, как он столько потащит. Ответил, что в Торфопродукт (к Матрене) таскал постоянно на себе продукты, а там поезд стоит секунду, надо спрыгивать куда-то вниз и потом идти пешком три км.

С конца 60-х годов Солженицын вплотную начал работать над «Красным колесом». Вот некоторые мои записи об этой работе:

Декабрь 1967 г. Говорили о работе. Что хорошо идет VI и VII часть «Архипелага», а задуманный роман — плохо.

11 апреля 1969. Говорил, что ему очень не хватает зрительных образов времени — просил журналов и фотографии, чтобы представить себе костюмы, лица.

27 апреля 1969. Мне оставил свой «Дневник романа». Читая, вновь чувствовала совершенно другую ступень духа. Всё невероятно огромно по замыслу и вдруг поразительно рационалистично (даже тут). Как всё же слово отражает человека.

Рядом с тончайшими глубокими мыслями — «история духа», или что Толстому не важно, что читала Анна, а только — целое, вдруг полстраницы о том, как перебивать главы — двумя буквами *ж* или *х*. То есть желание всё упорядочить сразу с порога.

И многовато Губчека, укомов и т. д., и т. п., всего этого «птичьего языка», который вдруг получил такие права гражданства.

Еще не ясно, что из всего этого будет, но страшно интересно, и дай ему Бог удачи.

6 июня 69. Я спросила, как новая работа. Говорит, что впервые чувствует какое-то равнодушие, может, реакция на напряжение последних лет. Что, видимо, очень давно хотел (с 36-го года) и перехотел. Что пишет только до 2-х часов и хотя историю своей семьи, которую помнит, но всё равно без подъема. А сквозь музейный дневник проступают его собственные воспоминания (от войны), и всё похоже, только было грубее, чем тогда, и надо смягчать. Что всегда идет от факта. И также с Матреной — писал точно как было. И под поезд она действительно попала.

В «Архипелаге» он чувствовал, что «через него пёрло», его просто бросало, как щепку, и он писал в день более 15-ти страниц на машинке, а тут ничего подобного. Может просто возрастной перелом.

Боюсь, что это всё как раз трудности невиденного и непережитого. И если будет везде проступать своё, то это плоховато, т. к. будет неточно.

18 июня 69 г. ...с грустью говорил, что сейчас тяжелое время жизни, не знает, кто кого переделает — он свой роман или тот его. Его пугает необъятность замысла. Рассказывает, как возникают функциональные персонажи. На каждого из них заводит карточку. Пишет по 2 страницы в день. Говорит, что главы сами вдруг делятся или вдруг чувствуется потребность включить новое лицо.

Но опять повторил, что главы семейно-бытовые писал с каким-то равнодушием, а самсоновские пошли лучше. Ему ничего не интересно, кроме как говорить и думать о романе, а говорить не с кем (кроме как с несколькими помощниками).

Как-то рассказал, что «запорол главу, задуманную еще в 38 г.», «хоть в печку ее кидай»: два дня потратил, ужасно жалко.

4 ноября 1969 года Солженицын был исключен из Союза писателей. Произошло это через неделю после смерти Корнея Ивановича. Исключали его в Рязани.

Он отправил открытое письмо, где были такие слова: «Протрите циферблаты, ваши часы отстали от века».

Твардовский звал Солженицына приехать для разговора, я передала ему эту просьбу и получила в ответ:

«Чтоб только выслушать от него *невозможное*, отвергнуть и — поссориться? Когда человек уже всё равно прыгнул — нельзя схватывать его за ногу!

Александр Трифонович *никогда* не признавал вовремя ни одного моего шага — но *все* признавал потом. Его руками старая эпоха наиболее цепко и вязко старается меня держать».

После исключения из Союза писателей Ал. Ис. продолжал работу над «Августом четырнадцатого». У меня записано:

23 января 1970. Сказал, что и в поезде вместо чтения думал о новых главах, так вошел в работу.

14 апреля 70. Утром пришел Ал. Ис. — глаза больные. «В поезде ехал и думал. Ведь 20 узлов, Люшенька, 20 узлов».

Написал уже по первому разу в первой редакции «Августа» 44 главы, а еще 20 осталось. «Когда первая редакция — ничего не могу другого читать и делать». Всего в 1-м Узле 64 главы.

«Надо и войну показать как рак, надо это сделать».

6 июня 70. Пошли в лес, сели на развилке и говорили обо многом. Говорил, что прощание Самсонова писал по моему пересказу о прощании Твардовского с редакцией «Нового мира».

Что роман пишет, как на службу ходит.

Перечитывал «Войну и мир», и там человеческое впереди стратегии.

В ноябре 1970 была закончена перепечатка «Августа». Пословицы вписывал сам в текст от руки.

Я предложила собрать письма читателей, и он неожиданно загорелся этой идеей.

По разговорам и первым отзывам — большинство не одобряет мирных глав и женщин и восхищено войной и Самсоновым, Воротынцевым, Благодаревым. Книгу всё же не ставят выше предыдущих. Впоследствии из собранных писем я составила сборник — ««Август 14-го» читают на родине», который вышел в издательстве «ИМКА-Пресс».

Продолжалась работа, и травля тоже продолжалась. В это время Солженицын по приглашению Ростроповича жил у него на даче. Об этом у меня записано:

24 сентября 70. Через 3 ч. после приезда Ал. Ис. на дачу пришел участковый и спросил у него документы. Паспорт куда-то

затерялся, и он предъявил военный билет. Участковый пообещал зайти завтра к хозяину. Ал. Ис. говорит, что оказывается не один участковый приезжал, а — вчетвером.

После этого рассказа, уже в дверях — жест у лифта к горлу (петля).

В работе над «Августом» большую помощь Солженицыну оказывали наши крупнейшие историки, например Петр Андреевич Зайончковский (Зайончковский одно время руководил Рукописным отделом Ленинской библиотеки — ныне Российская государственная библиотека, был деканом Исторического факультета МГУ), он привлек для консультаций своих учеников, сотрудников по выходящим тогда сборникам «История дореволюционной России». Хотя в эти годы сам Солженицын не имел доступа к архивам и библиотекам, для него подбирали книги, делали выписки из архивов многие специалисты. Культурный круг Москвы, Ленинграда, других городов помогал его работе как мог. К нему стекались и личные архивы.

Ал. Ис. привлек меня к собиранию материалов, наведению справок в библиотеках. Кроме того, я могла брать по абонементу домой книги из Ленинской библиотеки, а ему этот путь был тогда закрыт. Он изучал войну 1914 года не только по русским, но и по немецким книгам. Из разных сюжетов, связанных со сбором материалов для романа, мне запомнились встречи с родственницей горного инженера Пальчинского*, выведенного в романе под именем Ободовский.

14 января 71. ...увлечен встречей с родственницей Пальчинского. Ее тетради принес — чтоб я прочла и составила для него реферат.

21 января 71. В прошлое воскресенье приехала огромная пачка замечаний из Ленинграда. Среди них — один очень дотошный историк. Оказалось, что Ал. Ис. сделал очередной героикотитанический труд: все постраничные замечания (около 200)

* Пальчинский Петр Акимович (1875–1930) — политический и общественный деятель, инженер, предприниматель; заместитель министра торговли и промышленности Временного правительства, начальник обороны Зимнего дворца в октябре 1917 г., арестован после взятия Зимнего, провел четыре месяца в Петропавловской крепости. Расстрелян по делу Промпартии в 1930 г. В 1937-м расстреляна и жена.

внёс в свой рукописный экземпляр «Августа» (где не те страницы). Говорит, что это полезная гимнастика для автора, которая заняла у него два дня.

Восхищен отзывом ленинградского историка В. М. Глинки (около сорока поправок: как пристегивалось оружие, что бинюкль не на шнуре, а ремне и т. д., и т. п.) и говорит, что надо было ему первому все дать прочесть и тогда многие последующие замечания отпали бы.

11 февраля 71. В четверг всё утро читала чудом уцелевшие тетради о Пальчинском (были закинуты за шкаф). Смесь простоватости и чистоты. Много интересных деталей быта. Днем — пересказывала Ал. Ис. прочитанное. Пошли к старушке. Очень милая женщина, которая, когда услышала, что хочет писать, поспешила из Тиберды. Ал. Ис. сбивал ее быстрыми вопросами, не давая ни одной раскидистой мысли договорить. Наметил мне на листочке круг тем, которые у нее выяснять (я потом приходила к ней с этими вопросами и записывала ее на диктофон). Видели знаменитую корзиночку из Петропавловской крепости.

28 марта 71. Ездил на дачу к Ростроповичу. Ал. Ис., похудевший, простуженный, показывал мне в дневнике романа запись о последней поездке к Твардовскому (очень тяжело, тот плох, еле говорит), они с Ростроповичем отвезли ему «Август». Слушала рассказ о появлении троих с проверкой паспортного режима и грядущим выселением.

26 мая. Хвалил мой реферат воспоминаний Нины Александровны Пальчинской, ввел Н.А.Пальчинскую и о ней — целую главу, которую не планировал.

4 июня. Я закончила обработку архива Н. А. Пальчинской и берусь за Ф. Д. Крюкова (архив Ф. Д. Крюкова был передан Солженицыну, и впоследствии Крюков тоже вошел как персонаж в его роман).

26-20 июня 71. Читает стенограммы Думы, увлечен Гучковым. «Вот это государственный ум». Хочет найти всё по его биографии. Опять говорил, что в 14 г. вел материал, а тут его пугает произвольность отбора. Хочет вчерне кончить Узел к осени, первую сырую редакцию.

1 июля 71. Рассказывал мне, что пишет обзорные главы, но теперь уже не по военным действиям, а по заседаниям в Думе. Их речи сжимает и пересказывает. О Милюкове — что во всей

речи ни одного доказательства и все обвинения Милюков строит на высказываниях иностранной прессы. И что он ему очень несимпатичен.

Во вторник 3-го августа. Ал. Ис. ездил к Шульгину. Сказал, что застал Шульгина заброшенным, лежит, из-под одеяла голые ноги. Одинок. Голос слабый. За ним ходит какой-то юноша. Шульгин рассказал, что в 16 г. было голодно и Родзянко звал гостей, суля им черный хлеб. И что у Гучкова мать была француженка.

В августе 1971 года Солженицын вместе с А. А. Угримовым поехал собирать материалы на юг, в Новочеркасске на него было совершено покушение. Он выжил, но очень тяжело проболел месяца два. Ему удалось вернуться к работе только в ноябре. У меня такие записи:

14 октября 71. Про Ф. Крюкова — что это психологически не тот тип, который мог написать «Тихий Дон». Решил так по переписке с Алтанской. И чувство было, а где-то струсил. Не он.

14 ноября 71. Сегодня днем звонил, просил «таблетки, чтоб не спать, а то суток не хватает». «Тону в эпохе».

1 декабря. Думает успеть к февралю первую редакцию. Мне велено собирать недостающие речи Гучкова, манифест 17 октября и биографии некоторых кадетов.

16 декабря 71. Очень хвалил Мельгунова — «историк милостию Божьей», с восхищением говорил о Шипове.

«Сейчас изучаю историю идей и становлюсь гораздо более мягким и считаю, что надо стараться улаживать всё миром».

27 января 72. Говорил, что такая к нему ненависть после похорон Твардовского — какое-то начальство из-за него не приехало на похороны, сказав «на одной земле тесно», «вплоть до автомобильной катастрофы».

Раньше думал, что II Узел будет маловажным, проходным, а теперь — что писать его весь год, т. к. тут конец многим взглядам и течениям, а дальше — всё одно и то же.

24 февраля 72. Статьи в «Лит. газете» против «Августа». Чувство окруженности бедами, которые уже совсем рядом.

15-го мая. Говорил о романе: «Я не могу с 36-го года держать в голове все эти номера дивизий и вообще громоздкую военную часть, надо было сбросить с плеч. А дальше войны будет мало — личные линии.

Сейчас трудность. Много читать — мешает писать. Мало читать — будет неквалифицированно, не точно. Очень трудно соблюсти пропорцию. Но пишется сейчас хорошо».

9 июля. Заговорили о несходстве Воротынцева и кн. Андрея. Что кн. Андрей высокомерен, ничего не делает, не умеет с мужиками, а Воротынцев — деятель. Но Ал. Ис. добавил, что потом из его дел ничего не получится, потому что «время такое». Ничего крупного, только частные удачи (вывел отряд).

Потом о Дос Пассосе. Что его киноглаз нельзя показать в кино, он не динамичен и не дает картинок. — А что ж я буду дальше описывать, как солдат лезет на вагон, ногу ставит, толпа. Тут можно без конца описывать, а надо просто давать кадры зрительные (сценарные).

Потом у Дос Пассоса нет сквозного сюжета в монтаже газет, тогда время было другое, так что это не то же самое.

2 сентября. Рассказывал про Ростроповича, что его не только не пускают за границу, но выгнали из Большого театра и не дают концертов. Саратовский обком отменил его выступление в Киеве с саратовским театром.

5 ноября 72. Вчера ездила с набежавшими делами. Мы сели на станции, и вдруг к нам подошли два пьяных юнца (лет 16-ти). Один попросил прикурить. При этом он почти не стоял на ногах, качался и мог упасть на Ал. Ис. Я, испугавшись этого, чуть протянула руку вперед, отстраняя. И вдруг он начал кричать на Солженицына — ты что толкаешься, и пьяными руками начал вытаскивать из кармана нож. Я пыталась его уговорить и не дать выйти драке. Почему-то в голове проносилось воспоминание о старичке, который что-то колдует над рельсами (из Анны Карениной) — так же этот пьяный, осоловелый шкет «колдовал» у себя в кармане, не понимая, «на что он руку подымал». До сих пор у меня перед глазами эта нелепо-жуткая картина, а на душе ощущение не страха — нелепости происходящего. Ал. Ис. вышел из себя, стал на него кричать, я — юлила, и кое-как удалось его быстро увести. Пьяные еле стояли на ногах и не погнались.

Ровно три года назад в этот день его исключали — а тут вот кинулись уже с настоящим ножом, а не фигуральным.

14-е ноября. Снова о романе: «2 узла потребуют 5 лет. Т. е. на всё надо 40–50 лет. Жизни не хватит. Если начать в 25 лет — не хватит мастерства, а в 45 — жизни. Конечно, в первых двух узлах

затянули меня привычные повествовательные главы, но вот тут прочел Розанова и утвердился — будут дальше большое место занимать фрагменты. Чем мне по каждой восхитившей меня мысли строить диалог, так я лучше вставлю просто фрагмент во внешне бессвязный поток, скрепленный одним общим, не бросающимся в глаза стержнем».

Сказал, что у него 8 типов прозы в романе:

1. Повествовательная. 2. Обзорная. 3. Монтажная. 4. Документальная. 5. Экран. 6. Фольклор. 7. Фрагменты. 8. (забыла название).

Из последних записок:

«29 декабря 73. Свершилось! Вчера вышел Архип — (1–2 <части>). Все радио многократно объявляли, наверно Вы уже знаете. Не хотел объясняться по телефону.

Буду у Вас завтра часов около 10 утра. Настроение праздничное».

«9 февраля 74 (“мой” день) 29 лет*.

Возвращаю Вам Бердяева, чтоб он надо мной не висел.

Когда увидите Донца — скажите, что в марте хочу с ним повидаться: обсудить (предложить) осеннюю поездку».

А еще через три дня, 12 февраля, вернувшись вечером с работы, я прочла записку от мамы:

«Александра Исаевича увели в прокуратуру 8 милиционеров.

Я иду ждать его на ул. Горького, 12».

Закончить я хочу одним разговором 70-х годов, когда в печати ругали «Август». Мы говорили о том, почему все молчат. Он об образованщине, растворившей интеллигенцию. И что защита нужна не ему, а тем, кто читает, как ругают ненапечатанный роман и не протестует.

* Мистика чисел, в этот день его арестовали в 1945 году 29 лет назад, поэтому «мой день», и в этот же день в 1973-м было принято решение о высылке, но Ал. Ис. еще об этом не знал.

Я пыталась объяснить, что за него теперь после Нобелевской премии меньше беспокоятся. Раньше было чувство, что надо за-слонять собою, а теперь — он крепче нас.

Солженицын со мной не согласился, сказав: «Каждый шаг своего пространства я отвоевывал».

Март 2009

ИЗ ИНТЕРВЬЮ

Солженицын и Чуковские*



ажется, в Переделкине жил Солженицын и свои последние перед изгнанием из СССР осень и зиму 1973–1974 гг.?

— Да, он жил там по приглашению Лидии Корнеевны. 28 декабря в Париже издали 1-й том «Архипелага ГУЛАГ» — чаша терпения власти предержавшей переполнилась. Началась грубая травля, которую 14 января 1974 года открыла «Правда» статьей Соловьева «Путь предательства». Ее подхватила «Литературная газета», назвав Солженицына «литературным власовцем», АПН вылило на автора целый сборник клеветы и помоев, тем же занялся и ТАСС... Возмущенные письма граждан, не читавших его книгу... Карикатуры Б. Ефимова, не сходящие с газетных страниц... Трехнедельная атака телефонных звонков в московскую квартиру, в Переделкино (а 9 января Лидию Корнеевну исключили из Союза писателей)...

Отчетливо помню последний приезд к нему. Напротив меня в пригородной электричке сидели несколько мужчин. Подъезжаем к Переделкину, один другому: «Там этот гад, Солженицын, живет! Хрущев открыл архивы, а он, воспользовавшись этим, теперь клеветает на Родину! Ну, мы ему покажем!..» Я почувствовала страх... Ведь в это время московскую квартиру Солженицына осаждали с угрозами подосланные негодующие советские граждане. Но в Переделкино их, к счастью, не посылали, хотя кэзэбэшники знали, что он — у нас. За Солженицыным пришли на дачу в Переделкино 9 февраля, в пятницу, — под предлогом

* Из интервью Елене Константиновой. Российское обозрение. 1994. 12 окт. № 41.

ремонта дачи. Но арестовывать не стали — лишь убедились, что он — на месте... В понедельник Александр Исаевич приехал в Москву и в семь вечера обещал прийти к нам на московскую квартиру — мы жили по соседству. Возвращаюсь домой с работы — записка: «Александра Исаевича арестовали в четыре часа». Об его аресте гудели все радиостанции мира...

Октябрь 1994

* * *

«Солженицын — единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь»*

В преддверии юбилея наши корреспонденты встретились с Еленой Чуковской. Как помнят наши читатели, именно Елена Цезаревна написала опубликованное в 1988 году в «КО» письмо с требованием к правительству вернуть советское гражданство Александру Солженицыну. К юбилею Александра Исаевича в издательстве «Русский путь» выходит новая книга об А. Солженицыне «Слово пробивает себе дорогу», составленная Е. Чуковской и известным литературоведом Владимиром Глоцером. Это — уникальное собрание документов, связанных с творчеством Нобелевского лауреата. О герое этой книги и его творчестве — наш разговор с Еленой Чуковской.

— Мне представляется не случайным то, что празднование юбилея Солженицына начинает «Книжное обозрение». В 1988 году несколько недель подряд газета печатала отклики на мою статью. Читатели прислали в редакцию сотни писем. Оказалось, что несмотря на то, что имя Солженицына было запрещено в нашей стране, его книги не выходили, не обсуждались и даже не осуждались на протяжении 15 лет, — люди помнили их. Причем помнили совершенно удивительные вещи: например, один читатель с Украины спрашивал: почему не поставлен фильм по сценарию «Знают истину танки», который тогда совершенно не был у нас известен. Последний юбилей Солженицына, который

* Беседовали Евгений Лесин и Александр Щуплов. Книжное обозрение. 1998. 8 дек. № 49.

довольно широко отмечался (читателями, естественно, а не государством), — это было его 50-летие в 1968 году.

Тогда писатель получил очень много писем и поздравлений от читателей, хотя уже находился в совершенной опале и ничего у него не печаталось. Сейчас все написанное Александром Исаевичем доступно каждому. Любой читатель может познакомиться с его книгами, и никаких сопровождающих слов не требуется, потому что эти книги говорят сами за себя. Юбилей Александра Солженицына совпадает с 26-летием со дня выхода в свет первого тома «Архипелага ГУЛАГа». Удивительная книга! Я всегда верила и сейчас думаю, что это то, что останется от нашей истории и от судьбы нашей страны. Как ни странно, несмотря на свою бесконечно мрачную и горестную тему, книга эта пронизана оптимистической верой в возможности человеческого духа.

Я часто думала над тем, что История и Судьба сохраняются только в слове. Насколько менее мы были бы вооружены памятью и историческим знанием, если бы у нас не было «Архипелага ГУЛАГа»! Значение этой книги безмерно. Мне трудно судить о том, как относится к книге сегодняшнее поколение — читают ли они, думают ли, задевает ли их это? Мы-то росли среди всех этих ужасов, у всех нас были арестованы близкие, для нас ГУЛАГ был не рассказом о чем-то непережитом — это была часть нашей судьбы.

— Что такое Солженицын для России?

— Мне кажется, что, во-первых, это явление человека счастливого. Александр Исаевич всегда жил в согласии со своей совестью. И это для меня всегда было главным и удивительным в нем. По его книгам можно было бы предположить, что их автор — человек измученный, разочарованный, больной. На самом деле, повторяю, Солженицын — счастливый человек! Единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь. Во всех своих несчастьях он сумел укрепиться, устоять, найти себя, отыскать смысл в своей судьбе. Поражает его уверенность в своей правоте, бесконечное трудолюбие, преодоление самых немислимых препятствий, быстрота, с которой он принимал решения и действовал, всегда опережая своих противников. Я уж не говорю о том, что это человек огромного таланта и художественной силы.

— А какое отношение сложилось к нему в России сейчас?

— Судя по отзывам прессы, которые доводится читать, — есть много очень скептических высказываний. Впрочем, все соглашается с тем, что мнение Солженицына всегда важно и всегда интересно. Это мнение, с которым можно соглашаться или нет, но которое всегда обдумывается. У Александра Исаевича колоссальная предсказательная сила, он сумел многое предвидеть. Для меня все то, что делает, пишет и говорит Солженицын, всегда интересно и важно — вне зависимости от того, думаю ли я так же или думаю наоборот.

— Расскажите, пожалуйста, о книге, которая выходит в «Русском пути» к юбилею писателя.

— Основная часть этой книги делалась в 1969 году — как раз после 50-летнего юбилея Солженицына. В то время по рукам ходило очень много всевозможных открытых писем. Большая почта приходила к самому Александру Исаевичу. Редакции получали письма по поводу его книг. В 1964—65 гг. велась полемика относительно присуждения Солженицыну Ленинской премии. Позже возникла идея собрать книгу таких документов. Работа началась еще до исключения Александра Исаевича из Союза писателей. Книжка была закончена как раз после 50-летия Солженицына. Поэтому ее заключали поздравлениями, которые он получил от Григоренко, Галича, многих-многих читателей. Были и очень смешные поздравления, например, мне запомнилась шуточная телеграмма, подписанная — «Редакция “Правды”». В ней говорилось: «Удивлены вашей способностью писать только правду. Просим поделиться опытом на страницах нашей газеты...» Так вот, книга была собрана, какое-то время походила по рукам, и дальнейшая судьба ее была мне неизвестна.

— Кто составлял книгу?

— Она была собрана мною с помощью друзей, а составил всю композицию книги и написал маленькие предисловия к главам Владимир Глоцер. Определенное участие принимала моя мать, Лидия Корнеевна Чуковская, которой принадлежит вступление к книге. В сборник вошли многие ее открытые письма, связанные с Солженицыным.

После 69-го года в сборнике ничего не менялось. Книга сохранилась без перемен — как документ времени. Этим она и интересна. Книга пролежала до 1990 года.

— А что же «Самиздат»?

— Эта книга и произошла из самого «самиздата». Кто-то что-то из нее переписывал, давал кому-то почитать. Мне говорили, что экземпляр книги видели в одном из наших городов... Но, в общем, ее судьба остановилась. В 1990 году у меня возникла идея книгу издать. Я сделала Приложение, дополнившее книгу материалами об исключение Солженицына из Союза писателей, об истории с «Августом Четырнадцатым», который вышел сразу на Западе. Затем в книге рассматривается выход «Архипелага» и вся чудовищная кампания в нашей прессе вокруг этой книги... Сборник заканчивается материалами, связанными с изгнанием Солженицына из СССР.

Сейчас делается первая попытка издать эту книгу через 30 лет после того, как она была составлена. На Западе уже выходили подобные сборники с документами о Солженицыне, например, «Дело Солженицына», «“Август Четырнадцатого” читают на родине», «Жить не по лжи». Составляя Приложение, я опиралась на все эти издания и, конечно, на наши газеты.

Добавлю, что книга эта немного опаздывает: было бы лучше, если бы она вышла раньше и публикуемые в ней материалы были доступны для создателей фильмов и статей, подготавливаемых к юбилею. В завершение беседы отмечу, что книжку кроме меня и Владимира Глоцера с большим вниманием, заботой и интересом к творчеству Александра Солженицына делал очень хороший художник Сергей Стулов.

* * *

Не по лжи*

— Как Вы относитесь к спорам о воспитательном характере литературы? Может ли книга изменить человека?

* Из интервью Екатерине Кузнецовой. PERSONA. 2008. № 4–5 (71).

— Я в это верю. И, как мне представляется, не на пустом месте. Вернемся, например, к Солженицыну. Наше поколение было свидетелем того, как во Франции после выхода «Архипелага» создается деятельное направление «Дети Солженицына», способствовавшее распаду компартии. То же и в Италии. То есть книга провоцирует, вызывает определенные действия. Вообще, когда человек что-то узнает и об этом думает, уже имеется определенное воздействие. Другое дело, что есть большое количество людей, не желающих ни думать, ни знать. Наше время обнажило именно такие тенденции, которые ранее мы как-то смутно себе представляли. Нашему поколению казалось, что плохое случается оттого, что люди чего-то не знают. Если завтра об этом прочитают, то... Помню, первое время, когда хлынул этот поток, я выписывала одиннадцать журналов. Хотя большую часть публикуемого уже читала, все равно было интересно. А потом притупилось, стали говорить меньше, начали теснить повседневные трудности. Тонкая вещь — воздействие на душу человека. Как оценить? И кто должен это делать? Социологи, конечно, оценивают, кто, что и сколько читает. Как откликается на прочитанное.

— **Вы издали сборник публикаций о Солженицыне «Слово пробивает себе дорогу». Что туда вошло?**

— Там собрано все, что было написано о Солженицыне за определенный период. Как вышел «Иван Денисович». Что писалось по этому поводу в нашей печати и неофициальных изданиях. Частично туда попали письма, полученные им в то время. Встречались поразительные примеры. Надзиратели страшно возмущались «Иваном Денисовичем». Работают в таких трудных условиях, а их выставили в совсем неприглядном виде. Есть стенографические записи некоторых собраний и выступлений. То есть это сборник документов.

— **Александр Исаевич в книге «Бодался теленок с дубом» написал о совместной работе с Вами отдельную главу. Никогда не хотели дать собственную оценку тех событий?**

— Пожалуй, нет. Все-таки я не писатель. Понимаете, тягаться с тем, что написал художник, очень тяжело. То время бы-

ло совершенно сумасшедшим по ритму, я работала, вечерами очень много печатала и разъезжала, передавая запрещенные сочинения. Солженицын тогда в Москве почти не бывал. Никаких дневниковых записей делать не успевала, да это было и опасно. Когда время промчалось, все заслонилося другими событиями. Но в 88-м году единственную статью о Солженицыне все же написала. Как справку для Сергея Залыгина, хотевшего печатать, кажется, «Раковый корпус». Подробно перечислила, что вышло, назвала «Архипелаг ГУЛАГ» и даже стихи Солженицына. Мою статью передали в «Книжное обозрение», где я вообще никого не знала. Вдруг оттуда сообщают, что статья на полосе, но нужно проверить факты. «Какие?» — «А откуда вы знаете, что Солженицына вывезли на самолете?»

У нас в стране было фантастическое умение стереть память народа. Хотя с того времени прошло всего 16 лет. Ведь о самолете не одна я знала. Об этом было сказано и в газетах, и по телевизору. Но, видимо, выросло новое поколение, которое ничего этого не помнило. В редакцию газеты мне предложили прийти с документами. Я принесла справку о реабилитации. Собственно, меня позвали, чтобы познакомиться с редактором, но тогда ничего не получилось. Телефон у него гудел непрерывно, распекала Госкомпечать. В то время редакторам уже разрешили брать материалы под свою ответственность, что он и сделал. Но ругали его бесчеловечно. Мне сказали, что если не будет организована поддержка статьи, нас просто сметут. А я даже представления не имела, как это можно сделать. На этом и ретировалась. Пока была в редакции, дверь открывали все время и спрашивали:

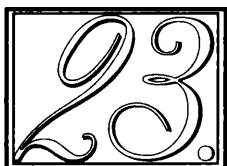
— Вас еще не взяли?

На следующий день в газету приехали многие писатели — Кондратьев, Можаев... Все «вскипятились». Тысячу писем они получили в поддержку. Правда, закончилось инфарктом для главного редактора. К литературе тогда был колоссальный интерес. На «Новый мир», обещавший печатать «Архипелаг ГУЛАГ», подписалось два с половиной миллиона человек...

Апрель 2008

V
ARJA

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПАСТЕРНАКА



Х.58 г. Сегодняшний день я должна описать для истории. Утром приехала Клара и сказала, что Борису Леонидовичу дали Нобелевскую премию. Я почувствовала такую радость, что кинулась ее обнимать и целовать. Он на хорошем взлете насыпал им соли на хвост. Клара рассказала, что в Союзе замешательство, все начальство разбежалось, несчастной секретарше звонят из Нью-Йорка и говорят, что хотят говорить с Пастернаком, а он на даче, и там нет телефона.

Я говорю: «Дед, давай пошлем Борису Леонидовичу поздравительную телеграмму». Он: «Зачем, мы лучше сами пойдем и поздравим его».

В час идем. У ворот две иностранные машины. Я предлагаю Деду вернуться, так как не люблю незнакомого общества, и к самому-то Пастернаку насилиу заставила себя идти, а тут еще гости.

— Как я ненавижу в тебе эту боязнь людей! Идем.

Входим. К нам навстречу поднимается Пастернак, веселый, победоносный. Целует Деда и меня. Мы что-то бормочем. Кругом вспышки магния. В комнате находятся Зинаида Николаевна, незнакомая мне дама, трое мужчин, которых Пастернак представляет нам как корреспондентов «Пари матч», нью-йоркской газеты и МИДа.

Пастернак увлекает нас в маленькую комнатку, где очень возбужденно рассказывает, что ни один из наших писателей, кроме Ивановых, не поздравил его и не был у него, а что вчера приходил Федин и сказал, что он даже не может поздравить Бориса Леонидовича, так как по поручению властей пришел предложить ему отказаться от премии. Пастернак отказался отказаться.

Входим в гостиную. Корреспонденты беспрерывно снимают Деда с Пастернаком, как потом выясняется — для кино. Разговор странный. Вчера целый день у них были гости — французы, итальянцы, англичане. Зинаида Николаевна вдруг начинает говорить что-то конфиденциально Деду по-русски, махнув рукой на корреспондентов, — мол, они ничего не понимают, хотя они прекрасно говорят по-русски. Больше всего ее занимает вопрос, пустят ли ее в Швецию, и она много раз к нему обращается: «Корней Иванович, как вы думаете — меня-то пустят? Ведь должны пригласить с женой».

Пастернак показывает пачку телеграмм — все из-за границы. Из Советского Союза — ни единой. Зинаида Николаевна несколько раз повторяет, что Нобелевская премия — это не за «Живаго» и не имеет политической окраски, так как ее хотели дать тогда, когда «Живаго» еще не был написан*.

Минут через пятнадцать, когда все уже ослеплены вспышками магния, корреспонденты благодарят и уходят. Мы сидим еще минут пятнадцать, пока Пастернак наверху пишет благодарность в Швецию и затем выходит опять.

— Зина, я когда говорю что-нибудь, то говорю метафизически, а ты так прямо и брякаешь, так нельзя.

Оказывается, еще до нас корреспонденты спросили его, есть ли у него приветствие от советского правительства, и он сказал, что вся корреспонденция идет на московскую квартиру и он еще не знает, а жена прямо ляпнула — ну конечно, нет, думаете, они нас поздравят?!

Идем гулять. Борис Леонидович выходит с нами. Он говорит что-то об облаках, о том, что для него роман — это не политика, не выпады, а что-то совсем другое. Не хочет брать Зинаиду Николаевну с собой в Швецию. Расстаемся на углу...

Брожу по аллее, как вдруг меня догоняет Дед. Он идет к Федину и просит зайти за ним минут через десять. Я отказываюсь. Все это происходит часов в пять вечера. Долго болтаюсь на улице, делать ничего не могу. Все время думаю, что будет дальше, и произношу в уме разные речи.

Шесть часов, семь, восемь, девять. Деда нет. Так как еще ни разу за последние годы не было случая, чтобы он лег спать поз-

* Впервые Борис Пастернак был выдвинут на Нобелевскую премию в 1947 году.

же девяти часов и пришел домой позже восьми, то у нас дома страшное волнение. Катя* звонит в разные места, разыскивая Деда, мы с Сашей идем к Федину. Там все заперто со всех сторон, и Деда, по-видимому, нет.

Приходим домой в смятении. Наконец около десяти он приходит, страшно возбужденный, и сразу начинает рассказывать. Он зашел к Федину и стал его уговаривать: «Ведь у вас же есть литературное имя, не пятняйте его, ставя свою подпись под таким документом» (Федин сообщил ему, что завтра Пастернака в 12 часов дня будут исключать из Союза писателей за нарушение Устава и опубликование своих произведений за рубежом). Федин сказал, что уже ничего нельзя сделать.

Дед предлагал ему завтра с утра ехать вместе к Фурцевой, но тот отказался.

Оказывается, против Пастернака уже страшное негодование, так как Поликарпов приезжал к Федину, и когда Федин пошел к Пастернаку, то в это время Поликарпов ждал у него на даче ответа и самого Бориса Леонидовича, а тот либо не понял, либо не пожелал понять, но, в общем, не пришел разговаривать. Это переполнило чашу терпения.

Узнав все это, Дед пошел опять к Борису Леонидовичу и предложил ему написать объяснительное письмо Фурцевой и изложил его примерный план. Пастернак взошел наверх и написал нечто обратное тому, что предлагал ему Дед: что «нельзя рубить топором. Смирение». Как сказал Дед — гениально, но совершенно противоположно тому, что нужно. Дед сказал, что этого отправлять нельзя, и ушел.

Да, кроме того, за это время приходил Кома** и сказал, что премия дана за «Живаго» и за продолжение традиций русских классиков.

Я доказывала, что если бы вместо истерических и подстрекательских статей издали бы своевременно книжку стихов Пастернака, то было бы гораздо больше пользы для России.

26.X. В «Правде» продажная статья Заславского, от которой просто воняет***. Говорят, что в городе демонстрации

* Племянница Корнея Ивановича.

** Сын писателя Всеволода Иванова — Вячеслав Всеволодович Иванов, сосед и друг Б.Л. Пастернака.

*** Д. Заславский. Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка // Правда. 1958. 25 окт.

перед Союзом писателей: «Долой Иуду Пастернака». Люди, которые, как я уверена, не читали его ни строчки и, во всяком случае, того романа, против которого они, вернее, их настроили. Мне омерзителен сам метод. Это и есть фашизм.

Хлебников: «Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти»*.

1958

* Из статьи В. Хлебникова «Ранней весной 1917 года...»

«ВТОРАЯ ЛИТЕРАТУРА» И «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ»*



амое интересное, что есть в первом номере «Континента» — это статья Синявского, — говорили немногие удачливые друзья, которые видели журнал. Наконец и мне дали книжку на вечер и, конечно, первым делом я схватился за прославленную статью. Отмахав 47 страниц текста, я почувствовал себя странно. Статья была не об этом самом «литературном процессе», да автор и вида не делал, что этот процесс его занимает. «Все эти романы, которые называются “По ком звонит колокол” или “Каждый умирает в одиночку”, звонят не по кому-нибудь другому, как только по автору, по писателю», — утверждает Синявский (с. 152).

У меня другое мнение о названных романах, но статья самого Синявского действительно «звонит по автору, по писателю», она дребезжит, скрипит, подмигивает, посвистывает и выкидывает лихие коленца, чтоб показать, до чего же автор удивительный и на все способный. Поскольку, однако, весь этот звон о себе иногда перемежается сентенциями о «литературном процессе в России», мне придется коснуться взглядов автора на этот предмет.

«До расцвета русской прозы в нашем столетии дело не дошло» (с. 157), — читаю я. Вот так номер! Удивительно читать такое в тот самый год, когда напечатан и триумфально прокатился по миру солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ». Можно вспомнить, что «в нашем столетии» жили и писали Чехов, Лев Толстой, Иван Бунин, Куприн, Леонид Андреев, Вас. Вас. Розанов. А позже «Охранная грамота» и «Доктор Живаго» Пастернака, «Тихий Дон», проза поэтов Мандельштама, Цветаевой, Ходасе-

* Русская мысль. Париж. 1975. 10 апр. № 3046.

вича, проза Булгакова, проза Солженицына — в разное время и с разной силой потрясали умы читателей. Существует проза Зощенко, Трифонова, вспоминаются Замятин, Пильняк и многие другие русские прозаики, которых как-то странно потерять из виду, говоря о «литературном процессе в России». Однако все эти писатели могут быть уверены — им повезло, что наш критик про них позабыл. Потому что Булгаков, единственный, кого он вспомнил из этого ряда, — стал объектом поистине удивительных умозаключений. Дело в том, что оказывается «...роль Воланда... в жизни самого Булгакова сыграл — Сталин... Булгаков... описывал в романе свою странную дружбу с Воландом, который, развязав и подстроив все колдовство, оказался м н о г о д о б р е е (разрядка здесь и далее моя. — С.О.), казнимого им человечества. Люди стали бесами, а главный бес — меценатом... В Сталине... Булгаков, должно быть, почуял а р т и с т и ч е с к у ю ж и л к у и раздул ее в своих грезах о Воланде» и т. д. и т. п.

Приведя эти цитаты, уместно сказать два слова о манере нашего критика. Во-первых, все читаемое, конечно, не стоит понимать буквально, все это пронизано тончайшей иронией и находится как бы во внутренних кавычках. Поэтому, если вы берете всерьез то, что читаете — это неопровержимо свидетельствует о закаменении вашего ума. Вот и после многостраничных плясок вокруг того, что у Сталина много общего с Воландом (представляете себе — Иосиф Виссарионович на завтраке у Канта, ну, и другие, столь же вероятные картины), автор не забывает в конце черкнуть: «Разумеется, ни Воланд, ни роман Булгакова в целом, не сводятся к сталинскому аспекту...» (с. 160).

Покончив с неудачливой русской прозой, наш критик сообщил, что главной особенностью русского литературного процесса является рождение «второй литературы».

Что же это за литература?

Ну, во-первых, это шесть романов Анатолия Кузнецова, которые тот тайно закопал неподалеку от своего дома. Конечно, обсуждать эти романы для критики — одно удовольствие: Кузнецов рассказал на весь мир, как он их закапывал, какие петли закидывал (в том числе и на чужие шеи), чтоб выбраться из родной страны и их напечатать, но — пока не напечатал. Поэтому нам сейчас трудновато спорить об этих романах. Вся история напоминает частушку:

Если ты влюбился вдруг,
Поезжай на станцию,
Сдай любовь свою в багаж,
Потеряй квитанцию.

Похоже, что Кузнецов эту квитанцию потерял, но Синявский с важным видом трактует о багаже. Ко «второй литературе» относится также и «Синтаксис», — рукописный журнал, издаваемый лет пятнадцать назад Аликсом Гинзбургом в течение недолгого времени. Оказывается, «Пастернак, уже незадолго до смерти... горько сетовал, что не может пройти в тех студенческих тетрадках по разряду начинающих авторов» (с. 156). Это утверждение мы оставляем на совести Синявского и лучше упомянем еще одну жемчужину в короне «второй литературы» — А. Белинкова.

Этот писатель с трагической судьбой, конечно, заслуживает внимания читателя и критики, однако удивляют сведения об его биографии, которыми располагает наш бывалый критик-филолог. Он рассказывает нам, что Белинков в 1942 году написал роман, за который был арестован, и что следователем роман был послан на рецензию к Е. Ковальчик и В. Ермилову, которые, не сговариваясь, написали в своих рецензиях: «Бешеным псам не должно быть пощады» (с. 179). Возникает вопрос: где наш филолог читал эти рецензии 1942 года? И ответ напрашивается сам — нигде не читал. Если мы остерегались твердо оспаривать «горькие сетования» Пастернака по поводу «Синтаксиса», то тут нам все ясно — в рассказанной истории правда только то, что А. Белинков был арестован, много лет провел в заключении, вышел тяжелым калекой и погиб сравнительно молодым. Однако незадолго до смерти он в своем праведном гневе на порядок, искалечивший и стубивший его жизнь, в своей ненависти к этому порядку решил, что «все дозволено». Он опубликовал за границей письмо, в котором рассказывал, как они с женой бежали из России по паспортам, купленным в Таллине. Он восклицал, обращаясь к читателю: «Мой дом оцеплен агентами КГБ (т. е. делал вид, что письмо написано из Москвы. — С. О.), может быть утром меня схватят, но сейчас я должен вам крикнуть — выходите из Союза писателей, бросайте членские билеты...» и т. д. (по примеру Синявского, цитирую по памяти. — С. О.).

На самом деле он выехал не по фальшивому паспорту, а по подлинному (и с прекрасной характеристикой от общественных организаций) — в Югославию. Оттуда через Венгрию бежал в ФРГ, потом перебрался в Америку и писал все это в доме на берегу Тихого океана. И этот уютный американский домик не был оцеплен агентами КГБ.

Мы так подробно останавливаемся на этом давнем эпизоде, чтобы прозрачно намекнуть нашему автору — увы! увы! мы не можем поверить ему, что в упоминаемых им двух рецензиях на роман Белинкова имелась приводимая фраза, и мы очень хотим предостеречь Синявского от представления, что страданием покупается право на «вседозволенность», на передергивание фактов, на ложь.

Вначале мы уже писали, что автор «звонит по себе». Он правильно пишет, что «настало время жалеть не писателей, но их гонителей и насильников. Ведь это им обязана русская словесность своим успехом» (с. 147). Абрам Терц, как никто иной, подтверждает своей биографией эту мысль, ибо его собственная литературная слава вся стоит на громком процессе Синявского—Даниэля.

Тут нам уместно будет прекратить свою полемику с автором, остановиться и сказать, что Синявский (как и Даниэль) необыкновенно достойно и мужественно вел себя во время этого процесса. Подсудимые устояли перед натиском следователей и глумливой прессы и открыто выступили на суде с речами, прозвучавшими на весь мир. Этот процесс показал властям, что прошли времена безнаказанного суда над писателями, всколыхнул сочувственную поддержку в России и вызвал уважение к обвиняемым в широких кругах западной интеллигенции.

Однако, явив миру редкий пример гражданского мужества, пережив все тяготы жизни в лагере, Синявский не преуспел в том, чтоб подкрепить свою, вспыхнувшую из-за этого громкого процесса, писательскую славу весомыми литературными достижениями. Ощувив на себе тепло всемирного внимания, тревоги, заботы, он теперь выводит такие вензеля: «Ну, еще понятно, когда Чехословакия, маленькая страна, вдобавок, вероятно, не совсем самостоятельная, все последние годы, говорят, прекрасно существует безо всякой литературы и ничего себе, процветает, и ей не стыдно. Но мы же — не Чехословакия...» (с. 176). Да, мы — не Чехословакия. Нам еще много веков надо будет учить-

ся, чтоб заработать эту культуру, эту сплоченность, эту силу духа и мужество. Негоже русскому писателю вскоре после 1968 года писать такие слова и в таком тоне. Не знаю, какими глазами читают эти строки Когоут, Пахман и другие чехи, но мне стыдно перед ними. Нельзя писать о стране, в которой и сегодня живет автор знаменитых «Записок контрреволюционера» и пьесы «Такая любовь» (упоминаю лишь известное мне. — С.О.) — нельзя сказать о родине Гашека и Чапека, что она «прекрасно существует безо всякой литературы».

Автор берется цитировать Ахматову:

Вы меня как *раненого* зверя
На кровавый подымете крюк...

Не важно, что на самом деле у Ахматовой — «Вы меня как *убитого* зверя...», что нарушается размер стиха — анапест, что раненых зверей никто никогда на крюки не подвешивает, — подвешивают зверей *убитых* (коптят их, сушат шкуры). Не стоит об этом волноваться. Автор успел про эти стихи что-то пискнуть и лихо понесся дальше.

Эффектные аккорды в статье: «Всякий русский писатель, не желающий в настоящее время писать по указке, — это еврей» (с. 188), а вокруг да около этой идеи 8 (!) страниц (182–189) — являются размазанным прозаическим пересказом общеизвестных строк Цветаевой:

Так не достойнее ль во сто крат
Стать вечным жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев-рейский погром —

.....
Гетто избраннычеств! Вал и ров.
По-щады не жди!
В сем христианнейшем из миров
Поэты — жида!

(«Поэма конца», из гл. 12)

Но вот тут-то, в связи с рассуждениями об евреях, и настигла нашего резвого автора карающая рука возмущенного читателя. Никто не возражал, когда Синявский писал, что «Мандельштам

сдох в лагере», когда он, перевирая, цитировал Ахматову и трети-ровал Чехословакию, когда он оставил бедную Россию без про-зы и наградил ее «второй литературой», когда он сообщал факты «второй свежести» (как говаривал в булгаковском романе буфет-чик о подпорченной осетрине). Но он, говоря о России и евреях, дерзнул написать: «Россия — мать, Россия — сука...» — и гря-нул праведный гнев наших патриотов. На пресс-конференции И. Шафаревич с негодованием цитировал эти крамольные два слова «Россия — сука», как будто все остальные слова этой ста-тьи не являются оскорблением России — матери.

О дальнейшем нам стало известно только из устных рас-сказов бывалых людей. Бывалые люди говорят, что Ю. Дани-эль опубликовал в газете «Монд» статью в защиту несправедно гонимого Синявского, где рискнул процитировать предсмерт-ное письмо Блока: «...слопала-таки поганая, гутнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Хотя нам неиз-вестна аргументация Ю. Даниэля, но письмо это лучше было в данной ситуации из архива не извлекать. Синявский — не Блок, не только по литературным масштабам, но и по жизненной по-зиции. Блок, умирая в России, в *частном* письме называет се-бя поросенком, а ее — чушкой. Синявский же, сидя в Париже, *печатает* в международном журнале, переводимом на многие языки, что Россия — сука, но почему-то упускает назвать себя самого сукиным сыном.

Поскольку в связи со всей этой некрасивой историей Ю. Да-ниэль отважился потревожить тень Блока, мы закончим нашу затянувшуюся полемику с автором статьи «Литературный про-цесс в России» отрывком из статьи Блока об эмигрантской печат-и: «...бежавшие за границу из тех, кто совсем не вынес тяжелых ударов исторического молота; когда им удалось ускользнуть... они стали... разносить, вместе с обрывками правды, самые гряз-ные сплетни и небылицы» (VI, с. 491).

С. О.

Коротко об авторе: Автор этой статьи — типичный предста-витель советской образованщины. Он не заслужил, чтоб его по-слали на северо-восток на казенный счет и не дорос до такого уровня сознательности, чтобы поехать туда добровольно или хотя бы послать своих детей осваивать эти просторы. Хотя мно-гие поколения его предков родились и выросли в России, с нею

голодали, сидели в тюрьмах, участвовали на ее стороне в войне и даже гибли на полях сражений — все же, среди этих самых предков, кроме людей русских, православных, с безусловным религиозным идеализмом замешались и евреи. Поэтому автору подобало бы сейчас быть, если не на северо-востоке, то хотя бы в Биробиджане или на худой конец в Израиле. А он вместо всего этого засел в Москве и пытается осознать себя, не покидая своего НИИ. Само собой понятно, что этот человек привык жить, теряя достоинство, так что своей фамилии не подписывает, а только ставит скромненькие инициалы — С. О.: Советская Образованщина.

Москва, февраль 75 г.

«И НАДОЕСТ ПОДОБОСТРАСТЬЕ...»*



етом 1949 года я поступала на химфак МГУ и в приемной комиссии познакомилась с Александром Дуловым. Он колебался, куда подать документы — на исторический или на химфак. В конце концов выбрал химфак. В университете (еще в старом здании) мы оказались в одной группе. Было все это почти сорок лет назад.

Началась студенческая жизнь — лекции, практикумы, собрания, литературные диспуты на Стромынке, дни рождения, походы. Учился Дулов легко. От тех далеких времен запомнилось, что на наших студенческих вечерах он, обладая великолепным слухом, без труда играл на любом подвернувшемся музыкальном инструменте — будь то рояль, контрабас или гитара. Запомнились и бесконечные споры (Дулов был, да и остался, отчаянным спорщиком) о книгах, кинофильмах, о политике. В этих спорах Дулов высказывал неординарные, всегда самобытные взгляды, вырабатываемые с трудом, вполне самостоятельно, часто наперекор несущему течению времени. Спорить с ним было интересно. Он много знал и был начисто лишен догматизма.

Кроме широкого интереса к музыке Дулов со студенческих лет увлекался работами самых разных художников, не пропускал буквально ни одной выставки, собирал художественные альбомы. Вообще для него с юности была характерна любознательность и широта интереса к искусству, которое он воспринимал совсем не как потребитель. Его творческая натура преобразовывала увиденное, услышанное, прочитанное — в нечто свое, осмысленное и усвоенное под неожиданным и очень индивидуальным углом зрения.

* Неделя. 1988. № 43.

После окончания университета я поступила на работу в только что созданный академиком А. Н. Несмеяновым институт, а Дулов — в Институт органической химии, находившийся по соседству. Уж и не помню, когда именно (в начале 50-х) я услышала его первые песни. Надо сказать, что он хорошо рисовал, писал стихи и, вот, оказывается, еще и сочинял музыку. Первые песни были шуточные: «Ой-ой-ой, я несчастная девчоночка...», «Эй, художник, выше знамя! Хлеб наш ел — плати сполна...», «Все равно я наверно погибну, что поделать — такая работа...». В те годы мощное теперь течение авторской песни только зарождалось. Еще не были слышны нам голоса Окуджавы, Галича, Высоцкого, Городницкого, Кима, Никитиных — ныне пользующихся всенародным признанием. Песни Дулова были непохожи на то, что несло из репродукторов. Они были так же своеобразны, угловаты, талантливы, как их автор.

Дулов продолжал работать в научной лаборатории (кстати, одно время вместе с Сергеем Никитиным). И Дулов, и позже Никитин защитили кандидатские диссертации. Но из их лаборатории, кроме громоыхания вакуумных насосов и шелканья приборов, часто доносились песни, исполняемые под гитару. Помню, с каким хохотом слушатели аплодировали Никитину, который пел язвительную пародию по случаю научной командировки Дулова в Париж: «И пошел не спеша / Наш доктор Дулофф Саша / Визави, рандеву, не зови меня в Москву».

Дулов отозвался на эти дружеские колкости песенкой «Парижские страдания», которая начиналась строфой:

Ох, весело мне, весело в Париже одному,
Ох, весь его бы, весь его — в Бастилию, в тюрьму!
Но нет на них Бастилии, балуется народ,
Повсюду в избылии целуется и пьет.

Я не буду тут пытаться выстроить последовательно этапы и периоды, характеризующие дуловские песни разных лет. Он много выступал, ездил по всей стране, пел на разных подмостках от Ленинграда до Камчатки. Конечно, год от года менялись и темы песен, и художественная манера их исполнения. Но неизменным оставался артистический и неожиданный облик певца, его веселость, грусть, доверие к слушателям.

Дулову абсолютно чуждо самоповторение и, разработав какую-нибудь линию, достигнув на этом пути признания и успеха, он совершенно неожиданно уходил от нее, открывая новые возможности жанра. Так, он вполне преуспел в «туристских» песнях («Сырая тяжесть сапога...», «Дымный чай», «До Ашукинской платформы...»). Их пели в электричках, песни эти звучали у походных костров и вдруг... «Хромой король» — песня на слова бельгийского поэта Мориса Карема. Совсем другая интонация. Песня эта сделала ее автора широко популярным, ее пели и профессиональные исполнители, она записана на пластинку.

И вот уже новый поворот — «Коррида», цикл песен на слова Евтушенко. В этом цикле поражает разнообразие красок и мелодий. Тут и публика, которая «глядит и чегой-то жует», и песня о тореро, и песня быка — главного участника корриды. Эти песни уже нельзя, да и не хочется петь хором в электричке или у костра. У их создателя совсем другая художественная задача — увлечь слушателя неожиданностью и богатством красок жизни, заставить задуматься, взглянуть на явление с разных сторон. Мир из простого, черно-белого, плоского становится объемным, сложным и многокрасочным.

С годами Дулов совсем перестал писать туристские песни, перестал (за редким исключением) сочинять песни на свои слова. Он обратился к нашей классической и современной поэзии, искусно отбирая то, что наиболее точно выражает его собственное мироощущение, его представления о Добре и Зле, о справедливости. Вспоминаются его песни на стихи Сергея Есенина, Вероники Тушновой, Николая Рубцова, Наума Коржавина, Александра Кушнера, Анатолия Жигулина, Олега Чухонцева, Дмитрия Сухарева, Юнны Мориц, Иосифа Бродского.

Этот перечень, выглядящий, может быть, пестрым и случайным, — на самом деле объединен для слушателей не только голосом певца, но и его личностью. В этом разнообразии имен и стилевых манер — присущее Дулову разнообразие интересов, о котором говорилось выше. Звучит изобретательный восточный мотив — грузинский тост О. Чухонцева «Алаверды к тебе, мой милый...», за ним — совсем другой ритм, благородная и мужественная мелодия песни на слова И. Бродского «Да будет удач у тебя впереди больше, чем у меня...». Снова меняется интонация

— нежность и твердость песни на слова В. Тушновой «Ну, пожалуйста, ну в угоду мне не тревожься ни о чем...». И вот уже хочется зал, слыша веселый и лихой припев песни на слова Д. Сухарева: «Все равно по количеству клюквы не догонит Америка нас...».

Каждой из названных (и не названных за недостатком места) песен присуща оригинальность и своеобразие мелодии. Дулов не напевает под гитару, как это зачастую делают поэты. Для него песня — это драматургическое произведение. И каждую песню он ставит, как спектакль. Причем, в этом спектакле Дулов сам себе и режиссер, и исполнитель главной роли. Его талант многолик.

Как мне кажется, на этом новом пути самовыражения в чужом слове оказались свои трудности, которые не всегда удается преодолеть. Я имею в виду попытки Дулова создать песни на стихи таких поэтов, как Александр Блок или Борис Пастернак. Блоковское «Девушка пела в церковном хоре...» или пастернаковское «Душа моя, печальница...» только проиграли, будучи не прочтены, а пропеты. По-моему, неудачны и песни на слова Цветаевой, которую так же трудно переложить на музыку, как, скажем, Маяковского.

Но эти неудачи только оттеняют плодотворность избранного пути, только подчеркивают удачи, достигнутые Дуловым, когда слово поэта, звук гитары и исполнительское мастерство певца образуют единый сплав — увлекающий и ошеломляющий слушателей.

Песни, которые поет Дулов, всегда современны, даже если они написаны на слова давно умерших поэтов — Гуго Орлеанского, Константина Бальмонта или Василия Курочкина, Николая Гумилева или Саши Черного, Владимира Набокова или Владислава Ходасевича. Они открывают нам этих поэтов с неожиданной стороны, заставляют взглянуть на них и на себя другими глазами. И главное — всегда будят мысль и возбуждают «чувства добрые», даже если песня называется «Ложь и злоба».

«Дурной сон» К. Бальмонта («Мне кажется, что я не покидал России / И что не может быть в России перемен...») и «Расстрел» В. Набокова («Бывает ночью — только лягу / В Россию поплывет кровать...») — написаны в эмиграции. Песни Дулова возвраща-

ют этих поэтов на родину, наглядно демонстрируют единство и разнообразие русской культуры, которая и по другую сторону границы проникнута той же болью за свою страну и сыновней любовью к ней.

Тут необходимо сказать, что выбор стихотворений, на слова которых Дулов пишет свои песни, абсолютно не связан с нынешним периодом гласности, скоропалительной «модой» на запретные раньше имена. Дулов начал петь песни на слова Гумилева, Набокова или Бродского за много лет до того, как их имена стали просачиваться в нашу печать. Долгие годы его выступления, в особенности перед молодежными аудиториями, оборачивались редкой возможностью для слушателей впервые услышать об этих поэтах, впервые ощутить их масштаб и значение, получить первый толчок к узнаванию и открытию для себя неведомых ранее литературных имен.

В песнях последнего десятилетия все громче зазвучала еще одна нота — политическая сатира, политический плакат, отзвуки страданий недавних поколений.

Как мне кажется, из новых песенных циклов наибольшая удача Дулова — композиция на стихи Варлама Шаламова: «Под Новый год я выбрал дом, чтоб умереть без слез...», «Затихнут крики тарабарщины и надоест подобострастье...» и другие. Умело выстроенная череда стихотворений, которые Дулов либо просто читает безо всякой музыки, либо поет, подчеркивая скорбной мелодией трагедию, о которой пишет поэт, — все это заставляет слушателей ощутить страшный холод одиночества, леденящую заполярную стужу, продуваемую жестокими ветрами, незащищенную, растоптанную, но не сломленную, и высокую душу страдающего человека:

...И шепот наш, как усилителем,
Подхваченный гитарным эхом,
Ударит в уши поздним зрителям
И станет вовсе не до смеха.

Так и сбылось по слову Шаламова: «подхваченные гитарным эхом» Александра Дулова голоса наших замечательных поэтов зазвучали для кого-то впервые, для кого-то по-новому, для кого-то в неожиданном ракурсе.

Концерты Александра Дулова — это не только зрелище и уж совсем не развлечение. Это — воплощенный в музыке, артистичный, а потому особенно действенный призыв к смелости мысли, к справедливости, к состраданию.

Октябрь 1988

О ЧЕЛОВЕКЕ ОЧЕНЬ НАДЕЖНОМ*



В начале 70-х годов Можаяев боролся за то, чтобы на Таганке выпустили спектакль по его «Кузькину», а я пыталась, чтобы вышла «Чукоккала», издание которой было остановлено, хотя книга была уже свёрстана и были оттиски. И мы с ним поспорили, кто раньше дойдет до цели.

Мне казалось, что раньше, конечно, дойдет Можаяев, потому что он был вхож на этажи. Ходил в ЦК, рассказывал о каких-то совещаниях, на которых он выступал, о каких-то своих решительных шагах. Он очень активно боролся. На Таганке происходили прогоны при участии высокопоставленных лиц. А я где-то в подвале, у техреда или в производственном отделе пыталась что-то узнать и сдвинуть.

Но оказалось наоборот. «Чукоккала» вышла в 1979-м году, а «Кузькин» вышел много позже, причем после многолетних переделок и полной замены последнего акта. Оказалось, что вся эта огромная энергия, активность и связи Можаяева — всё равно не вписывались в нашу тогдашнюю действительность. Он всё равно не вписывался, потому что сам был слишком живым для этого.

У него вообще было замечательное сочетание юмора, артистизма и симпатичной хитрости — не той хитрости, чтобы себе урвать, а хитрости в смысле артистического и художественного подхода к действительности. Он часто играл. Играл, что ему легко, когда ему было трудно. Играл и шутил, когда ему было не до шуток. Это всегда в нем чувствовалось. Кроме того, в нем чувствовалась огромная сила — и художественная, и художническая, и просто сила. Я помню, как он угодил в больницу с сер-

* Кулиса НГ. 2001. 2 марта. № 4.

дечным приступом, потому что поднял автомобиль — где-то на дороге. Позже, уже во время своей последней болезни, он сказал мне по телефону, что заболел потому, что поднял и протащил по лестнице холодильник. Я не думаю, что он из-за этого вот так заболел, но привычка двигать какие-то тяжелые предметы и проблемы — у него была.

Он был человек очень начитанный и образованный. Постоянно и много читал и рассказывал о читаемом. Как-то позвонил мне по телефону и, отвечая на какой-то незначительный вопрос, вдруг прочитал из Блока:

Ах, мать, я задохнулся в гробе,
И больше нет бывалых сил,
Молитесь и просите обе,
Чтоб ангел камень отвалил.

В конце 60-х, когда Можаяев приезжал в Переделкино, он читал Корнею Ивановичу свои рассказы, читал «Как крестьяне чувствовали Глазка», и Корней Иванович потом несколько дней вспоминал, он тогда его первый раз видел: «Какой художник!» А в дневнике записал: «Очень хороший юморист. И лицо у него — лицо юмориста» (октябрь 1968).

Помню невероятную его сердечность — при отсутствии многословия. Когда я, в середине 80-х, попала с переломанным позвоночником в Бабушкинскую больницу на окраине Москвы, первым, кто меня там навестил, был Можаяев, который появился со своими шуточками, привез какое-то редкое лекарство, индийское. Оно мне очень помогло. Сидел, рассказывал веселые истории.

Помню, что он был среди последних, кто приезжал в Переделкино прощаться с Александром Исаевичем за два дня до его высылки из СССР, в феврале 1974 года. Именно Борис по тону газетной травли понял, что сейчас что-то случится, и в самый последний день, когда Александр Исаевич был в нашем доме в Переделкине (это было воскресенье 11-го февраля, поскольку арестовали его 12-го, а выслали 13-го), Можаяев, вдруг сорвавшись, приехал к нему туда. У него была такая интуиция — он чувствовал болевые точки и оказывался в нужный момент на нужном месте. Конечно, это надо было бы показать на многих картинах, но я помню эти...

Очень яркая личность, ярко-талантливая в жизни и, конечно, в литературе. И еще чувствовался в нем этот его флот — по выправке. Многое он о флоте рассказывал. И по-моему, его любил, это время любил. Вообще всё, что с ним происходило, ему не то чтобы нравилось — этого быть не могло, но ему было интересно. Ему интересно было на флоте, ему интересно было в деревне, ему интересно было в поездках в Германию и в другие страны, куда он ездил в качестве журналиста, знакомясь с тамошним сельским хозяйством.

Эти бесконечные сражения, которые он вёл... Если посмотреть на даты выхода его книг, то получится, что у него только где-то к концу жизни начали выходить книги. А раньше — такой вот анекдот, с которого я начала, — я с Можаяевым спорю, кто раньше дойдет до цели, и Можаяев в этом споре может проигрывать. Если посмотреть со стороны на его возможности, на то, как он себя ощущал в этой нашей действительности — известный журналист, знакомый запросто со всеми редакторами крупных газет и журналов, участвовал в разных заседаниях, комиссиях и комитетах, а получалось, что он для них очевидно не был своим.

Он был человеком настолько артистичным, что нелегко было его оборвать или ему отказать. И все равно ему не удавалось сдвинуть бюрократические заслоны на пути издания своих книг или в делах колхозов и совхозов, за которые он заступался в печати, куда он без конца летал по стране. Он же страшно много ездил и не «изучал жизнь», а приезжал годами в одно и то же место, где он знал людей, знал их судьбы и писал исходя из их интересов. Сейчас нет таких журналистов, которые так дотошно, не с блокнотом, а изнутри собственной биографии всё это отстаивают.

Но все же Можаяев интереснее всего мне не своими газетными статьями о сельском хозяйстве, а — как художник, как *артист*, в самом широком смысле этого слова. Он держал какой-то фасон, какое-то лицо. И лицо это было симпатичное, живое, веселое, удалое. С ним было легко. Кроме того, он был надежным человеком, исполнял свои обещания, на него всегда можно было положиться.

К сожалению, память моя такова, что я помню картины, а не слова: его фигуру, выражение лица, его темп, его увлеченность теми делами, которыми он жил. Больше всего я люблю у

него «Полтора квадратных метра» — это сочетание жизненных коллизий, мудрого юмора, очень точного и меткого языка. Как у него там говорят милицейские начальники: «Компрометация и дискредитация».

Вообще он — часть определенной эпохи, причем не только литературная, но и жизненная. Он был со многими связан по жизни: с редакциями и просто с друзьями, с председателями колхозов... Очень широкий был круг людей, с которыми он общался. И как-то естественно общался со всеми. Ему было легко и в деревне, и в разговорах с моей матерью о Блоке или о Герцене. Он всё знал.

В Москву Можаяев переехал, по-моему, в середине 60-х. Они жили в доме напротив американского посольства. У них огромная была собака — Альфа. У нас тоже была собака Альфа, в Переделкине, до войны. Я совершенно не боялась собак, и когда пришла к Можаяеву, я сунулась к этой собаке, а она мне чуть нос не откусила — такая была злющая. Она как щелкнет зубами — и он тут же стал рассказывать, кого она разорвала, кого покусала — лихо так рассказывал, не страшно.

С Солженицыным? Это всё сейчас трудно разложить по полочкам, тем более, что Александр Исаевич всё запомнил и написал очень точно*. Борис всегда очень болел за солженицынские дела. Можаяев много ему помогал в разные периоды жизни.

Подружились они еще в Рязани, в начале 60-х. Потом, после переезда Можаяева в Москву, он без машины часто ездил в это самое Рождество-на-Истье, километров за 80 от Москвы, где у Солженицына был летний домик. Ведь Солженицын туда уедет, а тут начинаются неотложные дела, что-то надо срочно выяснять, ему передавать. Борис был человеком, о котором нельзя сказать даже, что Солженицын ему доверял, — просто он был ему другом. Очень мужественно всегда защищал Александра Исаевича.

Моя мать, Лидия Корнеевна пишет в дневнике в 1968 г. о Можаяеве и Солженицыне: «Удивительно привлекательное лицо, глядишь — и сразу веришь. И рядом на них хорошо смотреть, они как то очень подходят друг к другу — м. б. потому, что у обоих очень русские лица».

* Александр Солженицын. С Борисом Можаяевым // Лит. газета. 1997. 26 февр. № 8. С. 11.

Можаев встречал действительность... То, что подносил следующий день, он от этого не уклонялся, он встречал это как часть своей судьбы. Так было и когда был разгон «Нового мира», и когда было письмо солженицынское IV съезду, и когда была высылка Солженицына, и когда было его возвращение, и первые шаги в конце восьмидесятых — что печатать, как печатать, где печатать. Борис много занимался всем этим. Я даже пострадала однажды, потому что он пришел ко мне и говорит: «Коротич в “Огоньке” будет печатать письмо IV съезду, дай мне такой экземпляр, чтоб был почерк Солженицына» — и я ему дала экземпляр, надписанный когда-то Корнею Ивановичу. Ничего не напечатали. Я через какое-то время говорю: «Боря, а где же письмо IV съезду?» — «А, потеряли в редакции». Так и пропало это письмо.

Всех он называл на «ты». А я помнила, когда-то мне сделал замечание Корней Иванович. Я с детства тех, кто старше меня, даже года на два-три называла на «вы». Даже своих родственников — дядю и тетю. У Корнея Ивановича был знакомый мальчик, года на три постарше меня. Когда мы познакомились, ему было лет тринадцать, а мне десять. Выросли, стали взрослыми. И как-то Корней Иванович услышал наш разговор: я продолжала называть его на «вы», а он говорил мне «ты». Корней Иванович очень возмутился мною, сказал, что такое обращение совершенно исключено, такого неравенства в разговоре не может быть. Поэтому и с Борей мы оказались на «ты». Он ко всем так обращался.

Много Борис отдавал души Таганке, где он входил в Художественный совет. Но это они расскажут лучше. «Кузькин» потрясающий был спектакль. Золотухин, игравший Кузькина, долгие годы оставался для меня этим персонажем. Первые спектакли просто феноменальные. Душили его, по веточкам ломали... Было слишком оглушительно злободневно. Постепенно спектакль растащили по другим ролям и постановкам.

Конечно, Можаев был сложный человек, но в чем-то и простодушный. Подпольная кличка какое-то время у него была Лис, потому что он всегда играл и всегда нужно было догадаться, зачем он это сейчас разыгрывает.

Но Лис не в плохом смысле, не в том, что он хотел кого-то переиграть, что-то выиграть, а просто это было отчасти его натурой — игра. Есть такие люди — он ясен сразу, ты видишь: сейчас

ему скучно, сейчас весело, сейчас грустно, сейчас соврал. Борис не был таким человеком. Что там было у него на душе — это не всегда можно было угадать, я думаю. Как он воспринимает то, при чем присутствует? Не то чтобы он был не искренен — просто он был артистичен. И вместе с тем он был открытым человеком. Открыт веселью. Интересовался людьми разными, людьми абсолютно непересекающихся кругов, которые не могли, казалось бы, встретиться друг с другом в одной жизни, в одной душе. Но в этом как раз часть обаяния его личности. В том, что он находил в себе что-то для каждого, — в этом часть его жизненного и писательского секрета.

Его литературный талант больше всего проявлялся в его художественных вещах, борьба за издание которых годами выматывала его силы. В 60—70-е годы они пробивались в печать с большим трудом.

Очень заметными в общественной обстановке тех лет были его публицистические статьи по проблемам деревни, сельского хозяйства. Они были убедительными, основанными на точном знании предмета.

Он был из крупных наших специалистов и всё брал в соотношении с мировой практикой. И он очень много работал, безумно много — как журналист. Без конца мотался по всей стране, почти на месте не сидел, днями только бывал в Москве. То он в этом Дракине, то во Владивостоке. Он очень много ездил по стране, а потом стал ездить и за границу, причем не тогда, когда все стали ездить. Он ездил туда, чтобы сравнить, он ездил как хозяин, который приехал и хочет посмотреть — а вот там лошадей содержат вот так. Он всегда рассказывал о том, чем можно воспользоваться у нас, что он там понял. Я всё это говорю слишком общо, потому что деталей всех этих находок я не могу передать, поскольку сама в этом понимаю плохо.

Литературные его полемики казались мне более спорными и более запальчивыми. Там его вкусы не всегда совпадали с моими, хотя многое из того, что мне нравилось, он тоже очень ценил. Но эти его статьи меня не всегда убеждали.

Написать его портрет — для этого нужен художник. Это нужен слух, для того, чтобы передать особенности его очень своеобразной речи, очень хорошей, очень отобранной и вместе с тем очень для него характерной.

У него самого такой слух как раз был. Он умел, рассказывая о чем-нибудь, показать вдруг своего собеседника очень точно: как Милда говорит, ее акцент — и слышна при этом еще его интонация, ироническая как будто бы и в то же время абсолютно сочувственная и очень любовная. Солженицына он показывал тоже всегда с мягкой иронией. Показывал, как они в середине шестидесятых годов вместе ездили по деревням, и как Ал. Ис. всё время смотрел на часы. Только начинались интересные рассказы и разговоры, он говорил — «ну нам пора, поехали дальше». Он смеялся, это было отчасти его натурой, смеялся, но не осмеивал, а как бы радовался. Слышал очень точно — и показывал. Конечно, он не только художник, но и артист. Я настаиваю на этом.

У меня впечатление о нем — как о человеке очень надежном. Я всегда видела в нем союзника, помощника, защитника. В этом смысле у меня к нему абсолютно стопроцентное отношение. Он никогда не увиливал, не уклонялся от трудностей, никогда не хитрил по-крупному, тут манеры было больше, но это всё были небольшие хитрости. Никогда его хлопоты за или против не были интригой, это всегда было честной игрой. И время показало, что эти игры он далеко не всегда выигрывал, как казалось по его рассказам, когда он говорил: «я пришел к министру и сказал...», а результат получался совершенно другой. Нет, своим он для них не был. Он не мог их переиграть, потому что для этого надо было играть совсем по другим правилам.

Март 2001

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО



орогие Даша и Юля!*

Прошу Вас поместить это мое письмо на Ваш сайт.

Я постоянно с интересом обращаюсь к материалам сайта, слежу за его обновлением.

Благодарю Вас за оперативность, с которой Вы в дни двойного юбилея — 100-летия Л. К. и 125-летия К. И. — собираете и помещаете поток статей в газетах, многие радиопередачи, даете ссылки на ТВ-программы. Рада видеть, что, судя по письмам, посетители Вашего сайта тоже с благодарностью воспринимают Ваш бескорыстный и увлекательный труд. Мне было очень приятно побывать на трехлетнем юбилее сайта и увидеть тот интерес, с каким был встречен организованный Вами конкурс.

Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить все издательства, архивы, музеи, читателей, принявших участие в праздновании двойного юбилея. Благодарю Министерство связи, выпустившее специальный конверт и марку с портретом Чуковского.

К сожалению, в дни юбилеев Лидии Корнеевны и Корнея Ивановича было и несколько огорчительных происшествий, о которых я не могу не сказать, так как они бросают на меня тень. В газетах «Трибуна» и «Труд» появились интервью со мной, подписанные Анжеликой Заозерской. На презентации «Чукоккалы» в фонде «Русское зарубежье» я встречалась с этой журналисткой. Она сочла нашу беглую встречу достаточным основанием, чтобы сфабриковать от моего имени разные придуманные ею небылицы. Она приписывает Корнею Ивановичу странные оценки своих современников, искажает общеизвестные факты. Мне приписано столько глупых, развязных и несвойственных

* Д а ш а Авдеева и Ю л я Сычева, создательницы и авторы сайта в интернете <http://www.chukfamily.ru/>.

высказываний, что я не стану их здесь обсуждать и перечислять. Тех читателей, которые наткнутся на эти статьи, убедительно прошу считать их автором лично А. Заозерскую.

Я направила в эти газеты протесты. Удивительным образом, редакции не только не позаботились показать мне эти тексты до издания, но даже не сочли нужным прислать мне экземпляр с этими сочинениями. Я узнала о своих неожиданных откровениях от читателей этих изданий.

И еще один удивительный случай. В журнале «Звезда» (2007. № 3) помещена публикация отрывков из переписки Лидии Корнеевны с Алексеем Ивановичем Пантелеевым. В журнале указано, что комментарии написаны мною. На самом деле, вероятно, комментарии в спешке сделаны редакцией и почему-то в последний момент приписаны мне.

Приведу наиболее очевидные досадные ляпсусы, невозможные для меня:

На странице 130 в письме № 6 Л. К. перечисляет книги, которыми гордилась редакция ленинградского Детиздата: «Республика», «Повесть о фонаре», «Часовой», «Одногодки», «Солнечное вещество». «Мой» комментарий гласит: ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л. ПАНТЕЛЕЕВА. На самом деле здесь перечислены «Республика ШКИД» Л. Пантелеева, «Повесть о фонаре» и «Часовой» Л. Будогоской, «Одногодки» И. Шорина и «Солнечное вещество» М. Бронштейна. Лидия Корнеевна отдала многие годы жизни сохранению памяти о маршаковской редакции, подвергнувшейся разгрому в 1937 году. Я слышала разговоры о судьбе этих книг и их авторов с детства, и мне странно видеть свою подпись под таким комментарием.

Идем дальше: Письмо № 18 Л. К.: «Но посмертная катастрофа, происшедшая с А. А., столь ужасна, что ничего не делать тоже нельзя». Комментарий: ПО-ВИДИМОМУ, ИМЕЕТСЯ В ВИДУ КОНФЛИКТ МЕЖДУ НАСЛЕДНИКАМИ. Тоже очень странный для меня текст, поскольку мне совершенно точно (а не «по-видимому») известно, что имеет в виду Л. К.: У Ахматовой не было нескольких наследников. Ее наследником был ее единственный сын Лев Николаевич Гумилев. «По-видимому» у редакции «Звезды» другой взгляд на этот предмет, но причем тут я. Что именно имела в виду Лидия Корнеевна можно легко узнать из моей публикации переписки Лидии Корнеевны с Виктором Максимовичем Жирмунским. См.: «Приключенческий

роман с неожиданным поворотом сюжета» (Знамя. № 1. 2007. С. 166–187).

И еще дальше. Письмо № 35: «Вчера днем, в 3 часа, я пошла проститься с домом Бориса Леонидовича». Комментарий: НЕЗАДОЛГО ДО ЭТОГО ЛИТФОНД, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАЛА ДАЧА Б. ПАСТЕРНАКА, ПОТРЕБОВАЛ ОТ НАСЛЕДНИКОВ ОСВОБОДИТЬ ЕЕ. Немыслимый для меня комментарий. Л. К. пишет Пантелееву о том дне, когда на дачу Б. Л. Пастернака, ставшую музеем, не признаваемым государством, явился судебный исполнитель и выкинул вещи Б. Л. Пастернака из дачи. Единственным человеком из писателей, кто пришел проститься с домом в этот день, была Л. К. Чуковская. Переделкинский дом Корнея Ивановича был на очереди и тоже под судом. И тоже говорилось, что выселяют наследников, а на самом деле уничтожали действующий музей. Теперь обе дачи стали филиалами Государственного литературного музея. И вот я, пережив несколько лет судебной тяжбы, вообще все, что пришлось тогда пережить, — пишу этот равнодушный, формальный и неверный комментарий*.

Одним словом, прошу всех, кому попадет на глаза это мое письмо, не считать меня участницей интервью, подписанных А. Заозерской и автором комментариев в «Звезде» (2007. № 3).

С добрыми пожеланиями вам обеим. Все новых интересных обновлений вашему сайту.

5 апреля 2007

* После моего протеста редакция «Звезды» поместила поправки в № 7 за 2007 год.

Д *Приложение*

СЛУЧАЙ ЗОЩЕНКО*

*Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом, 1946—1958***

Пролог

Я переменил десять или двенадцать профессий, прежде чем добрался до своей теперешней профессии...

Скоро 15 лет, как я занимаюсь литературой... Моя работа мало уважалась в течение многих лет... Но я никогда не имел от этого огорчений и никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия.

Профессия моя оказалась все же чрезвычайно трудна. Она оказалась наиболее тяжелой из всех профессий, которые я имел.

М. Зощенко. Возвращенная молодость



одного летчика-испытателя как-то спросили:

А бывают у вас какие-нибудь профессиональные болезни?

Подумав, он ответил:

Как будто, кроме смерти, никаких.

Эта невеселая острота невольно вспоминается, когда думаешь о судьбах наших писателей — тех, чьи имена составляют ныне славу и гордость нашей литературы. Путь одних закончился трагически. Другие, пережив гонения и преследования, благополучно умерли в своей постели. Третьи никаким гонениям не подвергались, но тем не менее погибли как художники. То есть они продолжали писать и даже печататься, но это были уже как бы и не они, а кто-то другой...

* Совместно с Б. М. Сарновым. Юность. 1988. № 8. С. 69—86.

** Публикуемые документы находятся в государственных и частных архивах. Письма М. М. Зощенко к К. А. Федину любезно предоставила нам Н. К. Федина, а письма Л. Пантелеева — Л. К. Чуковская. Письмо В. А. Лифшицу — И. М. Кичанова-Лифшиц. Приносим им свою благодарность.

Каждый случай неповторимо индивидуален. Но в основе каждого — своя драма.

Иными словами, каждая из этих судеб представляет собою свой вариант, свой случай преждевременной и противоестественной гибели художника.

Вот почему эту драматическую историю в письмах и документах мы решили назвать «Случай Зошенко».

Как это началось

Не обществу перестраиваться по Зошенко, а ему надо перестроиться. А не перестроится, пусть убирается к чертям.

И. Сталин

10 августа 1946 года в газете «Культура и жизнь» под рубрикой «Письма в редакцию» была опубликована небольшая статья драматурга Всеволода Вишневского «Вредный рассказ Мих. Зошенко».

Вот несколько выдержек из этой статьи:

«Ленинградский литературный журнал “Звезда”, в № 5—6 за этот год опубликовал в разделе “Новинки детской литературы” рассказ Мих. Зошенко “Приключения обезьяны”. Общая концепция рассказа сводится к тому, что обезьяне в обществе людей плохо и скучно. В одном из “рассуждений” обезьяны, то есть рассуждений, сделанных Зошенко за обезьяну, прямо говорится, что жить в клетке, то есть подальше от людей, лучше, чем в среде людей. Спрашивается, до каких пор редакция журнала “Звезда” будет предоставлять свои страницы для произведений, являющихся клеветой на жизнь советского народа».

20 августа в газете «Ленинградская правда» было опубликовано: «О журналах “Звезда” и “Ленинград” (Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.)».

21 августа то же самое напечатано в «Правде».

22 августа — в трех газетах: «Правде», «Ленинградской правде» и в «Вечернем Ленинграде» напечатано дословно одно и то же:

«На днях в Ленинграде состоялось собрание актива Ленинградской партийной организации, на котором секретарь ЦК ВКП(б) тов. Жданов сделал доклад о постановлении Центрального Комитета ВКП(б) от 14 августа сего года о журналах “Звезда” и “Ленинград”»...

Итак, постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», с которого началась кампания проработочных собраний и статей, клеймящих Зошенко и Ахматову, было принято *14 августа 1946 года*. Первое сообщение о нем в печати появилось *20 августа*. А статья Всеволода Вишневского «Вредный рассказ Мих. Зошенко», с которой мы начали свою документальную повесть, как уже было сказано, появилась в газете «Культура и жизнь» *10 августа*, то есть за десять дней до первого сообщения об этом постановлении и за четыре дня до того, как это постановление было принято.

Что же это значит?

Может быть, Всеволод Вишневский обладал каким-то особенно тонким политическим чутьем, позволившим ему предвидеть, что на днях такое постановление появится? Или, может быть, это как раз он, Всеволод Вишневский, сигнализировал в ЦК ВКП(б) о том, что в делах литературных не все обстоит благополучно? И ответом на этот его сигнал и явилось знаменитое постановление?

Нет, загадка эта объясняется гораздо проще.

Есть у Михаила Зошенко небольшой юмористический рассказ о том, как один ялтинский житель, некто Снопков, проспал знаменитое Крымское землетрясение. Подробно рассказывая обо всем, что предшествовало этому удивительному факту, автор (вернее, рассказчик) перебивает свой рассказ такой фразой: «Тем более, он еще не знал, что будет землетрясение».

Так вот, в отличие от ялтинского жителя Снопкова писатель Всеволод Вишневский о готовящемся «землетрясении» знал заранее.

Как свидетельствует приведенный ниже документ, он знал об этом уже 9-го августа, то есть за день до того, как в газете «Культура и жизнь» появилась его статья.

СТЕНОГРАММА

заседания Президиума Союза советских писателей совместно с членами Правления, находящимися в Москве, по вопросу постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 4/ IX 1946

В. В. ВИШНЕВСКИЙ

Мне хотелось бы сказать несколько слов относительно последних событий в литературе. Мне хотелось бы поделиться с вами тем, что мы слышали 9 августа на Оргбюро, потому что слова, которые обратил товарищ Сталин к нам, писателям, — он говорил две речи, — речь к литераторам и речь к кинематографистам, — они должны быть у нас в сердце. <...>

Мы не знали, что мы встретимся с товарищем Сталиным. Нас предупредили, что будет Оргбюро, вопрос о ленинградских журналах, вопросы театральные, вопросы репертуара, еще 2—3 вопроса и т. д. Ровно в 8 заседание началось на пятом этаже в Мраморном зале, в том историческом зале, где товарищ Сталин встречался не раз с литераторами. Ровно в 8 пришел товарищ Сталин. Он был не в военной форме. Он, по-моему, подчеркнул этим традицию, что он разговаривает с интеллигенцией, с представителями искусства. Затем 4 часа подряд большая духовная инициатива разговора была в его руках. Он не выключался из беседы, как выключаешься иногда, а в течение четырех часов он был в курсе разговора. Он бросал много реплик. Я по своей привычке записывал, и я хочу поделиться с вами рядом записей, так как я считаю, что каждое слово, которое сказал товарищ Сталин, для нас важно и ценно.

Сначала несколько его реплик — о зоценковском рассказе «Приключения обезьяны».

«Рассказ ничего ни уму, ни сердцу не дает. Был хороший журнал “Звезда”. Зачем теперь даете место балагану?» <...>

Дальше товарищ Сталин говорил, что многие из вас низкопоклонничают перед Западом, перед иностранцами. Мне больно об этом говорить, но я знаю людей, и я об этом говорю. Я знаю, что люди терялись, советские люди, люди, побывавшие на войне, люди, идущие в авангарде, люди, которые за 30 лет никогда ничего не боялись и ничего не убоятся. Но когда эти люди начинают теряться, теряют свое достоинство, становится больно. Я помню, как один из нас стал терять свое достоинство. Сталин сказал — говорите смелее. Я думаю, что это надо

обратить к каждому члену нашего Союза, каждому члену нашей культуры — действуйте смелее. Вы должны быть смелыми, вы советские граждане. Это природа наших людей. И товарищ Сталин неоднократно это говорил. Это надо понять, как основное начало. <...>

Дальше применительно к «Ленинграду»: «Появлялись у вас в «Ленинграде» замечательные вещи, бриллианты, но почему теперь нет? Что, материала мало?» <...>

Затем относительно Зошенко. Несколько раз он говорил: «Человек войны не заметил. Накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему. Рассказы Зошенко о городе Борисове, приключения обезьяны поднимают авторитет журналов? Нет.

А Анна Ахматова? Что у Анны Ахматовой можно найти? Одно, два, три стихотворения».

Была сделана ссылка на «Знамя». Прокофьев сказал, что есть недостатки и в других журналах, что надо заняться. Товарищ Сталин сказал — знаю. <...>

Когда цикл этих разговоров прошел, товарищ Сталин сказал: «Журналы не могут быть аполитичными. Некоторые думают, что политика — дело правительства, а нам — литераторам надо только писать хорошо. А есть такие, которые отравляют молодежь. В этом у нас получается расхождение с литераторами. Почему я недолюбливаю Зошенко? Зошенко — проповедник безыдейности, терпеть его на руководящих постах нельзя. И советский народ не потерпит, чтобы отравляли сознание молодежи. <...>

Нужны авторитетные люди, которые будут давать замечания, советы и помощь молодым писателям, а если мы не будем никого обижать, Ахматову, например, не будет журнала.

У нас журналы не частные предприятия. В других странах — это частные предприятия отдельных лиц и отдельных групп. Наш журнал — журнал народа. Он не должен приспособливаться к Ахматовой. Нам надо воспитывать новое, бодрое поколение, способное к преодолению любых трудностей, и если бы мы не воспитали молодежь, мы бы не сумели разбить немцев».

Вот одна из ключевых фраз: «Разве Ахматова справится с воспитанием молодого поколения? Нет. Нам нужны редакторы, которые не боятся сказать правду в лицо. Воспитание молодежи в ленинском духе — это самое главное».

Здесь он переходит к теме о Зоценко. Он касался этой темы в ряде мест.

«— Не обществу перестраиваться по Зоценко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям».

О журнале «Ленинград» давал свою характеристику. Отвечал мне. Я очень просил сохранить журнал, потому что мы его родили в блокаду. Он продолжал нашу раннюю традицию Ленинграда. Я просил товарища Сталина применить испытанное средство, бросить туда силы, подкрепить журнал. Товарищ Сталин ответил: «Товарищ Вишневский в трагическом свете изображает положение с журналом. То, что мы делаем, называется рационализацией. Потом появится пять журналов, а сейчас лучше иметь один журнал, да хороший, чем два таких».

Эта фраза сразу была понята.

Второе выступление товарища Сталина относительно кинодраматургов и режиссеров, но и оно имеет прямое отношение к нам.

«Мало работают над темой, за которую берутся. Безответственность наблюдается. Возьмите некоторых постановщиков, возьмем Чарли Чаплина. Два-три года человек молчит, готовится, изучает детали, по два-три года работают настоящие постановщики».

Он привел в пример Гёте, который работал 30 лет над «Фаустом», как пример глубокой, вдумчивой работы писателя.

«Легкость вредна в работе. Пудовкин — хороший постановщик, но не потрудился изучить свою тему. — Черное море, говорит он, — живописное, я — Пудовкин, сойдет».

А мы отличаем плохое от хорошего, мы, большевики, делаем все для того, чтобы вкусы росли, и если люди не поймут этих требований, то кое-кому придется уйти в тираж.

Нет подхода к изучению материала. Пудовкин не знает, что русские преследовали противника и только потом, по приказу, отошли.

Что получается?

Недобросовестное отношение к делу на глазах у всего народа. Вот история с фильмом «Нахимов»».

Товарищ Сталин говорил о добросовестном изучении материала. «Знать тему, за которую берешься. Должно быть такое ощущение: я знаю эту тему и поэтому я выступаю с ней перед народом. Ведь это не шутка, выступать перед 200 миллионами. Поэтому как же мы должны ценить это внимание 200 миллионов».

И далее продолжает:

«Возьмем Эйзенштейна. Отвлекаясь от истории, вложил что-то свое, изобразил каких-то дегенератов-опричников, не понял, что опричники были прогрессивными элементами, не понял значения репрессий. Россия была раздробленной, хотела объединиться, создавалось централизованное государство. Иначе Россия попала бы под новое иго. Россия вправе была карать врагов внутри и извне. Возьмем Ивана Грозного. Мы знаем, что это был человек с волей и характером. А нам дан не то Гамлет, не то какой-то убийца. Изучайте факты, а изучение требует терпения. А терпения не хватает. Надо научить людей добросовестному отношению к своим обязанностям и пониманию интересов государства.

Возьмем фильм «Большая жизнь». Это — небольшая жизнь. Больно смотреть на изображение наших людей. Удивительно, когда дело касается советских людей, умудряются испачкать каждый раз. Обидно. Искажены отношения. В фильме показан не Донбасс культурный, механизированный, а фильм показывает самые грубые процессы физического труда».

Затем было вот что: просили товарища Сталина, несмотря на большую серьезную критику, дать всем продолжать работу.

Товарищ Сталин задумался. Он посмотрел на зал, на людей, которые там сидели, на стол Президиума и стал по-хозяйски перебирать. Он спросил Калатозова, сколько израсходовано по фильму. Товарищ Калатозов ответил, что 4600 тысяч рублей. Товарищ Сталин, как действительный хозяин, сказал: «Пропали денежки».

Товарищ Сталин перебрал все моменты, сказал, что, может быть, можно, если исправить фильмы, вставить, вводить новую группу персонажей. Он рассуждал как профессионал. Он подготовился к беседе с нами, и это было видно, так как на столе лежали журналы. Он подтянул журнал и говорит: «Смотрите, как издается. Нет обозначения месяца, нет номера». Он входил даже в детали типографского свойства. <...>

Хочу сказать несколько слов относительно собственной практики в журнале «Знамя». Я помню, когда в 1934 году Сурков выступал на съезде писателей, и он не был ни слепым, ни глухим. Правильная была речь в 1934 году, он говорил о Зошенко и делал предупреждение о болотном начале. <...>

Я сторонник определенной эстетской линии.

Ряд вещей применительно к Ахматовой — не понимал. Сейчас, после решения ЦК ВКП(б), я сижу и читаю. Я перебираю «Золотое руно», изучаю все, и это мне поможет. Это предостережет от дальнейших ошибок. Люди все смертны, грешат и делают другие ошибки. Фальшиво каяться не могу, что я слепой и глухой. Я уважаю свой труд, уважаю свой путь, я не глухой и не слепой, я работал и буду работать.

Меня очень тронуло то, что говорил Жданов. Беседа была короткая, но она вошла в сердце. *Я никогда не видел его в таком накале. При осаде Ленинграда я его таким не видел* (курсив наш. — Б. С. и Е. Ч.). Он подошел ко мне и Тихонову и говорит: «Помните выступление на Первом съезде писателей? Не буду переоценивать своего доклада, я дал от имени партии зачатки теории. Надо было перехватить это. Почитайте стенограмму 1-го съезда».

Он подошел и говорит: «Вспомните всю демократическую сущность традиции Белинского, Добролюбова. Мы три революции пережили, ряд войн, в Ленинграде вместе выстрадали. Какие отщепенцы смеют ревизовать практику теории в искусстве и литературе».

С какой силой Андрей Александрович обращался к нам: «Мы пережили три революции. Мы добились такой победы, которой мир не видел! Так неужели мы допустим, чтобы кто-то вытаскивал на свет все эти “ИЗМы” и “декадентщину”?! Мы этого не допустим, этого не может быть! И поэтому приняты решительные меры по отношению к тем, кто хочет испортить, извратить все то драгоценное и святое, что мы создали за 30 лет.

Главное для нас в Союзе и в целом — создать теорию советской литературы, исходя из всех корней революции и демократизма».

То, что говорил Жданов, было очень сильно. Я записывал каждое его слово.

«Вы юнцами должны помнить 1908—1909 годы. Вспомните арцыбашевщину. Что теперь после таких побед, после того, что совершил народ, как можно теперь тратить основной капитал и как можно позволить прикоснуться к этому капиталу кому-то? Надо переходить в наступление».

Это он говорил ленинградцам.

«Вы чувствуете боль Центрального Комитета за то, что произошло в литературе в Ленинграде».

— Да, я ряд вещей прозевал в силу какой-то беспечности, в силу того, что не потрудился, чтобы все вместе соединились и занялись этим материалом. Это было бы полезно.

Несколько слов об Ахматовой, которая начинала в 1909 году. Меня как редактора и как работника Союза советских писателей удивляет и поражает, почему она сейчас молчит. Почему на мнение народа, мнение партии и на все то, что сказано в наших стенах, она не отвечает. Если она так пренебрежительно ведет себя, наверное, полагаю, надо ставить вопрос о дальнейшем ее пребывании в Союзе, так же как и Зощенко.

При дальнейшем изучении материала, которое необходимо нам, критики должны нам помочь. Надо пересматривать корни символизма. У Зощенко линия, идущая от Гофмана, линия двойного существования, линия шифровок и искажения, и эти корни надо искать глубоко, идущие от немецкого романтика Гофмана.

Из беседы с американскими журналистами, август 1946 г.

Толкуют о Зощенко... — Кто он такой... Офицер царской армии, человек, который перепробовал ряд профессий, без удач и толка и начавший в 1922 году писать сатирические рассказы... Они в ту пору били мещан, обывателей... Но потом в стране произошли грандиозные изменения. Страна в 9 раз удвоила (так! — *Б. С. и Е. Ч.*) свой индустриальный потенциал. <...> А Зощенко, замкнутый, угрюмый, стареющий, все продолжал писать свои сатиры, год за годом повторяя приемы 1922 года. Это надоедало. Он продолжал. Это раздражало, критики указывали на его сумбур, путаницу, на незнание им реальной жизни... Зощенко продолжал свое... Когда началась война, он бросил Ленинград, уехал за пять тысяч километров и стал писать свою «исповедь»... Это одна из самых мрачных и грязных книг, которые я когда-либо читал. Это нудное и циничное саморазведение, разведение своих близких... Не буду продолжать... — Осажденный Ленинград, прочтя первую часть этой «исповеди», — возмутился. Дело было в 1943 году — Ленинград выступил с протестом против клеветника, пасквилянта... Рабочие радиозавода, работавшие

730 суток под огнем немцев, написали решительное письмо-протест.— Я сам всю войну был в осажденном Ленинграде, и это дело знаю хорошо. С некоторыми рабочими с радиозавода я знаком, они приходили ко мне.— Казалось бы, протест боевых, настоящих людей должен был повлиять на Зощенко... Но он опять угрюмо, индивидуалистически отвернулся. Он не понял или не захотел понять возмущенных читателей. Он клеветал в своей повести на Ленинград, — и Ленинград сам ему ответил... Зощенко продолжал свои писания... Он дошел в своем падении до того, что не дал ни одной строки о великой войне! Он игнорировал величайшие муки и жертвы своего народа. — И мне вспомнились некоторые детали его биографии. В 1922 году он и его друзья сами называли себя «авантюристами». Они говорили о бессельности жизни, о безразличии к политической борьбе и о том, что литература ценима ими лишь как игра... Но играть, клеветая на Россию, на свой родной Ленинград, непоколебимо стоявший с сентября 1941 года по январь 1944 года в немецком окружении,— это свыше всяких мер и сил... — И с этим старым клеветником, несоветским человеком мы расстались. Устав Союза советских писателей, который мы разрабатывали с Горьким в 1934 году, говорит, что членами Союза Советских писателей являются писатели, стоящие на советской платформе и участвующие в социалистическом строительстве...

— Зощенко больше чем нарушил устав, принятый единогласно. Думаю, что мне нечего добавить к сказанному. Избавление литературы от регрессивных элементов — глубокий анализ вековых революционно-демократических традиций литературы России, изучение реакционных корней декадентов, символистов, разъяснение молодому поколению вреда, который приносят Зощенки, Ахматовы и прочие,— вот те ценные приобретения, которые мы делаем сейчас. <...>

Мы не хотим, чтобы рядом с испытанным революционным направлением в литературе, рядом с направлением, за которое отдал жизнь великий Горький, рядом с направлением, украшенным именем Маяковского, рядом с направлением боевым, народным, существовали какие бы то ни было «направления» пасквилянтов, клеветников на Революцию и народ, или «направления» старых 60-летних поэтов, обращающих свои взоры к царским паркам, лебедям и разной архаической чепухе и ми-

стике. Мы не хотим, чтобы подобные направления возникали за нашей спиной, чтобы их создавали люди, трусливо сбежавшие из смелых городов, которые, не моргнув глазом, приняли чудовищные удары Германии и не только приняли, но и отбили... Помните, что ленинградцы шли в первых рядах штурмующих Берлин войск. Эта честь выпала и мне...

Я заканчиваю. Благодарю вас за внимание, с которым вы прочли мое сообщение. Жму крепко руки американских читателей.

Всеволод Вишневский

Так что же все-таки произошло? Почему рассказ Зошенко, написанный для детей и впервые опубликованный, кстати говоря, в 1945 году в «Мурзилке», журнале для школьников младших классов, почему этот крохотный рассказик вызвал такой гнев «отца народов»? Ну, написал писатель слабый, неудачный рассказ. Ну, допустим даже, редактор совершил ошибку, напечатав (вернее, перепечатав) этот рассказ из «Мурзилки». Неужели это достаточное основание для того, чтобы пустить в ход всю пропагандистскую машину и объявить это микроскопическое событие литературной жизни грандиозной идеологической диверсией?

В ту пору по этому поводу носилось множество самых фантастических слухов и предположений. Вот одно из них:

...С точки зрения властей предержавших, Зошенко вел себя во время войны не лучшим образом. Выпущенная им в 44-м году книга «Перед восходом солнца» — чисто фрейдистский труд. Автор наивно утверждает в предисловии, что это не так. Но самая мысль исследовать собственные впечатления младенчества, сохранившиеся в памяти с целью выводить отсюда черты характера, присущие взрослому человеку, полностью вытекает из трудов венского психоаналитика. Разумеется, книга вызвала резко отрицательные отзывы советской прессы...

На этом фоне творчество Зошенко стало особенно бестактным. К тому же снова появились на Западе книги нашего сатирика, изданные на сей раз в Англии — в качестве арсенала «холодной войны». А тут произошел инцидент, усугубивший «вину» сатирика...

Народ, озлобленный крутыми мерами Сталина с конца 20-х годов, мстил ему тем, что часто называл великого вождя и учите-

ля именно чистильщиком сапог. Установилась мера наказания за такое преступление: уличенный в том, что употребил кличку по отношению к Сталину, получал от пяти до десяти лет лагерей.

Но в рассказе Зощенко «Обезьяна», попавшем в текст одного из постановлений 46-го года, просто написано про самую обезьяну: «Вот она сидит, маленькая, коричневая, похожая на чистильщика сапог»*. Трудно сказать: сделал ли автор сознательно этот выпад, или случайно совпали строки рассказа с «общепринятым» оскорблением товарища Сталина.

Зощенко был принужден к молчанию. Но в следующем, 47-м году** он приехал из Ленинграда в Москву и обратился к генеральному секретарю правления Союза писателей СССР — А. А. Фадееву за советом: как ему надлежит поступить? По словам Зощенко (это Михаил Михайлович мне рассказывал), Фадеев ответил так: «На тебя обиделся сам хозяин: писать надо непосредственно ему». И тогда, говорил Зощенко, я написал Сталину, что я не понимаю, за что меня осудили и что от меня хотят.

*В. Ардов. Из неопубликованных воспоминаний
«А Зощенко был таким...»****

*М. М. Зощенко — И. В. Сталину*****

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого от меня никто не отнимет...

* В рассказе Зощенко такой фразы нет. Видимо, В. Ардов пересказывает ходившие тогда слухи.

** Ошибка памяти мемуариста. На самом деле письмо Зощенко И. В. Сталину датировано 26 августа 1946 г.

*** Ардов Виктор Ефимович (1900—1976), писатель.

**** Полностью текст письма опубликовал Ю. В. Томашевский (см.: Дружба народов. 1988. № 3. С. 173).

Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. И я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать — так же трудно, как комическому актеру играть героические образы. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы...

Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.

Мих. Зощенко

Вне советской литературы

...Исключить Зощенко М. М. и Ахматову А. А. из Союза Советских писателей как несоответствующих в своем творчестве требованиям...

*Из «Резолюции Президиума Правления
ССП СССР, 4 сентября 1946 года.*

*М. М. Зощенко — Н. П. Акимову**

Дорогой Николай Павлович!

Шварц сообщил мне (с Ваших слов), что Пименов** не получил мою комедию, посланную ему почтой.

Комедию я послал 7 мая, и передо мной расписка. Не получить комедию Комитет не мог.

Одно из двух — либо секретарь не передал Пименову, либо Владимир Федорович отказался от моей пьесы столь вежливым способом.

И то, и другое досадно в высшей степени. Тем более досадно, что пьеса на этот раз политически правильная — я давал ее на экспертизу специалистам по вопросам, затронутым в пьесе.

* Н. П. Акимов (1901–1968), главный режиссер Ленинградского театра комедии, художник.

** В. Ф. Пименов, в то время начальник Главного управления театрами Всесоюзного комитета по делам искусств и заместитель председателя Комиссии по драматургии СП СССР.

Препятствия и преграды оказались столь велики, что они сломили мой дух, и я не считаю более приличным просить и кланяться.

Еще осталась слабая надежда на Симонова, которому я недели две назад послал экземпляр комедии*, но я полагаю, что и тут результатов не будет, ибо дело не в литературе, а в ситуации.

Извините, что я столь часто беспокоил Вас этой своей работой. Наивность не покидала меня за эти два года. Благодарю Вас за Вашу помощь и сочувствие.

*Ваш Мих. Зощенко.
12 июня 1949 г.*

М. М. Зощенко—К. А. Федину

23 июня 1950

Дорогой Костинька!**

Пришлось-таки обратиться к тебе с нижней просьбой: одолжи мне рублей 400—500***, если тебя это не затруднит. Никак не обернуться до полочки.

Дела мои сейчас весьма выправляются. В конце мая меня вызвали в Смольный для разговора по телефону с ЦК. Говорил со мной тов. Иванов из отдела агитации и пропаганды ЦК. Он спросил меня, над чем я сейчас работаю, и сказал, что никаких препятствий для печатания моих работ не имеется. И чтоб я работал на равных основаниях со всеми.

Я тотчас послал несколько рассказов в «Крокодил» и в «Огонек» и, к моему глубокому удивлению, получил ответ, что один рассказ пойдет в «Огоньке», а другой в скором времени будет напечатан в «Крокодиле».

Кроме того, непринятая музыкальная комедия прочитана Городским Комитетом и полностью одобрена. Видимо, комедия эта пойдет осенью.

Как видишь — судьба моя переменялась, и хотя блеска в дальнейшем, вероятно, не произойдет (постарел), но кое-какие

* Вероятно, речь идет о комедии «Здесь вам будет весело...». Комедия не была поставлена.

** Ответ К. А. Федина на это и последующие письма М. М. Зощенко см.: *К. А. Федин. Собр. соч.*: В 12 т. М.: Худож. литература. Т. 11. 1986.

*** Эта сумма, как и все последующие, относится к периоду до денежной реформы 1961 г., когда денежные знаки были обменены на вновь выпущенные из расчета 10:1.

работы будут сносны и печальное мое имя, быть может, несколько очистится от скандальности.

Без этой реальной перемены я бы и не стал просить тебя об одолжении. Но предстоящие блага дают мне надежду, что в скором времени я уже смогу рассчитываться со своими долгами. Тебе я должен 1500 рублей, каковые деньги непременно верну в течение этого года.

Выхожу из четырехлетней беды с немалым уроном — «имение разорено и мужики разбежались». Так что приходится начинать сызнова. А за эти годы чертовски постарел и характер мой изменился к худшему — как видишь — стал даже просить денег, чего ранее не бывало.

Не сердись, мой дорогой, за эту перемену и за мою жалкую просьбу. Крепко обнимаю тебя.

Твой Мих. Зощенко.

2 июля 1950

Дорогой Костинька!

Сердечно благодарю тебя за присланные 500 рублей. Деньги эти весьма выручили меня — иначе пришлось бы идти под суд за то, что не платил за квартиру 3 месяца.

Позавчера получил новый номер журнала «Крокодил» с моим первым рассказом (№ 17).

Если редактор чего-либо не испугается и будет и впредь печатать меня, то я, пожалуй, выйду из «штопора».

Почти четыре года болтает меня в воздухе, и приходится удивляться, как до сих пор остался жив да еще чего-то пишу одеревенелой рукой.

Отнесись снисходительно к моим первым литературным шагам.

Однако (взирая на вашего директора «Советского писателя» Корнева) у меня нет полной уверенности в благополучном исходе моего дела. Директор этот весьма недвусмысленно сказал нашему секретарю ССП Дементьеву: «Не дам Зощенке новой работы по переводу до тех пор, пока у меня не будет письменного распоряжения об этом секретариата ССП».

Слова директора повергли меня в уныние, ибо все распоряжения обо мне отдавались по телефону. И новый письменный этап, несомненно, до крайности усложнит мои дела. Хорошо, если другие директора не дойдут до тех же понятий.

А кстати скажу, издательство «Советский писатель» как раз имело письменное распоряжение от Фадеева и от секретариата ССП (от сентября 49 г.), в котором говорилось, чтоб мне и М. Козакову* предоставляли бы систематическую работу. Правда, тогда Корнева не было, но постановление это имеется в издательстве.

Если случайно увидишь Чагина**, скажи ему об этом обстоятельстве. Но вообще, конечно, противно просить о работе у такого директора. Как-нибудь обойдусь без него! Итак, сердечно благодарю тебя, Костя.

Будь здоров. Обнимаю тебя.

Мих. Зощенко

* * *

Зощенко очень щедрый человек, из тех благотворителей, которые помогают именно тайно — как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. Правда, катастрофа, происшедшая с Зощенко, вряд ли позволила ему остаться таким же благотворителем. Это чаще всего грустный человек, часто повторяющий фразу Ницше о «жалкой жизни, жалких удовольствиях»... Вместе с тем он ценит ритуал, аккуратен, видит и любит маленькие предметы. Работоспособен. Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявлял ко мне любовь, интерес. Ему со мной, как и мне с ним, было хорошо. Между прочим, он умеет тачать сапоги и шить. У меня порвались штаны, и он великолепно исправил повреждение. По этому поводу, помню, я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенко обществе Фадееву:

— Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы — это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься, важное это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше.

*Ю. Олеша. Неопубликованные заметки.
(1949–1950)*

* Козаков Михаил Эммануилович (1897–1954), писатель, друг М. М. Зощенко.

** Чагин Петр Иванович (1898–1967), издательский деятель, в то время главный редактор «Советского писателя». К. А. Федин выполнил просьбу Зощенко (подробнее об этом см. письмо К. А. Фебина к М. Э. Козакову от 27.9.50 в Собр. соч. К. А. Фебина. Т. 11. С. 302).

М. М. Зощенко — Ю. Н. Либединскому*

Дорогой Юрий Николаевич!

Летом прошлого года издательство крайне торопило меня с переводом повести Цагараева («Повесть о колхозном плотнике Саго»). Я сдал свою работу в сентябре 51 года. <...> Я никак не могу выяснить, что с книгой и когда она намечена к выпуску. <...> Сейчас я нездоров, не могу работать, нужны деньги — а это связано с выходом книги. <...> Прошу у Вас ответа, а не у издательства, которое если и отвечает авторам, то лишь в самых крайних случаях.

Сердечно приветствую Вас.

М. Зощенко.
8.X 52 г.

М. М. Зощенко — К. А. Федину

4 февраля 1953

Дорогой Костя!

Сердечно благодарю тебя за письмоцо и за твои хлопоты. Однако Веру Владимировну я сильно побранил за то, что она потревожила тебя. Я знал (от Ивановых), что ты нездоров, и Дора больна, и что ты загружен предельно**. Так что у меня не хватило бы смелости тревожить тебя моими дрянными делами.

Но уж если ты сделал то, что Вера Владимировна просила, то я, конечно, очень благодарен тебе.

В этом году мне сильно не повезло. Стал писать книгу по материалу, который долго и кропотливо собирал. Книга — на положительную тему и с положительными персонажами. (Год назад — иначе было нельзя.) Проработал месяцев 8, и этим летом пришлось бросить работу. Изменилась литературная обстановка, да и работа не удовлетворяла меня, шла со скрипом.

* Либединский Юрий Николаевич (1898–1959), писатель. В то время Либединский переводил и издавал произведения осетинских авторов и, желая помочь М. М. Зощенко, привлек его к этой работе.

** Вера Владимировна Зощенко (1896–1981), жена М. М. Зощенко; Ивановы — Всеволод Вячеславович (1895–1963), писатель, его жена, Тамара Владимировна; Дора Сергеевна Федина (1895–1953), жена К. А. Федина.

Впрочем, первые 4 листа показал Твардовскому. Он отобрал для «Нового мира» всего лишь два рассказа (а это был цикл рассказов), а остальные похерил. И, в общем, правильно сделал, так как положительные герои мне не слишком-то удаются.

Для меня это была большая катастрофа — потерял много времени и остался без заработка. Для «Нового мира» надо было дослать еще (как он сказал) два-три рассказа. А уже здоровья не хватило.

Стал болеть и даже несколько захандрил. Сейчас немного лучше, но еще не совсем. Впрочем, работаю. Сейчас как раз поворот в литературе, весьма подходящий для моего умения. И если хватит сил, то, вероятно, кое-что сделаю.

Основная сложность, что живу не в Москве. Здесь, в Ленинграде, (для меня) нет работы, а переписываться с московскими редакциями крайне затруднительно. Любой фельетон или рассказ на долгие месяцы откладывается, либо вовсе отбрасывается, если требуются поправки. На месте все это решается легче и проще.

А ездить в Москву не так-то просто. Приходится признаться, что старость уже за плечами.

Ты извини, Костинька, — это все не нытье, а просто я тебе, так сказать, докладываю, как моему (все же) начальнику и другу о том, что у меня происходит. Хотелось бы, чтобы ты понял о причинах моей слабой активности в литературе.

Ведь, чтобы написать хотя бы небольшую книгу, нужен заработок, который у меня всегда был — эстрада, выступления, переиздания. Сейчас всего этого нет. И все эти годы мне пришлось заниматься подённой работой — переводами, правкой.

Написал было две комедии, но не приняли.

Сейчас я принялся за рассказы. И по твоему совету пошлю Суркову. А если хватит здоровья, то дошлю и Твардовскому.

В общем, работаю и рук не опустил. Уверен, что если не сейчас, то в скором времени сделаю что-нибудь порядочное.

Так что ты еще не маши на меня рукой. Однако учти, что любой человек, даже с большей силой, чем я, вряд ли бы поднялся на ноги в той обстановке, которая возникла вокруг меня. Редакции не слишком-то жаждут моего сотрудничества, заработка отсутствуют, здоровье посредственное, старость близка, новый литературный материал требует новых форм и сильного мастерства — вот все это в общей сумме и не позволяет мне дать то, что я, пожалуй, смог бы.

Но, повторяю, надежды и уверенности не потерял.

Еще раз благодарю тебя сердечно за твое внимание. Крепко тебя целую и от души желаю тебе благополучия. Как грустно, что Дора больна. Да и ты, говорят, очень похудел и даже куришь. Вот это ты напрасно делаешь — нельзя менять режим для легких.

Будь здоров, мой дорогой. Не сердись, что я тебе настрочил такое длинное письмо, и что тебе пришлось похлопотать за меня. Вот уже сколько лет ты занят делами других людей. А это, увы, противопоказано литератору!

Твой Мих. Зощенко

Кстати скажу — Литфонд напрасно так энергично требует с меня деньги. Эти 14 тысяч составлены из тех сумм, которые выдавали мне Секретариат ССП и Фадеев для того, чтобы я смог работать. Но только сейчас (для меня) возникла возможность работать. И надо бы годик или два обождать. Старость медлительна!

*Мих. Зощенко.
27 февраля 1953*

Дорогой Костя!

Сердечно благодарю за тысячу рублей. Не ответил тебе тотчас — был нездоров.

Сегодня послал Суркову рассказ (хороший, читал его писателям, с большим успехом).

Кажется, мне удалось нащупать некоторые новые соединения в прозе. В данном случае в сюжет органически вошла наука. Это удавалось в больших вещах — но в малых — нет.

Несколько рассказов, что я набросал, — оправдали мои надежды. Привычный буржуазный сюжет (деньги, любовь) уже будет для меня не обязателен.

Целую тебя, мой дорогой. И еще раз благодарю.

Мих. Зощенко

М. М. Зощенко — В. А. Лифшицу

Дорогой Володя!

Получил Ваше письмецо. Спасибо. <...>

Книгу (большую) я пока отложил. Начал ее не так, как надо бы. Начал с публицистики, а следовало бы с сатиры. Ну, тут всего не угадать было. Да и здоровье не позволяло быть на высоте.

Как-то Алехина спросили — почему он проиграл матч, а он ответил газетчикам: «Этот месяц у меня был неправильный режим питания». Так вот эти годы у меня был неправильный режим питания и вообще не совсем-то правильный режим. По этой причине не рассчитываю сейчас на крупные лит. удачи. Кое-какие рассказы, впрочем, делаю, но без большой уверенности. Рассчитываю летом передохнуть и тогда возьмусь за книгу.

Мих. Зощенко

Возвращение

...То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пес их знает, свирепые тираны... И все они, конечно, делали со своей публикой, чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах... Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще без зазрения совести поступали как хотели.

И от всех этих дел публика, наверно, нравственно ослабла... У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приноравливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арапство, подхалимство, приспособленчество и так далее, и тому подобное, и прочее.

М. Зощенко. Голубая книга

Оказавшись вне Союза писателей, Зощенко, как видно из его писем, вынужден был заниматься главным образом переводческой работой. В его переводе вышли книги Антти Тимонена «От Карелии до Карпат», М. Цагараева «Повесть о колхозном плотнике Саго» и две виртуозно переведенные повести финского писателя Майю Лассила — «За спичками» и «Воскресший из мертвых».

М. М. Зощенко — М. Э. Козакову

Большая часть тиража выпущена без фамилии переводчика и даже без указания, что это перевод с финского.

На малой части тиража указано: «Перевод с финского в литературной обработке М. М. Зощенко».

При переиздании допустимо поставить: «Перевод с финского М. Зощенко».

Это — записка от руки, приложенная к письму Зошенко к М. Э. Козакову от 21 июня 1953 года. В письме есть фраза: «Дела мои много лучше. И есть превеликие надежды на дальнейшее». Затем Зошенко спрашивает, как обстоят дела с переизданием «За спичками». Подписано письмо так: Мих. Зошенко (член ССП).

В автобиографии, написанной 5 июля 1953 года, Зошенко скупо сообщает:

«В июне 1953 года я вновь принят в ССП».

5 марта 1953 года умер Сталин.

Начинался новый период истории нашего общества, получивший впоследствии название — оттепель.

Казалось бы, в этих новых обстоятельствах процесс возвращения Зошенко в Союз писателей должен был протекать гладко и безболезненно. Но...

**Выписка из стенограммы заседания
Президиума ССП от 23/VI 1953 г.
о приеме в Союз**

т. СОФРОНОВ.

Прежде чем перейти к персональным делам, у нас имеется поступившее в Президиум и Секретариат ССП заявление М. М. Зошенко следующего содержания (зачитывается заявление) — о восстановлении его в Союзе писателей. Это заявление было получено Секретариатом, Секретариат слушал его и поручил товарищам Симонову, Грибачеву и Соболеву ознакомиться с новыми произведениями Зошенко и свои предложения представить Президиуму.

К этому прибавить можно немного. Можно только подтвердить, что за это время Зошенко сделал многое. Здесь есть более подробный перечень его произведений. Можно назвать и «крокодильские» его фельетоны, и рассказы, печатавшиеся за эти годы в различных изданиях.

Многие ленинградские писатели через Правление Ленинградского ССП всячески поддерживают заявление Зошенко. Я разговаривал по этому поводу с товарищем Чивилихиным — заместителем председателя Правления Ленинградского отделения, и он тоже высказался положительно.

т. ШАГИНЯН.

Я видела Зощенко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работающий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зощенко может быть решен нами единогласно.

т. СИМОНОВ.

Я был бы против того, чтобы восстанавливать Зощенко. Мы в свое время исключили его из Союза правильно, исключили за серьезные ошибки.

Я согласен с Мариеттой Сергеевной, что он правильно отнесся к критике, что он много и честно работал, что он создал после этого ряд вещей, которые позволяют его принять в Союз — не восстановить, а принять в Союз.

Я бы Зощенко принял в Союз на основании произведений, написанных им за эти годы, с 1946 по 1953, среди них и партизанские рассказы (это первое, что он опубликовал). Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции. Там есть и хорошие вещи — в этих рассказах. Его переводческая деятельность во многом просто блестяща. Это тот случай, когда я принял бы в члены Союза как переводчика за один перевод. Это блестящее художественное произведение.

Я предложил бы принять Зощенко в члены Союза как прозаика и переводчика.

Какие еще есть предложения?

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Если употребить выражение «восстановить», это значит отменить решение об исключении из Союза. Восстанавливают тогда, когда признают неправильным исключение, тогда восстанавливают.

Возьмем даже более серьезное дело: исключение из партии. Восстанавливают только в случае признания высшим органом неправильности исключения.

т. ШАГИНЯН.

Это, мне кажется, неверно.

т. СИМОНОВ.

Или когда человек был исключен на срок.

т. ШАГИНЯН.

ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зошенко, он дал постановление об определенных его вещах, он не опорочил все то, что Зошенко сделал до этих вещей. Дело идет не о простой формальности. Восстановить — это значит признать его стаж, это значит дать ему право на пенсию. Человек находится в страшно тяжелом психическом состоянии. Принять его в Союз как новичка — это значит делать его начинающим писателем. Кажется, это простая форма, а в ней есть глубокий смысл.

Давайте обратимся с нашим решением в ЦК, может быть, он санкционирует наше решение. Но ставить вопрос, что будто бы восстановление отменяет исключение, это неверно.

Был прецедент: Ахматову мы восстановили. Слабый, чуждый нам поэт.

т. СИМОНОВ.

Мы ее приняли или восстановили?

т. ШАГИНЯН.

А Зошенко, который сформировался при Советской власти, который ближе нам по существу, по внутренней позиции, которую он не менял все время, — его мы будем принимать, а не восстанавливать. Почему вы так отнеслись к Ахматовой?

т. СИМОНОВ.

Для объяснения своих позиций я хочу сказать, что я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановление, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Я не понимаю, почему так хлопочет Мариетта Сергеевна Шагинян, — на пенсию писателя это не влияет.

т. ГРИБАЧЕВ.

Пенсия — вещь персональная, а дается отнюдь не за выслугу лет.

т. ШАГИНЯН.

Все же партия не вычеркивает всей прежней его работы.

т. СОБОЛЕВ.

Мы его исключили из Союза. Прошел какой-то срок, он поработал, показал себя как человек не бесполезный, и мы считаем возможным, чтобы он был в нашей организации, не восстанавливая его, а вновь принимая на общих основаниях, как старого литератора.

т. СИМОНОВ.

Есть два предложения: предложение Мариетты Сергеевны Шагинян восстановить Зощенко в ССП и мое предложение — принять его в члены ССП. Я хотел бы, чтобы члены комиссии, назначенной Секретариатом, высказались по этому вопросу.

т. ГРИБАЧЕВ.

Была приведена серьезная мотивировка. Ведь если мы восстановим его, мы делаем вид, что Зощенко ничего не совершил, что все было ошибкой и Зощенко возвращается в Союз. Этого, по-моему, делать нельзя. А на пенсию это не влияет — это уже совсем другой вопрос.

т. СОБОЛЕВ.

Я также не понимаю, почему вы упираетесь в эту формулировку? Вы говорите, что для него это тяжело. Но если после известного случая и постановления ЦК мы приняли решение о том, чтобы расстаться с писателем, исключить его из наших рядов, то если мы сейчас будем говорить о восстановлении, то по логике русского языка это означает, что мы признаем свою ошибку по поводу исключения из Союза Зощенко и считаем это исключение ошибочным.

т. ШАГИНЯН.

А как же было с Ахматовой?

т. СОБОЛЕВ.

Была допущена ошибка, если она была «восстановлена», а не «принята». Если бы я присутствовал на этом заседании, я сказал бы так же.

Если вы говорите, что на него это подействует, — то тогда он просто не понял, что тогда произошло.

т. СИМОНОВ.

Для него было бы гораздо тяжелее, если бы мы не приняли его в Союз. Я прошу голосовать. Первое предложение Мариетты Сергеевны Шагинян о том, чтобы восстановить Зошенко в ССП. Кто за это предложение? (Один.) Кто за мое предложение — принять в члены Союза? (Единогласно.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять М. М. Зошенко в члены ССП.

Нина Павловна Гордон на протяжении 35 лет (1944–1979) была литературным секретарем К. М. Симонова. Она вела дневник, в котором отмечала все, что представлялось ей скольконибудь существенным в многообразной повседневной деятельности ее шефа. Фрагменты дневника Н. Гордон, из которых взята приводимая здесь запись, были опубликованы в журнале «Литературное обозрение» (*Н. Гордон. Разные дни Константина Симонова. Из дневниковых записей*) // Литературное обозрение. 1982. № 1. С. 102–112).

11 ноября 1976 г. Только что мне позвонил Виталий Яковлевич Виленкин, совершенно потрясенный письмом моего шефа к нему. Потрясен и самим фактом его написания, и прямотой и честностью написанного, и самой темой. <...> Виленкин попросил К. М. прочитать его рукопись об Анне Ахматовой...*

К. М. написал ему 13 страниц через один интервал. Очень интересно и об Ахматовой, и о Зошенко, и о стихах Ахматовой, и о ней самой. Это одно из тех редких человеческих писем, писем — документов эпохи, написанных сильно, а главное, правдиво и честно.

* Виленкин Виталий Яковлевич (1911–1997), театровед. «Рукопись об Анне Ахматовой» теперь опубликована. См.: *В. Я. Виленкин. Воспоминания с комментариями*. М., 1982, а также «В сто первом зеркале», М., 1987.

Это из тех случаев, когда я бываю особенно горда за своего шефа.

*К. М. Симонов — В. Я. Виленкину**

(13.XI.76)

...Моя разница в отношении к Зощенко и к Ахматовой объяснялась в то время различием моего восприятия их человеческого и писательского поведения в годы войны. Зощенко был для меня мужчиной, в прошлом боевым офицером, уехавшим на всю войну в эвакуацию и написавшим там напечатанную в «Октябре» повесть, которая, по моим тогдашним чувствам и настроениям, была мне поперек души. Вообще надо сказать, что мои тогдашние притяжения или отталкивания были связаны в литературе, и не только в литературе, с моими представлениями о том, как люди вели себя во время войны, остались ли они на всю блокаду в Ленинграде, как Тихонов, или уехали в Ташкент, как Зощенко.

Короче говоря, в тот момент, о котором я говорю, я был взволнован случившимся с Ахматовой и был довольно равнодушен к происшедшему с Зощенко. Правда, потом, через какое-то время, я сообразил задним числом, что одно дело я — человек молодой и здоровый, а другое дело — человек совсем другого возраста, под пятьдесят лет и, как я узнал о нем, далеко не здоровый. Почувствовав всю тяжесть положения, в которое попал Зощенко, я, став редактором «Нового мира», при первой представившейся мне возможности постарался помочь ему. Узнал, что у него есть партизанские рассказы, которые, по словам моих ленинградских друзей, можно было бы, наверное, судя по их содержанию, напечатать, я пригласил его приехать в Москву, отобрал большую часть этих рассказов и предложил опубликовать их в журнале. Это было в начале лета сорок седьмого года, и так вышло, что на вопросы, что из себя представляют эти рассказы и почему я предлагаю их напечатать, мне пришлось отвечать непосредственно Сталину. Он принял мои объяснения, и тем же летом рассказы эти были напечатаны в «Новом мире». Эта история немного уводит нас в сторону, но мне показалось необходимым написать Вам о ней, потому что одно без другого, наверное, было бы не до конца понятным.

* *Константин Симонов. Сегодня и давно. М.: Советский писатель, 1978. С. 337.*

Тема письма К. М. Симонова В. Я. Виленкину (отзыв на рукопись о творчестве Ахматовой) не требовала обращения к Зошенко. Но у Симонова, видимо, была потребность объяснить.

К этому объяснению можно относиться по-разному, но есть в нем одна небольшая, но существенная несообразность.

В предисловии к книге, которая в 1943 году пришла к Симонову «поперек души» (речь идет о повести «Перед восходом солнца»), сказано:

«Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичом был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда».

Таким образом. К. М. Симонов не мог не знать, что Зошенко не просто «уехал на всю войну в эвакуацию», что его вывезли из осажденного Ленинграда, когда кольцо блокады уже замкнулось.

«Насчет упреков в отъезде из Ленинграда,— пишет по этому поводу Д. Гранин,— много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над “Блокадной книгой”, нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября месяца 1941 года провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло... Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным... Вот и для обвинения Зошенко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в январе 1942 года, когда голодная смерть косила всю».

К. М. Симонов, таким образом, просто принял на веру версию Жданова и присоединился к ней.

«Второй тур»

Автор «Робинзона Крузо» за сатирическую статью был (1703 год) приговорен к тюремному заключению. Сутки он провел привязанный к позорному столбу на площади. Проходящие обязаны были в него плевать...

Воображаем его бешенство, когда в него плевали. Ой, я бы не знаю, что сделал!

М. Зощенко. Голубая книга

27 июля 1953. Был у меня Каверин. Он сообщил, что Зощенко принят в Союз писателей, что у него был редактор «Крокодила», просил у него рассказов и заявил, что покупает на корню всю продукцию. Какое счастье, что Зощенко остался жить, а ведь мог свободно умереть от удара — и даже от голода, т. к. было время, когда ему, честнейшему и талантливейшему из современных писателей, приходилось жить на 200 р. в месяц! Теперь уж этого больше не будет!

К. Чуковский. Дневник

К сожалению, оптимистический прогноз К. И. Чуковского не оправдался.

В мае 1954 года Ленинград посетила английская студенческая делегация. Студенты выразили желание, чтобы в программу их знакомства с достопримечательностями города была включена встреча с Зощенко и Ахматовой. И вот двух немолодых писателей (Ахматовой тогда было 66, а Зощенке 59 лет) сажают в машину и спешно везут на встречу с юными иностранцами, перед которыми они должны засвидетельствовать свою лояльность. (Когда А. А. Ахматова попыталась уклониться от этой чести, чиновная дама, говорившая с нею от имени Правления Ленинградской писательской организации, возразила: «Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили». Можно не сомневаться, что необходимость присутствия М. М. Зощенко была оговорена с такой же категоричностью.)

О происшедшем во время этой встречи инциденте известно из разных источников. В частности, из рассказа Ахматовой, записанного Л. К. Чуковской:

«За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидит

Саянов, так Зощенко, так Дымшиц, а так я. Еще переводчица, девка из ВОКСа — да, да, все честь честью... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они спрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? Долго ли это тянется? Чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Потом они спросили: изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 1946 годом? Отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили м-г Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 1946 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо... Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению м-те Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа — и речь г. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными».

Молчание. По рядам прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропшет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание... Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенко и не хлопали м-те Ахматовой?» «Ее ответ нам не понравился — или как-то иначе: нам неприятен»*.

Запись в дневнике Чуковской датирована 8 мая 1954 года. Встреча с английскими студентами происходила 5 мая, то есть тремя днями раньше. Таким образом, приведенная запись была сделана Чуковской по горячим следам события, еще до того, как оно успело обрасти легендой. Согласно легенде, Зощенко высказался о постановлении ЦК и речи Жданова гораздо резче. Одна из легендарных версий утверждала, будто в ответ на вопрос англичанина он раздраженно сказал: «Я русский дворянин и офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?» Как бы то ни было, этот инцидент имел для Зощенко трагические по-

* *Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. II. : (1952—1962). М.: Время, 2007. С. 99—100.*

следствия. За ним последовал «второй тур», вторая мощная волна травли.

В июне состоялось общее собрание писателей Ленинграда.

«Доклад и прения и все прочее было увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется, буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе...

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, “на руку классовому врагу”. Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало “классовой борьбой в открытой форме”.

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он» (*Даниил Гранин. Мимолетное явление // Огонек. 1988. № 6*).

На собрании Зощенко повторил то, что он говорил на встрече с английскими студентами. Сказал, что во многом ошибался, но с критикой всех своих работ, критикой, перечеркивающей всю его жизнь, не может согласиться.

«Зачем подчеркивать несогласие? — прошептал кто-то рядом. Не стоит», — свидетельствует Д. Гранин. Прошептал явно кто-то из сочувствующих Зощенко, «болеющих» за него.

Даже Ахматова считала, что на встрече с англичанами Зощенко поступил опрометчиво.

«— Михаил Михайлович — человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: “Сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился...” Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так.

Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, — он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологии. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым...» Дело, однако, было совсем не в том, что Зошенко «не догадался» ответить, «как следовало». Вероятнее всего, если бы он отвечал вторым, ответ его был бы точно таким же.

У Ахматовой в то время был в лагере заложник-сын (Л. Н. Гумилев). Отвечая, она не могла не думать и о нем, о его судьбе, на которой ответ мог отразиться. Она ответила на вопрос англичан «формально» (что, собственно, и требовалось) еще и потому, что относилась к происходящему как к балагану, а отчасти как к провокации. Помогло ей и раздраженно-неприятное отношение к английским студентам, которые не понимают, да и не способны понять, в каком капкане она и Зошенко оказались.

Выступая на собрании, которое так подробно описал Д. Гранин, Зошенко говорил:

«— На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю... Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?»

Об этом выступлении Зошенко ходило много легенд. Но теперь, благодаря Ю. В. Томашевскому, который разыскал стенограмму этой его речи и опубликовал ее в журнале «Дружба народов» (1988. № 3) мы совершенно точно знаем, что и как он тогда говорил.

Последние слова, которые он произнес, были такие:

«— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».

Произнеся эти слова, он сошел с трибуны и медленно спустился в зал.

Раздались аплодисменты.

Д. Гранин пишет в своих записках, что аплодировали два человека: одного из них он узнал, это был писатель Меттер.

Другие очевидцы свидетельствуют, что аплодирующих было по крайней мере четверо: И Меттер, Е. Шварц, В. Глинка и И. Кичанова-Лифшиц (жена художника В. В. Лебедева, впоследствии — жена поэта Вл. Лифшица).

Говорят, что Шварц даже аплодировал стоя*.

Речь Зощенко произвела на всех такое сильное впечатление, что его надо было как-то сбить. Надо было немедленно исправлять положение.

В президиуме забеспокоились, зашептались.

И тут, по свидетельству другого очевидца, встал К. М. Симонов. Грассируя, он сказал:

* Времена переменялись, и вдруг оказалось, что в этом зале (как и в том, где происходил «первый тур») было гораздо больше людей, сочувствовавших Зощенко. Даже из числа сидевших в президиумах.

Когда верстался этот номер, вышли в свет воспоминания П. Капицы (Нева. № 5). Будучи в 1946-м году ответственным редактором «Звезды», он присутствовал на том совещании у Сталина, о котором рассказывает Вс. Вишневский, а также сидел в президиуме того собрания, на котором выступал со своим докладом Жданов. Уважительно называя Жданова Андреем Александровичем и выражая полное свое согласие с общим смыслом Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», автор этих воспоминаний сообщает, что «резкость формулировок и несправедливость по отношению к Зощенко, Ахматовой и другим писателям» уже тогда его ошеломила.

В воспоминаниях П. Капицы много недостоверного и даже прямо неверного. Так, например, в 1954-м году Зощенко уже никто не исключал из Союза писателей, поэтому трогательная история о том, как лучшие друзья Михаила Михайловича — М. Козаков, А. Мариенгоф и Е. Шварц, проголосовав за его исключение, приходили потом перед ним каяться, совершенно невероятна. Тем более, что М. Э. Козаков за два года до этого переехал в Москву, где тяжело болел, а по версии П. Капицы вся сцена этого «покаяния» происходила в ленинградской квартире М. Козакова. Во многом не соответствует действительности и рассказ П. Капицы о похоронах Зощенко (см. письмо Л. Пантелева, с. 425—429).

Тем не менее свидетельство автора этих воспоминаний, как и другие свидетельства подобного рода, скажем, запись Д. А. Левоневского, опубликованная в «Известиях» 20 мая 1988 г., представляют несомненный интерес. Как любил говорить Ю. Н. Тынянов, для историка не существует фальшивых документов.

— Това' ищ Зощенко бьет на жа' ость...

И только после этого слово взял В. Кочетов и произнес все те казенные, железобетонные слова, которые приводит в своем очерке Д. Гранин.

*В. В. Зощенко — Л. Н. Тыняновой **

4/VII-55

...По-моему, все сейчас настолько скверно, как никогда еще не было...

«Октябрь» вернул М. М. рукопись с крайне вежливой телеграммой, извещающей, что, «к большому сожалению, рассказы для журнала не подошли...»

Это было для него таким страшным ударом, что я боюсь, ему от него не оправиться...

В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его наконец уморят, что он не рассчитывает пережить этот год...

Особенно потрясло М. М. сообщение ленинградского «начальства», что будто бы его вообще запретили печатать независимо от качества работы... По правде сказать, я отказываюсь в это поверить, но М. М. утверждает, что именно так ему было сказано в ленинградском Союзе. Он считает, что его лишают профессии, лишают возможности работать, а этого ему не пережить...

Выглядит он просто страшно, худой, изможденный, сердце сдает до того, что по утрам страшно опухают ноги, ходит еле-еле, медленно, с трудом...

Из Москвы передали через Прокофьева, что там ждут от М. М. какого-то письма в Союз с копией в ЦК...

О том, что написать нужно, М. М. и сам давно думал и не написал до сих пор, во-первых, потому, что вначале мешало ужасное физическое и моральное состояние, в котором он находился до поездки в Сочинский санаторий, во-вторых, после поездки, когда здоровье немножко подправилось, он решил, что должен ответить своей работой, и все силы, все нервы, весь мозг вложил в свою книгу, которую писал для «Октября»...

И вдруг— такой ужасный, неожиданный удар!..

* Лидия Николаевна Тынянова (1902–1984), писательница, жена В. А. Каверина, сестра Ю. Н. Тынянова.

А книга задумана очень сильная, нужная, полезная, и те рассказы, которые он написал, получили высокое одобрение у ряда понимающих людей из среды писателей, московских и ленинградских, кому он их читал.

Вообще все было бы совершенной катастрофой, если б не одно обстоятельство, за что должно принести глубокую благодарность дорогому Веньямину Александровичу — благодаря его хлопотам, М. М. получил наконец предложение от автора (забыл фамилию) на большой осетинский перевод.

К сожалению, дело затянулось с оформлением договора, т. к. директор издательства ушел в отпуск и, очевидно, раньше 20 июля нельзя ожидать денег...

Бедный М. М. напрягает все силы, делает героические усилия, чтобы вернуться в ряды писателей, как полноправный член, но все напрасно, все ненужно, все терпит крах...

Это ужасно. И ужаснее всего вся дикая несправедливость, нелепость выдвинутых против него обвинений и невозможность реабилитировать себя!

Так, видно, и придется погибнуть с клеймом «воинствующего проповедника безыдейности!»

Какая возмутительная нелепость!.. Остальные дела тоже не веселят, но все меркнет перед страхом за жизнь М. М. и перед огромной жалостью к нему, так жестоко и несправедливо обиженному. Загублена человеческая жизнь, загублен большой, своеобразный, редкий талант, и это просто трагично!..

17 июля 1955. Был у Каверина. Лидия Николаевна показала мне письмо от жены Зоценко. Письмо страшное. <...> Прочтя это письмо, я бросился в Союз к Поликарпову*. Поликарпов ушел в отпуск. Я к Василию Александровичу Смирнову, его заместителю. Он выразил большое сочувствие, обещал поговорить с Сурковым. Через два дня я позвонил ему: он говорил с Сурковым и сказал мне совсем неофициальным голосом: «Сурков часто обещает и не делает, я прослежу, чтобы он исполнил свое обещание». Вот мероприятия Союза, связанные с Зоценковским делом: позвонили Храпченко** и спросили его, почему он возвратил из редакции «Октябрь» де-

* Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905–1965) — в те годы секретарь СП СССР.

** Храпченко Михаил Борисович (1904–1986), главный редактор журнала «Октябрь» (1954–1957).

сять рассказов Зошенки, написали Михаилу Михайловичу письмо с просьбой прислать рассказы, забракованные Храпченкой, написали вообще ободрительное письмо Зошенко и т. д.

Я поговорил с Лидиным, членом Литфонда. Лидии попытается послать М. М-чу 5000 рублей. Я со своей стороны послал ему приглашение приехать в Переделкино погостить у меня и 500 рублей. Как он откликнется, не знаю*. <...>

Нет, Зошенко не приедет. Я получил от него письмо — гордое и трагическое: у него нет ни душевных, ни физических сил.

К. Чуковский. Дневник

*Л. К. Чуковская — К. И. Чуковскому***

Июль 1955

Дорогой Дед, третьего дня вечером я была у М. М. Зошенко. Разыскать его мне было трудно, так как он по большей части в Сестрорецке.

Наконец мы встретились.

Кажется, он похож на Гоголя перед смертью. А при этом умен, тонок, великолепен.

Получил телеграмму от Каверина (с сообщением, что его «загрузят работой») и через два дня ждет Вениамина Александровича к себе.

Говорит, что приедет — если приедет — осенью. А не теперь. Болен: целый месяц ничего не ел, не мог есть. Теперь учится есть. Тебя очень, очень благодарит. Обещает прислать новое издание книги «За спичками».

Худ страшно, вроде Жени. «Мне на все уже наплевать, но я должен сам зарабатывать деньги, не могу привыкнуть к этому унижению».

М. М. Зошенко — К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович!

Я получил Ваше письмо и деньги. Очень смущен этим и благодарю Вас.

* Дружеские отношения К. И. Чуковского и М. М. Зошенко сложились еще в 1920-е годы. Подробнее об этом см.: Зошенко в дневниках Чуковского // Знамя. 1987. № 6.

** Письмо вклеено в дневник Чуковского 1 августа 1955 года.

Дела мои и в самом деле сейчас нехороши.

Вот уже год, как журналы не печатают меня. Издательства отказывают даже в самой малой работе (переводы, правка рукописей — что я всегда выполнял в хорошем качестве).

Если добавить, что такому же азиатскому наказанию я подвергался в течение 5 лет (с 46 г. по 50), то картина получается неприглядная.

Главное, у меня преступлений-то нет, а есть (по-моему) естественное поведение человека, который возражает, когда его бранят. Но возможно, что я устарел и потерял способность ориентироваться на сложных путях нашей жизни. Выходит, что нехорошо долго жить! В молодые годы у меня не было таких проществий.

Зимой я полагал, что у меня, как и у всех порядочных людей, будет инфаркт, но, увы, этого не случилось. Однако здоровье мое все же весьма плохое. Меланхолии (как в молодости) нет, но по утрам встаю не без труда и с неохотой.

Из дома выхожу редко. По-стариковски сижу на бульваре. И нигде почти не бываю. Так что путешествие в Москву для меня сейчас задача невыполнимая. Очень, очень благодарен Вам за приглашение в Переделкино, но пока этого, даже и мысленно не могу себе представить. Видимо, я одичал, и на людях быть мне сейчас трудно.

Конечно, такое неподвижное состояние, надо полагать, у меня временное, но оно уже длится полгода. И мне иной раз даже из комнаты нелегко выйти.

Но все это нездоровье не от душевной слабости, а от некоторой безнадежности выйти из того глупого положения, в котором я пребываю уже 9 лет.

С литературой я бы охотно порвал и ушел бы куда-нибудь в рыболовецкий колхоз, но постарел для таких перемен. Буду рассчитывать на то, что любовь моя к литературе восторжествует, и я снова буду писать — хотя бы для себя.

Извините, дорогой Корней Иванович, что я засылаю Вам (до неприличия) грустное письмо. Не хотелось вовсе писать, но Ваше доброе отношение ко мне заставило меня подойти к столу.

Еще раз благодарю Вас.

*М. Зоценко.
14.VII.55*

К. И. Чуковский — М. М. Зощенко

(По штампу 19.7.55)

Дорогой Михаил Михайлович.

Я был в Союзе. Видел Василия Александровича Смирнова, который замещает уехавшего в отпуск Поликарпова. Вас. Алекс. искренне возмущен теми тяжелыми условиями, в которых протекает теперь Ваша работа. Он обещал принять все меры, чтобы облегчить эти условия. Очевидно, на днях Вы получите из Москвы (из Союза) соответствующие письма, запросы и т. д. Кроме того, Лидин, один из руководящих работников Литфонда, обещал мне послать Вам из Литфонда 5000 рублей.

Дача у меня уединенная. При желании Вы могли бы по неделям не встречаться ни с одним человеком (в том числе и со мной). Но если Вам не хочется двигаться с места, ничего не поделаешь. Но вот чего мне страстно хочется, — чтобы Вы не писали никаких писем в Союз Писателей — и выше — не показав их предварительно московским товарищам. Поэтому я хочу предварительно просить Вас: буде Вам захочется сочинить подобную бумагу, пришлите ее предварительно мне, дабы я мог показать ее Тихонову Н. С., Федину К. А. и другим Вашим друзьям, понимающим дело. Из разговора с руководителями литературы я вывел заключение, что в Москве отношение к Вам в настоящее время иное, чем в Питере.

Весь Ваш К. Чуковский

Последние годы

Эта книга, для ее достоверности и для поднятия авторитета автора, все же обязывает меня жить по крайней мере 70 лет. Я боюсь, что этого не случится. У меня порок сердца, плохие нервы и несколько неправильная работа психики. В течение многих лет в меня стреляли из ружей, пулеметов и пушек. Меня травил газом. Кормили овсом. И я позабыл то время, когда я лежал на траве, беспечно наблюдая за полетом птичек.

М. Зощенко. Возвращенная молодость

Его издавна увлекали теории, предлагавшие различные способы обретения душевного здоровья. Он смолоду мечтал о долголетию.

В августе 1933 года он закончил книгу «Возвращенная молодость». В ней эта проблема рассматривалась средствами не только художественными, но и, так сказать, научными. К повести был приложен особый раздел, озаглавленный «Комментарии и статьи к повести “Возвращенная молодость”». В этих «комментариях и статьях» Зоженко обращался к биографиям знаменитых людей, жизнь которых оборвалась слишком рано (таких, увы, оказалось большинство), а также к тем, кому удалось прожить долго, дожив до глубокой старости (таких, как выяснилось, тоже немало). Но из этих последних Зоженко обратил свой взгляд главным образом на тех, здоровье и долголетняя жизнь которых, по его мнению, были «организованы собственными руками».

С этой точки зрения его особенно интересовал Гёте:

«Гёте прожил до глубокой старости и до глубокой старости не потерял творческих способностей.

Этот великий человек был одним из очень немногих, который, прожив 82 года, не имел даже дряхлости.

“И когда он умер, — сообщает Эккерман, — и с него сняли платье, чтоб переодеть, оказалось, что его 82-летнее тело было юношески молодым, свежим и даже прекрасным”.

Да, правда, по нашему мнению, Гёте пошел на некоторый компромисс. Он... сделался блестящим придворным министром, выкинув всю двойственность, которая, несомненно, расшатывала его здоровье и его личность в молодые годы. Он сделался консерватором и “своим человеком” при герцогском дворе, чего, например, не мог сделать Пушкин...

Порядок и точность во всем были главные правила поведения Гёте.

“Вести беспорядочную жизнь доступно каждому”, — писал Гёте.

И, будучи министром, говорил:

“Лучше несправедливость, чем беспорядок”».

*М. Зоженко. Комментарии и статьи к повести
«Возвращенная молодость»*

«Лучше несправедливость, чем беспорядок» — это, пожалуй, даже отвратительнее, чем знаменитое молчалинское: «умеренность и аккуратность».

Но в тоне Зоженко нету и тени негодования, возмущения. Тон повествования самый объективный, даже сочувственный.

И оговорка насчет того, что Гёте «по нашему мнению пошел на некоторый компромисс», носит чисто формальный характер. Никакого сожаления по поводу того, что он пошел на этот компромисс, тут нет и в помине. Напротив: сожаление Зошенко высказывает по поводу того, что к такому компромиссу, увы, оказался неспособен Пушкин. Сумей он тоже «выкинуть всю двойственность, которая расшатывала его здоровье», так тоже небось прожил бы до 82-х лет, сохранив свое тело юношески молодым, свежим и даже прекрасным.

Но легко сказать — «выкинуть всю двойственность». А как это сделать?

Гёте поступал, например, таким образом:

«Признавая, что хотя бы отвращение к шуму есть не только физическое, но и психическое состояние, он стал преодолевать это отвращение несколько, казалось бы, странным, но несомненно верным путем. Он приходил в казармы, где бьют в барабан, и подолгу заставлял себя слушать этот шум. Иной раз он, будучи штатским человеком, шагал вместе с воинскими частями, заставляя себя маршировать под барабанный бой» (там же).

Предположим, что Пушкин мог бы добиться таких же блестящих результатов. Тем более что он, кажется, как раз не питал особого отвращения к военной музыке и барабанному бою. Скорее напротив:

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром...
и т. д.

Пушкина весь этот шум и гром не раздражал. Скорее он ему даже нравился. Так что отвращение к барабанному бою, даже если бы таковое и было ему свойственно, он преодолел бы сравнительно легко. Но мог ли он преодолеть свое отвращение к кургузому камер-юнкерскому мундиру, этому символу несвободы, символу его зависимого, полулакейского состояния? Мог ли он победить свою ненависть к рабству? Задушить в себе живое, непобедимое стремление к покою и воле?

Зошенко полагал, что мог:

«Есть такая замечательная фраза, сказанная Марком Авре-
лием: “Измени свое мнение о тех вещах, которые тебя огорчают,
и ты будешь в полной безопасности от них”».

Что это значит? Это значит, что любую вещь, любое обстоятельство мы можем оценить по своему усмотрению, и что нет какой-то абсолютной цены для каждой вещи» (там же).

Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают!..

Верил ли сам Зоценко в выполнимость этого совета? Трудно сказать... Одно несомненно: совет этот он адресовал не столько Пушкину, сколько самому себе. И столь же несомненно, что сам он воспользоваться этим мудрым советом не смог.

М. М. Зоценко — К. А. Федину

31 мая 1956

Костинька, у меня к тебе небольшое литературное дело, которое, надеюсь, тебя не затруднит.

Еще 2 года назад Ленинградский секретариат ССП рекомендовал издательству «Советский писатель» (ленинградское отделение) издать мой однотомник (или проще сказать — сборник моих старых и новых рассказов).

Издательство охотно согласилось на это. Однако без договора у меня не было возможности заняться этой книгой. И только теперь (зимой 1956 г.) я сделал такой сборник и сдал его издательству.

Редакция вполне одобрила книгу. И вот на днях директор и главный редактор издательства (Наумов) — выехал в Москву для утверждения редплана. Но перед этим мне издательство посоветовало написать кому-нибудь из руководителей Союза об этом деле — для того, чтобы директор издательства (в Москве) не выкинул бы из плана мою книгу, которая для него явится, быть может, неожиданной и страшноватой.

Вот по этой причине, Костинька, я и решил потревожить тебя. Ежели ты (и Секретариат) не против (в принципе) издать такой сборник, то очень желательно, чтобы кто-нибудь позвонил бы директору и сказал бы ему о законности этого дела.

Тем более что книга моя собрана с помощью издательства, и она несомненно сможет пройти самую строгую цензуру.

Появление такой книги было бы для меня весьма желательно — это прекратило бы всякие пересуды вокруг меня и, так сказать, ввело бы меня снова в лоно советской литературы. А то я который уж год хожу в каких-то преступниках и не предвижу, как выйти из такого положения, какое мне навязано не по заслугам.

Хорошая и правильная книга из старых и новых рассказов начисто разрешит этот вопрос и прекратит мое «уголовное» дело, в котором уже и позабыты мои сочинения.

Так вот, если ты, Костинька, согласен с моими соображениями, то я буду просить тебя позвонить директору издательства, чтобы он не пугался моей фамилии. Конечно, это в том случае, если руководство Союза разделяет мнение Ленинградского секретариата о желательности выпустить мою книгу.

Мне же лично кажется, что только таким литературным демаршем можно убраться тот скандал, в котором я и сейчас еще вязну.

А хотелось бы малый остаток жизни спокойно поработать.

Извини, мой дорогой Костинька, что я этим делом беспокою тебя. Я написал несколько слов В. Каверину, но он не в Секретариате. И я не уверен, что с ним посчитаются.

Да я и не стал бы поднимать все это дело, но мне почему-то думается, что такой выход необходим во всех отношениях.

Итак, прошу тебя позвонить директору издательства, согласовавшись с Секретариатом.

Твой (уже старый)

Мих. Зощенко

Извини еще раз, что беспокою тебя своими делами.

P.S. Теперь у меня другая (маленькая) квартира (в том же доме). Ежели когда-нибудь напишешь: Ленинград, канал Грибоедова, 9, кв. 119.

Целую тебя
Мих.

12 июля 1956 г.

Костинька, сердечно благодарю тебя за твое доброе письмецо и за твое «поручение», которое выполнил Ал. А. Сурков.

Госиздат и в самом деле подписал со мной договор на одномомник. Причем книгу выпустят еще в этом году (в декабре). Это, конечно, порадовало меня.

Без такой книги мне не хотелось возвращаться в литературу, и поэтому я перебивался переводами. Но теперь дело меняется. И ежели господь-бог даст мне здоровья, то я еще, быть может, снова «изумлю мир» какими-нибудь сочинениями.

Одномомник мой я складывал не без грусти. Я думал, что в юности я и в самом деле надебоширил. Ничего подобного! Добродетельные рассказы! И даже с педагогическим уклоном.

На днях сдаю книгу издательству. В общем, событие это большое в моей тусклой жизни. И я снова чувствую себя литератором — то, чего не было у меня 10 лет.

Еще раз благодарю тебя и обнимаю.

Твой М. Зоценко

М. М. Зоценко — В. Е. Ардову

17/VII.56

...Дела мои, Витенька, пошли в гору. Госиздат печатает мой однотомник — рассказы 20-х и 30-х годов (25 листов). Книга выйдет в этом году, до декабря — как обещает издательство. Так что я несколько разбогател — чего не было со мной лет пятнадцать.

Все остальные мои (литературные) дела тоже сейчас в порядке и сулят золотые горы.

К. И. Чуковский — М. М. Зоценко

28.12.56

Знаю, дорогой Михаил Михайлович, что Вы не любите никаких поздравлений, тостов, комплиментов и т. д. Я тоже их терпеть не могу. Но сейчас я прочитал Вашу книгу, и мне захотелось от всей моей стариковской души пожелать Вам счастливого, труженического гордого Нового Года. Крепко жму Вашу руку.

Ваш К. Чуковский

М. М. Зоценко — К. И. Чуковскому

Благодарю Вас, дорогой Корней Иванович, за Вашу милую открытку.

Как жаль, что Вы не написали мне — что хорошо и что плоховато в моей книге!

Сейчас передо мной верстка моего однотомника (для массового тиража Госиздата), и я в затруднении — надо вычеркнуть 10—12 рассказов, так как в сборнике на несколько листов больше, чем следует. И я не знаю, что убрать, чтобы не попортить сборника.

Ах, если бы у Вас нашлось минут десять для этого дела! Вы бы написали мне, что в моей книжке Вам было огорчительно или же неприятно видеть.

Как это помогло бы мне.

Ведь можно написать в 2-х словах — перечислить несколько названий, ежели книга у Вас под рукой.

Я на всякий случай задержу верстку на неделю.

Но, конечно, пусть это Вас ни к чему не обязывает, дорогой Корней Иванович. Я и без этого (как и всегда) буду Вас сердечно любить и почитать Ваш светлый разум.

Да и тени не будет неудовольствия. Но просто я подумал, что мне и в самом деле очень бы сейчас помогли Ваши самые краткие замечания.

Кстати скажу, что и в первый, и в массовый сборник (они по содержанию почти одинаковы, но во 2-ом сборнике на 8 листов больше) я не включал «дискуссионных произведений».

Хотелось сделать простенькую книжку.

Что, мне кажется, и удалось?

Но не буду задавать вопросов. Сейчас речь только идет о том, что надлежит вычеркнуть из сборника.

Очень порадуюсь, если получу вторую Вашу открыточку.

Ваш Мих. Зощенко

4 янв. 57 г.

К. И. Чуковский — М. М. Зощенко

Дорогой Михаил Михайлович!

О первом отделе и говорить нечего. Перечитывая «Няню», «Аристократку», «Нервных людей» и т. д., я хохотал до икоты. Главная их прелесть в том, что каждая новая фраза рождает новую волну смеха, даже независимо от развития сюжета. Все это вещи долговечные, сработанные раз и навсегда. «Рассказы для детей» — из того же гранита. «Рассказы о Ленине» тоже. Если где есть кое-какие возможности разгрузить книгу, они являются только в отделе «Повестей». И хотя «Черный принц» и «Шевченко» написаны с великим мастерством, очень прозрачно, классически четко, я могу представить себе другого большого писателя, который написал бы то же самое. В них гораздо меньше зощенковского, чем в других вещах этого сборника. Поэтому с ними легче расстаться, чем с какими-нибудь другими вещами.

И еще: все мы знаем, что Вы — патриот и подлинно советский писатель. Это не требует никаких доказательств. А составитель книги, стараясь во что бы то ни стало доказать сию аксиому, печатает и «Возмездие» и «Солдатские рассказы». Не слишком ли это густо? Вы не нуждаетесь в свидетельствах о благонадежности.

Из двух «Бань» не оставить ли одну, первую?

А в общем, — сборник отличный. Вращаясь среди молодежи (внуки и товарищи внуков), я вижу, каким он пользуется огромным успехом.

Крепко жму Вашу руку

Ваш К. Чуковский.

7 января 57 г.

Переделкино

М. М. Зоценко — В. Е. Ардову

...Вторая книга моя (избранные рассказы) выходит-таки в Госиздате, но выходит (опять) в малом тираже. Хотели печатать 150 тысяч, а дошли до 80. Стало быть, книги опять не появятся на прилавке.

Вообще-то мне наплевать, но денежно — огорчительно. Все еще не могу разбогатеть, чтобы заняться литературой, как прежде.

Книга выходит в конце апреля либо в начале мая. Верстка уже подписана. Но книга — тощая. Из 37 листов оставили 27. И тут — убыток.

Под конец жизни стал скуп. И кроме гонорара ничем не интересуюсь.

30/III 57

М. М. Зоценко — К. А. Федину

3 декабря 1957

Дорогой Костинька, спасибо за книгу. Читаю ее с великим интересом и с наслаждением. И вовсе не потому, что там имеются страницы обо мне.

Обо мне — иная речь. Читая твою статью, я не раз от изумления подсказывал на стуле — до того тонко и умно ты проанализировал многие мои «ситуации»*.

Вот — почти прожил я свою жизнь, а не знал, что ничто не укрылось от твоих глаз. В другой раз (ежели вторично буду жить) поведу себя в юности более осмотрительно.

* Речь идет о статье «Михаил Зоценко», которую Федин написал в 1943 году, а опубликовал впервые в книге «Писатель, искусство, время» (М, 1957. С. 171–181).

Но вот что смущает меня в твоей удивительной статье. В молодые годы мои, когда в душе было много гордыни, я и в самом деле обижался и «на Горбунова» и даже, пожалуй, «на Лескова». А теперь строго смотрю на литературу. Увидел в моих сочинениях множество самого непростительного сору. И отчасти по этой причине стало мне как-то неловко и совестно от твоей высокой похвалы. Поверь: говорю об этом не от ханжества, а по чистой справедливости.

И второе дело: беспокоюсь — не выпустили бы на тебя какого-нибудь доктора филологических наук, типа Ермилова, который совершенно уверен, что я-то и есть мещанин, а что он (со своей неумытой харей) уже протиснулся в первые ряды коммунистического общества.

Было бы огорчительно, если б кто-нибудь из таких задел бы тебя. Ну да бог милостив!

А в общем, благодарю тебя, мой старый друг, что ты захотел вырвать из плена мой почти погасший дух. В молодые годы, прочитав столь высокую похвалу, я бы тебе сказал: «Уж и не знаю, дружище, сумею ли я оправдать твои надежды!»

А нынче подвертываются на мой язык какие-то совсем иные слова. Что-то, понимаешь, вроде: «И новая печаль мне сжала грудь, мне стало жаль моих покинутых цепей...»

Да, за 15 лет я привык к моим веригам. Привык к мысли, что обойдусь без литературы. Ложась спать, я уже перестал думать о ней, как думал прежде — всякий вечер. Да и сейчас я не мыслю себя в этом прежнем качестве.

И вот теперь твоя статья ужасно, ужасно встревожила меня. Как? Неужели надо будет опять взвалить на свои плечи тот груз, от которого я чуть не сдох? А ради чего? И сам не знаю. Мне-то какое собачье дело до того — какое будет впредь человечество.

Много было во мне дурости. За что и наказан.

Что же теперь? Нет, я, конечно, понимаю, что формально почти ничто не изменится в моей жизни. Но в душе, вероятно, произойдут перемены. И вот я не знаю — хватит ли у меня сил отказаться от того, что так привлекало меня в юности и что теперь опять, быть может, станет возможностью.

А надо, чтобы хватило сил отказаться. Иначе не умру так спокойно, как я рассчитывал до этого чрезвычайного происшествия, какое ты вдруг учинил в моей жизни своей статьей обо мне.

Целую тебя, мой старый друг. И еще раз благодарю тебя за твое доброе сердце и за твой светлый разум.

Твой Мих. Зоценко

К. И. Чуковский — М. М. Зоценко

Дорогой Михаил Михайлович, я вчера был в Союзе и говорил с В. А. Смирновым по поводу Вашей персональной пенсии. Смирнов при мне связался по телефону с ЦК, прося ускорить это дело. Из его слов я понял, что и он, и тов. Поликарпов очень энергично настаивают на том, чтобы Вам была выдана не какая-нибудь, а именно Всесоюзная пенсия. Вообще говорили о Вас уважительно.

Статья Федина (в его последней книге) имеет большой резонанс. Книга разошлась здесь в один день.

Любящий Вас

*К. Чуковский.
29 янв. 1958*

М. М. Зоценко — К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович!

Сердечно благодарю за Ваше милое письмецо. И за то, что Вы побывали в Союзе, — узнали о моей пенсии.

С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия (думается мне) предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность.

Мне и самому не нравятся эти мысли. Ведь не так же плохо у меня было прежде. Вот в 56 году издан был мой однотомник, и я получил за него почти 70 тысяч. Да и до войны все время были деньги.

Это, вероятно, за последние 15 лет меня так застращали.

А писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации. Снова возьмусь за литературу, когда у меня будет на книжке не менее 100 тысяч.

Впрочем, прежнего рвения к литературе уже не чувствую. Старость! Позавидовал Вашей молодости и энергии.

Рецептура, впрочем, и у меня есть. Надо игнорировать старость. И тогда тело будет послушно выполнять предназначтанное. Пожалуй, не только старость, но и смерть зависит от собственного мужества.

Быть может (ради спортивного интереса) испробую эту рецептуру.

Сердечно приветствую Вас и еще раз благодарю

*Мих. Зоценко.
11 февраля 58 г.*

М. М. Зоценко — К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович, я слегка заболел, простудился. Боюсь выходить на улицу. Посылаю поэтому почтой эти мои 4 книжки.

Я начал было в них вычеркивать то, что мне не нравится. После бросил. Очень много не нравится.

Посылаю так как есть. Пушай переводчик сам разбирается. Только я думаю, что «просвещенная нация» вряд ли одобрит мою литературу. Очень уж это не в ихнем плане.

Всего хорошего, Корней Иванович.

*Ваш Зоценко.
[б/д]*

21 марта 1958. <...> Так как сейчас 90 лет со дня рождения Горького, в Литературном музее — вечер, устраиваемый Надеждой Алексеевной Пешковой*. Она пригласила меня выступить с воспоминаниями. По этому случаю я взял Тату** на Никитскую — к Пешковым. <...> Самое интересное, что услышал я там, было приглашение на горьковский вечер — Зоценко. Самый помпезный вечер состоится в зале Чайковского — 3 апреля. Вот на этот-то вечер и решено пригласить М. М. Чуть только Надежда Алексеевна узнала об этом, она позвонила ему и попросила его приехать раньше и остановиться у них на Никитской. Это могло бы быть для М. М. новым стимулом к жизни.

* Надежда Алексеевна Пешкова (1901–1970), невестка М. Горького.

** Наталья Николаевна Костюкова (род. 1925), старшая внучка К. И. Чуковского.

Сейчас он очень подавлен из-за того, что ему не выдают всесоюзной пенсии.

30-е марта. Вчера вечером в доме, где жил Горький на Никитской собралась вся знать. Были Кукрыниксы, летчик Чухновский, летчик Громов, Юрий Шапорин, Козловский, проф. Сперанский, Мих. Слонимский, министр культуры Михайлов, Микола Бажан, Людмила Толстая, горьковед Б. Бялик, дочь Шалапина, Капицы (академик с супругой), Анисимов — и Зоценко, ради которого я и приехал.

В столовой накрыты три длинных стола и (поперек) два коротких, и за ними в хороших одеждах, сытые, веселые лауреаты, с женами, с дочерьми, сливки московской знати, и среди них — он — с потухшими глазами, со страдальческим выражением лица, отрезанный от всего мира, растоптанный.

Ни одной прежней черты. Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой и женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы. Помню его вместе с двумя другими юмористами: Женей Шварцем и Юрием Тыняновым в Доме искусств, среди молодежи, когда стены дрожали от хохота, когда Зоценко был недостижимым мастером сатиры и юмора, — и все глаза зажигались улыбками всюду, где он появлялся.

Теперь это труп, заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягуче, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину — через минуту такого разговора вам становится жутко, хочется бежать, заткнув уши. Он записал мне в «Чукоккалу» печальные строки:

И гений мой поблек, как лист осенний,—
В фантазии уж прежних крыльев нет.

Слово «прежних» он написал через Е. Я сказал ему:

Как я помню ваши Е.

Да, было время: шутил и выделывал штучки. Но, Корней Иванович, теперь я пишу еще злее, чем прежде. О, как я пишу теперь!

И я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Екатерина Павловна* посадила меня рядом с собою —

* Екатерина Павловна Пешкова (1876–1965), первая жена М. Горького.

почетное место; я выхлопотал, чтобы по другую сторону сел Зошенко. Он стал долго объяснять Екатерине Павловне значение Горького, цитируя письмо Чехова — «а ведь Чехов был честнейший человек» — и два раза привел одну и ту же цитату — и мешал Екатерине Павловне есть, повторяя свои тривиальности. Я указал ему издали Ирину Шаляпину. Он через несколько минут обратился к жене Капицы, вообразив, что это и есть Ирина Шаляпина. Я указал ему его ошибку. Он сейчас же стал объяснять жене Капицы, что она не Ирина Шаляпина. Между тем предположено 3-го марта (апреля. — Б. С. и Е. Ч.) его выступление на вечере Горького. С чем же он выступит там? Ведь если он начнет канителить такие банальности, он только пуще повредит себе — и это ускорит его гибель. Я спросил его, что он будет читать. Он сказал: «Ох, не знаю». Потом через несколько минут: «*Лучше мне ничего не читать: ведь я заклеянный, отверженный*».

Мне кажется, что лучше всего было бы, если бы он прочитал письма Горького и описал бы наружность Горького, его повадки — то есть действовал бы как мемуарист, а не как оценщик.

Все это я сказал ему — и выразил готовность помочь ему. Он записал мой телефон. <...>

Зошенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь и этот потухший взгляд!

Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев — все раздавлены одним и тем же сапогом.

1 апреля. Мне 76 лет...* Снился мне Зошенко. Я пригласил его к себе, пошлю за ним машину. Он остановился у Владимира Александровича Лифшица, милого поэта. Я не знаю нового адреса Вл. Ал. — мне хочется, чтобы Зошенко был у меня возможно раньше, чтобы выяснить, можно ли ему выступить 3-го на Горьковском вечере или его выступление причинит ему много бед. Я условился с В. А. Кавериним, что он (Каверин) придет ко мне, и мы, так сказать, проэкзаменуем Зошенку — и решим, что ему делать. <...>

Гости: Каверины, Фрида, Тэсс, Наташа Тренева, Лида, Люша, Ника, Сергей Николаевич (шофер), Людмила Толстая, Надежда Пешкова, Левин, Гидаши, Зошенко, Маргарита Алигер.

* 1 апреля — день рождения К. И. Чуковского.

Я был не в ударе, такое тяжелое впечатление произвел на меня Зоценко. Конечно, ему не следует выступать на горьковском вечере: он может испортить весь короткий остаток своей жизни. Когда нечего было делать, я предложил, чтобы каждый рассказал что-нибудь из своей биографии. Зоценко сказал:

Из моего повествования вы увидите, что мой мнимый разлад с государством и обществом начался раньше, чем вы думали — и что обвинявшие меня в этом были так же далеки от истины, как и теперь. Это было в 1935 году. Был у меня роман с одной женщиной — и нужно было вести дело осторожно, т. к. у нее были и муж, и любовник. Условились мы с нею так: она будет в Одессе, я в Сухуми. О том, где мы встретимся, было условлено так: я заеду в Ялту и там на почте будет меня ждать письмо до востребования с указанием места свидания. Чтобы проверить почтовых работников Ялты, я послал в Ялту «до востребования» письмо себе самому: вложил в конверт клочок газеты и надписал на конверте: М. М. Зоценко. Приезжаю в Ялту: письма от нее нет, а мое мне выдали с какой-то заминкой. Прошло 11 лет. Ухаживаю я за другой дамой. Мы сидим с ней на диване — позвонил телефон. Директор Зеленого театра приглашает — нет, даже умоляет меня выступить — собралось больше 20 000 зрителей. Я отказываюсь — не хочу расставаться с дамой.

Она говорит:

Почему ты отказываешься от славы? Ведь слава тебе милее всего.

Откуда ты знаешь?

Как же. Ведь ты сам себе пишешь письма. Однажды написал в Ялту, чтобы вся Ялта узнала, что знаменитый Зоценко удостоил ее посещением.

Я был изумлен. Она продолжала:

Сунул в конверт газетный клочок, но на конверте вывел крупными буквами свое имя.

Откуда ты знаешь?

А мой муж был работником ГПУ, и это твое письмо надделало ему много хлопот. Письмо это было перлюстрировано, с него сняли фотографию, долго изучали текст газеты... и т. д.

Таким образом, вы видите, *господа*, что власть стала преследовать меня еще раньше, чем это было объявлено официально, — закончил Зоценко свою новеллу...

К. Чуковский*

* Корней Чуковский. Собр. соч.: В 15 т. Т. 13: Дневник (1936–1969). М., 2007. С. 256–260.

Существует несколько других версий этого устного рассказа Зошенко. Приводим вариант концовки рассказа, записанный писателем Кириллом Косцинским:

И вот в руки НКВД попало мое письмо, то самое, которое я отправил самому себе. Его вскрыли, извлекли обрывок газеты и принялись его изучать. Они пытались обнаружить симпатические чернила, они рассматривали этот обрывок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, они разглядывали его с помощью лупы в надежде найти какие-то надколотые буквы, с помощью которых кто-то пытался передать мне какое-то сообщение. Конечно, они ничего не нашли и терялись в невероятных догадках.

И тут муж моей дамы еще раз взглянул на конверт, узнал, наконец, мой почерк и сразу понял, в чем дело: Зошенко приехал в Ялту и, обнаружив, что местные газеты ни словом не обмолвились об этом событии, решил написать письмо самому себе с тем, чтобы почтовая барышня, прочитав имя адресата, оповестила бы о его приезде всех его ялтинских поклонниц и поклонников.

Трудно было придумать что-либо глупее!

И вот в то время, когда имя Жданова вряд ли было кому-либо известно, за много-много лет до всех тех несчастий, которые произошли со мною и лишили меня возможности работать в литературе, это фантастическое, непостижимое внимание ко мне со стороны НКВД вдруг открыло мне глаза: я понял, что нахожусь в неразрешимом конфликте с обществом, в котором живу.

Эпилог

Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях...

Он только рукою махнул.

— Мои сочинения? — сказал он медлительным и ровным своим голосом. — Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения...

К. И. Чуковский. «Зошенко»

Сегодня книги Зошенко выходят огромными тиражами. Вышло даже трехтомное собрание сочинений (правда, не вобравшее и половины им написанного).

Но вот уже сейчас, в наши дни, один критик предложил одному уважаемому толстому журналу написать статью о Зощенко, приурочив ее публикацию как раз к выходу этого самого трехтомного собрания сочинений.

Когда сотрудница журнала поделилась этой идеей с главным редактором, тот задумчиво сказал:

— Что ж, пусть напишет... Хотя, между нами говоря, этот ваш Зощенко писатель-то сла-абенький...

Л. Пантелеев — Л. Чуковской

Разлив 6.VIII—58

...Вы просите меня написать о последних днях Михаила Михайловича. Ничего не знаю, давно не видел его, перед отъездом на дачу собирался заехать, навестить — и не собрался.

О его смерти я узнал из коротенького объявления в «Ленинградской Правде». Я все еще болен был, лежал, но упросил Элико* взять меня на похороны. Между прочим, мы боялись, что его уже похоронили. Как и следовало ожидать, телефон Союза Писателей не откликнулся. Элико позвонила Л. Н. Рахманову и выяснила, что панихида и вынос — в Союзе, в 12 ч. Чудом поймали на шоссе такси и вовремя прибыли на ул. Воинова.

Народу было много, но, конечно, гораздо меньше, чем ожидали некоторые. Власти прислали наряд милиционеров, однако у П. Капицы, ответственного за все это «мероприятие», хватило ума и такта удалить их.

Эксцессов не было. И читателей почти не было. На такие события отзывается обычно молодежь, а молодежь Зощенко не знала. Все-таки ведь 12 лет подряд школьникам на уроках литературы внушали, что Зощенко это — где-то рядом с Мережковским и Гиппиус. И в библиотеках его много лет не было.

И все-таки наше союзное начальство дрейфило.

Гражданскую панихиду провели на рысях.

Заикаясь и волнуясь, с отвратительной оглядкой, боясь сказать лишнее или недостаточно сказать в осуждение покойного, выступил Прокофьев. О Зощенко он говорил так, как мог бы сказать о И. Заводчикове или М. Марьенкове**.

* Элико Семеновна Пантелеева (1914–1983), жена Л. Пантелеева.

** Заурядные ленинградские писатели-лапповцы 1920–30-х годов.

Выступил Б. Лихарев. Позже жена его призналась Элико, что все утро он так волновался, что поминутно пил валерьянку и глотал какие-то таблетки.

Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

До свиданья, тов. Зощенко.

И вдруг —

Слово предоставляется Леониду Ильичу Борисову.

Это малоприятный человек. Многие отзываются о нем дурно в высшей степени. Выступает он всегда с актерским наигрышем. И здесь, у гроба М. М. Зощенко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил «до боли» губу, потом минуты две щелкал (буквально) зубами, как бы не в силах справиться с волнением, — мне вспомнилось, как смешно и похоже изображал Борисова Е. Л. Шварц. Точно так же, не в силах справиться с волнением, щелкал Борисов зубами, выступая на траурном митинге, посвященном Сталину. Тогда он, говорят, еще и воду пил.

Но на этот раз он сказал (из каких побуждений — не знаю) то, что кто-то должен был сказать.

Начал он свое слово так:

— У гроба не лгут. У всех народов, во всех странах и во все времена у верующих и у неверующих был и сохранился обычай — просить прощения у гроба почившего. Мы знаем, что М. М. Зощенко был человек великодушный. Поэтому, я думаю, он простит многим из нас наши прегрешения перед ним вольные и невольные, а их, этих прегрешений, скопилось немало.

Сказал он и о том месте, какое занимает Зощенко в нашей литературе, о патриотизме его, о больших заслугах его перед Родиной и народом.

Одно место в этой речи показалось (и не мне одному) странным. Он сказал, что Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он — не изменил. Сразу же после Борисова слово опять взял Прокофьев:

— Товарищи! У гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии. Но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борисову...

И не успел Прокофьев стусеваться — визгливый голос Борисова:

— Прошу слова для реплики.

Борисов оправдывается, растолковывает, что он хотел сказать.

Прокофьев подает реплику с места.

В толпе, окружившей гроб, женские голоса, возмущенные выкрики...

В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами, за дверью, на площадке лестницы четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика идет перепалка.

Вдова М. М., подняв над гробом голову, тоже встречается в эту, «так сказать», дискуссию:

— Разрешите и мне два слова.

И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

— Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суетятся, мечутся в толпе перепуганные организаторы этого мероприятия.

А Зоценко спокойно лежит в цветах. Лицо его — при жизни темное, смуглое, как у факира, — сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зоценковская улыбка-усмешка.

Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы «зачитать телеграммы», Капица предлагает родственникам проститься с покойным.

Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо М. М. и приложиться к его холодному лбу.

И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки — над гробом выступил-таки читатель. Почти никто не слышал его. Я стоял рядом и кое-что расслышал.

Пожилой еврей. Вероятно, накануне вечером и ночью готовил он свою речь, думая, что произнесет ее громко, перед лицом огромного скопища людей. А говорить ему пришлось — почти наедине с тем, к кому обращены были его слова!

— Дорогой М. М. С юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить... Примите же мой низкий поклон и самую горячую, сердечную благодарность.

Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона Ваших читателей.

Тут же, в этой шумной суете, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал:

— 50 лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились.

Хоронили Михаила Михайловича — в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских Мостках — не разрешили.

Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:

— Вы, по-видимому, осуждаете меня, А. И. Напрасно. Ей-богу. М. М. был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.

И этой растленной личности поручили «открыть траурный митинг» — у могилы. Сказал он нечто в этом же духе — о том, какой веселый человек был Зощенко, как он любил женщин, цветы и т. д.

Следующим выступил с большой речью — Н. Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зощенко был интересный, своеобразный писатель. Осмелев, Н. Ф. сообщил даже, что ему «посчастливилось работать с М. М.». Все решили, что Зощенко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот, — Григорьев, будучи редактором «Костра», редактировал рассказ Зощенко.

— Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать.

Стиль был выдержан до конца.

По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят М. М. в Сестрорецке — по просьбе родственников.

На кладбище приехало много народа, пожалуй, больше, чем на панихиду. Из москвичей я узнал Д. Д. Шостаковича, Ю. Нагибина.

Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Конюшенную церковь, вагон для устриц и пр.

Но на кладбище хорошо: дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета — солнечный, жаркий, почти знойный.

Вы пишете: «Какая это потеря для нашей литературы!» Зоценко был потерян для нашей литературы 12 лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48 году он сказал Жене Шварцу:

«Хорошо, что это случилось сейчас, когда мне уже исполнилось 50 лет, и я сделал почти все, что мог сделать».

И все-таки очень горько было — и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича.

В. В. Зоценко — К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович! Позвольте горячо поблагодарить Вас за Ваши добрые слова о моем дорогом Михаиле Михайловиче, а также и за Ваши заботы о нем в эти трудные для него годы, о них он мне неоднократно рассказывал. Доброе отношение старых друзей было для него всегда большой поддержкой и утешением.

К несчастью, не удалось ему ни одного месяца после 46 года вздохнуть, пожить спокойно — последнюю зиму его страшно мучил вопрос с пенсией, который разрешился лишь в самом конце июня. И вот, едва оправившись от первой весенней болезни, он, несмотря на мои просьбы поручить это делу сыну, поехал в Ленинград за получением пенсионной книжки и пенсии, которую и получил первый и последний раз в жизни. Вернулся он в Сестрорецк смертельно больной... И сколько мыслей, сколько невоплощенных замыслов исчезло вместе с ним! <...> Союз обещал позаботиться о могиле — поставить ограду, памятник... не знаю, осуществится ли это на деле, если нет, надо будет при первой возможности сделать это за свой счет...

Но все это — неважно.

Важно и страшно лишь то, что его нет, что он никогда не вернется...

2.X.58

В. Е. Ардов — В. В. Зоценко

...Он был сатирик божьей милостью. Ненависть по отношению к злу сочеталась в нем с удивительной добротой, любовью к людям. А этого даже в лучшие годы его жизни никто не отмечал. Между тем без такой доброты всякая сатира мертва.

Да, у Михаила Михайловича живы и будут жить бесконечно его короткие новеллы, исполненные большой человеческой мудростью. И мудрость эту тоже проглядели наши критики. Откуда она взялась — мудрость? Вот от сочетания доброты, ума и таланта. Зошенко все знал о людях и о жизни. Его не сбивали с толку ни обыденные воззрения мелких людишек, ни проходящие «кампании» — шумные и кратковременные, словно мотыльки...

Интересно, что рассказы Зошенко обладают глубиной, точно соответствующей глубине данного читателя. Для глупого человека в них достаточно элементов прямого комизма — смешных действий и слов, положений и гипербол. Для человека потолковее в этих же рассказах сквозит удивительное знание быта и нравов, лексики и поведенческих особенностей современного мещанина. А тот, кто способен посмотреть еще глубже, увидит грустную улыбку доброго философа. Сочетание таких различных свойств есть явление редчайшее в мировой литературе. <...>

Последний год жизни Михаила Михайловича был очень страшным. Я редко видел его, но было ясно, что он уходит от нас, уходит быстро и непоправимо. Система мелких уколов и мелких подлостей <...> травмировала его чуть не ежедневно. Ему не давали забыть, что с ним произошло. И даже у открытого гроба трусливый перестраховщик А. Прокофьев позволял себе какие-то реплики, свидетельствующие о том, что он и мертвого Зошенко боится, как человека, из-за которого могут возникнуть царапины на его карьере литературного чиновника. Это срам!..

21.X.58.

...Могила Зошенко. Пески, дюны. Двое, — типа молодых рабочих или студентов так же как и мы искали могилу. Вспомнила Зошенко каким его знала, — красивым, немного жестоко-мужским. Палку с набалдашником, что мне не понравилось, воротник соболий, господинский. <...> Едем в Сестрорецк к Вере, жене Зошенко. Дачка — требующая незамедлительного ремонта. Серая, цвета осинового гнезда. Но на запущенной клумбе бледно-розовые розы: «Как бы Миша удивился — «что это ты тут развела!»... Дачка из клетушек. Обои, поблекшие, с веночками, железная кровать на мансарде, под грубым одеялом, солдат-

ского типа. «Он все в окно поглядывал. Последнее время отсюда не сходил». «Ел одно яйцо по утрам». «Умер, потому что не хотел жить».

Валерия Герасимова. Дневник*

Л. Пантелеев — Л. Чуковской

Разлив, 7.VIII.59 г.

...22-го июля, в годовщину смерти М. М. Зошенко мы ездили на кладбище: Александра Ивановна, Элико, я, Маша** и 7-летний мальчик, гостящий у Александры Ивановны.

С горечью вспоминается мне эта прогулка.

Я почему-то считал, что на могиле в этот день будет много народа, и не знал, как поступить с ребятами, — не будут ли они шуметь, прилично ли это, не оставят ли их где-нибудь в отдалении. Напрасны были мои опасения.

Могилу мы отыскивали с трудом. Впрочем, это никакая даже не могила. Как в прошлом году засыпали яму и свалили на нее цветы и венки, так все и лежит нетронутым в течение года. Не только памятника, надгробной плиты или простой дощечки с именем покойного нет — даже холмика могильного нет. Пройдет год, и не найти будет могилы, сгниют венки и ленты, смоят их дожди, заметет песок...

В. В. Зошенко — К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович... хочу попросить Вашего совета вот в каком деле: приближается (10/8-65) семидесятилетие Михаила Михайловича... Все последние годы жизни его особенно мучила одна мысль — он постоянно говорил — «Всех реабилитируют, меня одного не могут реабилитировать». И так он ждал, так хотел этой «реабилитации»! И не дождался!

И до сих пор ее нет!

До сих пор имя Зошенко остается в тени, замалчивается, и молодой читатель в массе не знаком с его литературой...

А для Михаила Михайловича «самое главное» в жизни была — его литература. Была всегда.

* Герасимова Валерия Анатольевна (1903—1970), писательница.

** Александра Ивановна — сестра, Маша — дочь А. И. Пантелеева.

Помню конец 18 года... Михаил приехал с фронта гражданской войны... Пришел ко мне... Он очень любил меня тогда... Пришел первый раз в валенках, в коротенькой куртке, перешитой собственноручно из офицерской шинели...

Топилась печка, он стоял, прислонившись к ней, и я спросила:

— Что для Вас самое главное в жизни?

Я, конечно, рассчитывала, что он ответит: «Конечно, Вы!» Но он сказал: «Конечно, МОЯ ЛИТЕРАТУРА!»

Это было в декабре 1918 года.

И так было ВСЮ ЖИЗНЬ!

И вот теперь дело всей его жизни, его ЛИТЕРАТУРА понемногу забывается...

И я с болью за него отмечаю это...

Зимой я перечла сохранившиеся в архиве письма читателей... Письма колхозников, рабочих, детей, «рядовых читателей», «высокой интеллигенции», письма с фронта...

О чем они говорят?

Они говорят о том, за что любили и ценили Зошенко его читатели, за что были они ему благодарны...

Они говорят, что «искусство Зошенко было ПОНЯТНО НАРОДУ И ЛЮБИМО ИМ».

И они говорят за то, что нужно ВЕРНУТЬ НАРОДУ ЗОЩЕНКО, вернуть его доброе, незапятнанное имя!..

М

МОСКВА,
28 апреля 2011 года

*Церемония вручения Литературной премии
Александра Солженицына 2011 года
и приём по этому случаю состоялись
28 апреля в московском Доме Русского Зарубежья.*

*Слово от имени Жюри,
присудившего данную Премию
Елене Чуковской,
произнесли
Людмила Ивановна Сараскина,
Павел Валерьевич Басинский
и
Евгения Викторовна Иванова.*

*С ответным литературным словом на церемонии
выступила
Елена Цезаревна Чуковская.*

Л. И. Сараскина

**Выступление на церемонии вручения
Литературной премии Александра
Солженицына**



важаемые гости! Дорогие друзья!

Литературная премия Александра Солженицына 2011 года присуждена Елене Цезаревне Чуковской за подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских; за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории.

Должна сказать, что Жюри проголосовало за присуждение премии Елене Цезаревне Чуковской солидарно и радостно, и моя задача обосновать это решение.

У поэта Владимира Корнилова есть стихотворение, посвященное второй жене Достоевского Анне Григорьевне Сниткиной, верной подруге и помощнице писателя. Вот его начало:

Нравными, вздорными, прыткими
Были они испокон.
Анна Григорьевна Сниткина
Горлица — среди ворон.

Кротость — взамен своенравия,
Ангел — никак не жена.
Словно сама Стенография,
Вся под диктовку жила.

Смирная в славе и в горести,
Ровно, убого светя,
Сниткина Анна Григорьевна
Как при иконе — свеча.

Последняя строфа стихотворения звучит так:

Этой отваги и верности
Не привилось ремесло.
Больше российской словесности
Так никогда не везло.

Когда я думаю о Елене Цезаревне, мне хочется радикально переделать эту строфу. У меня получается фраза прозаическая, но зато документально точная: этой отваги и верности *не привелось* ремесло; им прекрасно овладели и другие женщины, причастные литературе; российской же словесности капитально повезло в случае Елены Цезаревны, которая явила собой уникальный пример: будучи внучкой и дочерью, взять на себе труд, который длится вот уже почти полвека, по сохранению и изданию наследия деда и матери. Владимир Корнилов и Елена Цезаревна были знакомы и дружили с 60-х годов; и я не сомневаюсь, что поэт лучше кого бы то ни было смог бы оценить феномен верности и отваги Е. Ц. Чуковской. Однако пока феномен Елены Цезаревны не описан в литературе.

Он, этот феномен Е. Ц. Чуковской — архивиста, публикатора, комментатора, автора статей, составителя сборников, мемуаристики, бойца за музей деда — заключается еще и в том, что с молодости живя в семье, которая была центром культурной и литературной жизни, она отворачивалась, отторгалась от литературы. Елена Цезаревна окончила школу с золотой медалью и могла идти в любую профессию, в любом направлении. Однако литературное поприще ее совершенно не привлекало, скорее отталкивало. «От литературы одни неприятности», — полагала 18-летняя Люша, когда сразу после школы поступила в Московский университет на химический факультет. «Я исходила из соображений полезности», — говорила себе она; позволю заметить, что цель быть полезной станет ее жизненным кредо, но пользу она сможет приносить не только в сфере своей профессии, которую уважала и которой отдала 34 года, а вместе с учебой в университете 39 лет. Ведь химию она понимала как медицину, как лекарства, как прямой выход в народное хозяйство, где так нужны толковые люди. В 1962-м Елена Цезаревна защитила кандидатскую диссертацию — и эту часть своей жизни она вспоминает с чувством благодарности.

Не змея литературного честолюбия и не желание литературной славы призвали Елену Цезаревну в литературу. Не желание возвращаться в круг известных и прославленных людей. «Интересно было делать, а не фигурировать», — говорит сегодня о времени 60-х годов Елена Цезаревна. Именно тогда появилось дело, к которому ее призвала судьба. Литература вдвинулась в ее жизнь как вызов 911, сигнал из службы спасения. Литература и тесно связанная с ней общественная жизнь затянули талантливого и увлеченного химика как в воронку. Она оказалась в положении человека, от которого стали зависеть дела близких ей людей, и чувство ответственности, которым ярчайше наделена Елена Цезаревна, заработало в полную силу. Продолжает оно работать и сейчас, и порой кажется, что Е. Ц. не знает усталости.

Будущему биографу Елены Цезаревны — а она, безусловно, заслуживает самой подробной биографии — было бы интересно проследить, как втягивалась она в дела литературные, как обрастала обязательствами и обязанностями, как не только вовлекалась, но по-настоящему увлеклась литературным делом, обнаружив талант организатора, аналитика, публициста. А ее человеческие качества — верность, преданность, бескорыстие, чистота помыслов — были теми составляющими ее помощи, которые делали эту помощь неотразимо-действенной и незабываемой. А еще «исключительное трудолюбие, аккуратность, четкость, любовь иметь в делах порядок и каждое начинание доводить до конца» (А. И. Солженицын) — эти качества особенно ценил Александр Исаевич, когда с конца 1965 года Елена Цезаревна оказалась в эпицентре и вихре его бурной деятельности. Так, помимо деда и матери, двух писателей, как в водоворот, втянулась она и в дела Солженицына. Очень скоро она стала «начальником штаба в одном лице», причем в самое тяжкое, шаткое для писателя время, когда после ареста своего архива он нашел приют в Переделкине, у Корнея Ивановича. И вот, пишет Солженицын, «Люша стала предлагать один вид помощи за другим». Солженицын подробно и благодарно написал в «Невидимках» об огромной работе Елены Цезаревны: «Жажде работы у Люши и отдаче ее — не было границ... Сколько она выиграла мне времени и сил — оценить невозможно».

Жажда работы и безграничная отдача ее — лучше Солженицына не скажешь о Елене Цезаревне; писатель увидел в ней сильную, преданную и цельную натуру, которая, однако, по-

могает не вслепую, а помогает зряче, но может и взбунтоваться, если в чем-то не согласна, и сказать об этом прямо и горячо. Но даже и протестуя, она не оставляла человека без помощи, и снова просила работы, и не опускала рук!

Почти десятилетнее сотрудничество Чуковской с Солженицыным — это потрясающая история, которая ждет своего летописца, историографа, а может, и романиста. Я бы мечтала, чтобы им или ими стала сама Елена Цезаревна.

Сегодня, когда оглядываешь сделанное ею, то, что имеет вещественный, материальный вид, понимаешь, что жажда работы и безграничная отдача ее воплотились в замечательные дела, а желание быть полезной дало потрясающий воображение результат.

После смерти Корнея Ивановича в 1969 году Елена Цезаревна вместе с матерью унаследовала права на его архив и литературные произведения. После смерти Лидии Корнеевны в 1996 году это право распространилось и на ее архив. На сегодняшний день огромный архив К. И. Чуковского собран, систематизирован, описан и сдан в Российскую государственную библиотеку на условиях доступности. 2 толстые папки описи Фонда 620 и сам Фонд открыты для исследователей уже сегодня. Архив Л. К. Чуковской передан в два архива — Российской национальной библиотеки в Петербурге и Российский государственный архив литературы и искусства в Москве. Одно это обязывает говорить о деятельности Елены Цезаревны с огромным уважением. Однако это лишь малая часть ее забот.

Елена Цезаревна подготовила уникальные издания. Кратко назову только некоторые из них, обозначив направление ее усилий как составителя, комментатора, публикатора.

Конечно, прежде всего это «Дневник» К. И. Чуковского, который он вел на протяжении 68 лет, с 1901 до последних дней своей жизни (последняя запись — «Ужасная ночь» — датируется 24 октября 1969 года, за 4 дня до кончины). Составление, комментарии, подготовка текста, предисловие Е. Ц. Чуковской. Дневник выдержал 4 издания, и сейчас на подходе 5-е, которое вскоре выйдет в издательстве «Прозаик». Это к тому же 20 сопутствующих публикаций «Из Дневника» — в «Новом мире», «Вопросах литературы», «Юности», «Знамени», «Нашем наследии» и других изданиях. Должна отметить качество подготовки этого издания с подробным и точным комментарием, выве-

ренной текстологией. Но в этом Дневнике бесконечно радует не только чувство ответственности перед дедом, но и чувство ответственности перед историей, которое есть у составителя: ведь как часто сталкиваешься с ситуацией, когда наследники цензурируют письма, дневники своих родных, выпрямляя их судьбы, гармонизируя их характеры, лакируя их образы. Елена Цезаревна не тронула записи 30-х годов, когда Корней Иванович попал под влияние эпохи. Благодаря этому перед нами живой, меняющийся человек, а не бронзовый памятник. Елена Цезаревна вместе с Кларой Лозовской и Зиновием Паперным собрала воспоминания о Корнее Ивановиче и сделала два издания. Многие годы она боролась за опубликование «Чукоккалы» — первое издание альманаха (со значительными купюрами) вышло только в 1979 году. В 1999 году «Чукоккала» была переиздана в полном объеме. История борьбы за альманах Елена Цезаревна описала в очерке «Мемуар о Чукоккале». Недавно я увидела у Елены Цезаревны последнее — фантастически красивое — издание «Чукоккалы», похожее на инкунабулу, с изумительным кожаным переплетом, фигурным корешком и инкрустацией на переплете. Тираж — такой же, каким издавались первопечатные книги — 100 экземпляров. Шедевр книгоиздания, когда каждый лист строится отдельно как произведение живописи и графики. Музейный экспонат.

Елена Цезаревна подготовила образцовые эпистолярные издания. В 2003 году вышла переписка Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны Чуковских, где на фоне колоссального культурного содержания, есть и такие строки: «Девочка удивительная — никогда не орет! Ночью только просыпается не через 6 часов, а через 5, и орет, а днем — тиха, как ангел». Это 16 августа 1931 года. Нашей героине 10 дней от роду. Через семь десятилетий она издаст и эту переписку, и переписку деда с Ильей Репиным и Давидом Самойловым, одолеет Собрание сочинений Корнея Ивановича в 15 томах. Впереди у Елены Цезаревны — письма к деду от писателей, его современников. Сегодня, согласно книгоиздательской статистике, К. И. Чуковский — самый издаваемый детский писатель России, обогнавший по количеству изданий великого сказочника Г. Х. Андерсена. Сказки, переводы, пересказы, мультфильмы, спектакли по сказкам Чуковского — это отдельная мощная отрасль отечественной культуры. В том, что книги деда, любимого детского писателя, выходят огромными

тиражами, с прекрасным оформлением, что от этой отрасли отсечены пираты и мародеры, тоже заслуга Е. Ц., результат ее усилий.

Невозможно обойти молчанием и битву — в буквальном смысле слова — за музей деда в Переделкине: Елене Цезаревне пришлось пройти через судебные тяжбы, выдержать грубость и хамство чиновников. С большой нежностью рассказывает Елена Цезаревна о тех людях, кто сражался вместе с ней и кто сегодня в этом музее служит. Факт тот, что музей работает пять дней в неделю; дважды в год проходят фестивали; идет запись на экскурсии на год вперед; автобусы со школьниками перед домом Корнея Ивановича — типичный переделкинский пейзаж.

Когда в 1996-м не стало Лидии Корнеевны, перед Еленой Цезаревной встала задача привести в порядок и издать работы матери. За прошедшие 15 лет вышли: трехтомные «Записки об Анне Ахматовой», сразу ставшие бестселлером; двухтомное собрание сочинений; полное собрание сочинений в издательстве «Время» (вышло уже 7 книг, и везде вступительные статьи, послесловия, подготовка текста, корректуры). Всё — дело рук Елены Цезаревны. Но и этого мало. Елена Цезаревна собрала отзывы на парижское издание «Записок об Анне Ахматовой» — превосходная публикация журнала «Знамя» 2005 года. Как замечательно было обнаружить среди таких корреспондентов Лидии Корнеевны, как Ю. Оксман, В. Жирмунский, В. Некрасов, С. Липкин, Н. Коржавин, Н. Берберова, Исайя Берлин, Д. Лихачев, письмо 1976 года нашего коллеги Валентина Непомнящего. Он писал, обращаясь к Лидии Корнеевне: «И хотя Вы, как автор и летописец, все время “прячетесь”, уходите на задний план, в тень, чтобы не мешать тем, о ком Вы пишете, — Вы все же выходите тоже главным героем этой летописи. И чем больше Вы скрываетесь и уходите в тень, тем больше вырастает Ваш авторский и человеческий образ. Так бывает всегда: кто считает себя последним, будет первым».

Валентин Семенович был и тогда на высоте, и всегда.

Среди грандиозной публикаторской работы не затерялись и труды самой Елены Цезаревны — полемические статьи, мемуарные заметки, правозащитные выступления в печати. Ее статья 1988 года «Вернуть Солженицыну гражданство СССР» — взорвала общественное мнение страны, газета «Книжное обозрение» ежедневно получала письма, количество которых измерялось на

вес, и тарой для них служили мешки. Сборник статей о Солженицыне «Слово пробивает себе дорогу», составленный Еленой Цезаревной в 1998 году совместно с В. Глоцером, не может сегодня обойти ни один исследователь творчества Солженицына.

Качества личности, которые позволили Елене Цезаревне быть полезной литературе, послужить огромному культурному делу, — это качества прежде всего нравственные. О нравственном стержне женщин Чуковских, матери и дочери, размышляет архангельский священник Иоанн Привалов, с которым несколько лет назад познакомилась и подружилась Елена Цезаревна. Цитирую фрагмент его интервью.

«Может ли церковь быть в диалоге с людьми, которые, несомненно, духовные, высоконравственные, и в то же время принципиально не относят себя к церкви? Они не враждебны церкви, но и не хотят быть в церкви. Почему? — Тайна. Очень легко все списать на грехи церкви — “вот, они встретились с недостойной церковной реальностью”. Но нет, и у Лидии Корнеевны были очень достойные учителя, друзья, начиная с глубоко верующей бабушки. Почти весь круг ее общения был верующим. — Анна Ахматова, Борис Пастернак, Тамара Габбе, Александр Солженицын, Алексей Пантелеев — некоторые из них были церковными людьми, некоторые почти нецерковными, но все, так или иначе, верили во Христа. Сама же она оставалась человеком неверующим. Я много думаю как раз вот об этой тайне ее неверия. По складу, по всему, она должна была быть верующим человеком: она — человек, верующий в правду, в высшую Правду. И сама она иногда говорила загадочно, что “никто не знает, кто верующий, а кто неверующий”. Лидия Корнеевна — для нас — иная, вглядывание в такие судьбы, вслушивание в дела, слова и поступки таких людей помогает нам понять всю сложность этого мира. Мы иногда не чувствуем, что есть тайна веры и тайна неверия. Не всё можно объяснить, доказать, исправить. Но вот то чувство неизъяснимой радости и благодарности Богу, которые живут во мне после встречи с Еленой Цезаревной и Лидией Корнеевной, углубило во мне веру в Бога и человека, подарило чувство непреходящего счастья».

Это очень важное для нашей культуры свидетельство и поразительное признание — священнослужителя, которого в его вере укрепляет человек неверующий. Тайна Е. Ц. Чуковской — это нравственный закон, который она свято исполняет. Какой

колоссальный контраст между прагматическим стремлением находить полезных людей и пользоваться ими для своих целей и задач, которую ставит себе наш лауреат: быть полезной делу и верно служить ему. В ее планах — замечательные, грандиозные вещи, которые на ее языке называются: ОЧЕРЕДНОЕ.

— Переписка Л. К. Чуковской с А. И. Солженицыным — корпус переписки подготовлен, откомментирован Еленой Цезаревой и ждет своего часа.

— Переписка самой Е. Ц. Чуковской с А. И. Солженицыным — корпус переписки готовится, комментируется Еленой Цезаревой и тоже ждет своего часа.

Можно не сомневаться в огромном культурном значении этих документов и том интересе, которые вызовут они у читателя.

Особенное мое восхищение вызывает намерение Елены Цезаревны, продвинутого пользователя сети, поместить в интернет Собрание сочинений К. И. Чуковского и свои публикации.

Жюри Литературной премии Александра Солженицына желает Елене Цезаревне Чуковской творческого долголетия, здоровья и радости, которую приносит всякая хорошо выполненная работа.

Многая лета!

Павел Басинский

Мое знакомство с «Чукоккалой»



прошу рассматривать мое выступление не как доклад, а именно как рассказ о моем опыте знакомства с «Чукоккалой». Я бесконечно люблю эту книгу.

Представим себе страшное: если бы Корней Иванович Чуковский ничего не написал (не было бы Чуковского — великого детского поэта, крупнейшего критика, литературоведа, прозаика, мемуариста, просветителя и т. д.), а создал бы только одну эту книгу, — он все равно вошел бы в историю Серебряного века как одна из ключевых его фигур. Я считаю, что «Чукоккала» — это отнюдь не шуточная книга, не шуточный альманах, как он задумывался изначально, а это, безусловно, одно из знаковых произведений именно Серебряного века, что я попытаюсь как-то обосновать.

Вообще мое знакомство с «Чукоккалой» состоялось несколько необычно. Мне довелось держать в руках настоящую «Чукоккалу», именно эти тетрадки. Может быть, Елена Цезаревна не помнит об этом, но когда вышла «Чукоккала» и одновременно приближалось столетие Лидии Корнеевны Чуковской, я позвонил из «Российской газеты», представился корреспондентом и попросил Елену Цезаревну дать интервью. Приехал к ней на Тверскую улицу. Она посадила меня за стол, дала ту самую «Чукоккалу», извинилась и вышла по каким-то делам в другую комнату или на кухню. Я, совершенно не знакомый ей человек, остался один, держа в руках эти тетради.

Во-первых, меня поразили их абсолютная домашность, до-модельность, некая блеклость даже. В книге эти автографы и рисунки более яркие. Я вдруг почувствовал беззащитность этих тетрадей, понял, что это книга, которой могло бы и не быть, она могла бы исчезнуть в любой момент. Конечно, эти тетради

превратились в книгу уже после выхода из печати, благодаря стараниям Елены Цезаревны, невероятной ее работе, которая продлилась сорок лет, потому что первое издание «Чукоккалы» готовилось еще с середины 60-х годов. Теперь «Чукоккала» бессмертна. Но ведь были моменты, когда альманах мог исчезнуть. Об одном из них напомним.

О нем пишет сам Корней Иванович в своем предисловии. В 1941-м году, когда немцы подступали к Москве, Чуковский должен был эвакуироваться, и срочно. Он жил тогда в Переделкине, ему немедленно нужно было вернуться в Москву и уезжать с поездом. Поэтому он спешно собирался, брал наиболее ценные вещи. Но с одной из самых ценных своих вещей он вдруг поступает самым удивительным образом. Он идет к сосне, которую, он точно знает, что вспомнит потом, найдет — и закапывает «Чукоккалу», обернув ее в несколько слоев клеенки. Земля была холодной, мокрой, поэтому ямка получилась неглубокой, он буквально прибрасывает ее землей и уезжает. Удивительно совершенно, странный поступок, но, как мне потом рассказали, совершенно объяснимый. К счастью, поезд не ушел.

Корнею Ивановичу пришлось вернуться. И уезжая во второй раз, как он описывает в своем предисловии, он просто зашел навестить сторожа и его маленького сына и — увидел «Чукоккалу», которая лежала на лавке рядом с ведром с водой, растрепанная, совершенно раздерганная. Оказалось, что сторож заметил, как «барин», уезжая, что-то закапывает, решил, что должно быть деньги или драгоценности и откопал. И увидел, что это какие-то тетради, с какими-то рисунками, неряшливо там что-то написано. Он разодрал их, вероятно, в поисках чего-то ценного, бросил на лавку и, конечно, потом бы просто выкинул. Тогда Чуковский взял эту книгу с собой. Понятно, что он опасался брать ее, уезжая первый раз, потому что это была не только шуточная, но и абсолютно серьезная книга... Она буквально взрывала тогдашние представления наши и о Горьком, и о Маяковском, и о Блоке... Не говоря о том, что там были стихи Набокова, Гумилева и многое, многое другое. Вот это случай, когда альманах мог бы исчезнуть.

Невероятность этой удивительной книги и в том, что ее могло бы не быть.

И в этом плане она очень точно соответствует Серебряному веку, потому что Серебряный век — тоже эпоха, удивительная

тем, что в ней нет никаких законов, нет никакой логики. Мне иногда кажется, что этой эпохи тоже могло бы не быть. Почему возникла русская религиозная философия? Не было у нас богословия в России. Кризис церкви, отсутствие свободного слова... И вдруг вспыхивает, или рождается феноменальное совершенно явление — русская религиозная философия. Или, например, русские реалисты начала века: Горький, Бунин, Андреев. Откуда они рождаются? Сначала из провинциальных газет... Уж Горький точно родился из провинциальных газет. Огромное количество провинциальных газет — надо что-то печатать, новостей мало, особенно местных, перепечатываются столичные новости. А страницы заполняются местными авторами, и среди них в том числе появляется «Песня о Соколе», рождается такой феномен, как Горький. Удивительное время!..

И «Чукоккала» вот этой своей мозаичностью, этой своей непредсказуемостью, конечно, наиболее точно запечатлевает эту эпоху. Сам Корней Чуковский пишет в предисловии: ну, конечно, «Чукоккала» не отражает грозной эпохи революции. Наверное, он это писал тогда (поскольку надеялся, рассчитывал, что альманах будет опубликован при его жизни — так не случилось) — и может быть, недоговаривал что-то до конца. Конечно, отражает, безусловно, отражает. И отражает даже подчас больше, чем некие великие произведения той эпохи.

Вот, например, стихотворение совсем юного Владимира Набокова, которое присылает Чуковскому даже не он сам, а его папа, с которым Корней Иванович дружил, — присылает с просьбой, чтобы тот оценил творчество сына, сказал, получится ли из него поэт (Чуковский к тому времени уже маститый критик). Стихотворение называется «Революция» — почти мальчик Набоков пишет о том, что произойдет. В сущности, это — пророчество. Тогда многие пророчили революцию. Все в общем предчувствовали, ожидали... Но, читая это стихотворение, вдруг понимаешь, что потом произошло с Набоковым, почему он стал таким. С одной стороны, испуг перед революцией. С другой стороны, некая обида юноши, которого Россия воспитала, выучила: он знает несколько языков, блестяще образован, готов к самому блестящему поприщу — а эта Россия гибнет. И он окажется в эмиграции. Достаточно бедное существование первое время, потом переезд в Америку...

Стихотворение очень эстетски написано... И это — Набоков. Набоков, который потом оденется в эту эстетическую броню, окутается своими воспоминаниями о детстве, о той России. А с другой стороны, будет смотреть на мир через некую «камеру обскура», потому что смотреть на него открытыми глазами невозможно.

Или, например, предсмертное письмо Блока, которое сам Чуковский называет одним из бесценных достояний «Чукоккалы». Это совсем не тот Блок, которого мы «проходили» в школе, Блок «Двенадцати», Блок, принявший революцию, да, трагически, но с радостью... «музыка» и т. д. Это Блок, который грустно пишет о том, что в подмосковном санатории его, конечно, не вылечат, надо уезжать за границу, а не получится, наверное. И заканчивает совершенно поразительной фразой, которую иногда не к месту цитируют и которую можно понять только в контексте письма: «Итак, “здравствуем и по сей час” сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка — своего поросенка».

И таких вещей очень много в «Чукоккале», которая, повторяю, является мгновенным слепком этой эпохи, показывает ее с другой, совершенно неожиданной стороны. Помню, в детстве у меня была хрестоматия «Живые страницы». Вот «Чукоккала» наиболее точно отвечает этому понятию. Это действительно живые страницы. Они живут, они дышат. Можно читать подряд, можно читать, открыв в любом месте. Можно читать, следуя именному указателю, выбирая имена, которые тебе наиболее дороги и видеть их в совершенно новом ракурсе. Совершенно детские страницы Гумилева... Видишь, как много детского в этом воине, в этом средневековом рыцаре, в этом бесстрашном человеке...

Эта книга захватывает. С середины 1960-х появляются автографы Солженицына, Евтушенко, Ст. Рассадина, Н. Коржавина. Но, конечно, весь центр книги смещен туда — в Серебряный век и, пожалуй, еще в 20-е годы. Авторы, которые пишут в «Чукоккалу» в 60-е годы, пишут, как бы оглядываясь на прошлое. Вот, к примеру, запись Солженицына: «Побыв сегодня несколько часов с Вами, Корней Иванович, и вместе с Вами заглянув (надеюсь, не последний раз) в “Чукоккалу” — я пережил это светлое и такое необходимое прикосновение к нашей старой доброй литературе». Или запись Рассадина:

Корней Иваныч! Не жестоко ли
Мне место предлагать в «Чукоккале»?
В реестре, славой громыхающем,
Мне быть печальным замыкающим?

Удивительная книга! И огромное спасибо, огромная благодарность Елене Цезаревне, что эта книга вообще вышла. И благодаря тому, что она издана — обрела бессмертие.

Е. В. Иванова

Несущая конструкция



орогие друзья, уважаемые гости церемонии!

Очень часто писатели, размышляя о собратьях по перу, улавливают в их судьбах нечто созвучное собственным. Так и Чуковский, говоря о Маяковском, высказал то, что в гораздо большей степени приложимо к нему самому: «Предков у него никаких. Он сам свой предок и если чем и силен, то потомками». Действительно, Чуковский был «селф мейд Мэн» во всех отношениях, В. В. Розанов в злую минуту даже назвал его «деревянным человеком», который «сам себя на верстаке сделал». Ведь даже имя он образовал сам, разложив фамилию матери на составляющие и став из Николая Корнейчукова Корнеем Чуковским. И хотя поначалу это был псевдоним, очень скоро даже друзья, знавшие его по босоногому детству в Одессе, в письмах стали именовать его Корнеем Ивановичем, потому что литератор Корней Чуковский был для них новым человеком, рождение которого произошло на страницах газеты «Одесские новости». После революции свой псевдоним Чуковский сделал паспортным именем и передал его детям, став тем самым родоначальником династии Чуковских в самом буквальном смысле слова. Сегодня издан календарь династии, и каждый может убедиться, насколько Корней Иванович силен потомками не в пример Маяковскому.

У Чуковского была совершенно необычная судьба, только представьте: он пережил три революции, четыре войны, из них две — мировые, и сквозь все исторические сломы оставался профессиональным литератором, то есть человеком, зарабатывающим на жизнь исключительно литературным трудом. Столько раз за эти годы его детские стихи то запрещали, то разрешали, полностью или частично! Когда на помощь приходили переводы, начиналась борьба с низкопоклонством перед Западом,

и приходилось зарабатывать копеечными комментариями к собраниям сочинений. Эти постоянные перепады сопровождали большую часть жизни Чуковского после Октября 1917 года. Благополучие к нему пришло только в 1962 году, когда он стал лауреатом Ленинской премии. Но надо сказать, что, достигнув благополучия уже на склоне лет, он никогда не боялся с ним расстаться, смело вступаясь за тех, кого считал несправедно гонимыми. Одним из них, как мы знаем, был основатель этого Дома и этой премии.

Что же помогало Чуковскому выстоять во всех испытаниях? В юности он был религиозен, в чем, несомненно, сказывалось влияние матери. Как мне кажется, утратив веру, весь свой пыл он перенес на литературу, которую любил именно религиозно и которой служил с полным самозабвением. Насколько тернист путь литератора, Чуковский изведal очень рано. Тем не менее, даже в самые голодные годы, с трудом зарабатывая буквально на хлеб, в письмах к Лиде и Коле он писал не о том, как им лучше устроиться в жизни, а призывал их верить в свой литературный талант и развивать его. То есть и детей Корней Иванович всеми доступными способами вовлекал в литературу, пытался направить на путь служения тому, что было для него главной ценностью.

Вот и в судьбу своей внучки Елены Цезаревны, он, как представляется, со своим наследием вмешался совсем не случайно. Корней Иванович не противился тому, что она выбрала профессию химика, но, как мне кажется, завещая ей «Чукоккалу», втайне надеялся, что долго она на двух стульях не просидит. Ведь именно семейное наследие заставило Елену Цезаревну оставить науку, которую она любила, и осваивать профессии корректора, редактора, текстолога, комментатора, даже верстальщика. Лидия Корнеевна также внесла свой вклад, завещав Елене Цезаревне издание своих сочинений и «Записок об Анне Ахматовой». Все это вместе и направило жизнь Елены Цезаревны по новому пути. Сегодня в графе «профессия» она может смело писать: историк русской литературы, обладающий издательскими навыками широкого профиля.

Мне посчастливилось работать с Еленой Цезаревной над подготовкой шести из пятнадцати томов собрания сочинений. Об этой работе могу сказать словами любимого поэта Корнея Ивановича: «Труд этот, Ваня, был страшно громаден, не по

плечу одному...» В этом собрании сочинений почти все новое и почти все впервые, и дореволюционные статьи, и текст дневника, а главное — письма, которые мы собирали как минимум по шести архивам. Но я прошу обратить внимание и на то, сколько здесь именных указателей, указателей статей, колонтитулов, т. е. всего того, что придает собранию сочинений такой высококультурный облик, и все это в основном сделано руками Елены Цезаревны.

Во вступительном слове были перечислены те издания, которые завещали ей Корней Иванович и Лидия Корнеевна, все их пожелания она выполнила и перевыполнила. Но вряд ли кто знает о той борьбе за сказку, которую она вынуждена вести изо дня в день. Печатать сказки Чуковского для издателей — беспроигрышная лотерея, тут достаточно посмотреть статистику, которая есть в интернете: и в 2009, и в 2010, и в 2011 годах он признан самым издаваемым автором, что кое у кого вызывает даже недоумение. Сошлюсь на высказывание Александра Альперовича, директора издательства «Clever»: «Самый продаваемый детский писатель 2010 года — Корней Иванович Чуковский. Это факт: никто даже не приблизился к этим продажам. С одной стороны, это хорошо: детей воспитывают на классике. С другой стороны, это совершенно удивительно, что современным детям, погруженным в новые технологии, особенности окружающего мира объясняют на примере “Мойдодыра”».

Так вот, мало кто представляет себе, что означает этот поток изданий для Елены Цезаревны, которой приходится следить буквально за каждой из выходящих книг. Это касается и текстов: мне неоднократно приходилось наблюдать недоумение издателей, которых Елена Цезаревна ловит на пропусках в тексте, они искренне не понимают, что такого, если из набора выпало несколько строк или абзац — не переверстывать же книгу, это денег стоит! Но у издания детских книг Корнея Ивановича есть еще одна составляющая: иллюстрации. Почти каждый начинающий издатель норовит проиллюстрировать книги Чуковского либо сам, либо поручить это подруге, снохе или золовке, которая в детстве любила рисовать. И никто из них не хочет знать, что за каждой иллюстрацией стоит огромная совместная работа Корнея Ивановича с художниками. Никто не подозревает, сколько сил и времени потратил он, обсуждая с лучшими художниками — В. Сутеевым, В. Конашевичем, Ю. Васнецовым, Ре-Ми,

Ю. Анненковым — буквально каждый рисунок. Отстаивать права художников-иллюстраторов сегодня также приходится Елене Цезаревне, и здесь она, как и в случае с А. И. Солженицыным, опять выступает в роли невидимки, потому что об этом вряд ли даже подозревают наследники художников, заключая договоры с издательствами.

Так что не только издание главных сочинений Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны лежит на плечах Елены Цезаревны, но и ежедневный контроль за изданием этого мощного потока. И если Корней Иванович самый издаваемый автор — то Елена Цезаревна — самый корректирующий корректор, самый выпускающий, самый ответственный и самый художественный его редактор.

Как же это у нее получается? Мне приходилось изучать биографии целого ряда писателей Серебряного века, и во многих судьбах гениев женщина выступает в роли помощницы, часто играющей ключевую роль в судьбе. Это может быть жена (Лев Толстой), мать (Александр Блок), сестра (Чехов), даже племянница (Константин Леонтьев). Что же роднит всех этих женщин, что определяет их роль и значение? Мне кажется, я открыла некий закон, когда на одной из экскурсий наш гид, любовно глядя на портрет с кариатидами, заметил: «Вы только посмотрите: кажется, что просто женщина, а на самом деле — несущая конструкция». Мне кажется, что главная особенность Елены Цезаревны заключается в том, что, включаясь в любое дело, она сразу становится в нем несущей конструкцией, и потому Атланты так охотно и с такой готовностью поручают ей свой груз. Корней Иванович был первый, кто разглядел в ней этот талант, но этот талант сразу заметил и оценил и Александр Исаевич. Ноша подчас бывает очень нелегкой, но она всегда достойно и мужественно ее несет. И в кругу потомков, которыми и в самом деле так богат Корней Иванович, Елена Цезаревна и есть эта несущая конструкция, благодаря которой и сегодня наши дети изучают мир по «Мойдодыру», листают книжки с иллюстрации гениальных художников, слышат живой голос Ахматовой, узнают о людях Серебряного века и русских писателях из уст человека, для которого литература была и оставалась на протяжении всей жизни ее центром и смыслом.

Елена Чуковская

«Помогать найти общее понимание...»



благодарю жюри, удостоившее меня своим выбором.

Благодарю всех собравшихся сегодня в этом зале, а также всех исследователей, публикаторов, художников и издателей, участвовавших вместе со мной в изданиях произведений Корнея Чуковского и Лидии Чуковской.

Я хочу вспомнить, каким образом сложилось мое участие в изданиях литературного наследия Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны.

Я окончила школу в 1949 году. В это время Корней Иванович был изгнан из детской литературы и занимался комментариями к Полному собранию сочинений Некрасова. Лидия Корнеевна постоянно была без работы. Я видела, как трудно приходится литераторам, кроме того, мне хотелось заниматься чем-то безусловно практически полезным. В результате я закончила химический факультет Московского университета и 34 года проработала в Институте элементоорганических соединений Академии наук СССР.

Но с самого детства меня привлекали дома для технической помощи в литературных делах. Я очень горжусь тем, что в восемь лет, в 1939 году, я нумеровала страницы в общей тетради, где была написана «Софья Петровна». В 12 лет — я перепечатывала сказку Корнея Чуковского «Бибигон», где была одним из персонажей, и обозначила издательство, выпустившее книгу, как ДеДиздат.

Намного позже, в 1965 году Корней Иванович неожиданно подарил мне свой рукописный альманах «Чукоккала» и привлек меня к подготовке альманаха к печати.

Не буду говорить, что случилось с этой работой в последующие годы, и перехожу к печальным дням, предшествующим смерти Корнея Ивановича в Загородной Кунцевской больнице.

В последние дни он повторял названия своих книг и записал в дневнике за несколько дней до смерти:

18 октября. Вот какие книги, оказывается, я написал:

1. Некрасов (1930 изд. Федерации)
2. Книга об Ал. Блоке (1924)
3. Современники
4. Живой как жизнь
5. Высокое искусство
6. От двух до пяти
7. Чехов
8. Люди и книги 60-х годов
9. Мастерство Некрасова
10. Статьи, входящие в VI том моего Собр. соч.
11. Статьи, входящие (условно) в VII том
12. Репин
13. Мой Уитмен
14. Серебряный герб
15. Солнечная.

Елене Цезаревне Чуковской я вверяю судьбу своего архива, своих дневников и Чукоккалы.

20 октября

Книги, пересказанные мною: «Мюнхаузен», «Робинзон Крузо», «Маленький оборвыш», «Доктор Айболит».

Книги, переведенные мною: Уичерли «Прямодушный», Марк Твен «Том Сойер»; первая часть «Принца и нищего», «Рикки-Тикки-Тави» Киплинга. Детские английские песенки.

Сказки мои: «Топтыгин и Лиса», «Топтыгин и луна», «Слава Айболиту», «Айболит», «Телефон», «Тараканище», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Крокодил», «Чудо-дерево», «Краденое солнце», «Бибигон».

В последние дни Корней Иванович написал завещание уже безо всяких списков произведений. Он написал:

«Благословляю всех своих милых родных и благодарю их за неизменную любовь и нежность, которую они дарили мне в течение всей моей долгой жизни. Благодарю и друзей. Я думаю, что никто не имел таких крепких друзей как я».

И высказал надежду, что я «поступлю по совести» с его наследством.

Корней Иванович умер 28 октября 1969 года. Это было трудное время. Через несколько дней был исключен из Союза писателей Солженицын. Моя мать, Лидия Корнеевна, оказалась запрещенным автором и тоже позже была исключена из Союза писателей и ее имя не упоминалось в нашей печати до 1988 года. Сам Корней Иванович попал в число «репрессированных смертно». Его книги для взрослых не выходили совсем, детские печатались мало.

В 1982 году, как раз в год столетия Чуковского, Союз писателей начал судебное дело по уничтожению его переделкинского музея. Борьба за сохранение музея заняла несколько лет. У меня собран отдельный архив — сотни писем граждан, выступивших в защиту дома, десятки моих писем в инстанции, 12 толстых книг отзывов посетителей музея, выступления на суде в защиту дома, судебные решения.

Вспоминаются слова академика Лихачева: «Памяти нужны пристанища. Она не может быть бесприютной». Дмитрий Сергеевич деятельно защищал наш музей — и в ходе судебной тяжбы, и позже в качестве председателя Советского фонда культуры. В настоящее время переделкинский дом Чуковского является филиалом Государственного литературного музея.

Если вернуться к архиву К. И., то его архив передан в рукописный отдел Российской государственной библиотеки. Интересная и важная для истории нашей литературы часть этого большого архива — письма к Чуковскому. Тут и письма большинства современных ему писателей (Брюсова, Блока, Мережковских, Ремизова, Гумилева, Зощенко, Солженицына) и тысячи писем читателей: папки писем родителей о детях (для «От 2 до 5»), письма лингвистов (для «Живого как жизнь»), письма переводчиков (для «Высокого искусства»), письма художников (Репина, Григорьева, Васнецова, Конашевича). Эта часть архива еще ждет своих исследователей.

Перехожу к судьбе архива моей матери, Лидии Корнеевны.

Сохранилась толстая тетрадь, которую она назвала «Завещание Люше». Записи делались начиная с 1984 года.

Приведу оттуда несколько цитат. Лидия Корнеевна пишет в 1984 году:

«Единственная книга, которую я в самом деле ценю — это “Софья Петровна”. Я хотела бы, чтобы она вышла наконец отдельной книжкой *по-русски* и под *правильным заглавием* и с неискаженным текстом».

Пока эта мечта осуществилась только один раз — в Архангельске в издательстве «Правда Севера» через 12 лет после смерти автора вышла «Софья Петровна» отдельным изданием с приложением рассказа Л. К. о судьбе этой повести и писем читателей. «Софья Петровна» в годы перестройки несколько раз печаталась в России, но всегда в составе сборников.

Еще запись 1984 года:

«Остаются т р и оконченные, но нигде не напечатанные книги. Это: “Памяти Фриды”; “Прочерк” и книга стихов: “Разлуки”».

“Прочерк” — книга задумана мною как памятник Мите, но превратилась в нечто автобиографическое. Кое-что, мне кажется, ценно и для понимания 1937–38 годов (это, кроме “Софьи”, главная моя книга)».

И дальше запись:

«“Прочерк” после множества переработок окончен в 88 г. Напечатать необходимо. 15/II 89».

«Прочерк» напечатан лишь через 12 лет после этой записи, посмертно в 2001 году в двухтомнике Л. К. и отдельной книгой в издательстве «Время» в 2007.

Далее Л. К. пишет:

«Перехожу к архиву. Он обширен.

Разные виды моих Дневников: Дневники, Что вспомнилось, Словесность.

Свои ахматовские дневники я еще надеюсь успеть подготовить к печати сама. Если же сама не подготовлю — их лучше сжечь (Ташкент)».

Тут я должна остановиться. Л. К. так и не приняла решения о судьбе своих ташкентских тетрадей. Не успела. Много раз мы говорили с ней об этом. Она колебалась, как поступить. Я же не решилась их уничтожить, и ташкентские тетради были опубликованы в качестве приложения к посмертному первому полному трехтомному изданию «Записок...» в издательстве «Согласие» в 1997 году.

Л. К. продолжает:

«Целый шкаф писем ко мне (Деда, Твардовского, Симонова, Пантелеева, Самойлова, Якобсона, Вигдоровой). Объектив-

ный интерес представляет, по-моему, переписка со мною К. И. Письма Алексея Ивановича Пантелеева. Письма Дара. Письма А. Д. Сахарова. Письма от [бывшего жильца. — Зачеркнуто. — Е. Ч.] Солженицына.

В настоящее время выходит Собрание сочинений Л. К. в издательстве «Время». Вышли уже пять книг и трехтомник «Записок об Анне Ахматовой». Есть планы продолжить это Собрание*.

Ее большой архив передан частично в Рукописный отдел Российской национальной библиотеки в СПб., частично в РГАЛИ.

Я хочу упомянуть о завещательном письме давнего друга нашей семьи Алексея Ивановича Пантелеева, автора «Республики Шкид», «Пакета» и других известных книг.

Алексей Иванович жил в Ленинграде, умер летом 1987 года. Я помню его с раннего детства. Когда я приехала на поминки, мне передали его письмо.

Среди пожеланий, высказанных им:

«Подтвердить, если понадобится, мое желание, чтобы меня похоронили по православному церковному обряду на Большеохтинском ленинградском кладбище.

Позаботиться в меру сил и возможностей о моем литературном наследстве и архиве».

В настоящее время в издательстве «Новое литературное обозрение» готовится к печати подготовленная мною большая переписка Л. Пантелеева с Л. Чуковской за период с 1929 по 1987 год.

В формулировке жюри присутствуют «опасные моменты русской литературы». Я уже упоминала о некоторых в ходе своего выступления.

Памятны и многие сюжеты, связанные с Солженицыным. Я остановлюсь на двух.

Летом 1973 года у нас поставили на ремонт лифт, а наша квартира на 6 этаже. Поэтому временно Лидия Корнеевна жила в соседнем доме, в квартире Солженицыных, уехавших на дачу. А я ходила туда, носила ей еду и вынимала почту. По почте постоянно приходили угрожающие письма. Помню, грозили семье Ал. Ис., детям и писали «правилка будет, жди». Ал. Ис.

* В 2012 году вышел последний — 11-й том этого нумерованного Собрания сочинений. — *Примеч. 2012 г.*

игнорировал эти постоянные угрозы. А я через несколько дней попала в тяжелую автомобильную аварию и перестала ходить за этой почтой.

Вторая история связана с публикацией в газете «Книжное обозрение» моей статьи «Вернуть Солженицыну гражданство СССР». Статья была напечатана в августе 1988 года, имя Солженицына без брани и название «Архипелаг ГУЛАГ» там упомянуты были в советской печати впервые. Статья вызвала отклик многих читателей и писателей, отклики печатались в 2-х последующих номерах газеты. Газета получила несколько сотен писем.

К этому времени я уже несколько лет не переписывалась с Александром Исаевичем, но после публикации этой статьи переписка возобновилась.

В декабре 1988 года он пишет мне:

«В общем, конечно, остро обидно, снова и снова, уже третье десятилетие пребывать в “откладке”, в запрете, не иметь возможности повлиять на чувства и мысли соотечественников, на процессы, идущие на родине, — но уж таков характер этих процессов — жестокий и, может быть, и гибельный. В необозримую пропасть падали мы, падали 70 лет, и всё еще летим туда же» (4.12.88).

Письма читателей, полученные редакцией, с ее разрешения были ему отосланы.

В феврале 1989 г. он написал мне:

«Дошел — комплект писем читателей!

Это — изумительное чтение... Для меня — цены этим письмам нет: какой срез общества! какая мозаика! сколько выводов! какой диапазон людских взглядов! — вот уж разбаламученное, после спячки, море — и сколько же еще разбурливаться вперед. И массовое же повреждение умов какое...

Положить рядом разные письма обо мне — как о разных совсем людях. Почти никто не представляет меня в подлинности и в объеме. Порог, разделяющий меня от соотечественников, оказался так высок, что его нельзя преодолеть никаким *одним* усилием: ни — одной большой публикацией, ни — фактом приезда. Нужно чтение одной книги за другой. А если будет еще долгая задержка моих книг — то положение еще безнадежней запутается (а — так оно и идет). Долго-долго надо работать книгам, чтобы возникло понимание. А роль писателя и есть: не разъединять народ, а — помогать найти общее понимание...» (14.2.89).

Заканчивая свое выступление, где я много говорила об архивах и о музее, скажу, что меня постоянно беспокоит судьба наших библиотек, музеев и архивов. Правительство и общество уделяют их сохранению, их бюджету, их оснащенности и доступности недостаточно средств и внимания. Работа в этих учреждениях мало оплачивается и поэтому туда невелик приток молодежи. Между тем именно эти учреждения призваны сохранять правдивую историческую память и воспитывать народ средствами искусства.

Общее понимание, о котором пишет Солженицын, могут найти только осведомленные, читающие, думающие, непредвзятые люди.

ОБ АВТОРЕ



лена Цезаревна Чуковская родилась 6 августа 1931 года в Ленинграде. В мае 1941 года уехала с матерью в Москву, откуда была эвакуирована в Ташкент. В ноябре 1943 года вернулась в Москву и поступила в 131 школу, которую и окончила в 1949 году с золотой медалью.

С 1949 по 1954 училась на химическом факультете МГУ и по распределению поступила старшим лаборантом в Институт элементоорганических соединений АН СССР, в 1961 году защитила кандидатскую диссертацию и проработала в институте в качестве старшего научного сотрудника до 1988 года.

В 1965 году К. И. Чуковский подарил ей свой рукописный альманах «Чукоккала» и привлек ее к подготовке этого издания. После смерти Корнея Ивановича в октябре 1969 года по его завещанию Е. Ц. Чуковская стала наследницей его огромного архива.

Кроме «Чукоккалы» ею был подготовлен к печати, прокомментирован и опубликован посмертно обширный дневник К. И. Чуковского, несколько его незавершенных статей, ряд материалов других авторов из его архива. Большинство этих публикаций вошло в пятнадцатитомное Собрание сочинений Корнея Чуковского (2001—2009).

Осенью 1965 года Е. Ц. Чуковская познакомилась с А. И. Солженицыным и вплоть до его высылки принимала участие в перепечатке и хранении его рукописей, в сборе материалов для «Красного колеса». В 1988 году она опубликовала статью «Вернуть Солженицыну гражданство СССР», была одним из составителей сборника документов о Солженицыне «Слово пробивает себе дорогу», автором нескольких мемуарных очерков о нем и публикатором его переписки с Чуковскими.

Большое место в 1980-е годы занимали усилия по защите перedelкинского Дома-музея Чуковского. Литфонд СССР вел судебное

дело о выселении музея. Е. Ц. Чуковская проводила в музее экскурсии для многочисленных посетителей, написала десятки писем в разные инстанции, участвовала в судебных разбирательствах на разных уровнях. Принимались и отменялись судебные решения, в конце концов переделкинский дом был взят под охрану государства и в 1996 году стал филиалом Государственного литературного музея.

Всю жизнь Е. Ц. Чуковская прожила с матерью — Лидией Корнеевной, писательницей, редактором, мемуаристкой. Последние годы жизни Л. К. болела, плохо видела и постоянно привлекала дочь к библиотечным справкам для своей работы и к участию в комментировании ее записей об Ахматовой. После смерти Лидии Корнеевны осталось несколько неоконченных ею книг — третий том «Записок об Анне Ахматовой», «Прочерк» (о муже, расстрелянном в 1938 году), «Дом Поэта» (полемика со «Второй книгой» Н. Я. Мандельштам). Все эти работы были завершены и выпущены в свет и отдельными изданиями, и в виде Собрания сочинений Лидии Чуковской (М.: Время, 2007—2012). В 2000—2010 годах осуществлены также многочисленные публикации из дневника Лидии Чуковской и писем из ее архива.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ Е. Ц. ЧУКОВСКОЙ

Статьи

«Вторая литература» и «Литературный процесс в России» // Русская мысль. Париж. 1975. 10 апр. № 3046.

Письмо В.Н. Войновичу // *В. Войнович*. Иванькиада, или Рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру: Приложение. — США: Ann Arbor, 1976. С. 107—112.

Вернуть Солженицыну гражданство СССР // Книжное обозрение. 1988. 5 авг. № 32.

«И надоест подобострастье...» // Неделя. 1988. № 43.

«Огня под полой не унесешь» // Книжное обозрение 1989. 23 июня.

Литературный путь Корнея Чуковского (Совместно с Л. Чуковской) // Книжное обозрение. 1989. 24 нояб. С. 8—10.

Нобелевская премия [О Б. Л. Пастернаке] // Вопросы литературы. 1990. Февраль. С. 154—156. То же: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 286—289.

Тень будущего // Независимая газета. 1991. 9 июля. С. 7.

Благодарю... // Литературная газета. 1991. 14. авг. № 32.

Письмо в редакцию // Книжное обозрение. 1992. 31 янв.

Деньги от Бармалея // Литературная газета. 1992. 9 сент.

Чуковский ничего не скрывал // Книжное обозрение. 1993. 28 мая. № 21.

История одного вымысла: Почему Репин не приехал в СССР // Литературная газета. 1997. 11 июня.

Мемуар о «Чукоккале» // Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского — М.: Премьера, 1999. С. 8—9 и 351—365.

Ради красного словца // Литературная газета. 1999. 24 февр. С. 1, 9.

«Он рассказал о пламени, в котором сгорела наша страна...» // Index. Досье на цензуру. 1999 (7—8). С. 205—210.

О человеке очень надежном: Борис Можаяв — земля и воля // Независимая газета. Кулиса-НГ. 2001. 2 марта.

«Первый признак вандализма...» // Новое время. 2002. № 34. 28 авг. С. 36—37.

От выступления против цензуры к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГ // Между двумя юбилеями. — М.: Русский путь. 2005. С. 352—370.

«Каждый шаг своего пространства я отвоевывал»: Александр Солженицын — от издания к изгнанию // Вестник РХД. Париж—Нью-Йорк—Москва. № 197. II—2010. С. 215—235.

[О Лидии Чуковской] // Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Кн. 5. М., 2012. С. 337—338.

Оправдание Мойдодыра (Совместно с Евг. Ивановой) // Книжное обозрение. 2012. № 7. С. 10.

ПУБЛИКАЦИИ ИЗ АРХИВОВ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО И ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ

Книги Корнея Чуковского

Сочинения: В 2 т. / Сост. и общ. ред. Е. Чуковской; [Послесл. В. Берестова]. — М.: Правда. 1990.

Дневник (1901–1929) / Подгот. текста и коммент. Е. Чуковской; Вступ. ст. В. Каверина. — М.: Сов. писатель, 1991.

То же. 2-е изд. — М.: Современный писатель, 1997.

То же. Сост., подгот. текста, коммент. и подбор иллюстраций. — М.: ОЛМА-Пресс: Звездный мир, 2003.

Дневник (1930–1969) / Сост., подгот. текста, коммент. Е. Чуковской. — М.: Современный писатель, 1994.

То же. 2-е изд. — М.: Современный писатель, 1997.

То же / Сост., подгот. текста, коммент. и подбор иллюстраций. — М.: ОЛМА-Пресс: Звездный мир, 2003.

Собрание сочинений в 15 т. / Оформл. худож. С. Любаева. — М.: Терра-Книжный клуб, 2001–2009:

Т. 1. **Произведения для детей** / Сост. и коммент. Е. Чуковской, 2001.

Т. 2. **От двух до пяти.** Приложение: Признания старого сказочника. Литература и школа; Серебряный герб. Приложение: Матерям о детских журналах; Борьба с Чуковщиной / Сост. и коммент. Е. Чуковской. — М., 2001.

Т. 3. **Высокое искусство.** Приложение: «Онегин на чужбине». Вокруг «Высокого искусства». Из англо-американских тетрадей: Оскар Уайльд; Уолт Уитмен / Сост. Е. Чуковской, П. Крючкова. Коммент. Е. Чуковской, М. Лорие, Б. Балестра, П. Крючкова. — М., 2001.

Т. 4. **Живой как жизнь;** О Чехове; Илья Репин. Приложение: Две «Королевы»; 1905, июнь; «Сигнал»; Фантазмагория Герберта Уэллса / Сост. и коммент. Е. Чуковской. — М., 2001.

Т. 5. **Современники** / Сост. и коммент. Е. Чуковской. — М., 2001.

Т. 6. **От Чехова до наших дней.** Литературные портреты, характеристики / Сост. и подгот. текста Е. Ивановой и Е. Чуковской при участии Ж. Хавкиной и О. Степановой. — М., 2002.

Т. 7. **Литературная критика. 1908—1915** / Предисл. и коммент. Е. Ивановой; Сост. и подгот. текста Е. Ивановой и Е. Чуковской при участии О. Степановой. — М., 2003.

Т. 8. **Литературная критика. 1918—1921** / Предисл. Е. Ивановой; Коммент. Е. Ивановой и Б. Мельгунова. Сост. и подгот. текста Е. Ивановой и Е. Чуковской. — М., 2004.

Т. 9. **Люди и книги. Приложение** / Сост. и подгот. текста Б. Мельгунова и Е. Чуковской. При участии О. Степановой. Коммент. Б. Мельгунова и Е. Ивановой. — М., 2004.

Т. 10. **Мастерство Некрасова. Статьи (1960—1969)** / Сост. и подгот. текста Б. Мельгунова и Е. Чуковской. — М., 2005.

Т. 11. **Дневник (1901—1921)** / Сост. и подгот. текста Е. Чуковской. Предисл. В. Каверина. Коммент. Е. Чуковской. — М., 2006.

Т. 12. **Дневник (1922—1935)** / Сост. и подгот. текста Е. Чуковской. Коммент. Е. Чуковской. — М., 2006.

Т. 13. **Дневник (1936—1969)** / Сост. и подгот. текста Е. Чуковской. Коммент. Е. Чуковской. — М., 2007.

Т. 14. **Письма. 1903—1925** / Вступ. ст. Е. Ивановой. Сост. Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. Общ. ред., подгот. текстов и коммент. Е. Иванова и Е. Чуковская. — М., 2008.

Т. 15. **Письма. 1926—1969** / Вступ. ст. Е. Ивановой. Сост. Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. Общ. ред., подгот. текстов и коммент. Е. Иванова и Е. Чуковская. — М., 2009.

Собр. соч.: В 5 т. / Сост. и коммент. Е. Чуковской. — М.: Терра-Книжный клуб (Лит. приложение «Огонёк»), 2008.

Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. [Факс. воспроизведение страниц] / Макет и оформл. С. Стулова. Коммент. к рис. и автогр. и вступ. К. Чуковского. Предисл., сост., подгот. текста и примеч. Е. Чуковской. — М.: Премьера, 1999.

То же. В 2 т. М.: Monplaisir, (Книжный клуб), М.: Терра, 2003.

То же. М.: Русский путь, 2006.

Дни моей жизни [Дневник] / Предисл. В. Каверина. Коммент. Е. Чуковской. М.: Бослен, 2009.

Дневник: В 3 т. [Без купюр]. Т. 1. 1901—1921; Т. 2: 1922—1935; Т. 3. 1936—1969 / Сост., подгот. текста и коммент. Е. Чуковской. Предисл. В. Каверина. — М.: Прозаик, 2011.

Переписки Корнея Чуковского

Корней Чуковский, Лидия Чуковская. Переписка: 1912—1969 / Вступ. статья С. А. Лурье; Подгот. текста, публ. и коммент. Е. Ц. Чуковской, Ж. О. Хавкиной; Худож. Е. Поликашин. — М.: Новое лит. обозрение, 2003.

Илья Репин, Корней Чуковский. Переписка. 1906—1929 / Вступ. ст. Г. С. Чурак; Подгот. текста и публ. Е. Ц. Чуковской и Г. С. Чурак; Коммент. Е. Г. Левенфиш и Г. С. Чурак. — М.: Новое лит. обозрение, 2006.

Сборники воспоминаний о Корнее Чуковском

Воспоминания о Корнее Чуковском / Сост. К. Лозовская, З. Паперный, Е. Чуковская. — М.: Сов. писатель, 1977.

Воспоминания о Корнее Чуковском / Сост. К. Лозовская, З. Паперный, Е. Чуковская. — 2-е изд. — М.: Сов. писатель, 1983.

Воспоминания о Корнее Чуковском / Сост. Е. Чуковская и Е. Иванова. — М.: Никая, 2012.

Книги Лидии Чуковской

Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. Худож. оформление А. Юликова. — М.: Согласие, 1997.

Т. 1. 1938—1941. Впервые печатается приложение «Из Ташкентских тетрадей» Лидии Чуковской (ноябрь 1941—декабрь 1942) / Публ. Е. Ц. Чуковской, примеч. Е. Б. Ефимова, Ж. О. Хавкиной, Е. Ц. Чуковской.

Т. 3. 1963—1966 / Подгот. текста и некоторые пояснения в отд. «За сценой» Е. Чуковской и Ж. Хавкиной при участии Е. Ефимова.

Избранное / Сост., вступ. ст. Е. Ц. Чуковской. — Минск: Горизонт: Аурика, 1997.

Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст., сост. Е. Ц. Чуковская. — М.: Гудьял-Пресс, 2000.

Сочинения: В 2 т. / Вступ. ст., сост. и подгот. текста Е. Чуковской. — М.: Арт-Флекс, 2001.

Собр. соч.: [В 11 нумерованных томах] / Сост. Е. Чуковская. — М.: Время, 2007—2012.

Переписки Лидии Чуковской

Давид Самойлов — Лидия Чуковская. Переписка. 1971—1990 / Вступ. ст. А. С. Немзера. Комментар. и подгот. текста Г. И. Медведевой-Самойловой, Е. Ц. Чуковской и Ж. О. Хавкиной. — М.: Новое лит. обозрение, 2004.

Л. Пантелеев — Л. Чуковская. Переписка. 1929—1987 / Предисл. П. Крючкова. Подгот. текста и коммент. Е. Ц. Чуковской. — М.: Новое лит. обозрение, 2011.

Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне

Слово пробивает себе дорогу: Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне. 1962—1974 / Сост. В. Глоцер и Е. Чуковская. Худож. С. Стулов. — М.: Русский путь, 1998.

Вступительные статьи, публикации и комментарии в журналах и неавторских сборниках

1972

Чуковский в «Чукоккале» / Публ. Е. Чуковской; предисл. М. Петровского // Лит. газ. 1972. 29 марта. С. 7.

А. Блок в «Чукоккале» / Предисл. и ред. Е. Чуковской // Блоковский сборник: Тр. второй науч. конф., посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока / Тарт. гос. ун-т. Тарту, 1972. Сб. 2. С. 424—429.

1980

Корней Чуковский. Из дневника (1919—1921) [Об Александре Блоке] / Вступ. ст., публ. и примеч. Е. Чуковской // Вопр. лит. 1980. № 10. С. 284—313.

1981

Письма Блока к К. И. Чуковскому и отрывки из дневника К. И. Чуковского / Вступ. ст., публ. и коммент. Е. Ц. Чуковской // Лит. наследство. М., 1981. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исслед. Кн. 2. С. 232—272.

1982

Корней Чуковский. «Без писания я не понимаю жизни...»: Страницы из дневника / Публ. и примеч. Е. Чуковской // Юность. 1982. № 3. С. 83–86.

1986

Корней Чуковский. «Как я любил его стихи...»: В. В. Маяковский и его окружение в дневнике и переписке К. И. Чуковского / Публ. и коммент. М. Петровского, Е. Чуковской [дневник] // Огонёк. 1986. № 42. 18–25 окт. С. 10–13.

Неопубликованные страницы «Чукоккалы» [О. Н. Гумилеве] / Публ. Е. Ц. Чуковской. // День поэзии. М.: Сов. писатель, 1986.

1987

Корней Чуковский. Что вспомнилось / Публ. Е. Чуковской // Неделя. 1987. № 3. С. 16–17.

Чуковский об Ахматовой: По архивным материалам / Публ., предисл и примеч. Е. Чуковской // Новый мир. 1987. № 3. С. 227–238.

Зошенко в дневниках Чуковского / Вступ. ст. Б. Сарнова. Публ. Е. Чуковской // Знамя. 1987. № 6. С. 185–196.

Корней Чуковский. Оксфордская речь / Публ. Е. Чуковской // Неделя. 1987. № 21. С. 23.

О высоком искусстве: Из переписки К. И. Чуковского с американскими славистами / Вступ., перевод с англ. и коммент. М. Лорие; Публ. М. Лорие и Е. Чуковской // Иностранная литература. 1987. № 8. С. 225–232.

Блок в архиве Чуковского / Публ. и примеч. Е. Чуковской // Лит. наследство. М., 1987. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исслед. Кн. 4. С. 307–321.

1988

Корней Чуковский. Ахматова и Маяковский / Вступ. заметка, публ. и коммент. Е. Чуковской // Вопр. лит. 1988. № 1. С. 177–205.

Корней Чуковский. Онегин на чужбине / Публ. и послесл. Е. Чуковской // Дружба народов. 1988. № 4. С. 246–257.

Корней Чуковский. Перегудам от редакции «Русского современника» / Вступ. заметка и публ. Е. Чуковской // Кн. обозрение. 1989. 5 мая. С. 8–9.

Борьба за сказку: Из архива Корнея Чуковского / Вступ. ст. и публ. Е. Чуковской // Дет. лит. 1988. № 5. С. 31–35.

М. Зощенко в дневниках К. Чуковского. Из дневника / Публ. Е. Чуковской; Предисл. Б. Сарнова // Ленинградская панорама. [Л.], 1988. С. 484–510.

Из дневника: О Максиме Горьком / Вступ., коммент. и публ. Е. Чуковской // Наше наследие. 1988. Кн. 2. С. 91–99.

Л. Н. Лунц. Исходящая № 37 / Публ. Е. Ц. Чуковской. Вступ. ст. В. Каверина // Книжное обозрение. 1988. № 39. 30 сент. С. 5.

Перечитываем Некрасова: Путеводитель по выставке. Из архива Корнея Чуковского. – М., 1987. Вып. 1.

Некрасов вчера и сегодня: Путеводитель по выставке. – М., 1988. Вып. 2 / Сост. Э. Красовская, В. Леонович, Е. Чуковская. 112 с. (Центр. гор. публичная б-ка им. Н. А. Некрасова).

Б. Сарнов. Е. Чуковская. Случай Зощенко: Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом, 1946–1958 // Юность. 1988. № 8.

1989

Корней Чуковский. Русскими глазами: [Речь на церемонии присуждения почетной степени доктора литературы Оксфорда. Май 1962 г.] / Публ. Е. Чуковской // Звезда. 1989. № 5. С. 189–192.

Новые, ранее неизвестные страницы публицистики Евгения Замятина. Корней Чуковский. Из дневника. Евг. Замятин. Перегудам. От редакции «Русского современника» / Вступ. заметка и публ. Е. Чуковской // Кн. обозрение. 1989. 5 мая. С. 8–9.

Корней Чуковский. Словно тысяча сжатых пружин. О Борисе Пастернаке (Из дневников) / Вступ., подгот. текста и публ. Е. Чуковской // Поиск. 1989. № 13 (июль). С. 4–5.

1990

Корней Чуковский. Из дневников. [О Б. Л. Пастернаке] / Публ. и примеч. Е. Чуковской // Вопр. лит. 1990. № 2. С. 123–153. – То же // Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., 1993. С. 263–285.

Корней Чуковский. Из дневника. (1926–1934) / Публ. Е. Ц. Чуковской. [Русская проза XX века. Из запасников. Ведет Бенедикт Сарнов] // Огонёк. 1990. № 6. Февраль. С. 14–16.

Корней Чуковский. Дневник (1918–1923) / Подгот. текста, публ. и коммент. Е. Чуковской; Предисл. М. Петровского // Новый мир. 1990. № 7. С. 140–177; № 8. С. 124–173; 1991. № 5. С. 160–193.

Корней Чуковский. Из дневника (1918–1921) / Предисл. С. Залыгина. Публ. и примеч. Е. Чуковской // Неделя. 1990. 17–23 сент. С. 14–15.

Корней Чуковский. Из дневника (1924–1925) / Публ., предисл. и коммент. Е. Чуковской // Звезда. 1990. № 10. С. 154–170; № 11. С. 130–150.

1991

Неопубликованные страницы «Чукоккалы». [Воспоминания о Н. С. Гумилеве] / Публ. Е. Чуковской. — День поэзии. М., 1986. С. 180–185.

Корней Чуковский. Из воспоминаний / Подгот. Е. Чуковской // Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 48–57.

Борьба с «чуковщиной»: Документы по истории литературы 20-х годов / Предисл. и публ. Е. Чуковской // Горизонт. 1991. № 3. С. 17–25.

Корней Чуковский. Триллеры и чиллеры / Публ. и вступ. Е. Чуковской // Кн. обозрение. 1991. № 31. С. 1, 8–9.

1992

Корней Чуковский. Из дневника (1930–1931) / Публ. и коммент. Е. Чуковской; Вступ. слово С. Лурье // Нева. 1992. № 3. С. 264–278.

Корней Чуковский. Из дневника (1932–1969) / Публ., вступ. и коммент. Е. Чуковской; Указ. имен Л. Абрамова, Д. Юрасов и Е. Чуковская // Знамя. 1992. № 11. С. 135–194; № 12. С. 140–204.

1995

Корней Чуковский. Из дневника: Об англо-американской литературе / Публ. Т. Литвиновой; Вступ. и примеч. Е. Чуковской // Феникс-XX. 1995. Кн. VI–VII. С. 267–282.

1996

Лидия Чуковская. И упало каменное слово... Из «Записок об Анне Ахматовой» [из 3-го тома] / Публ. Е. Ц. Чуковской // Лит. газ. 1996. 19 июня. С. 6.

1997

Лидия Чуковская. Памяти Фриды / Публ. Е. Ц. Чуковской. Предисл. Е. Ефимова // Звезда. 1997. № 1. С. 102–144.

1999

Дело Бродского по дневнику Лидии Чуковской (декабрь 1963 – декабрь 1965) / Публ. и примеч. Е. Чуковской. Предисл. В. Корнилова // Знамя. 1999. № 7. С. 140–160.

2000

Корней Чуковский. Толстой и интеллигенция / Публ. и вступ. «Молодой Чуковский о Льве Толстом» Е. Чуковской // Ясная поляна. 2000. № 1. С. 350–351.

2001

Лидия Чуковская. Памяти Тамары Григорьевны Габбе / Вступ., публ. и коммент. Е. Ц. Чуковской // Знамя. 2001. № 5. С. 128–157.

Лидия Чуковская. Дом поэта / Вступ. ст. Е. Чуковской. Подгот. текста и публ. Е. Чуковской и Ж. Хавкиной // Дружба народов. 2001. № 9. С. 173–200.

2003

Лидия Чуковская. «После конца: Из “ахматовского” дневника» / Вступ., подгот. текста и примеч. Е. Чуковской и Ж. Хавкиной // Знамя. 2003. № 1. С. 154–167.

Об Александре Галиче. Из дневников Корнея Чуковского и Лидии Чуковской / Публ. Е. Ц. Чуковской // Галич. Новые статьи и материалы. М.: ЮНАПС, 2003. С. 240–249.

«Мы живем в эпоху результатов»: Переписка Д. С. Самойлова с Л. К. Чуковской / Подгот. текста, публ. и примеч. Г. И. Медведевой-Самойловой, Е. Ц. Чуковской и Ж. О. Хавкиной // Знамя. 2003. № 5. С. 141–176; № 6. С. 135–177; № 7. С. 137–177.

2005

«Сколько людей! — И все живые!» (Отзывы читателей о «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской) / Предисл., примеч. и публ. Е. Ц. Чуковской // Знамя. 2005. № 8. С. 144–178.

2007

«Приключенческий роман с неожиданным поворотом сюжета». Из переписки В. М. Жирмунского с Л. К. Чуковской (1966–1969) / Вступ. заметка, подгот. текста, публ. и примеч. Е. Ц. Чуковской // Знамя. 2007. № 1. С. 166–187.

2008

Лидия Чуковская. Счастливая духовная встреча. О Солженицыне / Подгот. текста, вступ., примеч. и публ. Елены Чуковской // Новый мир. 2008. № 9. С. 70–138.

2009

«Если бы вдруг позвонил Евгений Онегин или Тарас Бульба». Переписка сэра Исаяи Берлина с Лидией Чуковской / Подгот. текста, вступ. и примеч. Е. Ц. Чуковской // Нов. мир. 2009. № 12. С. 148–172.

В начале оттепели (1953–1957). Из переписки Л. К. Чуковской с А. И. Пантелеевым / Публ. Е. Чуковской // Другой гид. Париж. 2010. № 12. Приложение. Декабрьский сбор друзей (к 9.XII). 2010. С. 131–133.

2011

Переписка Александра Солженицына с Корнеем Чуковским (1963–1969) / Подгот. текста, вступ. и коммент. Е. Ц. Чуковской // Новый мир. 2011. № 10. С. 141.

2012

«Открытую почту нам Москва обрубил в оба конца»: Из переписки Александра Солженицына и Лидии Чуковской (1974–1977) / Публ., подгот. текстов и коммент. Е. Ц. Чуковской и Н. Д. Солженицыной, вступ. заметка Е. Ц. Чуковской // Солженицынские тетради. Вып. 1. М.: Русский путь, 2012. С. 47–100.

2013

«Слово “Самиздат” пишется с большой буквы»: Из переписки Александра Солженицына и Лидии Чуковской (1967–1974) / Публ., подгот. текстов, вступ. заметка и коммент. Е. Ц. Чуковской // Солженицынские тетради. Вып. 2. М.: Русский путь, 2013. С. 43–92.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	5
------------------------	---

АРХИВ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО

Письмо В. Н. Войновичу.....	9
Мемуар о «Чукоккале».....	16
Начало пути.....	16
День с Ираклием Андрониковым.....	18
Первые тучи.....	22
«Чукоккала» и бюрократы.....	25
Реанимация.....	27
Обыкновенное чудо.....	32
Плыви, «Чукоккала», по свету.....	36
«Чукоккала» и цензура.....	38
«Чукоккала» и самоцензура.....	41
«1979-м годом история литературы не кончается...».....	43
Post scriptum.....	46
Окончательный Post scriptum.....	51
Малая планета в Солнечной системе.....	52
Послесловие к «Онегину на чужбине».....	53
Борьба за сказку.....	56
Борьба с «чуковщиной».....	59
Как он выжил... повезло.....	62
О книге «От двух до пяти».....	64
Тень будущего.....	71
Александр Блок в дневнике Чуковского.....	74
Ахматова и Маяковский.....	83
О дневнике Корнея Чуковского.....	87
Наедине с самим собой.....	90

Время должно запечатлеть себя в слове	93
О пиратских изданиях	96
Деньги от Бармалея	99
Дом, который съел Бармалей	101
Приезжаю в Переделкино на час и месяц потом болею	108
«Чтобы ребенок читал “Войну и мир”... пустить в Самиздат»	114
Чуковский ничего не скрывал	119
История одного вымысла	121
Молодой Чуковский о Льве Толстом	127
«Деду, очевидно, не отделаться от “Крокодила”»	131
Оправдание Мойдодыра (Совместно с Е. В. Ивановой)	136
Литературный путь Корнея Чуковского (Совместно с Л. Чуковской)	143

АРХИВ ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ

Завещание Люше	160
«Записки об Анне Ахматовой» впервые выходят полностью	168
«Так бывает в жизни...»	170
Безусловные имена	175
Литературный путь Лидии Чуковской	178
Памяти Тамары Григорьевны Габбе	183
Несбывшиеся планы	188
Знакомство с «делом» М. П. Бронштейна	188
Рассказ Б. А. Великина	200
Телефонный звонок	205
Эпиграфы	209
Палачи	210
Пытки	213
Смутный, но важный набросок заключительной главы всей книги	215
Про книгу «Дом Поэта»	217
«После конца»	222
«Сколько людей! — И все живые!»	224
Гильотина для звезды. Как защитить гениев от масскульта	230
«...Если бы вдруг позвонил Евгений Онегин или Тарас Бульба»	234
Для Московской энциклопедии	238

ВСПОМИНАЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Вернуть Солженицыну гражданство СССР.....	246
Учиться терпимости к живущим	249
Читатель и газета	264
«Огня под полой не унесешь».....	281
Благодарю... ..	285
Ради красного словца.....	288
«Первый признак вандализма...»	294
От выступления против цензуры	
к свидетельству об Архипелаге ГУЛАГ	298
Первое впечатление	299
Конспирация	300
Общественный резонанс	302
Клевета с трибун.....	305
Хранение архива.....	305
Распространение Самиздата.....	307
Работа над «Архипелагом ГУЛАГ»	308
Готовность идти до конца.....	312
Высылка из СССР	313
Восприятие «Архипелага ГУЛАГ» современниками	313
Эпилог.....	317
«Каждый шаг своего пространства я отвоевывал»	319
Из интервью	338
Солженицын и Чуковские	338
«Солженицын — единственный счастливый человек, которого я видела за свою жизнь»	339
Не по лжи.....	342

VARIA

Нобелевская премия Пастернака.....	346
«Вторая литература» и «Литературный процесс в России»... ..	350
«И надоест подобострастье...»	357
О человеке очень надежном	363
Открытое письмо	370

ПРИЛОЖЕНИЕ

Случай Зошенко (Совместно с Б. М. Сарновым)	374
---	-----

Пролог	374
Как это началось	375
Из беседы с американскими журналистами, август 1946 г.....	382
Вне советской литературы	386
Возвращение.....	393
«Второй тур»	401
Последние годы	410
Эпилог.....	424

МОСКВА, 28 апреля 2011 года

<i>Л. И. Сараскина. Выступление на церемонии вручения Литературной премии Александра Солженицына</i>	<i>435</i>
<i>Павел Басинский. Мое знакомство с «Чукоккалой»</i>	<i>443</i>
<i>Е.В. Иванова. Несущая конструкция</i>	<i>448</i>
<i>Елена Чуковская. «Помогать найти общее понимание...»</i>	<i>452</i>
<i>Об авторе</i>	<i>459</i>
<i>Опубликованные работы Е. Ц. Чуковской. Статьи.....</i>	<i>461</i>
<i>Публикации из архивов Корнея Чуковского и Лидии Чуковской</i>	<i>463</i>
<i>Книги Корнея Чуковского</i>	<i>463</i>
<i>Переписки Корнея Чуковского.....</i>	<i>465</i>
<i>Сборники воспоминаний о Корнее Чуковском</i>	<i>465</i>
<i>Книги Лидии Чуковской</i>	<i>465</i>
<i>Переписки Лидии Чуковской.....</i>	<i>466</i>
<i>Сборник статей и документов об А. И. Солженицыне.....</i>	<i>466</i>
<i>Вступительные статьи, публикации и комментарии в журналах и неавторских сборниках</i>	<i>466</i>

Чуковская, Елена Цезаревна.
488 "Чукоккала" и около : ст., интервью / Елена Чуковская. —
Москва : Русский Миръ : Жизнь и мысль, 2014. — 480 с. : портр. —
(Серия "Литературная премия Александра Солженицына"). —
ISBN 978-5-8455-0179-0.

Агентство СІР РГБ

В книге впервые собраны статьи Елены Чуковской, разбросанные в газетах, журналах, неавторских сборниках и посвященные творчеству Корнея Чуковского, Лидии Чуковской и Александра Солженицына. Эти статьи и открытые письма писались в разные годы и в разные эпохи. Конец 1980-х годов, провозгласивший гласность, открыл двери для появления в печати запрещенных имен, запрещенных тем, запрещенных документов. В сборник вошло несколько полемических газетных статей, позволяющих напомнить, как проходило у нас становление закона об авторском праве или возвращение в печать произведений А. Солженицына.

Появилась возможность напечатать дневник Корнея Чуковского, «Чукоккалу» без купюр и многие материалы из его обширного архива. Эти многочисленные публикации часто сопровождались вступительными поясняющими статьями и комментариями Е.Ц. Чуковской. В сборник вошли некоторые вступительные заметки, отрывки из интервью, позволяющие очертить круг вопросов, затронутых в этих публикациях.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2)6-8 Ч-88 Чуковский, К.И.

Литературная премия Александра Солженицына

Елена Цезаревна Чуковская
«ЧУКОККАЛА» И ОКОЛО
Статьи, интервью

Руководитель проекта *В. Е. Волков*
Главный редактор *А. Т. Волобуев*
Художник *В. В. Покатов*
Технический редактор *И. Л. Маринич*
Корректор *Л. М. Логунова*
Верстка *И. А. Миронов, А. Г. Костюнин, К. П. Зубкова*

Сдано в набор 03.06.2013. Подписано в печать 29.05.2014.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Печ. л. 30,0. Тираж 2000 экз. Заказ № 6679.

ЛР № 071422 от 07.04.1997.
Издательство «Русский Мир»
125252, Москва, ул. Зорге, 9А, стр. 2
e-mail: russkij-mir@narod.ru
www.vk.com/russmir
ЛР № 071891 от 08.06.1999.
ИПЦ «Жизнь и мысль»



Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.rф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ISBN 978-5-8455-0179-0



9 785845 501790



В серии

«Литературная премия Александра Солженицына»,
выпускаемой издательством «Русский Мир»,
вышли в свет следующие книги:

Константин Воробьев ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..

Евгений Носов ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

Александр Панарин РЕВАНШ ИСТОРИИ

Инна Лиснянская ШКАТУЛКА

Ольга Седакова МУЗЫКА

Юрий Кублановский НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Владимир Топоров

«БЕДНАЯ ЛИЗА» КАРАМЗИНА

Леонид Бородин ТРЕТЬЯ ПРАВДА

Валентин Распутин В ПОИСКАХ БЕРЕГА

Игорь Золотуский

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: СМЕНА ВЕХ

Андрей Зализняк

ИЗ ЗАМЕТОК О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Борис Екимов ПРИВЕТ ИЗДАЛЁКА

Алексей Варламов РОЖДЕНИЕ

Валентин Янин

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО НОВГОРОДА

За справками и по вопросам приобретения этих книг
просим обращаться в издательство «Русский Мир»

Тел.: (495) 984-71-67

e-mail: russkij-mir@narod.ru

www.russkij-mir.narod.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО



**Книги по истории и культуре Государства Российского,
русская художественная и детская литература,
педагогические и справочные издания**

Книжные серии издательства:

- «Большая Московская Библиотека»
- «Русский Мир в лицах»
- «Русский Мир классики»
- «Семейные хроники»
- «Зарубежная Россия»
- «О слово русское, родное»
- «Русский Мир прозы»
- «Литературная премия Александра Солженицына»
- «Pro patria: Историко-политологическая библиотека»
- «Русская провинция»
- «Русский Мир — детям»
- Энциклопедические словари



За справками и по вопросам приобретения этих книг
обращаться в издательство «Русский Мир»:

Москва, ул. Зорге, 9А, стр. 2

Тел.: (495) 984-71-67

e-mail: russkij-mir@narod.ru

www.vk.com/russmir

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



Газета основана в 1830 году при участии А. С. ПУШКИНА
Издание возобновлено в 1929 году при поддержке М. ГОРЬКОГО

ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ

ТОЛЬКО В «ЛГ» ВЫ УЗНАЕТЕ:

Над чем работают лучшие современные писатели, поэты, драматурги

О чем размышляют и спорят герои их новых произведений

Как формируется внутренняя и внешняя политика государства

О тесной взаимосвязи реформ и содержимого нашего кошелька

Где состоялись самые заметные явления в искусстве и культуре

Какие новые книги «заслуживают» того, чтобы их купили

О секретах «лаборатории смеха» в знаменитом «Клубе 12 стульев»

«Литературная газета» — единственное периодическое издание, где встречаются все направления отечественной общественной, социально-экономической, художественной и духовной мысли.

Подписной индекс — 50067

Справки по телефону 8(499)788-02-52

www.lgz.ru

Литературная премия Александра Солженицына учреждена Русским Общественным Фондом и вручается ежегодно с 1998 года. Ею награждаются писатели, живущие в России и пишущие на русском языке, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие традиций отечественной литературы. Кроме того, с 2002 года Премия присуждается за труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также за значимые действующие культурные проекты.

В книгах серии «Литературная премия Александра Солженицына», выпускаемой издательством «Русский Мир», публикуются избранные сочинения лауреатов этой Премии.